



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
Филологический факультет

СЛАВЯНСКИЙ СБОРНИК

язык, литература, культура

МОСКВА
МАКС Пресс
2019

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА

Филологический факультет

**СЛАВЯНСКИЙ СБОРНИК:
язык, литература, культура**



МОСКВА – 2019

Издание осуществлено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-012-20087

Редакционная коллегия:

Н. Е. Ананьева – д-р филол. наук, проф. ;
М. Н. Белова – канд. филол. наук, доц. ;
О. О. Лешкова – канд. филол. наук, доц. ;
К. В. Лифанов – д-р филол. наук, проф. ;
О. А. Остапчук – канд. филол. наук, доц.
Е. И. Якушкина – канд. филол. наук, доц.

Славянский сборник: язык, литература, культура : / Отв.
С47 ред. Н.Е. Ананьева, О. А. Остапчук, Е.И. Якушкина. – Москва :
МАКС Пресс, 2019. – 388 с.

ISBN 978-5-317-06117-3

Сборник докладов, прочитанных на международной научной конференции «Славянский мир: язык, литература, культура», состоявшейся на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 28–29 ноября 2018 г. и посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного богемиста, заслуженного профессора МГУ Александры Григорьевны Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета. Сборник предназначен для широкого круга славистов, исследователей и преподавателей славянских языков.

УДК 81
ББК 81.2

Slavic collection: language, literature, culture / Edit.
N. E. Ananyeva, O. A. Ostapchuk, E. I. Yakushkina. – Moscow : MAKS
Press, 2019. – 388 p.

SBN 978-5-317-06117-3

The collection contains the papers of the International conference (28–29 November, 2018) at Lomonosov Moscow State university in memory of professor A. G. Shirokova and in connection with 75-th anniversary of the Slavic department.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
-------------------	---

Профессор А. Г. Широкова – педагог и ученый

<i>Васильева В.Ф.</i> Профессор А. Г. Широкова – ученый и педагог	10
<i>Мокиенко В.М.</i> «Чешско-русский фразеологический словарь»: жизнь и судьба	15
<i>Ананьева Н.Е.</i> Производные слова с корнями <i>шип-</i> / <i>szer-</i> в русском и польском языках. Лексический комментарий к фамилии <i>Широкова</i>	22

Славянская лексикология, ономастика и этимология

<i>Аникина Т.Е.</i> Двухязычный авторский словарь	28
<i>Варбот Ж.Ж.</i> О происхождении русск. <i>сиволаный</i>	35
<i>Кабанова С.А.</i> Глаголы со значением боли в русском и сербском языках	38
<i>Керкез Д.</i> Секундарни узвици као показатељи неочекиваности	46
<i>Китанова М.</i> Евфемизмите в българската традиционна култура	55
<i>Коцкова Я.</i> Фазовые глаголы в сочетании с отглагольными существительными на материале чешского и русского языков	64
<i>Князькова В.С., Котова М.Ю.</i> Языковые средства передачи чешской и словацкой идентичностей в тексте транснационального романа и его переводе	73
<i>Кулешова М.Л., Якушкина Е.И.</i> Семантический переход «красивый» – «хороший» в славянских языках	81
<i>Кульпина В.Г.</i> Из истории лингвистических исследований цвета в России и в Польше	88
<i>Останчук О.А.</i> (Не)официальные урбанонимы в языковом пространстве города: на материале названий (микро)районов г. Винницы	95
<i>Рашиевска-Журеке Б.</i> О ogólnosłowiańskim charakterze przenośnych znaczeń społecznych kontynuantów psł. *kolo i *krogъ	104
<i>Селиванова Н.В.</i> Новояз современной польской политики	113
<i>Федюкина Е.В.</i> Восточнославянизмы в ономастике восточных окраин Польши	120
<i>Чэлич Ж.</i> Kategorija deminutivnosti i sufiksacija u tvorbi nazivā životinja s aprelativnom funkcijom u ruskom i hrvatskom jeziku	125
<i>Шапкина О.Н.</i> «Между небом и землей». Об одном из фрагментов польской языковой картины мира	130
<i>Шетэля В.</i> Еще раз об этимологии топонима Тербуны	135

Вопросы истории славянских языков. Славянская книжность

<i>Баранкова Г.С.</i> Языковые особенности списков первоначальной русской редакции Кормчей книги	138
<i>Браксаторис М.</i> Тема гуситской преемственности словацких евангеликов в исторических трудах и трактатах словацких писателей	147

<i>Кречмер А.</i> Частная переписка Московской Руси (XVII–XVIII вв.) и культурная парадигма Православной Славии	156
<i>Лутовац-Казновац Т.</i> Славянизмы в работах Викентия Ракича	162
<i>Манучарян И.К.</i> Древнеславянский перфект и его историческая судьба.....	168
<i>Новикова А.С.</i> К вопросу о первоначальном славянском переводе Евангелия: история и современность.....	176
<i>Рейзек И.</i> Praslovanská a staročeská přehláska v dativu plurálu <i>jo</i> -kmenů.....	185
<i>Скачедубова М.В.</i> Об употреблении -л-форм в значении действительных причастий прошедшего времени в древнейших древнерусских летописях на общеславянском фоне.....	191
<i>Хизанцян А.М.</i> Терминологическая система сочинений И.Т. Посошкова в аспекте истории русского литературного языка	199
<i>Шапошников А.К.</i> Праславянско-санскритские соответствия приставочных глаголов и эволюция праславянского глагольного словообразования.....	207
<i>Шелкова И.А.</i> Омонимия производных от <i>дѣлати</i> и <i>дѣлити</i> в русском языке XI–XVII вв.	217

Славянская диалектология

<i>Белова М.Н.</i> Литературная обработка говоров помаков северной Греции (особенности графики и грамматики)	225
<i>Букринская И.А., Кармакова О.Е.</i> Отражение культа предков в обычаях современной русской деревни	233
<i>Вельович Б.М.</i> Выражение повторяющегося действия в сербском языке	241
<i>Нефедова Е.А.</i> Изба без углов не бывает	249

Грамматика современных славянских языков

<i>Гигер М.</i> Склоняемые причастия в новой «Большой академической грамматике чешского литературного языка»	258
<i>Иванова И.Е.</i> Пунктуация при деепричастных оборотах в сербском языке в сопоставлении с русским	265
<i>Мосинец А.Г.</i> Конклюдив в русско-болгарских и болгарско-русских переводах художественной литературы	273
<i>Штудинер М.А.</i> Типологические особенности словацкого консонантизма.....	279

Лингводидактика

<i>Мочалова Т.С.</i> Язык современной политики как компонент профессиональной подготовки дипломатов	287
<i>Штериоска-Митреска А., Петковска Б.</i> Народното творештво и зборовниот состав во учебниците по Македонски јазик за одделенска настава во Република Македонија.....	296
<i>Платонова И.В.</i> К вопросу о программах по болгарскому языку для исторического факультета	303
<i>Рылов С.А.</i> Синтаксис в университетском преподавании чешского языка как иностранного: сопоставительный подход.....	309

<i>Тимонина Е.В.</i> Преподавание болгарского языка в вузах России в XXI в. как база подготовки нового поколения переводчиков-болгаристов.....	314
<i>Яйич Новоградец М.В.</i> Odnos motivacije i jezične kompetencije hrvatskih studenata u ovladavanju slavenskim kao stranim jezicima	322

Славянские литературы

<i>Адельгейм И.Е.</i> Польско-еврейское прошлое и его репрезентация в прозе П. Пазиньского, С. Хутник, И. Остаховича.....	329
<i>Байдалова Е.В.</i> Украинская постколониальная проза: проблемы национальной и гендерной идентичности в романах О. Забужко	337
<i>Гусев Ю.П.</i> «Книга Грабала» венгерского писателя Эстерхази.....	345
<i>Ковтун Е.Н.</i> Крах Австро-Венгрии в рефлексии постмодернизма: «картонная» Вена И. Кратохвила (роман «Бессмертная история»).....	353
<i>Липатов А.В.</i> Современная славистика и перспективы изучения русско-польской проблематики	362
<i>Старикова Н.Н.</i> Словенский писатель из Триеста Борис Пахор (к 105-летию со дня рождения).....	370
<i>Тошович Б.</i> Иво Андрич и Россия.....	378

ПРЕДИСЛОВИЕ

50 статей данного сборника – это часть докладов, прочитанных на международной научной конференции «Славянский мир: язык, литература, культура», состоявшейся на филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова 28–29 ноября 2018 г. и посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного богемиста, заслуженного профессора МГУ Александры Григорьевны Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета.

Композиционно сборник состоит из следующих разделов: меморативная часть (3 статьи), «Славянские литературы» (7 статей), «Лексикология. Этимология. Ономастика» (16 статей), «История славянских языков. Славянская книжность» (11 статей), «Диалектология» (4 статьи), «Грамматика современных славянских языков» (4 статьи), «Лингводидактика» (6 статей).

Непосредственно с воспоминаниями об А. Г. Широковой и ее научной и педагогической деятельности связаны статьи В. Ф. Васильевой (о творческом пути А. Г. Широковой), В. М. Мокиенко (о работе над «Чешско-русским фразеологическим словарем» в контексте воспоминаний об А. Г. Широковой), Н. Е. Ананьевой (о производных от корней *uup-* / *szer-* в русском и польском языках, соотносящихся с фамилией Широкова).

Поскольку профессор Широкова была лингвистом, неудивительно, что большая часть статей сборника посвящена языковедческой проблематике: 44 статьи, включая лингводидактику – область, в которую Александра Григорьевна в качестве автора и соавтора ряда учебников по чешскому языку, ведущего преподавателя-богемиста кафедры славянской филологии также внесла огромный вклад. Спектр лингвистических тем, представленных в статьях, весьма широк. Естественно, что ряд публикаций отражает различные аспекты изучения чешского и словацкого языков (А. Г. Широкову можно отнести и к основоположникам отечественной словакистики, поскольку ее кандидатская диссертация была посвящена восточно-словацким говорам Земплинско-Унчского комитата), а также затрагивает вопросы активно разрабатываемого в трудах А. Г. Широковой сопоставительного подхода в описании и преподавании инославянских языков. Так, чешский и словацкий идиомы как объекты монолингвального изучения исследуются в следующих аспектах: фонетическом (статья М. А. Штудинера о типологических особенностях словацкого консонантизма), грамматическом (статья М. Гигера о склоняемых причастиях в «Большой грамматике чешского литературного языка»), фразеологическом (вышеупомянутая статья В. М. Мокиенко), в плане истории литературного языка (статья

М. Браксаториса о теме гуситской преемственности словацких евангеликов в исторических трудах словацких писателей) и исторической грамматики (статья И. Рейзека о перегласовке в праславянском и старочешском в Дат. пад. мн. ч.).

Сопоставительный аспект отражен в статьях следующих авторов: Я. Коцкова (о фазовых глаголах в сочетании с отглагольными существительными в русском и чешском языках), И. Е. Иванова (о пунктуации при деепричастных оборотах в сербском и русском языках), С. А. Рылов (о сопоставительном подходе при преподавании синтаксиса чешского языка), М. В. Яйич-Новоградец (об овладении инославянскими языками в хорватоязычной среде), С. А. Кабанова (о конструкциях с болевыми предикатами в русском и сербском языках), Ж. Чэлич (категория одушевленности и суффиксация при образовании одной группы существительных в русском и хорватском языках).

Лексико-семантический аспект представлен в сборнике как монолингвальными исследованиями (эвфемизмы в традиционной болгарской культуре исследует М. Китанова, образам неба и земли в польской языковой картине мира посвящена статья О. Н. Шапкиной, современный польский политический новояз анализирует Н. В. Селиванова), так и публикациями, использующими материал ряда славянских языков (статья М. Л. Кулешовой и Е. И. Якушкиной о семантическом переходе «красивый» – «хороший» в славянских языках, публикация Б. Рашевской-Журек об общеславянском характере переносных социальных значений континуантов **kolo* и **krogъ*). Кроме статьи Б. Рашевской-Журек, в которой для указанных лексем значение ‘совокупность людей, связанных друг с другом по какой-то причине’, отмеченное во всех славянских языках, реконструируется для праславянского состояния, этимологический аспект представлен также в статьях Ж. Ж. Варбот (об этимологии русского *сиволпый*) и В. Шетэли (об этимологии топонима *Тербуны*). Отдельные элементы ономастического пространства исследуют О. А. Остапчук (об урбанонимах г. Винницы), Е. В. Федюкина (о восточнославянизмах в ономастике восточных окраин Польши), а также В. Шетэля (в упомянутой статье, где этимологизации подвергается топоним). Истории лингвистического изучения цвета в России и Польше посвящена статья В. Г. Кульпиной.

Материалы, представленные в разделе «История славянских языков. Славянская книжность» относятся к различным хронологическим периодам, начиная от древнейших (статья А. К. Шапошникова о праславянско-санскритских соответствиях приставочных глаголов и эволюции праславянского глагольного словообразования) и А. С. Новиковой о первоначальном славянском переводе евангелия). В основном эти статьи посвящены истории русского языка: частной переписке Московской

Руси в XVII–XVIII вв. как отражению культурной парадигмы *Slaviae Orthodoxae* (А. Кречмер), языковым особенностям русской редакции Кормчей книги (Г. С. Баранкова), омонимии производных от *дѣлати* и *дѣлти* в русском языке XI–XVII вв. (И. А. Шелкова), терминологической системе сочинений И. Т. Посошкова в аспекте истории русского литературного языка (А. Хизанцян). Дополняют друг друга статьи М. В. Скачедубовой (об употреблении -л-форм в значении действительных причастий прошедшего времени в древнерусских летописях на славянском фоне) и И. К. Манучарян (об исторической судьбе древнеславянского перфекта). Кроме того, в данный раздел входит статья Т. Лутовац-Казновац, посвященная фрагменту сербской книжности (славянизмам в работах Викентия Ракича) и уже упомянутые статьи М. Браксаториса и И. Рейзека.

Диалектология представлена материалом русских говоров (понятие ‘угол’ в архангельских говорах – Е. А. Нефедова, культ предков в обычаях современной русской деревни – И. А. Букринская и О. Е. Кармакова), болгарских (о литературной обработке говоров помаков северной Греции – М. Н. Белова) и сербского языка (о выражении повторяющегося действия в сербском языке – Б. М. Вельович).

Проблемы перевода затрагиваются в статье А. Г. Мосинец («Конклюдив в русско-болгарских и болгарско-русских переводах художественной литературы») и совместной публикации В. С. Князьковой и М. Ю. Котовой (о чешской и словацкой транснациональной прозе), а также в вышеупомянутой статье А. С. Новиковой.

Материал разных славянских языков используется в лингводидактическом разделе: польского (статья Т. С. Мочаловой об обучении политической польской лексике – тематика статьи перекликается с содержанием публикации Н. В. Селивановой о польском политическом новоязе), македонского (статья об отражении фольклора в учебниках македонского языка – Бл. Петковска и А. Штерьоска-Митреска), болгарского (о программах по болгарскому языку для исторического факультета – И. В. Платонова, о преподавании болгарского языка в вузах России в XXI в. как базе подготовки нового поколения болгаристов-переводчиков – Е. В. Тимонина), чешского (указанная статья С. А. Рылова об обучении чешскому синтаксису).

Различным проблемам славянских литератур посвящена литературоведческая часть сборника. Е. Н. Ковтун рассматривает специфику рефлексии над крахом Австро-Венгрии в литературе постмодернизма (на материале творчества И. Кратохвила), Ю. П. Гусев исследует восприятие творчества Грабала венгерским писателем Эстерхази, Е. В. Байдалова анализирует украинскую постколониальную прозу на примере романов О. Забужко, А. В. Липатов пишет о состоянии совре-

менной славистики и перспективах изучения русско-польских проблем. Н. Н. Старикова посвятила статью славянскому писателю из Триеста Борису Пахору, а Б. Тошович – нобелевскому лауреату Иво Андричу. Произведения польских писателей П. Пазиньского, С. Хутник и И. Остаховича рассматривает И. Е. Адельгейм.

Сборник предназначен для широкого круга славистов, исследователей и преподавателей славянских языков. Надеемся, что многоаспектная проблематика сборника, разнообразие исследовательских направлений, представленных в нём, привлечет к данному труду внимание славистической общественности.

Н. Е. Ананьева

Профессор А. Г. Широкова – педагог и ученый

Профессор А. Г. Широкова – ученый и педагог

В. Ф. Васильева

Professor A. G. Shirokova as a scientist and a teacher

Valeriya F. Vasilyeva

ABSTRACT. The subject is polygonal activity of the outstanding Soviet and Russian linguist, the head of Slavic Department at the Philological Faculty MSU Professor Alexandra G. Shirokova.

Keywords: scientific heritage; founder of bohemistic school; functional approach; comparative study of kindred Slavic languages.

АННОТАЦИЯ. Автор рассматривает разные аспекты многосторонней деятельности выдающегося советского и российского слависта, богемиста, на протяжении 20 лет возглавлявшей кафедру славянской филологии филологического факультета Московского университета профессора А. Г. Широковой.

Ключевые слова: научное наследие; основатель богемистической школы; функциональный подход; сопоставительное исследование родственных славянских языков.

Говорить о научном наследии профессора А. Г. Широковой необычайно трудно потому, что её талант, широта интересов, разносторонность научных направлений не поддаются однозначному измерению. Давать оценку научной, педагогической и организаторской деятельности профессора А. Г. Широковой чрезвычайно сложно и ответственно. Я полагаю и надеюсь, что её вклад в развитие лингвистики будет по достоинству оценен со временем. В своей статье я постараюсь охарактеризовать основные направления многосторонней деятельности Александры Григорьевны.

Прежде всего нужно отдать должное тому, что А. Г. Широкова стала основателем богемистической школы, и не только московской, получившей широкую известность за рубежом, но и региональных богемистических центров в СССР. Вряд ли было бы возможно успешное развитие богемистики даже в таких крупных городах, как Киев, Львов без постоянной поддержки и прочных контактов со славянским отделением нашего факультета. Своим лингвистическим образованием профессору А. Г. Широковой обязаны десятки, если не сотни филологов-славистов не только России, но и бывших республик Советского Союза. Я не могу не сказать о том, что Александра Григорьевна была блестящим педагогом с талантом, данным, как говорится, свыше. Её лекции

собирали полные аудитории, в числе слушателей оказывались и те, кто не питал особой любви к лингвистике. Казалось, что это были спектакли с великолепной режиссурой, в которой, однако, не было ничего искусственно привнесённого. Она преподавала все дисциплины лингвистической богемистики: вела практические занятия по чешскому языку, читала теоретические курсы описательной грамматики, истории и диалектологии чешского языка, читала спецкурсы по обиходно-разговорному чешскому языку, по сопоставительному исследованию славянских языков, вела семинары, руководила дипломными работами и диссертационными исследованиями.

Чрезвычайно насыщенная и многоаспектная научная деятельность профессора А. Г. Широковой на протяжении почти полувековой работы в Московском университете была посвящена следующим общим проблемам:

- 1) формирование чешского литературного языка;
- 2) соотношение различных форм существования языка чешской нации; чешский и славянский глагол;
- 3) сопоставительное изучение грамматического строя чешского и русского языков;
4. функциональная грамматика славянских языков.

Каждое из указанных направлений заслуживает конкретного анализа и своей оценки. Замечу, что кандидатская диссертация А. Г. Широковой «Восточно-словацкие говоры Земплинско-Унчского комитата», была первым научным исследованием и первой диссертацией, защищённой в Советском Союзе по чешско-словацкому языкознанию. В грамматических исследованиях преобладающей была глагольная проблематика. Ей была посвящена и докторская диссертация «Многочисленные глаголы в чешском языке (возникновение, развитие, функционирование, отношение к глагольному виду)». В самом названии содержится указание на многоплановость исследования глагольной проблематики. Особо следует отметить, что многочисленные глаголы в чешском языке имеют большую системную значимость, чем это представлено в русском. И как раз в период работы Александры Григорьевны над докторской диссертацией в чешской лингвистике велись горячие споры о том, считать ли многочисленные глаголы в чешском языке третьей видовой оппозицией. На этот вопрос А. Г. Широкова в своей работе отвечает отрицательно, приводя исчерпывающую аргументацию. Нельзя не сказать о том, что её позицию поддержали виднейшие чешские ученые, включая патриарха чешской лингвистики академика Б. Гавранека.

Живой интерес в чешских научных кругах вызывали работы А. Г. Широковой по проблемам обиходно-разговорного чешского языка как второго языкового кода чешской нации. В исследованиях чешских лингвистов весьма часто встречаются ссылки на её труды. И, конечно же, нельзя не высказать сожаления, что она не успела закончить моно-

графический труд, посвящённый вопросам статуса второго языкового кода чешской нации – обиходно-разговорного языка.

Одним из центральных аспектов, интересовавших А. Г. Широкову на протяжении всей её научной деятельности, были проблемы формирования и функционирования литературного чешского языка. Она, по сути дела, на современном этапе лингвистической мысли развивала идеи Пражской лингвистической школы с опорой прежде всего на теорию литературных языков, разработанную одним из основоположников Пражской лингвистической школы академиком Богуславом Гавранком. Эта теория основывается, как известно, на функциональной концепции языка с учетом в том числе социальных факторов. Главный упор в ней делается на изучении внутриязыковых системных отношений. Это особенно важно подчеркнуть в связи с нынешним увлечением так называемыми новыми лингвистическими парадигмами. В теории литературного языка, по мнению Александры Григорьевны, важно понимание и осознание взаимосвязанности и взаимообусловленности языковых явлений. Это то, на что в свое время обращали особое внимание основатели Пражской лингвистической школы – академик Б. Гавранек и профессор В. Матезиус. Достаточно вспомнить в этой связи концепцию лингвистической характерологии В. Матезиуса. Функциональный подход к языку, как отмечала профессор А. Г. Широкова, требует учета его функциональной дифференциации, взаимосвязи с остальными формами существования национального языка, внимания к проблемам его динамического развития. Основные положения теории литературного языка достаточно полно изложены в двух монографических статьях: «Становление литературного языка чешской нации» [Широкова, Нецименко 1978] и «Вопросы функциональной стратификации национального чешского языка и некоторые тенденции его развития» [Широкова 1988].

Функциональный подход определил и направленность собственно грамматических исследований профессора А. Г. Широковой как в монологальном, так и в полилингвальном планах. На нем, в частности, основывается сопоставительный анализ вторичных функций грамматических категорий. Этой проблематике посвящен целый цикл статей и доклад на IX Международном съезде славистов (Киев, 1983 г.). И поскольку речь зашла о сопоставительном изучении языков, нельзя не сказать, что теория сопоставительной лингвистики в трудах профессора А. Г. Широковой обрела свою завершенность.

Большое внимание Александра Григорьевна уделяла вопросам методологии, методам и методикам сопоставительных исследований, строго разграничивая эти понятия. В её трудах по сопоставительному языкознанию в тесной связи с основополагающими понятиями методологии, научного метода разработаны определения языковой функции, базы сравнения, функционально-семантического эквивалента.

Методологические проблемы сопоставительного изучения родственных языков постоянно находились в центре внимания интересов профессора А. Г. Широковой. Эти вопросы нашли свое наиболее полное освещение в одной из последних её работ: «Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков», ставшей одним из разделов коллективной монографии, выполненной на кафедре славянской филологии филологического факультета. В этом разделе коллективной монографии как бы подводятся итоги исследованиям, посвящённым коммуникативно-прагматическим аспектам языкового функционирования. В центре внимания исследователя оказываются такие вопросы, как узальная и ситуативная эквивалентность, понятия эмоциональности и экспрессивности, их взаимозависимость и способы проявления на разных языковых уровнях.

Надеюсь, что даже такое схематичное изложение фактов исследовательской работы уже даёт представление о масштабности научной деятельности А. Г. Широковой. Однако профессора Широкову нельзя назвать кабинетным ученым. Она самозабвенно работала сама и умело организовывала и объединяла творческие группы единомышленников. Результатом этого стали многочисленные международные научные сборники по проблемам славянского языкознания. Вот некоторые из них: «Исследования по чешскому языку» (М., 1963); «Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками» (М., 1983); «Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского и чешского языков» (Прага, 1974); «Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков» (М., 1998).

Александра Григорьевна была прекрасным организатором науки, на протяжении двадцати лет руководила кафедрой славянской филологии филологического факультета. Хорошо осознавая потребность в учебниках, которые бы отвечали современному состоянию науки, она активно включилась в работу над учебниками и привлекла к ней коллег. Ею были созданы программы по всем аспектам лингвистической богемистики, она была автором и соавтором пяти учебников по чешскому языку, как практических, так и теоретических.

Еще один аспект научной и педагогической деятельности профессора А. Г. Широковой – это пропаганда чешского языка, чешской лингвистики и чешской культуры. Этим, в частности, объясняется большое количество её переводов на русский язык трудов чешских лингвистов: Фр. Травничека, О. Гуйера, Б. Гавранека, Я. Мукаржовского, Вл. Барнета и многих других. Деятельность Александры Григорьевны была по достоинству оценена в Чехословакии. Она была награждена многими наградами ЧССР, ей было присуждено звание Почетного доктора Карлова университета в Праге. Каждый приезд ее в Прагу в научных кругах по праву воспринимался как событие.

Профессор А. Г. Широкова была человеком высокого гражданского долга. Ее человеческая доступность и открытость органично сочетались с жесткой бескомпромиссностью. Примеров тому великое множество. Переубедить Александру Григорьевну было непросто, а иногда и невозможно. Но если она осознавала свою неправоту, то открыто, а если надо, и публично говорила об этом. Это качество, конечно же, неординарной личности, каковой и была профессор А. Г. Широкова, наш любимый Учитель.

Литература / References

1. *Широкова А.Г.* Вопросы функциональной стратификации национального чешского языка и некоторые тенденции его развития // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М.: «Наука», 1988. С. 41–84.

2. *Широкова А.Г., Нецименко Г.П.* Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М.: «Наука», 1978. С. 9–85.

«Чешско-русский фразеологический словарь»: жизнь и судьба¹

В. М. Мокиенко

«Czech-Russian phraseological dictionary»: life and destiny

Valery M. Mokienko

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/15-21

ABSTRACT. The report describes the history of the creation of the «Czech-Russian phraseological dictionary», initiated by A. Wurm and brought to completion by V. M. Mokienko. A. G. Shirokova was a permanent consultant to the compilers of the dictionary, which gave it a special theoretical status. The reporter will tell about the collaboration of the compilers with the Jubilent.

Keywords: A. G. Shirokova, Bohemistics, bilingual phraseology, Czech-Russian phraseological dictionary.

АННОТАЦИЯ. В докладе описывается история создания «Чешско-русского фразеологического словаря», инициированного А. Вурмом и доведённого до завершения В. М. Мокиенко. А. Г. Широкова была постоянным консультантом составителей словаря, что придало ему особый теоретический статус. Автор вспоминает о сотрудничестве составителей с Юбиларом.

Ключевые слова: А. Г. Широкова, богемистика, двуязычная фразеология, Чешско-русский фразеологический словарь.

Александра Григорьевна Широкова – одна из основательниц советской богемистики, инициатор многих славистических проектов, органически сочетавших глубокую теорию с потребностями практического обучения чешскому языку в отечественных вузах. Её исследования категории многократности чешского глагола до сих пор не теряют своей теоретической дальнобойности в славистике, как и подходы к изучению синсемантических частей речи. До сих пор злободневны и актуальны принципы анализа взаимоотношения стандартного чешского литературного языка и чешского просторечия – так называемой «обеспé čěštiny», которые помогают и сейчас решить многие социолингвистические проблемы, вызывающие дискуссии. Эта теоретическая линия успешно проецируется в современную лингвистику Г. П. Нещименко и другими учениками А. Г. Широковой.

Переводы А. Г. Широковой на русский язык таких классиков чешской лингвистики, как Фр. Травничек, О. Гуйер, Б. Гавранек,

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-512-00005 «Воздействие языкового наследия Библии на фразеологические подсистемы русского и белорусского языков (историко-этимологический, структурный, функциональный, сопоставительный аспекты)».

В. Скаличка, В. Барнет и др. не только познакомили советских филологов с достижениями пражской лингвистики, но и стимулировали мощное развитие функционального подхода к языку в нашей стране. Достаточно вспомнить о том, что один из признанных авторитетов в исследовании видовременных отношений русского глагола А. В. Бондарко был выпускником чешского отделения Ленинградского университета и обучался богемистике у Г. А. Лилич, близко сотрудничавшей с А. Г. Широковой.

Высокая теория у А. Г. Широковой постоянно поверялась практикой обучения студентов-богемистов. Её учебники (часть из которых написана в соавторстве с чешскими лингвистами) выходили из печати с завидной периодичностью и каждый раз отражали современное состояние богемистической дидактики: «Очерки грамматики чешского языка» (М., 1952), «Чешский язык» (М., 1961), «Чешский язык: Учебник для I и II курсов: Для студентов филол. спец. вузов» (в соавторстве с П. Адамецем, Й. Влчком, Е. Р. Роговской – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1988), «Чешский язык» (в соавторстве с В. Ф. Васильевой, А. Едличкой (М., 1990)). По этим учебникам учились практически все советские богемисты послевоенных выпусков. Сопоставительная же чешско-русская грамматика для студентов русского отделения государственных университетов СССР, изданная в 1990 году по инициативе А. Г. Широковой и при её активном участии, стимулировала интерес к чешскому языку у будущих преподавателей русского языка.

Это взаимодействие теории с практикой нашло отражение в первом послевоенном «Чешско-русском словаре» с внушительным словником в 52 тысячи вокабул, составленном А. И. Павловичем под редакцией П. Поглея и М. Венцовской, где А. Г. Широкова была автором краткого очерка чешской грамматики. Как и её «Очерки грамматики чешского языка» (М., 1952), учебник «Чешский язык» (М., 1961), сопоставительные исследования и учебные пособия, этот очерк стал «вратами учености» для многих советских богемистов. Но именно «инкрустация» её грамматики в словарь, изданный в 25 тысячах экземпляров, придала ему особый теоретический вес. Интерес к двуязычной лексикографии у московского слависта был постоянен и мы, петербургские богемисты, воспитанные в словарной традиции Б. А. Ларина, постоянно консультировались с А. Г. Широковой при составлении специальных словарей.

Один из них – «Чешско-русский фразеологический словарь», за работой над которым деятельно следила Александра Григорьевна. Идея его принадлежала профессору А. Ф. Вурму, который начал её практическое осуществление в конце 50-х годов. «Чешско-русский фразеологический словарь» был задуман им как часть большой лексикографической трилогии, включавшей ещё два фразеологических словаря: русско-чешский и чешско-немецкий. Каждый из словарей должен был содержать примерно 12 тысяч переводимых фразеологизмов. Во всех этих словарях предполагались не только эквиваленты на втором языке, но и

соответствия ещё на двух. Так, в первичных материалах «Чешско–русского фразеологического словаря» отдельные фразеологизмы сопровождались немецкими и словацкими параллелями. Упор в этой фразеологической трилогии делался на современное языковое употребление. Хотя в картотеке А. Ф. Вурма имелось немало эксцерпций из чешской классики, большая часть фразеологизмов была зафиксирована им именно в живой речи.

План, однако, не был осуществлен. В 1972 году Государственное педагогическое издательство в Праге получило от автора материалы для «Чешско–русского фразеологического словаря» в виде 6 тысяч карточек с фразеологизмами. Примеры на русский язык не переводились; немецкие и словацкие параллели приводились несистематично, лишь спорадически, и поэтому впоследствии от них пришлось отказаться.

По предложению А. Ф. Вурма в 1976 году в работу над словарем включился автор этих строк, который в тот же период самостоятельно собирал картотеку чешских фразеологизмов по художественной и публицистической литературе, а также в разговорной речи, готовя «Чешско–русский фразеологический словарь» примерно такого же типа для русских студентов-богемистов и чешских студентов-русистов. С авторами были заключены договоры о том, что мною материалы А. Ф. Вурма будут дополнены, эквиваленты расширены, стилистические пометы детализированы, а иллюстрации переведены на русский язык. В 1980 г. А. Ф. Вурм скончался, и работа была продолжена мною и редакторами Государственного педагогического издательства (*Státní pedagogické nakladatelství*, Прага) и издательства «Русский язык» (Москва) М. Венцовской, Д. А. Длуги и Н. Ф. Афониным. Ведущий редактор Пражского педагогического издательства д-р М. Венцовска выверила картотеку А. Ф. Вурма по четырехтомному Толковому словарю чешского языка (*Slovník spisovného jazyka českého. Díl 1–4. Praha: Academia, 1960–1971*) и дополнила её отсутствующими фразеологизмами. Она упорядочила отбор всего фразеологического материала по его частотности и употребительности в современном чешском языке. Над этой рукописью в течении нескольких лет велась напряженная редакторская работа в обоих издательствах. В неё включились и рецензенты: проф. В. Барнет, а после его кончины д-р В. Барнетова, которая с исключительной тщательностью довела её до конца. Благодаря замечаниям рецензентов автор внёс коррективы не только в разработку словарных статей, но и в свои теоретические воззрения на филологию.

Полностью завершённая и отредактированная, готовая к публикации рукопись «Чешско–русского фразеологического словаря», однако, так и не увидела свет, ибо в начале «лихих 90-х» славянская редакция издательства «Русский язык» была упразднена и договоры со «*Státním pedagogickým nakladatelstvím*» были расторгнуты. Лишь благодаря мос-

ковским редакторам, оперативно известившим меня об этой славистической трагедии, мне удалось в последний момент в двух рюкзаках перевезти отредактированную версию Словаря домой и сохранить результат этой почти полувековой работы нашей богемистической команды.

Тем более, что было что сохранять. Во многом наш Словарь, конечно, опирается на сложившуюся лексикографическую традицию двуязычной фразеологии: стержневой принцип расположения материала, систему последовательных компонентных отсылок, градацию эквивалентов и аналогов. Некоторые отличия в приемах обработки чешского материала обусловлены определенной структурно-семантической спецификой чешского языка по сравнению с другими языками или связаны с несколько иными теоретическими установками авторов. Но эти различия не имеют принципиального значения и представляют собой лишь небольшие модификации упомянутых принципов. Тем более, что в то же время в Словарь было внедрено важное (особенно для переводчиков), как кажется, лексикографическое новшество – попытка «идеографизации» описания с помощью отсылок на синонимы-аналоги. Тем самым этот словарь во многом отличается от вышедших в Чехословакии фразеологических словарей как учебного [Martínková 1953], [Smiešková 1977], так и академического [Fr. Čermák... SČF 2009 1–4] типа. Характерно в этом отношении, что лишь два года назад наши чешские коллеги под руководством Фр. Чермака издали заключительный, четвертый том своего фундаментального фразеологического словаря чешской фразеологии и идиоматики в виде ономаσιологического компендиума (SČF 2016). Разумеется, при этом мы с А. Ф. Вурмом учитывали как принципы отбора словника, так и лексикографический опыт своих чехословацких коллег.

Продемонстрирую указанные выше параметры нашего словаря на примерах фразеологии библейского происхождения. При всей их структурно-семантической универсальности в двух славянских языках мы пытались и характеризовать определённые различия при подборе русских эквивалентов к чешским библеизмам.

GOLGOTA

23. křížová cesta na Golgotu *bibl.*

– тернистый путь; путь на Голгофу; крестный путь

Srv. golgotská cesta

GOLGOTSKÝ

24. golgotská cesta *bibl.*

– тернистый путь; путь на Голгофу; крестный путь

Srv. křížová cesta na Golgotu

Ted' už má klid a pokoj. I tu poslední golgotskou cestu má za sebou. Теперь он уже успокоился. Позади уже и тот его последний путь на Голгофу.

GOLIÁŠ

zápas Davida s Goliášem v. D=54

GOMORA

Sodoma a Gomora v. S=300

KŘÍŽ

672. má s kým, čím [pravý] kříž

– [сущее] горе ему с кем, чем

Bože můj, to má stará Blažková kříž se svými dětmi! *E. F. Burian, Osm odtaamtud a další řady.* Боже мой, дети старой Блажковой – это ее крест.

Mluvili jsme všelicos, řekla jsem taky, jaký to máme s tím Taliánem kříž. *B. Němcová, Babička.* Мы говорили о всякой всячине, я сказала и о том, какое у нас сущее мученье с этим итальяшкой.

673. nést [trpělivě] svůj kříž

– [терпеливо] нести свой крест

Potom se snažila zapomenout. Sklonila hlavu, nereptala na svůj osud a trpělivě nesla svůj kříž. *Z. Jirotko, Saturnin.* Потом она пыталась забыть. Она склонила голову, не роптала на свою судьбу и терпеливо несла свой крест.

NEBE

84. (žít, mít se) jako v nebi

– жить (чувствовать себя) как в раю

Srv. je kde jako v ráji; mít nebe na zemi

Ted' jsem v Parkhotelu na terase, leží se mi tu jako v nebi, a za chvílku půjdu na večeri s fešáckým studentem. *N. Frýd, Kat nepočká.* Теперь я в «Паркоте́ле» на террасе, лежу себе тут как в раю, и через несколько минут пойду ужинать с симпатичным студентом.

ZEMĚ, ZEM

země oplývající mlékem a strdím v. M=187

161. země, též zem zaslíbená

– земля обетованная; обетованная земля; обетованный край

Koncem minulého století se zdálo, že prudce rostoucí poptávka po kaučuku učiní z Amazonie zemi zaslíbenou. *Co vás zajímá.* В конце прошлого века казалось, что быстро растущий спрос на каучук делает Амазонию землей обетованной.

Наш многолетний труд, запечатлевший чешскую фразеологию в ее контекстных иллюстрациях из классики и современной литературы и разговорной речи, так и не был опубликован, несмотря на многочисленные попытки предложить его рукопись русским и чешским издателям.

И лишь пожертвовав контекстными иллюстрациями, нам удалось издать его «дайджестный» вариант в Оломоуцком университете благодаря неоценимой поддержке проф. Л. И. Степановой и главного редактора университетского издательства пани доктора Ганы Дзиковой [Mokienko 2002]. Памятуя, что Надежда умирает последней, автор этих строк продолжает пополнять словник Словаря, консультируется с чешскими коллегами (особенно с проф. Фр. Чермаком) и ждёт издательской оказии. Ждёт ещё и потому, что работа над этим Словарём у автора этих строк была постоянно связана с дружеским и пиететным общением с Александрой Григорьевной Широковой.

В каком-то смысле «судьбоносным» событием для воспоминаний о наших встречах для меня оказалась только что прошедшая фразеологическая конференция в Карловом университете, на которой я был неделю тому назад. Я в Праге специально прошёл по улице Длоуге в Старом месте и заглянул в старинную гостиницу Карлова университета, где мне посчастливилось в 70-е и 80-е годы несколько раз по 2–3 недели жить в одной гостинице с Александрой Григорьевной. Величественная архитектура этой гостиницы несколько противоречила тому скромному денежному вспомоществованию нашего министерства, которое нам выделялось на командировочные расходы. А поменять на кроны, как помнит моё поколение, разрешалось в то время всего лишь 30 советских рублей. Из вынужденной экономии мы с А. Г. Широковой каждое утро завтракали в одном из наших номеров поочерёдно и варили чешские «шпекачки» нашими советскими нагревателями, заедая их аппетитными свежими чешскими рогликами. Разговоры за такими длительными завтраками в просторных номерах с высокими барочными потолками университетского отеля мне помнятся до сих пор. А советы Александры Григорьевны и сейчас помогают мне в словарной работе и в преподавании.

Особенно же помнятся её суждения о современной ей славистике и богемистике, воспоминания о её учителях – А. М. Селищеве, Р. И. Аванесове и С. Б. Бернштейне, и, конечно, – о наших живых ещё в её время классиках пражской лингвистики – Фр. Травничке, Б. Гавранеке, А. Едличке... Помню, как она живо и с юмором, только ей свойственным, рассказывала о своей недавней тогда встрече с щеголеватым и галантным А. В. Исаченко, только что вернувшимся из Калифорнии и поразившим её женское воображение ослепительно белым костюмом и шикарным (как мне кажется, тоже ослепительно белым) дорогим автомобилем... Но еще более была она восхищена его лингвистической логикой...

Кстати, и моя Наставница в богемистике, незабываемая Галина Алексеевна Лилич, дружившая с Александрой Григорьевной Широковой, тоже неоднократно с восхищением говорила об идеях А. В. Исаченко, на лекции которого она, будучи аспиранткой в Праге, ездила

каждую неделю в Оломоуц. До сих пор мне помнится её лекция о теории семантической универбизации, прочитанной нам на 2-м курсе...

О нашей Г. А. Лилич я вспомнил сейчас не случайно. Ведь именно ей, как мне кажется, принадлежит одна из лапидарных, но исключительно точных и душевных характеристик А. Г. Широковой и её научного наследия. В статье «Вспоминая А. Г. Широкову. Несколько слов о ведущем отечественном богемисте послевоенных лет», открывающей сборник, посвященный Александре Григорьевне, изданный в 2009 году, наша Галина Алексеевна Лилич пишет: «Время не силах изгладить из памяти жизнерадостный, одухотворенный облик Александры Григорьевны Широковой... С годами же мы всё яснее осознаем значимость её роли в развитии нашей славистики и, в особенности, богемистики...» [Лилич 2009: 7]. И действительно, – «жизнерадостный, одухотворенный облик Александры Григорьевны» продолжает воодушевлять и вдохновлять нас в исследовательских разысканиях. А главное – укреплять в нас любовь к чешскому языку и богемистике, которой она посвятила всю свою жизнь.

Литература / References

1. *Лилич Г. А.* Вспоминая А. Г. Широкову. Несколько слов о ведущем отечественном богемисте послевоенных лет // Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный памяти заслуженного профессора МГУ Александры Григорьевны Широковой / Ред. колл.: В. В. Красных, А. И. Изотов, В. Г. Кульпина. М.: МАКС Пресс, 2009. Вып. 38. С. 7–8.
2. *Čermák Fr.* ... SČF 2009 1–4: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Díl 1–4 / Fr. Čermák a kolektiv. Praha: LEDA, 2009.
3. *Martínková M.* Rusko-český slovník frazeologický. Praha: SPN, 1953.
4. *Mokienko Valerij M., Wurm Alfréd.* Česko-ruský frazeologický slovník. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 659 s.
5. *Smiešková E.* Malý frazeologický slovník. 2. vyd. Bratislava, 1977.
6. SČF 2016, 5: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Onomaziologický slovník. František Čermák a kolektiv. Praha: LEDA, 2016. 527 s.

**Производные слова с корнями *шур-* / *szer-* в русском
и польском языках. Лексический комментарий
к фамилии *Широкова***

Н. Е. Ананьева

**The derivative words with the roots *шур-* / *szer-* in Russian
and Polish. The lexical comments to the surname *Shirokova***

Natalya E. Ananyeva

ABSTRACT. In this paper the words derived from the roots *шур-* and *szer-* in Russian and Polish are analyzed both in synchronic and diachronic aspects. The author considers the differences and resemblances between the semantic features, the functions and the derivation of these words.

Keywords: Russian; Polish; roots *шур-* / *szer-*; etymology; word formation; semantic.

АННОТАЦИЯ. В данной статье анализируются дериваты с корнями *шур-* и *szer-* в русском и польском языках в синхронном и диахронном аспектах. Автор рассматривает различия и сходства в семантике, функционировании и словообразовании этих слов.

Ключевые слова: русский язык; польский язык; корни *шур-* / *szer-*; этимология; словообразование; семантика.

Данная статья отражает два направления в научных изысканиях проф. А. Г. Широковой. Если первое (интерес к славянским, в частности чешским фамилиям, отличающимся своеобразной структурой: ср. образования от формы родительного падежа имени типа *Leška* от *Lešek* или претеритные формы типа *Doležel*) нашло выражение только в сборе соответствующего материала и не отражено в публикациях выдающейся богемистки, то второе (интерес к сопоставительному изучению славянских языков и в первую очередь чешского и русского идиомов) представлено и в трудах самой А. Г. Широковой, и в редактируемых ею сборниках по сопоставительному исследованию славянских языков.

I. Этимология общеславянского корня **šir-*, лежащего в основе фамилии Широкова, остается неясной. А. Брюкнер, с чем склонен согласиться П. Я. Черных, возводил его к и.-е. **skei-* (*r*) 'чистый, прозрачный', относя сюда же континуацию *szczyr-* / *szczere-*. Черных допускает перестановку на славянской почве (*sk* > *ks*, далее *kch* > *ch* > *š*), объясняя таким образом появление начального *š* и полагая, что «широкий» в какой-то степени соотносится с 'открытый', 'ясный' [Черных П 1994: 413]. Ср. в связи с этим польск. *szczere pole* 'чистое, (открытое) поле'. Любопытно вспомнить в свете соотносимости *широкого* с *открытым* и *ясным* общеизвестные строки Н. А. Некрасова из «Железной дороги» как «провидческие» в этимологическом отношении: «Вынесет всё – и

*широкую, ясную / Грудью дорогу проложит себе». Доказательством того, что в корне *szyr-* / *szer-* содержится семантика 'чистоты', служит польск. диал. *Szeroka* 'Богоматерь', т.е. *пречистая* дева [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1952: 606].*

Таким образом, семантика фамилии Александры Григорьевны Широковой находится в полной гармонии с ее духовным обликом, для которого характерны *широта* натуры и научных интересов, *ясность* ума, *чистота* помыслов и *искренность* (ср. польск. *szczyry*, укр. *щирий*).

Формальное современное различие в огласовке польского и русского корней обусловлено начавшимся в польском языке с XII в. и продолжавшимся на протяжении пяти веков процессом изменения групп *ir* / *irz* и *yr* / *yrz* (как из **ǫ*ʹ, так и исконных) в *er* (первые примеры отмечены уже в «Гнезненской булле» 1136 г.: *Zwierszow* и *Sieradz*). Поскольку процесс замены *ir* / *irz*, *yr* / *yrz* на *er* осуществлялся в течение длительного времени, в памятниках польского языка и в польских диалектах мы встречаем и генетически более ранние формы с *i* / *y* перед *r*. Варианты с *ir* / *yr* и *er* представлены и польских фамилиях с этим корнем в отличие от русских с *ир*. Так, Н. М. Тупиков в «Словаре древнерусских личных собственных имен» приводит такие антропонимы (В. К. Чичагов упрекает его в том, что он не различал фамилии и отчества): *Ширайчич* (Левко), *Ширинкин* (Васка), *Ширин* (Остаф Иванович), *Ширкович* (Ничпор и Иеремей), *Ширков* (Куша и Мосята Степанович), *Ширневич* (Андрей), композиты *Широбоков* (Гаврило), *Широкоплечиков* (Левонтий), *Широносов* (товарищ Яковлев и Павел), *Широхов* (?) (Андрей Афонасьевич), *Ширшеев* (Василий и Леонид), *Ширяев* (приводится большое число носителей этого антропонима), *Ширякин* (Окатко), *Ширялин* (?) (Потаник). [Тупиков 2005: 898].

В списке же фамилий, приведенных в Интернете в качестве функционирующих в настоящее время на территории Польши, представлены как образованные от корня *szer-*, так и от корня *szyr-* (и с корнем *szyrz*). С корнем *szer-*: *Szeroki*, *Szer*, *Szerokowski*, *Szerol*, *Szerul*, композиты *Szeronos* и *Szerokwas*, *Szeryński*, *Szierok*; с корнем *szyr-*: *Szyroka*, *Szyroki*, *Szyroków*, *Szyrocki*, *Szyrowski*, *Szyrski*, *Szyrsz* (?), *Szyry*, *Szyryn*, *Szyryński*, *Szyrkowicz*, *Szyrkowieć*, *Szyrkowski*, *Szyrko*, *Szyrej*, *Szyra*, *Szyran*, *Szyr*, композит *Szyrenos* (ср. выше аналог с *szer-* *Szeronos*), *Szyrzysko*, *Szyrzisko*. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что корень *szyr-* часто представлен на востоке Польши (Белосток, Хайнувка, Бельск Подляский), а также в ее западной и поморской частях (Вроцлав, Валбжих; Гданьск, Щецин), куда после Второй мировой войны (на так называемые «вновь обретенные земли» – польск. *Ziemie Odzyskane*) переселялись поляки с Западной Украины, т.е. с восточных польских «Кресов». Таким образом, часть фамилий с корнем *szyr-* могла иметь восточнославянское происхождение, не будучи примерами сохранения архаического польского варианта.

II. В части статьи, касающейся сопоставительного аспекта изучения славянских языков (так называемой микротипологии [Барнет 1983: 13]), остановимся на двух моментах.

1. Сопоставление между столь близкородственными языками, которыми являются славянские языки, должно проводиться для определенного синхронного среза и для определенной функциональной (или территориально-функциональной) разновидности языка. Традиционно сопоставление осуществлялось между современными литературными славянскими языками, поскольку само сопоставительное языкознание (конфронтативная или конфронтационная лингвистика) развилось в связи с потребностями преподавания иностранных языков (в их литературной форме) в иноязычной среде, в нашем случае – инославянских в русскоязычной среде. Но сопоставлять можно и иные периоды в развитии славянских языков (XIX в., XVIII в., XVII в., XVI вв. и т. д.). Причем чем более глубинный синхронный срез сопоставляемых языков мы возьмем, тем меньше различий будет между славянскими языками. Современному инвентарю словообразовательных средств, образующих в польском и русском языках словообразовательные типы идентичной частеречной принадлежности, в диахронии могут соответствовать иные аффиксы. То, что различает в этом отношении современные славянские языки (в нашем случае польский и русский), для более раннего периода может совпадать. Так, в современном русском языке абстрактные существительные с корнем *шир-* образуются с помощью суффиксов *-ота* (*широта*) и *-ø* (*ширь*), в то время как в польском – с помощью суффиксов *-ość* (*szerokość*) и *-izna* (*szerzyzna*). Но в польском языке более раннего периода представлены и другие суффиксы: *-ina* (*szerzyna*): в XVII в. у В. Потоцкого – *Wielkiej Grecyi minąwszy szerzyny*, *-a* (*szyrza / szerza* в «Шарошпатацкой библии» 1455 г.: *Półtora na szyrzą* [Reczek 1968: 485] и *-ø* (*szierz / szyrz*), о чем свидетельствует и современное наречие *wszerz* ‘в ширь, в ширину’. Если же мы возьмем иную функционально-территориальную разновидность польского языка – диалекты, то увидим, что кроме известных более раннему периоду развития польского языка суффиксов (*-yna: szerzyna; -a: szerza*) добавляются еще дериваты с суффиксами *-awa* (*szerzawa*), *-k* (*szertzka*), *-yń* (*szertzń*) и образование на *-ynia* (*szertzynia*) [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1952: 608–609]. Последний дериват является типичной особенностью польского периферийного диалекта северо-восточной разновидности, где суффикс *-ynia / -inia* (белорусизм) образует параметрические существительные типа *szertzynia, wielezynia, głębinia* (зафиксировано у А. Мицкевича), *wyżynia*.

Если в современном русском языке, в отличие от современного польского литературного языка, функционируют конкретные существительные от корня *шир-*: *ширинка* в трех значениях 1. платок,

полотенце (ср. у Н. Клюева в метафорическом употреблении: *Али дождиком ты не умывана, / Не отерта туманом-ширинкою*) [о дороге – Н.А.] [Клюев 2014: 31]; 2. полоса ткани в передней части брюк (польск. *rozporek*); 3. архитект. жарг. ‘вкрапления’; *ширево* ‘наркотики’ (в арго наркоманов), – то в более ранний период истории польского языка в нем также были известны существительные с предметной семантикой: *szeroczek* ‘широкий деревянный или глиняный сосуд для молока’, *szurzynka* ‘платок’, и эти лексемы сохранились в диалектном польском языке [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1952: 606, 706]. Или еще пример различий в словообразовательной и лексической мощности производных от корня *szur-* / *szer-* в современных русском и польском литературных языках, касающийся большей активности адъективных композитов с первой частью *широко-* в русском языке по сравнению с литературным польским. В польском тоже есть такие образования (5 слов в «Большом польско-русском словаре» Д. Гессена и Р. Стыпулы: *szerokobary*, *szerokoekranowy*, *szerokonosy*, *szerokolistny*, *szerokotorowy* [Гессен, Стыпула 1980 II: 399]). При отсутствии подобного композита в польском языке соответствующее образование русского языка переводится на польский конструкцией «предлог *o* + предложный падеж» словосочетания, состоящего из прилагательного *szeroki* и определяемого им существительного: *широкополый* – *o szerokim rondzie*, *широколобий* – *o szerokim czole*. Но если мы возьмем словари более раннего периода, то увидим, что таких композитов в литературном польском языке было гораздо больше. Так, в «Иллюстрированном словаре польского языка» М. Арцта (1929) зафиксировано 12 подобных слов: *szerokobrzmiący*, *szerokodzioby*, *szerokogębny*, *szerokogłowy*, *szerokolistny*, *szerokonosy*, *szerokopleczny* / *szerokopleczy*, *szerokopyski*, *szerokoramienny*, *szerokosiężny*, *szerokoslynny*, *szerokostopy* [Arct(a) 1929: 876], а в «Варшавском словаре» (1915) представлено более 50 композитов, причем таких, которым в современном литературном польском языке соответствует конструкция с предлогом *o* (например, *szerokoczelnny* и *szerokoczolasty* = *o szerokim czole*) [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1952: 607–608].

В обоих литературных языках гипокористики и другие модификации от прилагательного *szeroki* – *широкий* представлены минимально (ср. *широконький*, *широченный*, суперлатив *широчайший*, *szerokuński*). В диалектах же подобных образований гораздо больше. Ср. польск. *szeroczachny*, *szeroczalki*, *szeroczki* / *syrocki* (с мазурением) ‘низкий и широкий’ (наряду со значением ‘низкий’ указывается как второе значение), *szerokuczny*, *szerylachny* ‘bardzo szeroki’ [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1952: 606].

Таким образом, занимаясь сопоставлением тех или иных фрагментов морфологии, словообразования, лексики и других уровней славян-

ских языков, следует сопоставлять между собой явления изохронного характера, относящиеся к изофункциональным разновидностям сопоставляемых идиомов.

2. Второй момент, на котором нам хотелось бы остановиться, это дифференциация понятий «системный эквивалент» и «узуальный эквивалент» (или общепринятый переводной эквивалент). Различные типы эквивалентности, в том числе четыре для сравнительно-сопоставительной (или конфронтационной лингвистики) постулируются Вл. Барнетом в его классической статье в сборнике «Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками» (1983), редакторами которого были А. Г. Широкова и Вл. Грабье. Для сравнительно-сопоставительной лингвистики Вл. Барнет выделяет следующие виды эквивалентности: системно-функциональную на основе интерных функций, системно-функциональную на основе экстерных функций, узуальную и ситуативно-языковую [Барнет 1983: 26]. Совпадая по исходной семантике корня, производные от русского *шир-* и польск. *szer-*, образуемые с помощью идентичных словообразовательных средств, относятся (хотя и не всегда) к системным эквивалентам (ср. русск. *широкий* и польск. *szeroki*, русск. *ширеть* – польск. *szerzyć*). При этом в ряде случаев системная эквивалентность может не совпадать с узуальной. Так, семантическая эквивалентность лексем *широкий* и *szeroki*, *ширеть* и *szerzyć* не исключает их узуальной неэквивалентности, когда в определенных контекстах прилагательному или глаголу с корнем **šir-* в одном из двух сопоставляемых языков соответствует прилагательное или глагол с другим корнем. Ср. русск. товары *широкого* потребления (универб *ширнопреб*) – польск. artykuły *powszechnego* użytku или artykuły *masowego* spożycia, русск. *широкий* читатель, польск. *masowy* czytelnik, русск. *широкий* шаг, польск. *zamaszysty* krok, польск. na *szerokim* świecie – русск. во *всем* мире, польск. *pójść w szeroki* świat, *włożyć się po szerokim* świecie – русск. пуститься по *белу* свету, скитаться по *белу* свету, польск. *opowiedzieć szerzej* – русск. рассказать *подробнее*, польск. *szerzyć* wiedzę – русск. *распространять* знания (и производные номинации лиц: польск. *szerzyciel* – русск. *распространитель*, польск. *szerzycielka* – русск. *распространительница*), польск. *szerzyć* panikę – русск. *сеять* / *распространять* панику, польск. *szerzyć* pogłoski – русск. *распространять* слухи.

Обращает на себя внимание отсутствие и в современном польском языке, и на более ранних этапах его развития аналога с корнем *szer-* для русского устар. *ширять* / *ширяться* в значении ‘широко взмахивать крыльями’ (употреблялось еще в «Слове о полку Игореве», отмечается в литературе XIX – начала XX в.: в Словаре Д. Н. Ушакова приводятся примеры из Н. А. Некрасова и К. Фофанова) [Ушаков 2001: 620]. Омофон *ширяться* представлен и в современном русском языке (в арго

наркоманов в значении ‘колоть наркотики’). С другой стороны, современный русский литературный язык более «экономен» в использовании префиксов для образования приставочных глаголов с корнем *шир-*: русской паре с префиксом *раз-* (фонетический аллофон *рас-*: *расширить* – *расширять*) соответствуют 2 пары польских приставочных глаголов (*rozszerzyć* – *rozszerzać* и *poszerzyć* – *poszerzać*). Соответственно, в зависимости от контекста польские префиксальные глаголы с приставкой *po-* переводятся на русский язык или эквивалентом с префиксом *раз-* (*рас-*), или глаголом с другим корнем: *poszerzać wiedzę* – *расширять знание* (*ширить знание*) // *rozszerzać wiedzę* – *распространять знание*.

Литература / References

1. Барнет Вл. К проблеме языковой эквивалентности при сравнении // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. Под ред. А. Г. Широковой и Вл. Грабье. М.: Изд-во Московского университета, 1983. С. 9–29.
2. Гессен Д., Стыпула Р. Большой польско-русский словарь. Т. II. P–Z. М.–Варшава. 775 с.
3. Клюев Н. Прядётся жизнь. Стихи. Вытегра, 2014. 48 с.
4. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. М.: Языки славянской культуры, 2005. 904 с.
5. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. Том 3. P–Я. М.: Вече, 2001. 672 с.
6. Черных П.Я. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Русский язык, 1994. 413 с.
7. Arct(a) M. Słownik ilustrowany języka polskiego. Wydanie trzecie. Tom drugi. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, 1929. 1211 s.
8. Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. Wydanie fotoofsetowe. Tom szósty. S–Ś. Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952 [Warszawa 1915]. 794 s.
9. Reczek S. Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1968. 933 s.

Славянская лексикология, ономастика и этимология

Двуязычный авторский словарь

Т. Е. Аникина

Bilingual author's dictionary

Tatiana E. Anikina

ABSTRACT. At the Department of Slavic Philology of St. Petersburg State University and in the MSC named after prof. B. A. Larin is working on a new type of dictionaries: bilingual dictionaries of the writer's language, conceived by Larin. Such dictionaries have a dual purpose: on the one hand, these are author's dictionaries, on the other hand, explanatory dictionaries of one or another language. At the same time, the idea of L. V. Scherba about a foreign explanatory dictionary in the language of students, which was seen by the scientist as the ideal of a bilingual dictionary. Two academic translations of copyright dictionaries, defended as master's theses at the Department of Slavic Philology at St. Petersburg State University: clearly show the relevance of Larin ideas and the need to create bilingual copyright dictionaries.

Keywords: author's lexicography, bilingual lexicography, M. Pujmanova, N. Vaptsarov, I. Kraus, W. Szymborska.

АННОТАЦИЯ. На кафедре славянской филологии СПбГУ и в МСК им проф. Б. А. Ларина ведется работа над новым типом словарей: двуязычными словарями языка писателя, задуманными Лариным. Такого рода словари имеют двойное назначение: с одной стороны, это авторские словари, с другой, толковые словари того или иного языка. При этом реализуется замысел Л. В. Щербы об иностранном толковом словаре на языке учащихся, который виделся ученому как идеал двуязычного словаря. Два учебных переводных авторских словаря, защищенные как магистерские диссертации на кафедре славянской филологии СПбГУ, наглядно показывают актуальность ларинских идей и необходимость создания двуязычных авторских словарей.

Ключевые слова: авторская лексикография, двуязычная лексикография, М. Пуйманова, Н. Вапцаров, И. Краус, В. Шимборская.

При всей интенсивности лексикографических разработок, при всем многообразии издаваемых словарей в словарном деле существуют определенные лакуны, к одной из которых и хотелось бы обратиться. Речь пойдет о двуязычной авторской лексикографии, теоретической разработкой и практическим воплощением которой занимается группа славистов СПбГУ.

Идея создания двуязычных словарей языка писателя принадлежит Б. А. Ларину. Она возникла одновременно с разработкой Лариным и его учениками принципов создания словаря языка М. Горького [САТГ], которые и легли в их основу.

Двуязычные авторские словари были призваны описать идеостиль, семантико-стилистическую систему иностранного автора на основе всего его творчества или одного, «центрального» произведения, используя лексико-грамматические ресурсы родного, русского языка [Очерки...1981]. Таким образом словари получали двойное назначение: с одной стороны, они оставались авторскими словарями, с другой, становились толковыми словарями того или иного языка. При этом реализовывался замысел Л. В. Щербы об иностранном толковом словаре на языке учащихся [Щерба 1974: 301], который виделся ученому как идеал двуязычного словаря.

Следует заметить, что ход развития лексикографии начала XX подводил к мысли о создании такого рода словарей. Два француско-русских словаря, появившихся в 1900-е годы каждый по-своему реализовывали данную идею [Каменский 1900¹, Редкин 1906²]. Появление словарей связано с размышлениями авторов о способе преподавания иностранных языков, размышлений, созвучных взглядам Щербы. «При изучении иностранного языка приходится усваивать себе не только новую звуковую форму слов, но и новую систему понятий, лежащую в их основе <...> Обучаясь им, мы скоро убеждаемся, что действительность в разных языках представлена по-разному: каждое новое иностранное слово заставляет нас вдумываться в то, что кроется за ним <...>» [Щерба 2001]. Ученый считал необходимым не просто переводить иностранное слово, но и давать ему развернутое толкование на своем языке. Словарь Каменского, основываясь на Ларуссе, переводит с французского языка на русский французское толкование французского слова. В словаре Редкина осуществляется попытка объяснить на русском языке значение французских слов. Разумеется, оба словаря лишены цитирования, то есть контекстов употребления слова в иностранном языке.

В Межкафедральном Словарном Кабинете (МСК) филологического факультета ЛГУ/СПбГУ под руководством Ларина началась работа над

¹ Словарная статья словаря Каменского: *Jeu n. m. Divertissement, récréation; ce qui sert à jouer à certains jeux; manière de toucher les instruments; manière de jouer d'un acteur; aisance, facilité de se mouvoir.* Развлечение, увеселение, игра, т.е. то, что служит для игранья в некоторые игры; манера играть на инструментах, т.е. музыкальная игра; актерская манера играть, т.е. сценическая игра; легкость передвижения.

² Словарная статья словаря Редкина: *Anonyme – (~ НІМ) [греч.] I а. анонимный, безымянный, без подписи фамилии; особ. Société ~ f. торговая, акционерская компания, в фирме которой не значится ни одной фамилии ее участников. II s. m. 1. автор, фамилия которого остается не названною. 2. сочинение без фамилии автора. 3. анонимность (тайна относительно имени).*

созданием двуязычных писательских словарей. В качестве материала для лексикографического описания выбирались авторы и произведения, в которых наиболее полно отразился язык эпохи. Это были: роман Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми», творчество Степана Митрова Любиши, «Мост на Дрине» Иво Андрича, поэзия Николы Вапцарова. Для чешско-русского объяснительного словаря была избрана трилогия Марии Пуймановой «Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь против смерти» (1937–1952). Работа авторов-составителей получила теоретическое осмысление в коллективной монографии «Очерки лексикографии языка писателя. Двуязычные словари» [Очерки 1981].

Остановливаясь на личности Марии Пуймановой, составители словаря руководствовались несколькими соображениями. Во-первых, и это главное, в творчестве писательницы со всевозможной полнотой отразился язык Первой республики, во-вторых, творчество писательницы проделало путь от модернизма к реализму, что было свойственно многим талантливым писателям XX века, в-третьих, писательницу с детства окружали люди, живущие активной интеллектуальной жизнью, тонко чувствующие национальный язык и понимающие национальную культуру³. Такое окружение оказало влияние на богатство языка писательницы, на его образную систему.

Структура словарной статьи двуязычного авторского словаря непривычна. Вначале приводится заголовочное слово на языке оригинала; грамматические пометы, толкование и перевод даются на русском языке; иллюстрирующие цитаты на языке оригинала.

REALKA, ж. *Среднее учебное заведение с преобладанием в программе точных и естественных наук; реальное училище, реалка. Když slečna Kazmarová vyučovala v kostelské reálce, nemusela se tak hlídat jako na pražském dívčím gymnáziu.* Н 219 [СТМП].

ВИКНА, сов. *Сказать что-н громким голосом, воскликнуть. / перен. (в олицетв.) Човекът спокойно, тъй – дума/ след дума/ и твърдо редила песента./---Усмихнати чули звездите отгоре/ и викнали! «Браво, човек!»* 44 [СПНВ].

В 2018 г. на кафедре славянской филологии СПбГУ были защищены две магистерские диссертации, представляющие собой учебные дифференцированные двуязычные авторские словари: словарь рассказа Ивана Крауза «Мужчина и домашнее хозяйство» [Рыжкова 2018]. и словарь Виславы Шимборской (на материале античной и театральной лексики) [Кононов 2018].

³ Так, ее отец, Камил Геннер, был преподавателем церковного права Карлова университета. Дед по матери, Йозеф Милд, был адвокатом и старочехом по убеждениям, его жена, бабушка писательницы, принимала активное участие в патриотическом движении середины XIX века в Чехии.

KOTLETA, ж. Кусочек мяса на ребрышке, готовая еда из него; отбивная котлета. Večeříme každý kotletu. Já i pes [Рыжкова 2018].

LÓDKA, ж. Транспортное средство для путешествий по воде; лодка, ладья – с аллюзией ладья Харона, перевозившая души умерших в подземное царство Лиды. I setki motorówek zamiast tamtej łódki /ze zbutwiałego przed wiekami drewna (Nad Styksem) [Кононов 2018].

Два учебных словаря наглядно показали двойственную сущность переводных авторских словарей: словарь Шимборской стал, в первую очередь, авторским словарем, исследующим стиль писательницы. Словарь Крауза – толковым словарем чешского языка на языке учащихся, преследующем учебные цели. На материале словаря впоследствии был создан ряд упражнений, закрепляющих новую лексику.

Лексикографическая работа студентов имеет, как представляется, важное методическое значение: она способствует не только более глубокому пониманию изучаемого языка, но и вырабатывает навык внимательного отношения к семантическим системам родственных языков.

KEKS, м. Хлебобулочное изделие, выпекаемое или высушенное для подачи к чаю или кофе; крекер, сухое печенье. Pes měl pařtíku – paté de canard – jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako desert [Рыжкова 2018]. Словарная статья показывает, что чешское *keks* соответствует русскому понятию *крекер*, а не *кекс*.

Двуязычный авторский словарь обладает не только методической ценностью, его помощь переводчику поистине бесценна. Так, словарь задает направление в подборе синонимов при переводе. Например, в Словаре Марии Пуймановой *perfidní* толкуется как ‘лицемерный, низкий, подлый’; *referent* ‘газетный сотрудник, добывающий информацию о происшествиях и событиях местной жизни; журналист, корреспондент, обозреватель, репортер’[СТМП].

Выполняя функцию «толкового словаря на языке учащегося», словарь толкует не только значения слов и их оттенки, но и устойчивые сочетания, иллюстрируя их употребление.

REFLEX, м. Непроизвольная реакция живого организма на внешнее раздражение; рефлекс. > **Gamzovský reflex**. Об обостренном чувстве справедливости, стремлении к правде у членов семьи Гамзы. “Až přijde válka, bude líp”. “Co to povídáte ?” “Bat` ubude lidí. Nebudeme se starat, dostaneme jíst, budeme válčit”. Helenku strhl gamzovský reflex. Zavolala z dívčího kouta směšně nahlas, jako člověk, který se protřhl z dřímoty: “Vždyť vás zabijou!” L 354. > **Kazmarovský reflex**. О привычном страхе перед наказанием, прививавшемся рабочим фабрики Казмара. Co jsem provedl, že mě volá na koberec, pomyslí Ondřej, když ho Sofija Alexandrovna k sobě pozvala. Ozval se v něm kazmarovský reflex. Proč by člověka volali? Aby mu vynadali, pro co jiného. Ž 33 > **Lekarský reflex**. Мгновенный порыв, в первую очередь свойственный врачам, оказать помощь пострадавшие-

му. Helenka sebou cukla běžet k ní [cikance] s první pomoci – to už je takový lékařský reflex. L 134 [СТМП].

Значения устойчивых сочетаний становятся предельно ясными. Одновременно, благодаря цитатам, видно, что языковая норма писателем не нарушается, креативность авторской речи осуществляется не за счет девиаций.

В определениях слов там, где это необходимо, вводятся элементы энциклопедизма. В первую очередь, это касается реалий. Так, в Словаре трилогии М. Пуймановой *fertoch* означает ‘часть народного костюма: передник с богатыми сборками; передник, фартук’ [СТМП]. Реалии предполагается снабжать иллюстрациями (картинками).

Не менее интересны образные употребления слов. Чешское *dubovi* толкуется как ‘заросли дуба; дубняк’. Далее следует образное употребление слова, снабженное толкованием ‘о дубовых веточках на черном фоне на петлицах униформы высшего командования фашистской армии’. Z časopiseckých stánků a za skly výkladních skříní se na Stan’u odevšad díval Heydrich s úzkou hlavou ptakoještěřa, dubovi z teutonského pralesa na výložcích, okrášlen smutečným florem. Ž 149 [СТМП].

В подобных случаях словари могут оказать важную услугу для понимания иноязычного текста разных авторов (не только тех, к творчеству которых составлен словарь), поскольку для того, чтобы понять, что за реалия описывается писателем, составителям словаря иной раз приходится проводить целое исследование.

Выявление различных аллюзий, включая интертекстуальные связи текста, – одна из сложнейших лексикографических задач. Двуязычные словари языка писателя могут внести свою лепту в решение и этой проблемы. В словарях существует помета – с аллюзией. Так, в Пуймановском словаре *velká Praha* вызывает аллюзию ‘центральная часть города’, *stará Praha* ассоциируется с пражской стариной. Аллюзия к сочетанию *veselá Praha* ‘Прага двадцатых годов, с собранием левоориентированной интеллигенции в барах, кафе’. Аллюзия, вызываемая сочетанием *černá Praha*, пространно объяснена как ‘Прага, почерневшая от заводского дыма, с домами, построенными из черного камня в духе конструктивизма’ [СТМП].

Двуязычные авторские словари отражают специфику художественной речи. Они описывают и комментируют авторский стиль, демонстрируя не только стилистические предпочтения писателя, но и литературного жанра, направления и эпохи в целом. Для того, чтобы выполнить эту задачу составителями словарей выработан целый ряд достаточно дифференцированных лексикографических помет (– в олицетв., – олицетв., – в контексте олицетв., – метоним, – сравн., – в сравн., – в контексте сравн. и др), демонстрирующих путь изменения значения слова общенародного языка от нейтрального номинативного

значения до значения эстетического через семантические «приращения» [Ларин 1974] со специальным авторским заданием. Эти приращения смысла отчетливо видны в двучленных метафорах (Веселовский): сравнениях, сопоставлениях. Затем двуплановость становится не столь очевидной, метафоры переходят в разряд одночленных [Аникина 2012]. Наивысшее проявление специфически авторского эстетического значения можно наблюдать в идиологемах, которые в словарях получают специальную помету *косой крест* X. Как правило, они не сопровождаются толкованиями. Это делается для того, чтобы не навязать писателю точку зрения составителей словаря. Выделение идеологем специальной пометой позволяют судить о мировоззренческой позиции автора. [Очерки...1981].

Словарные статьи двуязычных толковых словарей языка писателя построены таким образом, что они показывают логику построения образа, движение от нейтрального словоупотребления к сравнению, затем к метафоре, и к эстетическому значению слова, идеологеме, к авторскому концепту [Аникина 2012]. Наглядное представление этих механизмов делает возможным выстраивание функциональной системы, адекватной авторской, используя потенции иного языка, что представляется важным, например, для создания эквивалентного перевода.

Два учебных переводных авторских словаря, защищенные как магистерские диссертации на кафедре славянской филологии СПбГУ, наглядно показали актуальность ларинских идей и необходимость создания двуязычных авторских словарей.

Литература / References

1. Аникина Т.Е. Лексикографический метод анализа художественного текста. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.
2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 800 с.
3. Каменский В.Е. Французско-русский словарь, составленный по диксионеру Larouss'a. СПб.: Типо-лит. И.А. Литвинова, 1900. 972 с.
4. Кононов Н.Н. Двуязычный авторский словарь (на материале В. Шимборской) [Электронный ресурс]. URL: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/12577/1/Kononov_N_N_Dvuyazychnyj_avtorskij_slovar_%28na_materiale_V_SHimborskoj%29.doc. Дата последнего обращения: 01.09.2018.
5. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л.: Художественная литература, 1973. 288 с.
6. Очерки лексикографии языка писателя (двуязычные словари) / Отв. ред. А. В. Федоров. Л.: Из-во ЛГУ, 1981. 160 с.
7. Редкин А.П. Французско-русский словарь с показанием произношения французских слов по лексиконам Закса и Виллата, Ларусса, Darmesteter et Hatzfeld и др. СПб.: Т-во Общественная польза, 1906. С. 1172.
8. Рыжкова С. Художественный текст в лингводидактике (на материале произведения И. Крауса) [Электронный ресурс]. URL: <https://dspace.spbu.ru/handle/11701/12894> Дата последнего обращения: 01.09.2018.

9. Щерба Л.В. Как изучение иностранного языка может помочь осознанию родного языка. Из книги «Преподавание иностранных языков в средней школе» // Русский язык. № 13 2001. Школа цифрового века. 2015/17 [Электронный ресурс]. URL: <http://rus.1september.ru/article.php?ID>. Дата последнего обращения: 01.09.2018.

10. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. С. 265–304.

Сокращения

САТГ – Словарь автобиографической трилогии М. Горького в шести выпусках с приложением Словаря имен собственных // Отв. ред. Л. С. Ковтун. Члены редколлегии: Г. А. Лилич, Л. А. Ивашко, Г. В. Крылова, Д. М. Поцепня, О. И. Трофимкина; редакция служебных и местоименных слов принадлежит со 2 выпуска Г. В. Крыловой. – Л.: Изд-во ЛГУ. 1974–1990.

СПНВ – Словарь поэзии Николы Вапцарова: Опыт лексикографического описания болгарского художественного текста. / Отв. ред. Г. В. Крылова. Вып. 1–3. СПб.: Изд-во СПбГУ. 1998–2010.

СТМП – Словарь трилогии М. Пуймановой. / Отв. ред. Г. А. Лилич. Рукопись.

О происхождении русского *сиволаный*

Ж. Ж. Варбот

About the origin of Russian *сиволаный*

Zhanna Zh. Varbot

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/35-37

ABSTRACT. Etymologic explanations trend to base in first time on phonetic regularities. However there are many cases when some irregularities interfere in the history of lexicon. Here one such case is regarded – Russ. *сиволаный* ‘rude, clumsy’. Semantics does not admit to see in the word the derivation of *сивый* ‘grey-dove-colour’. So here it is suggested initial **сиволаный* – compound of the derivative of *свивать* ‘spin, roll up’ and *лапа* ‘paw’ with primary meaning ‘with curved paws’ admitting irregular change *св > с*.

Keywords: etymology; semantics; irregular phonetic changes.

АННОТАЦИЯ. Этимологические толкования стремятся обосновывать фонетическими законами. Однако во многих случаях в историю лексики вторгаются нерегулярные изменения. Здесь рассматривается один такой случай – русск. *сиволаный*. Семантика не позволяет видеть в этом слове производное от *сивый* ‘серо-сизый’. В статье предполагается происхождение **сиволаный* из сложения имени, производного от *свивать*, и *лапа*, с первичным значением ‘со скрюченными ногами’, при допуске нерегулярного изменения *св > в*.

Ключевые слова: этимология; семантика; нерегулярные фонетические изменения.

Прилагательное *сиволаный* – одно из тех слов, структура которых как будто совершенно прозрачна и дает очевидные свидетельства о его происхождении: сложение *сивый* ‘серый, серовато-сизый’, простореч. ‘седой, поседевший’ [Ушаков IV: 171], с редким сопутствующим значением в говорах ‘слабый, болезненный (о животном)’ [новгород., СРНГ 37: 276], и *лапа*. Авторы весьма авторитетных этимологических словарей указывают на возможность такого происхождения сложения [Преображенский II: 283; Фасмер III: 616], см так же [Шведова 2007: 878], однако Преображенский отметил трудность в объяснении формирования сложного прилагательного на базе *сивый*.

Сомнения этимологов понятны: затруднительно согласовать значения составляющих сложение слов и самого сложения: *сивый* – почти исключительно цветообозначение (откуда и название масти лошадей). Значение же прилагательного *сиволаный* – ‘неуклюжий, неловкий, грубый’ [Ушаков IV: 171]. Соответственно различаются и определяемые

существительные: *сивый* – обычно при названиях животных (ср. особенно *сивый мерин*), *сиволопый* – исключительно о людях, с появлением в говорах производного существительного (субстантивированного прилагательного) *сиволап* (бранно) ‘необразованный, грубый, неотесанный человек’ [СРНГ 37: 274]. Существенна и проблема сочетаемости значений *сивый* и *лапа*: как характеристика по цвету *сивый* не отмечено при обозначениях конечностей, в отличие, например, от сочетания с *лоб* – диал. *сиволобий* бран. ‘седой’ [СРНГ 37: 274].

Есть опыт другого этимологического толкования: «возможно, из **псиволопый*» [Orel 2011: 3, 228] – следовательно, тоже не совсем уверенно, но эта версия представляется весьма вероятной: *псивый* – производное от *пес*, при этом образованный от *псивый* глагол *псиветь* имеет значение ‘портиться, паршиветь’ [Даль III: 105], в говорах также ‘плесневеть’ [Даль III: 105; СРНГ 33: 99]. Учитывая семантику второй части сложения *сиволопый* – *лапа*, следует для первой части предпочесть семантику *‘плохой, паршивый’, так что первичная семантика сложения реконструируется как *‘с паршивыми лапами, подобными собачьим’ (с определяемым названием животного), откуда далее ‘с уродливыми ногами (подобными собачьим лапам)’ и ‘некрасивый, грубый’ (о человеке). Для утверждения этой версии происхождения сложного прилагательного недостает свидетельств негативной оценки собачьих лап в русской народной культуре и необходимо допущение нерегулярного фонетического преобразования *пс* > *с* (при сохранении *псовый*, *псина*). Этимология как отрасль исторического языкознания, стремится опираться на фонетические законы – регулярные изменения звуков на разных этапах истории языка. Однако этимологические исследования не могут игнорировать и факты нерегулярных, факультативных изменений, которые широко фиксируются в говорах, см. [Михайлова 2013], но проникают и в общенародный разговорный язык, а из него – в литературный. Подобные изменения могут быть обусловлены морфологической структурой слова и потому весьма ограничены. Таково и изменение *пс* > *с*, предполагаемое в данной версии.

Не считая вопрос о происхождении прилагательного *сиволопый* решенным, хочу обратить внимание еще на один возможный источник сложения, также с обращением к нерегулярному фонетическому изменению. По данным «Областного словаря вятских говоров», в этих говорах возможно упрощение группы согласных *св* > *с* в производном от глагола *свивать*: *сивальник* ‘лента для пеленания ребенка’ (наряду со *свивальник*, см. [Сл. вят. гов-ров 10: 85]), таково же соотношение вят. *сербеть* ‘чесаться’ [Там же: 73] и литер. *свербеть*, а также диалектных вариантов подзывного междометия (подзывного для кур и цыплят) во-

логод. *сви* [СРНГ 36: 274] и вят. *сили* [Сл. вят. гов-ров 10: 89]. Не является ли первая часть сложения *сиво-* результатом подобного же упрощения сочетания *св->с*, то есть *сив-* < *свив-*, так что *сиволапый* восходит к **сиволапый*? Предполагаемое начальное **свив-* сопоставимо с диалектным существительным арханг. *свива* ‘приспособление для наматывания, сматывания чего-либо’ [СРНГ 36: 274], ср. еще *свивок* ‘что-либо свитое, скрученное, ссученное, сплетенное’ [Даль IV: 148], при значении производящего глагола *свиваться* в говорах ‘изгибаться, извиваться (от боли и т. п.)’ [СРНГ 36: 275]. Если *сиволапый* восходит к **сиволапый*, то возможная первичная семантика сложения, выводимая из составляющих, – *‘имеющий скрюченные, кривые лапы’ > ‘кривоногий’. Примечательно, что в вятских говорах *сиволапый* имеет значение ‘неуклюжий, косолапый’ [Сл. вят. гов-ров 10: 86]. Предлагаемое толкование происхождения сложения ослабляется малочисленностью фиксаций нерегулярного изменения *св > с*, хотя в говорах отмечена тенденция к преобразованию (устранению) сочетания *св* также и другими способами: *сивиль* ‘шишковатый нарост на дереве’ < *свилль* [Сл. вят. гов-ров 10: 86], *свиной* ‘свиной’ [Михайлова 2013: 277].

Литература / References

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955 (= изд. второе. СПб.-М., 1882).
2. Михайлова Л.П. Словарь экстенциальных лексических единиц в русских говорах. Петрозаводск–Москва: Изд-во КГПА, 2013. 350 с.
3. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. Т. I–II. М.: Типография Г. Лиснера и Д. Совко, 1910–1914; окончание – «Труды ИРЯ». Т. I. М., 1949.
4. Сл. вят. гов-ров – Областной словарь вятских говоров. Вып 10 / Под ред. З. В. Сметаниной. Киров, 2016.
5. СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–49 / Гл. ред. Ф.П. Филин, Ф. П. Сороколетов, С. А. Мызников. Л.=СПб, М.: Наука, 1976–2016-.
6. Ушаков – Толковый словарь русского языка. Т. I–IV / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: ОГИЗ, 1935.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV / Перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1967–1973.
8. Шведова – Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. 1164 с.
9. Orel V. Russian etymological dictionary. V. 1–4. Canada: Octavia & Co.Press, 2007–2011.

Глаголы со значением боли в русском и сербском языках

С. А. Кабанова

Verbs with the meaning of pain in Russian and Serbian

Svetlana A. Kabanova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/38-45

ABSTRACT. Subject States can be combined in opposition to the type of «sleep – wakefulness», «conscious – unconscious state», «health – illness», etc. An illness or a painful condition of the subject (organism) is a reaction of the organism to the influence of external factors or development of internal pathology. One of the symptoms of a painful condition is pain. The analysis of semantics and structure of constructions with pain predicates allows to find out similarities and differences in the formal linguistic expression of dissimilar painful reactions and feelings. Such an analysis will also help to determine the most frequently identified by the subject pain, which may be significant for the initial diagnosis.

Keywords: illness; sickness; pain; painful reaction; the subject carrier status; personal verbal form.

АННОТАЦИЯ. Субъектные состояния могут быть объединены в оппозиции типа «сон – бодрствование», «сознательное – бессознательное состояние», «здоровье – нездоровье» и др. Нездоровье, или болезненное состояние субъекта (организма) – это реакция организма на действие внешних факторов или развитие внутренней патологии. Одним из симптомов проявления болезненного состояния является боль. Анализ семантики и структуры конструкций с болевыми предикатами позволяет выяснить сходства и различия в формальном языковом выражении разнородных болезненных реакций и ощущений. Подобный анализ поможет также определить наиболее часто идентифицируемые субъектом болезненные ощущения, что может быть значимым для выставления первоначального диагноза.

Ключевые слова: состояние нездоровья; болезнь; болевое ощущение; болезненная реакция; субъект-носитель состояния; личная глагольная конструкция.

В современной лингвистике очень активно изучается семантика состояния – «неопределяемого понятия фундаментальной семантической классификации предикатов» [Апресян 2009: 541] на материале глагольных и неглагольных конструкций. Представляется возможным определить состояние как ситуационную характеристику предмета, возникающую, длящуюся и сменяющуюся во времени качественно новой или первоначальной характеристикой; таким образом, состояние – это раз-

вёртывающееся во времени событие, имеющее свою исходную точку; его временная протяжённость приводит или не приводит к изменению качественного физического или физиологического состояния предмета.

В типологии субъектных состояний отдельное место занимает нездоровье / болезнь как следствие нарушения нормальной жизнедеятельности. Русский и сербский материал показывает возможность передачи состояния нездоровья безличной и личной конструкциями: так, в обоих языках употребительны конструкции с безлично-предикативными словами **нехорошо**, **плохо**, характеризующими физиологическое состояние субъекта: *В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала* [Чехов 1972: 560]. – ср. серб. *Danas mi baš nije dobro. Stalno ga grči* [Davičo 1963: 107]. ‘Сегодня ему что-то нехорошо. У него постоянно колики / у него постоянно корчи / его постоянно корёжит’. Семантика моментно испытываемого нездоровья / нахождения в состоянии болезни может быть передана личной конструкцией с составным именным сказуемым, с предикативным определением, глагольно-именным сочетанием с облигаторным распространителем: *Мама больная. Наверное, ещё в теплушке тиф подхватила* [Сартаков 1972: 12]. – ср. серб. <...> *дозволи да још који дан код мене постоји котао, јер га онако болесна не могу справити* [Сербские 2014: 7]. Кроме того, глаголом **болеть** / серб. **болети** может быть передано болезненное ощущение, возникающее при определённого рода действиях / воздействиях: *От долгого хождения по горным тропам у меня часто болят ноги. – Ja bih neprijatno trzao glavu, a usta su me bolela od njenih zuba* [Crnjanski 1987: 73].

Значение **длительного болезненного состояния** может быть передано глаголом **болеть** / серб. **боловати** в сочетании с субъектным распространителем и (часто) распространителем-названием конкретного заболевания: *Виктор болел, а Мария заметно похудела и была озабочена, нервозна* [Шапошникова 1978: 41]. – ср. серб. *Њена нећака болује од жутице (разг. речь)*.

Самыми общими обозначениями для болезненного состояния индивида в русском и сербском языках являются глаголы типа рус. *болеть, доходить, заболеть, недужить* (устар. и прост.), *разболеться* (разг.), *расхвораться* (разг.), *слечь, хворать* (разг.), в сербском – глаголы с корнем **бол-** и однокоренные префиксально-суффиксальные производные: *болети, боловати, заболети* и др.: – *Я же к вам шёл, – сказал он. – Страх как болело в животе* [Погодин 1988: 319]. – ср. серб. *Режисера је болела повређена нога* [Ковачевић 1998: 286]. *Деца му побольеваху – млађа је имала неке чиреве...* [Црњански 1978, кн. 1: 32]. *‘Дети похварывали – у младшей дочки то и дело вскакивали чирья...’* [Црнянский 1989, кн. 1: 31]. Субъект состояния – «страдательный», то есть воспри-

нимающий состояние как навязанное со стороны какой-то внешней силой или обстоятельствами; состояние лица существует само по себе, не нуждаясь в усилиях для своего поддержания, причём семантика состояния связана с семантикой временной протяжённости и интенсивности проявления данного признака, но не связана со значением цели.

Поскольку «почти всякая болезнь связана с болью» [Mičić 2006: 269], представляется важным анализ болевых ощущений. Значение отсутствия / наличия болевого ощущения передаётся в русском материале безлично-предикативным словом **больно** с отрицанием или без; в сербском языке в данном случае употребляется форма глагола **болети** в сочетании с винительным падежом субъекта без предлога и обозначением места локализации болезненного ощущения или сочетание формы глагола **осећати** с именем существительным, ср.: *Но Шура, как настоящий артист, даже виду не подал, что ему больно* [Рыбаков 1982: 128]. – ср. серб. *U glavi je osećao strašan bol* [Сrnjanski 1987: 95]. *Боле ме убоди* ‘У меня болят укушенные места’ [Речник 2007: 101]; таким образом, у глагола **болети** налицо значение **причинения боли**, из чего следует, что в конструкции с болевым предикатом субстантивная субъектная (подлежащая) форма нередко называет фактор, причиняющий боль и прямо или косвенно вызывающий соответствующее негативное ощущение: так, места укусов болят при их длительном расчёсывании.

Конструкции со вторичными болевыми предикатами включают глаголы, исходно не называющие болезненное состояние, но метафорически употребляемые для этой цели: глаголы теплового воздействия (рус. **жечь, печь**, серб. **пећи**), разрушения и деформации (рус. **резать, колоть, ломать, разламывать** и др., серб. **пробадати, бости, парати** и др.), звучания (рус. **гудеть, звенеть, завывать, урчать, шуметь, ныть**, серб. **свирати, зујати**), движения и каузации движения (рус. **крутить, серб. завијати**) [Рахилина 2010: 477–481].

Наиболее часто наблюдаемыми видами боли являются:

а) **ломота, ощущение ломящей (ломающей) боли**: *ломать, ломить, разнимать*: *Ну прямо всё тело разнимает* [Солженицын 1991: 4]. – ср. серб. *осећам се ломан* ‘меня ломает’; *боле ме крста* ‘у меня ломит спину’; *пуца ми глава* ‘у меня ломит голову’ [Иванович 1981: 259] (сербский иллюстративный материал показывает наличие вариантных конструкций: личные со сказуемым, включающим предикативное определение (1), личные с аккузативным субъектом-пациентом (2), личные с дативом косвенного субъекта (3);

б) **режущая боль**: *резать*, ср. серб. *бости, парати*: *В желудке режет* (разг. речь). – ср. *грчим се од бола* (разг. речь) ‘у меня корчи, спазмы / меня корчит от боли’, ср. пример выше из О. Давичо. – ср. ис-

пользование глаголов **парати** и **бости** для обозначения неприятных ощущений в органах восприятия: **резать слух парати слух**; глаза ~ **глаза бости очи** [Иванович 1981: 546]. Метафорическое употребление глагола **парати** в сочетании с объектными формами **очи, мозак, срце, уши** и др. сопровождается указанием на производимое очень неприятное действие [Речник 2007: 913];

в) **крутящая боль**: *крутит*, ср. серб. *завијати, завити*: *В желудке крутит / желудок крутит* (разг. речь). – ср. серб. *Завија га у стомаку* [Синтакса 2005: 196]. – ср. ФЕ *Завија ме стомак* [Толстой 1976: 122];

г) **колющая боль**: *колоть*, ср. серб. *бости, пробадати*: *В боку колет* (разг. речь). – ср. серб. *Бол га прободје испод најдоњег ребра* ‘Его пронзила боль в нижнем подреберье / У него закололо в нижнем подреберье’ [Речник 1967–1976, кн. 5: 136]. *Боде ме у грудима* ‘У меня в груди колет’ [Речник 2007: 104];

д) **короткое острое болевое ощущение**: *стрелять*, ср. серб. *жигати / жигнути, севати*: *В ухе стреляет / ухо стреляет* (разг. речь). – ср. серб. *Жига је у колену; Сева је у леђима* [Синтакса 2005: 196];

е) **ноющая боль**: *ныть, занывать, заныть*: *И чтоб брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере...* [Солженицын 1991: 25]. – ср. серб. **заболети** ‘заныть (заболеть)’ [Иванович 1981: 173]: *При силаску са четвртог спрага био се спотакао*. <...> *Лева нога га је заболела у чланку* [Црњански 1977, кн. 2: 177]. ‘Спускаясь с четвертого этажа, Репнин споткнулся. <...> **Почувствовал боль в суставе, в левой ноге**’ [Црњанский 1991: 479]. Словарь Матицы сербской отмечает у глагола **заболети** значение начала болезни, появления боли: *Глава га заболела. Заболело га у крстима* – и значение причинения боли, обычно душевной: *Заболеле су је његове речи*. В контексте наличия душевной боли в обоих языках употребительны выражения рус. **душа болит** (у кого-то за кого-то), ср. серб. **душа (срце, до срца) ме заболела (заболело)** ‘яко сам се ожалоштио’ ‘я очень расстроился, опечалился’ [Речник 2007: 380–381];

ж) **тянущая боль**: *тянуть*, ср. серб. *тиштати*: *И так это нудно тянет спину Шухову* [Солженицын 1991: 22]. – ср. серб. *Тиштало га је под лажницом, у грлу му се дизала оштра љутина* [Речник 1967–1976, кн. 6: 222]. Словарь Матицы сербской отражает у данного глагола значение ‘жать: стискивать, стягивать’: *Гојзерице га тиште* ‘Ему тесны / ему жмут альпинистские ботинки’ [Речник 2007: 1321];

з) **щемящая боль**: *прихватить, щемить / защемить*; серб. *preseћи*: *Бомбы погано воют. Аж в животе щемит* [Козлов 2017: 139]. – ср. серб. *nešto me preseče и грудима* ‘что-то прихватило в груди’ (конструкция последнего типа относится к «псевдо-личным» с субъектом «что-то») [Концепт 2009: 150];

и) **ощущение жжения**: *жечь, обжигать, печь*, ср. серб. *пећи, иштипати*: *Мастика налипала на пальцы. Обжигала ладони* [Погодин 1988: 74]. – ср. безличное употребление глагола **жечь** для обозначения соответствующего болезненного ощущения: *Внутри у меня жжёт... вроде изжоги. М. Горький* [Словарь 1981, т. 1: 480]. – ср. серб. *Пече ме у желуцу. Штина је у очима* [Синтакса 2005: 196].

Болезненное состояние лица может быть представлено в виде нарушения нормального функционирования органов, физической неспособности действовать определённым образом в течение более-менее длительного отрезка времени, что может быть обозначено следующими группами глаголов:

а) глаголы **утраты подвижности**: *окаменеть, окоченеть, оцепенеть, скрючить(ся), обезножить, одеревенеть, окостенеть, подламываться, согнуться*, ср. серб. *скаменити се, отврнути, згрчити се, савити се, кочити се, укочити се, утрнути*. В подобных случаях может выражаться значение утраты подвижности ног в коленном суставе или рук в локтевом суставе в результате болезни суставов или физического воздействия, как намеренного, так и ненамеренного: [*Алька не успел добежать до залёгшей цепи. Правую руку ударило, будто палкой, наотмашь.*] *Пальцы тотчас скрючились, одеревенели, рука жёстко согнулась в локте* [Погодин 1988: 112]. – ср. серб. <...>...*колено, где га пред полазак, беше ударио коњ, сасвим му отврдно* [Црњански 1978, књ. 1: 143]. <...>...*колено, которое перед отъездом ударила лошадь, не сгибалось* [Црњанский 1989, кн. 1: 110].

Утрата способности нормально передвигаться выражается глаголами **окоченеть, оцепенеть**, ср. серб. **укочити се**, фразеологизмом **спаси с ногу** ‘не имея возможности отдохнуть, приходиться в полное изнеможение’ [Трофимкина 2005: 125], причём подобное состояние может быть связано с непривычным / долговременным действием или обусловлено негативным эмоциональным переживанием (например, утрата близкого / любимого человека), известным из широкого контекста: *Кривоног, навикао да јаше, спаде с ногу, одмах у првим биткама* [Црњански 1978, књ. 1: 143]. *‘Кривоногий, привыкший вечно сидеть в седле, он обезножил в первом же бою’* [Црњанский 1989, кн. 1: 110]. – ср.: *Неколико часака затим, однесоше ковчег на брег и затрпаше га, и слуге једва увукоше Аранђела Исаковича у интов. Био се укочио и није могао да корача* [Црњански 1978, књ. 1: 217]. *‘Спустя несколько минут гроб отнесли на гору и засыпали землёй, а слуги, подхватив под руки Арандже-ла Исаковича, который не мог ступить и шага, с трудом усадили его в рыдван’* [Црњанский 1989, кн. 1: 162].

Отсутствие возможности нормального (ровного) передвижения, обусловленной болезнью или длительным нахождением в неподвижном со-

стоянии, может быть выражено глаголами **свести, одеревенеть** и серб. **згрити се, утрнути**: *А у Маруськи нашеј и у Серџки Татњиновог ногу свело от рахита* [Погодин 1988: 130]. *От долгог пребывания в неподвижности все члены одеревенели. У Витьки свело правую ногу, и он захромал* [Козлов 2017: 37]. – ср. серб. *Госпожа Евдокија се тужила да су јој утрнула колена <...>* [Црњански 1978, књ. 2: 172]. *‘Евдокия пожаловалась, что у неё немеют колени <...>’* [Црнянский 1989, кн. 1: 317].

Значение **ненамеренного действия**, ведущего к временной утрате способности нормально передвигаться, выражается глаголами **вывихнуть, отморозить, стоптать, натереть** (в последнем случае речь идёт о невозможности ходить, не испытывая болезненных ощущений), ср. серб. **ишчашити, промрзнути, ожуљати / добити жуљеве** (обычно применительно к рукам): *Я неудачно поскользнулась и вывихнула ногу.* – ср. серб. *Ишчашила сам ногу; Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге* [Булгаков 1988: 158]. – ср. серб. *Нога ми је промрзла; Собѣтјас в комок (портыанка. – С. К.), еиџ хуже натрѣт* [Погодин 1988: 99]. – ср. серб. *натереть мозоли ‘добити жуљеве’ (на руках)* [Грујић 2004: 145];

б) глаголы, связанные с помрачением сознания, невозможностью сосредоточиться (рус. **мутиться, помутиться, кружиться, закружиться**, серб. **мутити се, вртети се**): *У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел напротив кота* [Булгаков 1988: 206]. – ср. серб. *Као после неког ударца у груди, Репнин је стајао немоћан <...>, а затим је клонуо у фотељу, јер му се мутило у мозгу* [Црњански 1977, књ. 2: 255] *‘Совсем обессилев, точно получив удар в грудь, Репнин стоял у окна с книгой в руках, а затем, боясь упасть, потому что у него помутилось в голове, опустился в кресло’* [Црнянский 1991: 545].

Как показывает рассмотренный материал, в обоих языках выступают личные конструкции с глагольным или именным предикатом и безличные конструкции с безличным глаголом или безлично-предикативными словами, описывающие болезненное состояние индивида, продиктованное, прежде всего, внешними условиями. В конструкции второго типа обязательным структурно-смысловым компонентом является дательный или винительный падеж косвенного субъекта-носителя состояния. Конструкции с болевыми предикатами включают также обозначение места локализации дискомфортного ощущения, обозначаемое падежной или предложно-падежной формой. Базовые модели предложений со значением состояния места-локализатора в основном построены по схемам «предл.-пад. форма сущ./мест. в род.пад. + глагол + предл.-пад. форма сущ. в предл. пад.» – в русском материале, «глагол + сущ./

мест. в ак. + предл.-пад. форма сущ. в лок.», «глагол + сущ./ мест. в дат. + сущ. в номин.» – в сербском иллюстративном материале. Сербский языковой материал демонстрирует устойчивость структурных схем со значением проявления состояния в месте-локализаторе, а также наличие близких по значению конструкций с одинаковым лексическим составом и разной синтаксической структурой: *Крчи ми стомак* [Синтакса 2005: 178] – *Крчи ми у стомаку* [Синтакса 2005: 177]. В отношении выражаемого значения болезненного состояния значительное количество конструкций связано с описанием потери функционального состояния, воплощаемого как наличие болевого ощущения в организме или его части (глаголы разрушения и деформации), а также отсутствие способности к нормальному передвижению и сосредоточению в течение некоторого временного отрезка.

Литература / References

1. *Апресян Ю.Д.* Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Парадигматика. М.: Языки славянских культур. 2009. 568 с.
2. *Булгаков М.А.* Мастер и Маргарита: Роман. М.: Худож. лит., 1988. 399 с.
3. *Грујић Б.* Речник руско-српски српско-руски = Словарь русско-сербский сербско-русский. Цетиње: Обод; Београд: Предраг и Ненад, 2004. 778 с.
4. *Иванович С., Петранович И.* Русско-сербскохорватский словарь. М.: Русский язык, 1981. 712 с.
5. *Ковачевић Д.* Била једном једна земља. Београд: Би., 1998. 337 с.
6. *Козлов В.Ф.* Витька с Чапаевской улицы: повесть. СПб.; М.: Речь, 2017. 352 с.
7. Концепт БОЛЬ в типологическом освещении / Ред. *В. М. Брицын, Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова, Г. М. Яворская*. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. 424 с.
8. *Погодин Р.П.* Лазоревый петух моего детства. М.: Сов. Россия, 1988. 464 с.
9. *Рахилина Е.В.* Лингвистика конструкций / Отв. ред *Е. В. Рахилина*. М.: «Издательский центр «Азбуковник», 2010. 584 с.
10. Речник српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2007 (Нови Сад: Будућност). 1561 с.
11. Речник српскохрватскога књижевног језика: у 6 д. / Матица српска; Матица хрватска. Нови Сад; Загреб, 1967–1976. Књ. 5. 1040 с. Књ. 6. 1040 с.
12. *Рыбаков А.Н.* Кортик; Бронзовая птица; Выстрел: Трилогия. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1982. 447 с.
13. *Сартаков С.В.* Философский камень. Роман. Книги первая и вторая. М., «Молодая гвардия», 1972. 496 с.
14. Сербские рассказы и сказки: Тексты для комментированного чтения с упражнениями. СПб.: КАРО, 2014. 160 с.
15. СИНТАКСА савременог српског језика: проста реченица / Предраг Пипер и др.; у редакцији *Милке Ивић*. Београд: Институт за српски језик САНУ : Београдска књига; Нови Сад : Матица српска. 2005 (Београд : Радунић). 1165 с.
16. Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. *А. П. Евгеньевой*. М.: Русск. язык, 1981–1984. Т. 1. 698 с. Т. 2. 736 с. Т. 3. 750 с. Т. 4. 794 с.

17. *Солженицын А.И.* Малое собрание сочинений. Т. 3. Рассказы. М.: ИНКОМ НВ, 1991. 285 с.
18. *Толстой И.И.* Сербскохорватско-русский словарь. М.: Русский язык. 1976. 735 с.
19. *Трофимкина О.И.* Сербохорватско-русский фразеологический словарь. М.: ООО Восток-Запад, 2005. 229 с.
20. *Црњанский М.* Переселение: Роман: [В 2 кн.]. М.: Худож. лит., 1989. Кн. 1. 479 с.; Кн. 2. 444 с.
21. *Црњанский М.* Роман о Лондоне. М.: Худож. лит., 1991. 654 с.
22. *Црњански М.* Роман о Лондону. У 2 књ. Београд: Нолит, 1977. Књ. 1. 389 с.; Књ. 2. 386 с.
23. *Црњански М.* Сеобе. У 3 књ. Београд: Нолит, 1978. Књ. 1. 252 с.; Књ. 2. 464 с.; Књ. 3. 487 с.
24. *Чехов А.П.* Чайка. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1972. 63 с.
25. *Шапошникова В.Д.* У чудесного колодца. М.: Советский писатель, 1978. 432 с.
26. *Срњански М.* Dnevnik o Čarnojeviću. Beograd: Nolit, 1987. 126 s.
27. *Davičo O.* Gladi. Beograd: Nolit, 1963. 477 s.
28. *Mičić S.* Engleski i srpski termini za bolesna stanja: interdisciplinarni pogled // Zbornik za filologiju i lingvistiku. Novi Sad, 2006, № 49 / 2. С.267–275. [Электронный ресурс.] URL: https://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_49-2.pdf. Дата последнего обращения: 01.05.2014.

Вторичные междометия как показатели неожиданности

Д. Керкез

Secondary interjections as indicators of unexpectidness

Dragana Kerkez

Секундарни узвици као показатељи неочекиваности

Драгана Керкез

ABSTRACT. The article deals with linguistic problems, connected with secondary interjections in modern Serbian with a particular emphasis on the formal characteristics of secondary interjections and meaning of interjections with components *брат, сестра, мајка, човек*.

Keywords: secondary interjections, transposition, semantics, pragmatics, unexpectadly.

АННОТАЦИЈА. В настоящей работе освещаются некоторые из проблем, которые касаются вторичных междометий в современном сербском языке. Особое внимание уделяется структурной классификации вторичных междометий, как и определению семантики междометий с компонентом *брат, сестра, мајка, човек*.

Ключевые слова: вторичные междометия, транспозиция, семантика, прагматика, неожиданность.

0. Увод

0.1. Дуго времена лингвисти су, свесно или несвесно, узвике смештали у запећак језикословних тема и дилема, да би данас полако почели отуда да их померају у смеру од периферије ка центру. Овакав, по много чему исправнији став према узвицима може се, између осталог, објаснити и променом доминантне парадигме у савременој науци о језику негде почетком друге половине 20. века, када, као што је познато, на смену десосировском структурализму долази антропоцентризам. Нова парадигма захтева од науке о језику да различите врсте речи сагледа пре свега из перспективе њихове улоге у организацији семантичког простора језика. Стога је сасвим природно што посебно интересовање лингвиста побуђују управо оне врсте речи које омогућавају, уз максималну језичку економију, оптимално постизање комуникативног циља, а међу таквим врстама речи су, свакако, и узвици [уп. Валеева 2004].

0.2. Нажалост, тешко да се речено односи и на србистику. Узвици у науци о српском језику и даље припадају мало или веома слабо изученој

врсти речи. Скоро да би се на прсте двеју руку могли пребројати сви радови који се на овај или онај начин баве узвицима¹. Број отворених питања везаних за узвике у србистици је велик, но, узимајући у обзир обим овог рада, ми ћемо своју пажњу фокусирати на једном сегменту интерјекцијског корпуса – на секундарним узвицима мотивисаним именицама *брат, сестра, мајка, човек (људи)* у савременом српском језику². Дати узвици нас занимају као маркери неочекиваности која представља једну од грамема функционално-семантичке категорије очекиваности/неочекиваности³.

Актуелност теме потврђује и најсавременији речник српског језика⁴ у ком се ниједан од посматраних облика не бележи као узвик. Штавише, у речнику се могу наћи само облици *brate* и *човече (људи)* које лексикограф дефинише на следећи начин:

– (*мој*) *brate* разг. поштапалица у разговору или за појачавање исказа. *побогу brate!* узречица при преклињању, вајкању и сл. [МС07: 102];

– *човече божеју! људи божеју!* узречица кад се неко жели уверити у нешто [МС07: 1488].

0.3. Теоријско-методолошко становиште рада чини, пре свега, теорија интегралног описа језика и системске лексикографије Московске семантичке школе, као и ставови њој блиских лингвистичких школа.

Емпиријски материјал је прикупљен из електронског корпуса српског језика (СК) као и других електронских извора међу којима су сајтови Пројекат Растко (Рас) и Антологија српске књижевности (АСК).

0.4. Основна полазишта којих ћемо се у овом раду придржавати гласе:

1) узвике можемо поделити на две класе: а) узвици у ужем и б) узвици у ширем смислу те речи⁵;

¹ Међу ретким србистима који су се бавили узвицима су Љ. Прчић [Прчић 1999], Ј. Јокановић Михајлов [Јокановић Михајлов 1997], Д. Вељаковић-Станковић [Вељковић-Станковић 2010], Симић, Живковић [Симић, Живковић 2018]. Од аутора (са целокупног постјугословенског простора) који су се бавили узвицима са различитих аспеката само у српском или са компаративно-контрастивног становишта, споменућемо С. Маричић [Maričić 2014], Н. Завашник [Zavašnik 2014], Глигорић [Gligorić 2017].

² У употреби је и узвик *сине*. Међутим, пошто нисмо нашли адекватан илустративни материјал, дати узвик нећемо анализирати.

³ Функционално-семантичка категорија очекиваности/неочекиваности била је предмет нашег интересовања у више наврата, види нпр. [Керкез 2016 а], [Керкез 2016 б].

⁴ Овде имамо у виду *Речник српског језика* из 2007. године који је издала Матица српска.

⁵ Под узвицима у ужем смислу речи подразумевамо примарне узвике попут *а, ау(х), ај, ајој, ао, ау* и др., док под узвике у ширем смислу подводимо секундарне узвике.

- 2) између ономатопеја и узвика не може се ставити знак једнакости⁶;
3) узвици представљају језичке јединице које имају своје значење и то значење може бити тачније одређено.

1. Порекло и структура секундарних узвика

1.1. Секундарни узвици (узвици у ширем смислу те речи) настају као резултат интерјекционализације која пак представља резултат транспозиције: посматрана јединица налази се у необичном синтаксичком окружењу за њу и мења своје граматичке карактеристике.

Када говоримо о српском језику и процесу интерјекционализације, у атипичној функционалној позицији (која повлачи за собом категоријално приначавање) могу се наћи:

– ономатопеје:

*Он је просто ишчезао, као да је отишао – **паф** – кроз патос, не оставивши руну!* [СК]

– именице, глаголи, партикуле и прилози:

*И још, **замисли**, тетка је њиме очарана, кнез само што му се не намеће* [СК].

Мајко моја, је ли читав Титоград ноћас пијан? [СК]

Доста с галамом [МС07: 291].

– изрази:

*А ако је пустиш да се опрости с дететом, казаће: **Видити ти њега**, стрпљив је и mudar, није закерала, уме да дипломатише* [СК].

Како су секундарни узвици у српском језику по свом пореклу народни, за потребе овог рада, као што смо већ рекли, значајно ћемо сузити објекат свог истраживања и усредсредити се само на узвике изведене од именица *брат*, *мајка*, *сестра* и *човек* (*људи*).

1.2. Са структурне тачке гледишта секундарни узвици могу бити: а) прости (моноксемни) и б) сложени (полилексемни):

а) *Он испружи руку и извуче је отуд. – **Човече**, па то је новац!; Чекај бре, чега три сома? – Три сома евра, **сестро**, евра! – Молим?* [СК];

б) *Мајко моја, је ли читав Титоград ноћас пијан?* [СК]; *О, људи божји, шта ме је снашло?* [АСК].

При томе, већина ових узвика појављују се и као моно- и као полилексемни узвици.

⁶ Ми се придржавамо мишљења да у интерјекцијски корпус не улазе ономатопеје, већ да га чине примарни и секундарни узвици. Ономатопеје су, за разлику од узвика, лишене сваког појмовно-категоријалног значења.

	монолексемни узвик	полилексемни узвик
брат	+	+
сестра	+	+
мајка	–	+
човек	+	+
људи	+	+

Полилексемни узвици (које би можда тачније било назвати перифрастичким (будући да имају јединствену прагматичку вредност, независну од значења компоненти које улазе у њихов састав) углавном су дво- или трокомпонентни (*мајко моја*, *мајко моја мила*), али могу бити и четворокомпонентни (*о мајко моја мила*):

Мајко моја, шта раде лудаци?! [Б92];

Мајко моја мила, шта је ово сад? [Вујаклија];

О мајко моја мила, колико се света скупило! (из разговора).

Као што се из наведених примера може видети, поред именичких облика саставне компоненте полилексемног узвика могу бити заменице за прво лице јединине и множине, придеви (*божији*, *сладак*, *мио*) и релативно мали број примарних узвика.

1.3. Интерјекционализација лексема *брат*, *сестра*, *мајка*, *човек* (*људи*)

Према класификацији А. Е. Чуранова, који разликује три степена транспозиције⁷, у нашем случају можемо говорити о другом степену преласка, будући да се само један облик мотивне лексеме подвргава транспозицији – вокативни облик са апелативном функцијом (*brate*, *sestro*, *majko*, *čovече* (*људи*))⁸, тј. само дати облик поседује способност да се нађе у атипичној функцији за врсту речи којој припада као и да се регуларно употребљава у тој новој функцији.

⁷ Чуранов разликује три степена транспозиције. Први степен: одређени облик лексеме регуларно се употребљава у новој функцији, али не чини самосталну лексему већ се доживљава као једно од значења мотивне лексеме. Други степен или прелаз по функцији подразумева потпуно одвајање од мотивне лексеме, стицање особина нове врсте речи, мотивни облик постоји паралелно, у речницима чини засебну речничку одредницу, док трећи степен или потпуни прелаз значи да се мотивни облик више не употребљава у првобитној функцији [Чуранов 2008: 95–97].

⁸ У том погледу изузетак чини само лексема *човек*, будући да се у атипичној позицији може наћи и множински суплетивни облик *људи*. Међутим, то не утиче на тип транспозиције.

Сам процес транспозиције можемо представити на следећи начин: *транспозит* (именица) → *транспозитор* (десемантизација + интонација) → *транспозитив* (узвик именичког порекла)⁹.

Као резултат процеса интерјекционализације лексеме *brate, sest-ro, мајко, човече (људи)*¹⁰ губе граматичке категорије које су својствене именицама, морфемски постају нерашчлањиве, имају нулту способност функционисања као мотивна реч [уп. Алференко 2013: 251], те, на крају, услед семантичког «пражњења» (десемантизације) оне мењају и своју таксономску природу: добијају значење особине, одређеног менталног процеса (догађаја) или стања или емотивне реакције¹¹.

2. Семантика и прагматика узвика

2.1. Уколико се сложимо да посматрани узвици «опслужују сферу говорника и сферу садржаја исказа, дискурса» [Ристић 2004: 506], те да при томе у први план истичу или однос говорног лица према оном што се исказује пропозицијом или однос између елемената пропозиције, и уколико прихватимо класификацију узвика Ф. Амеке [Амека 1992: 113], онда можемо рећи да узвици *brate (мој), сестро (мила), мајко моја, човече/људи (божији)* припадају групи експресивних узвика. При томе они могу функционисати и као емотивни (емоционална реакција говорног лица) и као когнитивни узвици (изражавање менталних процеса и стања)¹².

Семантика емотивних и когнитивних узвика, како је то приметила А. Вежбицка, најсложенија је кад говоримо о идентификацији конкретног значења [Вежбицкая 1999: 643], што је узроковано њиховом полисемичношћу и полифункционалношћу.

⁹ Сам процес преласка једне у другу врсту речи, користећи се терминологијом Алференко, претпоставља постајање *транспозита* (реч која се подвргава процесу преласка), *транспозитора* (средства помоћу ког се прелазак врши), и *транспозитива* (резултат преноса) [Алференко 2013: 250]. При томе између транспозита и транспозитива влада однос мотивно → мотивисано.

¹⁰ Интерјекционализацији подлежу све компоненте полилексемног узвика (сем, наравно, примарног узвика).

¹¹ Није неважно рећи да се осим интерјекционализације може говорити и о прагматикализацији посматраних језичких јединица. «Pragmatikalizacija je proces tijekom kojeg neka riječ ili sintagma, u određenom kontekstu, mijenja svoje propozicijsko značenje u korist isključivo metakomunikativnog, diskursno-interakcijskog značenja. Što je jezična jedinica više gramatikalizirana, to je veća njezina pragmatička vrijednost [Nigoević 2011: 129].

¹² Будући да прелазак говорног лица из једног у друго ментално стање може бити праћено емоцијама, у одређеним случајевима (који нису ретки) можемо говорити о функционисању датог узвика као емотивно-когнитивног (уп. са тумачењем узвика досетке које даје Б. Иомдин [Иомдин 2006: 609–611]).

Ипак, чини нам се да метод аналитичког тумачења (АТ), базиран на семантичким примитивима¹³, даје могућност да се прецизније одреди семантика узвика уопште, а у конкретном случају разлучи емотивна и когнитивна употреба узвика изведених од именица *брат*, *сестра*, *мајка* и *човек* (људи), тачније – одреди када је у првом плану емоционална реакција говорног лица, а када изражавање менталних процеса и стања.

Предлажемо следећа АТ. За узвике у емотивној употреби (ЕУ): ‘*У се налази у емотивном стању које је изазвано Z-ом који је каузирао X. Z није интегрисано у слику света Y-a*’. За узвике у когнитивној употреби (КУ): ‘*У каже да W поседује својство које није интегрисано у слику света Y-a. W јесте Z које је каузирао X*’, где је W ‘означено’ или ‘догађај’, Z – ‘актуелна ситуација’, Y – ‘експеријенсер’, X – ‘каузатор’.

2.2. Лексема *брат* данас је једна од најфреквентнијих лексема српског језика у говору младих, али и одређених друштвених група, где најчешће има контактну (фатичку) функцију [уп. Маричић 2014: 290]: – *Ха, на што се не кажеш, брате!*... [Рас].

У примерима сличним наведеном именица *брате* употребљена је као експресивни вокатив [Пипер, Клајн 2013: 328], и може се односити како на крвног сродника, тако и било коју другу особу (мушког или женског пола)¹⁴.

Од оваквих примера потребно је разликовати лексему *брате* употребљену са циљем да маркира говорниково изненађење (ЕУ) и његову констатацију да је актуелна ситуација за њега неочекивана (КУ):

(ЕУ) – *Брате, колико је Енглеза! Али, нема везе, супер се дружимо, прича нам Ђура.* [СК];

(КУ) – *Знам, казаше ми сад у судници... О, брате, што сте допустили да се тако мучите без невоље! ...* [АСК].

Слично се понашају узвици *човече* и *људи*: жаргонски су маркирани, могу бити употребљени као експресивни вокатив, те могу имати ЕУ и КУ:

(ЕУ) *Да је неким случајем у возу био познати спортски коментатор Младен Делић, он би рекао: Људи моји, па је ли то могуће!* (СК); *Човече, шта уради клубу!* [МБ];

¹³ Ми ћемо придржавати методе аналитичких тумачења Московске семантичке школе који одговара семантици природног језика, има свој специфични речник (семантички примитиви и семантички сложеније речи) и синтаксу [уп. Апресян 1995].

¹⁴ Поред немаркираности гледе категорије рода (о чему пише и С. Маричић [Маричић 2014: 291], С. Урлих запажа да не само што не постоје ограничења када је у питању род адресата већ и када је у питању његова старосна доб. Урлих сматра да се овде ради о партикули за ословљавање (немачки термин *Anredepartikel*), позивајући се на Berger/Betsch 2009) [Урлих 2010: 265–266].

(КУ) *Људи моји, шта је ово?* [ЕС]; *Он испружи руку и извуче је отуд. – Човече, на то је новац! Сад обојица стадоше испитивати ту прегршит разних комадића новца* [СК].

2.3. За разлику од узвика са компонентом *брат, човек*, људи узвик са компонентом *мајка* не припада жаргону. Међутим, заједничка им је потенцијална прагматичка вредност интензификатора: *И тад ја помислих, мила моја мајко, што је добра она справа* [Рас], као и могућност емотивне и когнитивне употребе:

(ЕУ) *Мајко моја! Пали смо у несвест када смо видели у каквом хотелу су смештени српски кошаркаши на Еуробаскету* [ЕС];

(КУ) – *Мајко мила, колики је! Гле му само ушију! Па гле ... Па он има улар на глави! Зауларен вук, еј!* [АСК].

2.4. Лексема *сестро* употребљава се превентивно као експресивни вокатив или полифункционално (као експресивни вокатив, секундарни интензификатор и дискурсивни маркер неочекиваности): *Сестро слатка, шта си то обукла?!* [НН], док су далеко малобријни примери њихове интерјекцијске употребе:

(ЕУ) *Сестро слатка: родиле се пре једног сата и одмах се фино «издиваниле».* [Свет];

(КУ) *Сестро слатка, ја овог човека ништа не разумем.* (Рас).

3. Чак и овако кратак и штур преглед порекла и семантичко-прагматичких одлика секундарних узвика потврђује, по нашем мишљењу, тезу да узвици чине засебну врсту речи чије се појмовно-категоријално значење може јасно одредити. Да би се тачније одредило њихово значење потребно је исходити од лексеме (у поимању Московске семантичке школе) као основне јединице анализе. При томе је у оквиру овог рада представљен само први корак те анализе. Да би се у оквиру сваке од издвојених група узвика одредила конкретна (или конкретија) значења, неопходно је извршити анализу фонетских и прозодијских особина узвика, што ће, надамо се, бити тема неког нашег будућег рада.

Литература / References

1. Алференко Е.В. Транспозиция имен существительных в отыменные междометия // Вестник Воронежского института высоких технологий, № 10, Воронеж, 2013. С. 249–252.

2. Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // Избранные труды: том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва: Языки славянской культуры, 1995. 767 с.

3. Валеева Л.В. Семантика междометий в аспекте функциональной омонимии // Культура народов Причерноморья. № 49, Т. I. Симферополь, 2004. С. 159–163.

4. *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. Пер. с англ. А.Д. Шмелева под редакцией Т.В. Бульгиной. Москва: Языки русской культуры, 1999. 780 с.

5. *Вельковић-Станковић Др.* Прагматичка функција узвика // Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (30–31. X), Књига I. Језички систем и употреба језика. Крагујевац, 2010. С. 59–69.

6. *Иомдин Б.Л.* Междометия догадки // Языковая картина мира и системная лексикография. Под ред. Ю.Д. Апресяна. Москва: Языки славянских культур, 2006. С. 604–612.

7. *Керкез Д.* Неочекиваност као емотивно стање // Русский язык как инославянский, VIII (2016), Београд. С. 47–58.

8. *Керкез Д.* Неочекиваност између изненађења и запрепаштења. Неочекиваност као особина (на материјалу руског и српског језика) // Славистика. XX. 2016. Београд. С. 242–257.

9. *Пунер П., Клајн И.* Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2013. 581 с.

10. *Прћић Љ.* О узвизима у српском језику // Језик данас: гласило Матице српске за културу усмене и писане речи. 3/10. Нови Сад: Матица српска. 1999. С. 12–14.

11. *Ристић С.* Партикуле као јединице семантичке кохезије // Српски језик. IX/1–2. Београд, 2004. С. 505–514.

12. *Симић А., Живковић А.* Језик љубави у приповеткама Боре Станковића: властита имена и узвици // Српски језик. XXIII. Београд: 2018. С. 767–784.

13. *Чуранов А.Е.* Переход слов знаменательных частей речи в междометие (на материале английского языка) // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. № 2 (2). 2008. Киров. С. 95–98.

14. *Ameka F.* Interjections: The universal yet neglected part of speech // Journal of Pragmatics. 18 (2/3). Pp. 101–118.

15. *Gligorić I.M.* Sintaktičko odredjenje uzvika // Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 2017. S.343–348.

16. *Maričić S.* Lekseme *brate* i *čovek* kao diskursivni markeri u komunikaciji srpske omaldine // Језици и културе у времену и простору 4. 2014. Нови Сад: Филозофски факултет. С. 289–298.

17. *Nigoević M.* Neka načela odredjivanja diskursnih odlika // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/1. 2011. S. 121–145.

18. *Urlich S.* Marina sine, snajka brate: Formale und semantische Aspekte der Anrede mittels Verwandtschaftstermini im Serbischen. [Электронный ресурс.] URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/46184/1/ULRICH_POLYSLAVXIII_korr.pdf. 13.01.2019.

20. *Zavašnik N.* Općenito o uzvicima u južnoslavenskim jezicima. [Электронный ресурс.] URL: https://www.academia.edu/.../Općenito_o_uzvicima_u_južnoslavenskim_jezicima. 13.01.2019.

Електронски извори:

АСК: [Электронный ресурс.] URL: www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs. Дата последнег обращения 15.11.2018.

Рас: [Электронный ресурс.] URL: http://www.rastko.rs/drama/savremena/index_c.html. Дата последнег обращения 15.11.2018.

СК: [Электронный ресурс.] URL: www.korpus.matf.bg.ac.rs. Дата последнего обращения 20.11.2018.

Вујаклија: [Электронный ресурс.] URL: <https://vukajlija.com/majko-moja-mila-sta-je-ovo-sad>.

Б92: [Электронный ресурс.] URL: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?uuuu=2015&mm=11&dd=16&nav_category=78&nav_id=1063513. Дата последнего обращения 17.11.2018.

ЕС: [Электронный ресурс.] URL: <https://www.espreso.rs/sport/eurobasket/181585/majko-mila-pali-smo-u-nesvest-kada-smo-videli-u-kakvom-hotelu-su-smesteni-srpski-kosarkasi-na-eurobasketu-video/komentari>. Дата последнего обращения 12.01. 2019.

МБ: [Электронный ресурс.] URL: <https://www.maxbetsport.rs/covece-sta-uradi-klopu-kako-pra-zvezd>. Дата последнего обращения 12.01. 2019.

НН: [Электронный ресурс.] URL: <https://naslovi.net/2018-12-24/vecernje-novosti/binic-jurio...i.../22711056>. Дата последнего обращения 12.01.2019.

Свет: [Электронный ресурс.] URL: <https://www.svet.rs/vesti/sestro-slatka-rodile-se-pre-jednog-sata-i-odmah-se-site-izdivanile>. Дата последнего обращения 12.01.2019.

Эвфемизмы в болгарской традиционной культуре¹

М. Китанова

Euphemisms in Bulgarian traditional culture

Mariya Kitanova

Евфемизмите в българската традиционна култура

М. Китанова

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/55-63

ABSTRACT. The study examines the cases when euphemisms are used in place of words that are forbidden (taboos) in the Bulgarian traditional culture: own names of the husband's relatives, some animal denominations such as: bear, wolf, snake, weasel, names of diseases and the fact of death.

Keywords: euphemisms; taboos; words-substitutes; malady; death.

АННОТАЦИЯ. В исследовании рассматриваются вопросы использования эвфемизмов в запретах на произношение определенных имен (табу) в болгарской традиционной культуре. Это собственные имена родственников мужа, имена некоторых животных, имена болезней и факты смерти.

Ключевые слова: табу; слова заместители; эвфемизмы; болезни; смерть.

Терминът **евфемизъм** произлиза от гръцката дума *εὐφημος*, която означава «похвален, ласкав, благоприятен» и води началото си от *ευ-* (добре-, хубаво-, благо-) + *φῆμη* (реч, слово). В съвременната лингвистика терминът евфемизъм се приема като смекчаваща речева стратегия, която дава възможност на говорещия да се съобразява с правилата на речевия етикет. Някои автори изследват евфемизмите заедно с различните фигури на речта. Например в своя «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахманова ги нарича «тропи, които по непряк, прикрит, вежлив и смекчаващ начин обозначават определен предмет или явление» [Ахманова 1969: 521]. Други автори подчертават, че «от семантична гледна точка процесът на евфемизация е основан на разликата между позитивната или неутрална конотация на вторичното наименование и отрицателната конотация на изходното понятие» [Тишина 2006: 6]. Срещат се и такива, които приемат, че евфемизмите са вид речеви актове, тъй като имплицитността, която притежават всъщност е формално неизразяване на прагматическата информация, която се съдържа в тях [Ковшова 2007: 29–37].

¹ Статията е по проектДО 02/5 от 24.07.2018 «Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционни ценности в славянския свят» в рамките на програма ERA.Net.RUS Call 2018 (проект #472-LED-SW).

За евфемизмите и думите-табу още през 1930 г. пише Д. К. Зеленин в книгата си «Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии», по-късно с този проблем се занимава и Трубачев в «Из истории табуистических названий» през 1958 г. Особен интерес представят евфемизмите за болести. Михайлова Д. «Към въпроса за евфемистичните названия за болести в български език» 1974. В по-ново време цялостно изследване в етнолингвистичен аспект прави Б. Попов в докторската си дисертация «Табуистични названия в български език (в етнолингвистичен аспект и в съпоставка с други езици)», 2001 г., в Автореферата към дисертацията и в редица други публикации [Попов 1998: 42–55; Попов 1998: 121–127; Попов 2000а: 65–79; Попов 2000б: 65–84; Попов 2004: 5–21]. В Автореферата той дава пълна библиографска справка на публикациите на български и чужди автори, свързани с езиковото табу и евфемизацията [Попов 2001: 6–7]. Там той различава същинско табу, табуистични названия и евфемизми. Освен това въвежда термините **етнокултурен факт** и **етнокултурен обект**. Под етнокултурен факт авторът разбира причината, поради която възниква името-заместител, а същината, чието име е подложено на забрана в народната речева практика – етнокултурен обект [Попов 2001: 8]. Освен това авторът определя т. нар. същинско табу като «явление, притежаващо три съставни лингвистични компонента: първоначално название, което поради някаква екстралингвистична причина бива забранено, вторично, заместващо название с друга вътрешна или външна форма, заменящо забраненото, и езиков механизъм (начин) за образуване на вторичното название» [Попов 2008: 6]. Към тях авторът добавя още два компонента, които имат екстралингвистичен характер – забраната (табу) и причината за тази забрана [Зеленин 1930: 4; Попов 2008: 6; Фрейзър 1984: 314–325]. Б. Попов отделя освен думи-табу, които са забранени за произнасяне, табуизирани названия и евфемизми, които са практически думи-заместители. Той прави такова разделение като се опира на факта, че не всички думи-заместители могат да бъдат наречени евфемизми.

В народната култура забраната за произнасяне на определени думи възниква поради вярата в магическата им сила. Тази вяра води до забрана за изричане на имена на божества, демони, опасни животни и болести, за назоваване на смъртта. Вярва се, че неизричането на името им е начин за предпазване от тях. Зеленин приема, че **табу** е етнографски термин [Зеленин 1929: 6], а лингвистиката се занимава с евфемизмите и табуистичните названия, които се употребяват за заместване на забранените думи. Към евфемизацията напоследък се наблюдава голям интерес. Редица автори я разглеждат в диахронен и синхронен план, в съпоставителен план, особено в последно време проучванията са свързани с т. нар. език на манипулациите или двойственния език в медиите [Ков-

шова 2007: 24–26; Москвин 1999: 5–10; Кацев 1988: 29–36; Кацев 1991: 65–83; Holder 2003; Meillet 1926].

Предмет на статията са някои евфемизми, характерни за българската народна култура: заместване на лични имена на роднините на съпруга след сватбата, названия на болести, факти, свързани със смъртта и починалия човек.

Евфемизмите, характерни за народната култура на българите могат да бъдат отделни думи, устойчиви словосъчетания, фразеологизми и даже малки текстове. Когато те се използват като евфемизъм, в повечето случаи получават метафоричен пренос. Евфемистични могат да бъдат даже някои клетви.

Забрани за произнасяне на лични имена на роднини

След сватбата невестата се възприема като **чужда** на рода на мъжа си и е необходимо известно време, за да стане **своя**. За това ни дава основание и етимологията на думата *невеста* от корена **ved-* ‘зная’ като ‘неизвестна’. Това тълкуване е подкрепено «културно-исторически от обредите на мълчание в първите дни след встъпването ѝ в дома на съпруга, от обичаите да се обръщат към нея като към непознато лице» и от забраната тя да се обръща към братята и сестрите на мъжа си със собствените им имена [БЕР Т. 3 1996: 589]. Досега не съществува единно мнение за етимологията на тази дума и семантиката, изведена в БЕР има редица противници. Ст. Младенов [Младенов 1941: 347] предлага следните значения – ‘открадната’, ‘непродадена’, ‘нововъведена’, ‘неоплодотворена’. Фасмер също не поддържа семантиката ‘неизвестна’, а предлага малко по-различно значение – ‘нова’ [Фасмер Т. 3, 1971: 54–55]. Е. Шневайс [Schneeweis 1961: 81] включва едно допълнително значение към семантиката на думата – ‘чужда’. Следователно тя е **чужда** и **непозната** за семейството на съпруга си, а **чуждото** и непознатото в традиционната култура на българите винаги се възприема като опасно. Към по-малките и неомъжени сестри на съпруга си младата невеста се обръща с имената на цветове и плодове на храсти или дървета: *калина*, *малина*, *ябълка*, *дуня*, *дунка*, *црешня*, *трънчица*, *невенка*, *тръндафила*, и др.

Освен с имена на растения, тя нарича зълвите и деверите си и с други имена, с вътрешна форма *хубав* и *добър*: *хубавенка*, *хубавка*, *хубавица*, *гиздавка*, *добринка*. *Гиздав* има значение – ‘хубав, напет, спретнат, украсен’ [БТР 1973: 121]; *хубав* – ‘приятен, приличен на глед, гиздав, красив, красив’ [БТР 1973: 1085]; *добър* – ‘който прави на другите добро’; ‘нравствен, свършен’ [БТР 1973: 167]. Както е видно *хубавка*, *гиздавка*, подчертават външните качества на зълвите, а *добринка* – особеност на характера, доброта. Използваните още *сестрица* и *сестричинца* са роднински термини за близко кръвно родство, които са и деминутиви.

Към по-големите зълви невестата се обръща с: *божа, божица, лелька, леля, писарка, седефка, сватичка*. В названията *божа, божица* има вътрешна форма *Бог* и означават – ‘който се отнася до бога’ [БТР 1973: 63], а *лелька, леля* и *сватичка* са роднински термини – известен начин за евфемизация. Названието *седефка* вероятно е свързано с растението *седефче*.

По-малките братя на съпруга си невестата нарича: *дренко, хубавенко, драгинко*, чиято вътрешна форма е обяснена при зълвите. Към по-големите братя на мъжа си обаче тя се обръща с: *брайно, батя, байка, брац, господин, стрико, баща, побацима* и др.

Видно е, че в тях е подчертано уважението към по-възрастния: *побацима, господин, баща, стрико*. Названия от типа на *брайно, батя, байка, брац*, които са вокативни и имат значение – ‘по-голям брат’, са свързани с особеното отношение към по-големия брат в българското традиционно семейство, което той може да замести бащата.

Евфемизми за болести

В митологичното съзнание на носителите на традиционната българска култура болестите са персонифицирани и представят женски демони. Те се причиняват от Бога като наказание за извършен грях, от самодивите, от другоселци, от непознати и от дявола. Съществува вярването, че живеят в пепелища, под високи дървета, храсти и тръни, в извори, а понякога в къщите, спят на меко върху вълната, а нощем ходят по улиците [Георгиева 1993: 168]. Някои от тях (чумата) се появяват в образа на стара, грозна и разчорлена жена. Понякога имат зооморфен вид – котка, куче, мечка, птица и др. Към заразните болести носителите на традиционната култура се отнасят като към гости, често ги наричат с определени имена, приготвят им обредна храна (питки с мед, които се раздават по къщите при шарка). Превръщането на болестта в гост разкрива желанието да се приобщи чуждото и да се умиловисти. Гостът обикновено идва от чуждия, различен външен свят (в староруски лексемата *гость* има значение ‘чужденец’). В българската традиционна култура отиването на гости и приемането на гости е ясно регламентирано. Така чуждият се превръща в свой чрез посочените обредни действия, включващи храна и почести. Известен е евфемизмът за туберкулозата, използван от Хр. Смирненски като метафора – *Жълтата гостенка*.

При епидемия от шарка се правят питки, намазват се с мед и се раздават на съседите. За някои болести вярват, че се причиняват от самодивите, самовилите и русалките. В народното съзнание, което има митологичен характер, болестта се възприема като наказание за извършен грях от представител на общността. Такъв грях може да падне върху цялата общност и тогава тя е наказвана с епидемии, глад или природни явления като суша и градушка. В цялата българска езикова и етническа

територия съществува забрана за произнасяне на истинските имена на болестите. Според Трубачев това табу е много старо и не са запазени имена на болести, а само техни евфемизми, които не са конкретни названия за различни болести, а едно обобщено евфемистично название [Трубачев 1958: 125].

Първи начин за евфемизация на думи-табу е включването на роднински термини в съответното словосъчетание, което означава определена болест.

Роднинският термин за изразяване на кръвно родство *баба* (**baba*) се употребява като евфемизъм при названия на инфекциозни болести: *баба Лейка* [БЕР Т. 3: 381], *баба Шарка* (Западна, Източна и Северна България), *баба Друсла*, *баба Писанка* [Дукова 2015: 5; Младенова 1994: 221], *бабичката* (Силистренско), *баба чума*. Използването на роднински термин за назоваване на болести е един от най-разпространените начини за превръщане на чуждото в свое. За болести се използва също роднинският термин *леля*: *леля* – ‘чума’ (Смолянско, Хасковско); *леля* – ‘шарка’ (Петрич), *леличка* – ‘шарка’ (Югозападна България); *леля* – ‘коремнен тиф’ (Разградско), *стринка* – ‘чума’, *сестрица* – ‘чума’ (Ботевградско). *Сестрици* се използва и за самодиви, които също могат да причинят болестта *ограма*.

Необходимо е да отбележим, че терминът *леля* се употребява и за невестулка, а *баба Шарка* и *бабичката* за калинка.

За болестта ‘шарка’ се използва и съчетанието *милата майчица* (Югозападна България), при което деминутивът *майчица* и прилагателното *милата* разкриват стремежа на носителя на традиционната българска култура да направи от чуждото и опасното за него нещо родно, добро и близко. *Майчица* означава и ‘болест’, а *горска майка* – безсъница [Попов, 2002: 47]. Словосъчетанието *горска майка* се използва като евфемизъм и за змията.

Най-разпространеният роднински термин за демони-болести е *баба*.

Други евфемизми за болести

Използват се още *маслена*, *медена*, *медена* и *маслена*, *сладка* и *медена*, *блага*, *цветенцето*, *богинка*, *госка*, *добрина*, *писанка*. В названието *богинка* се наблюдава компонент *Бог*. В *добрина* има вътрешна форма *добър*, която откриваме още в следните названия: *добранка* (Тетевенско) и *добрина* (Чепеларе, Асеновградско), които се използват за болестта *червенка*. *Добринка* и *добрио* – за скорбут (Радуил, Самок.). *Добрица* е ‘пъпка на венеца и гърлото’ (Ловешко), а *доброта* – ‘възпаление на венците’ (Пелово, Плевенско, Ботевградско), *доброто* – ‘оток’ (Тетевенско), *блага* – ‘чума’, *блаж* – ‘пневмония’, *благата рана*, *сладка пъпка* [Геров Т. 5: 188] – ‘синя пъпка’, *блага булещица* – ‘болест’ [Ду-

кова 2015: 21]. Видно е, че наличието на вътрешна форма *добър* е начин за евфемизация и умилостивяване на различни видове болести. За това се използват и евфемизми с корените *слад-*, *мед-* и *благ-*. *Сладката болест*, е заболяване, при което болят зъбите, венците и главата. *Бели-червени*, *сладки* и *медени* са евфемизми различни болести [Георгиева 1993: 149; Стойнев, 1994: 21]. *Сладки* и *медени* се използва също за самодиви и русалки. Така наричат също в Поповско Антоновден и Атанасовден, празници, посветени на близнаците-покровители на чумата и другите заразни болести. В словосъчетанието *бели-червени* се открива основен за носителите на народната култура критерий за красотата. За болеста *червен вятър* (ehezipeł) се използват евфемизмите *червен Георги* и *червен Георги на червен кон*. За треска се използва евфемизмът *кума* [Попов 2001: 47].

Най-страшната епидемична болест, отбелязана във фолклора е чумата. Чумата е женско демонично същество, обобщен образ на болестта, смъртта и съдбата. Празникът на чумата е 10 февруари и се нарича *Чумовден*, *Чуминден* (Каран, Хасковско). За неин повелител се смята свети Харалампи, а за покровители – близнаците светци Антон и Атанас. Затова на празниците им на 17 и 18 януари не се работи, а жените приготвят и раздават медени питки – за да не идва в селото чумата. В някои райони на България 19 януари се празнува в чест на *св. Черна*, т.е. на чумата. Подобно на останалите персонифицирани болести, тя има разнообразни превъплъщения. Нейни задължителни характеристики са женската ѝ същност, връзката ѝ с животинския свят и асиметрията. Появява се и в зооморфни образи: котка, куче, коза, козле, мишка, вълк, кокошка, птица, а характерен предмет е кълбото прежда – символ на нишката на човешкия живот, която държи тя. Място ѝ на обитание се нарича *Чумно село*. За разлика от повечето болести чумата е майка, тя има деца, наречени *чумчета*, *чумета*. Вероятно по тази причина проявява милост към сираците. Легендата гласи, че болестта *чума* възниква от сърцето на насилено момиче. Много често се използва в клетви и някои пословици: *Ако има чума, та няма ли шума? Крий се от чума зад шума и от сипка зад шипка! Що ще чума връз чума?* – за две еднакво лоши неща. *Чумо проклето! Черна чума да те тръине! Чума те измела! Чумата да те чумне! Черната чума да те вземе дано! Чумичката да те изяде!*

Най-често срещаните евфемизми за чума са: *медената*, *медена*, *блага*, *леля*, *лелята*, *стринка*, *баба чума*.

Изводи

Евфемизмите за болести се образуват чрез:

– използване на роднински термини: *баба*, *леля*, *лелъка*, *леличка*, *стринка*, *сестрица*, *майка*;

– названия с вътрешна форма *сладък*: *сладки и медени, блаж, благата, благата рана, сладка пъпка, блага булесчица* и др.

– названия с вътрешна форма *добър*: *добранка, добрина, добрио* и др.

– названия с вътрешна форма *гост*: *гост, госка, гостенка, жълтата гостенка*.

– названия за цветове: *бели-червени, жълтата гостенка* и др.

Евфемизми, свързани с починалия и смъртта

В българския тълковен речник [БТР 1973: 945] за думата *смърт* са дадени две значения: ‘прекръпяване на живота’ и ‘въображаемо съществуване, което взима душите’. В българската картина на света, тя е ключов концепт, който е в лявата страна на опозицията **живот – смърт**. Смъртта винаги се е считала за нещо неизменно. Не случайно често се употребява изразът: *Всички сме смъртни*. Смъртта често се осмисля като грозна, чорлава старичка, облечена в черни дрехи, гърбава или куца.

Голяма част от лексиката, свързана със смъртта е табуирана. За нея и починалия човек се употребяват евфемизми [Славянские древности, Т. 5 2012: 69–71].

1. Названия с вътрешна форма *сън*: *заспал, уснение, големият сон* (югозападни български говори), *заспа завинаги, вечен сън*. С тази вътрешна форма е свързан и обичаят *разбуд*, при който на другия ден рано сутринта жените отиват на гроба на починалия и поставят там шише с вино. Вярват, че неговият образ ще се отрази във виното. Среща се и клетвата: *Да заспиш от дълго! Да заспиш от дълго!*

2. Названия с вътрешна форма *почивка/покой* – ‘спокойствие, мир, тишина’; ‘неподвижност’ [БТР 1973: 692]: *покойник, покойен, упокоен, упокой, почина, починал*.

3. Названия с вътрешна форма *път*: *пътник* (Западна България), *пътник* (Югозападна България), *той вече е пътник, запътил се е, човекът се стяга за път* със значение ‘скоро ще умре’. Известно е словосъчетанието *последен път*, което означава – ‘изминаване на пътя на починалия до гроба’. Значението на лексемата *последен* е – ‘време или качество, след което няма друго’ [БТР 1973: 735]. Следователно *последен път* означава – ‘път без връщане назад’.

4. Използват се и други глаголи за движение: ‘настъпи смъртта’ – *замйна си* (Софийско), *отиде си, замина си завинаги, напусна ни* (Вакарелски, 1990, С. 25)

5. Движение нагоре: *отиде на небето, отиде при Господа, замина на оня свят, превърна се в звездичка*.

6. Сбогуване: *сбогува се със земята, сбогувахме се с него/нея*. Лексемата *сбогом* означава – ‘поздрав при раздяла с някого завинаги’ [БТР

1973: 901], а *сбогувам се* – ‘казвам на някого сбогом, прощavam се на тръгване’.

7. Престана да диша: *бере душа, издъхна, прясна душа, предàде бòгу дух* (Софийско).

8. Срещат се още: *сиромax, сиромaxкня, завалия, клетник*, които имат значение – ‘беден, нещастен/нещастник, достоен за съжаление’ [БТР 1973: 226, 925, 357].

Всички тези евфемизми са свързани с вярата в два свята – този и онзи свят, в съществуването на отсам и отвъд.

За мъртвото тяло се среща евфемизмът – *тленни останки*, но и дисфемизмът *храна за червеите*.

Колкото и да е странно и някои клетви могат да бъдат изречени евфемистично: *Великия да те отнесе дано! Великден да не види! Да живееш от Коледа до Водици. Да живееш от Йордановден до Ивановден! Да се радваш на тревичката откъм коренчетата. Да миришеш цветенцата откъм коренчетата. Гушал букета и др.*

Изводи:

1. Забраната за назоваване на определени същества се основава на вярата в магическата сила на словото.

2. За назоваване на забранени названия (табу) се употребяват табуистични названия и евфемизми. Евфемизмите са само онези лексеми, чрез които се постига смекчаваща речева функция.

3. Евфемизмите в българската народна култура могат да бъдат отделни лексеми, словосъчетания и дори отделни малки текстове.

4. Евфемизацията се осъществява посредством следните механизми:

– заместване с деминутиви

– заместване чрез употреба на роднински термини

– чрез лексеми с вътрешна форма *благ-, хубав, добър*

– чрез названия на дървета, храсти и плодове: *калина, малина, ябълка, трънка* и др.

– чрез употребата на определени цветове: *жълт, бял, червен* и др.

– евфемистично могат да бъдат преобразувани дори някои клетви.

Литература / References

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1969. 571 с.

2. Георгиева И. Българска народна митология. София: «Наука и изкуство», 1993. 340 с.

3. Дукова У. Наименования демонов в българском языке. М.: «Индрик», 2015.

4. Зеленин Д.К. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии // Сборник музея антропологии и этнографии. Т. 8–9. Л., 1929–1930.

5. *Кацев А.М.* Эвфемизмы и просторечие. Семантический аспект // Актуальные проблемы семасиологии. Л.: «Лань», 1991. С. 65–83.
6. *Кацев А.М.* Языковое табу и евфемия. Л.: «Лань», 1988. 80 с.
7. *Ковишова М.Л.* Семантика и прагматика эвфемизмов. М.: «Гнозис», 2007.
8. *Михайлова Д.* Към въпроса за евфемистичните названия на болести в български език // Български език. № 1. 1974.
9. *Москвин В.П.* Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. Волгоград: URSS, 1999. С. 262.
10. *Попов Б.* Табуистични названия на хора и животни в югозападните български говори // Македонски преглед. № 3. 1998. С. 41–55.
11. *Попов Б.* Табуистични названия на болести в югозападните български говори // Македонски преглед. № 1. 2000. С. 67–85.
12. *Попов Б.* Реконструкция на архаичната номинация при индоевропейските названия за диви животни и ролята на ономапопечта // Съпоставително езикознание. № 2. 2000. С. 65–85.
13. *Попов Б.* Табуистични названия в български език (в етнолингвистичен аспект и в съпоставка с други езици). Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователната степен «доктор». Благоевград, 2001.
14. *Попов Б.* Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни хищни животни // Съпоставително езикознание. № 1. 2004. С. 5–23.
15. *Симеонов Б.* Прабългарска ономастика. Пловдив: Фондация, «Българско историческо наследство», 2008. 264 с.
16. *Стойнев А.* (сост.) Българска митология. Енциклопедичен речник, София: 7М+ЛОГИС, 1994. 398 с.
17. *Тишина Н.В.* Национально-культурные особенности эвфемии в современном английском и русском языке. Автореферат ... канд. филол. наук. М.: 2006.
18. *Трубачев О.Н.* Из истории табуистических названий // Вопросы славянского языкознания. № 3. 1958. С. 120–126.
19. *Holder W.* How Not to Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms. Oxford: 2003. 501 p.
20. *Meillet A.* Quelques hypothèses sur des interdiction de vocabulaire dans les langues indo-européennes. – Linguistique historique et linguistique générale. T. VII. Paris, 1926. P. 205–2014
22. *Schneeweis E.* Serbokroatische Volkskunde. 1. Volksglaube und Volksbrauch, Berlin, De Gruyter, 1961. P. 186.

Источники

1. *Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст., Леков Ив., Стойков Ст., Тодоров Цв.* Български тълковен речник. София: «Наука и изкуство», 1973. 1134 с.
2. *Георгиев Вл.* (ред.) Български етимологичен речник. Т. 3. София: АИ «Проф. Марин Дринов», 1986. 800 с.
3. *Геров Н.* Речник на българския език. Т. V. Пловдив, 1904. 386 с.
4. *Младенов Ст.* Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. Книгоиздателство Христо Г. Данов, Пловдив, 1941. 704 с.
5. Славянские древности. Етнолингвистический словарь. Т. 5 / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: «Международные отношения», 2012. 736 с.
6. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М.: «Прогресс», 1971. 827 с.

**Фазовые глаголы в сочетании с отглагольными
существительными на материале чешского и русского языков**

Я. Коцкова

**Phase verbs in connection with the deverbal nouns based
on Russian and Czech**

Jana Kocková

ABSTRACT. This paper focuses on the connection of phase verbs with the deverbal nouns in Czech and Russian, possible kinds of connections and their meaning. Moreover, a corpus-based study analyzes the aspect of the Czech verbal nouns in connection with the phase verbs.

Keywords: phase verb; deverbal noun; aspect; Czech; Russian; corpus-based.

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема сочетаемости фазовых глаголов с отглагольными существительными в чешском и русском языках. Исследование описывает возможные сочетания и их значения. Кроме того, на корпусном материале рассматривается вид чешских отглагольных существительных, сочетающихся с фазовыми глаголами.

Ключевые слова: фазовый глагол; отглагольное существительное; вид; чешский; русский; корпус.

Введение

Отглагольные существительные на *-ние / -тие* попали в последнее время в поле зрения исследователей благодаря своей способности в некоторой степени «наследовать» вербальные черты производящего глагола и прежде всего его аспектуальные характеристики. Их описание при этом осложняет факт, что данные существительные отличаются в славянских языках своим системным положением.

В чешском языке отглагольные существительные на *-ní / -tí* называются вербальными субстантивами (ВС). Они сохранили много глагольных черт, образуются парадигматически и традиционно относятся к неличным формам глагола [например: МС 3 1987; Кореѣнѹ 1958: 132; Česká mluvnice 1981]. В русском языке система оппозиции видовых форм имён на *-ние / -тие* распалась и в сравнении с чешским здесь можно обнаружить более низкую степень регулярности образования: ср. *plesknutí – всплеск, kúpnutí – кивок* и.д. [Васильева 1998: 160]. Однако, некоторое противопоставление аспектуальных значений можно обнаружить у существительных на *-ние / -тие* с процессуальным значением и у существительных на *-ка* и с нулевым суффиксом, которые имеют результативное значение или значение состояния [Пчелинцева 2013: 248].

В чешской системе всегда присутствует оппозиция форм ВС от глаголов СВ и НСВ вида, формы образуются почти без ограничений и часто не фиксируются в словарях. Системная оппозиция ВС иногда лексически дополнена другой формой отглагольного существительного, форму и значение которого невозможно системно предсказать. Напротив, в русском языке часто образуется вторичная оппозиция форм ОИД и других отглагольных существительных. Эту структуру в обоих языках осложняет также возможность существительных образовывать множественное число, при помощи которого в некоторых случаях можно выразить оппозицию значений однократности и многократности действия [Пчелинцева 2016: 139]¹. Ниже приведено несколько примеров, иллюстрирующих соотношение отглагольных существительных со значением действия в чешском и русском языках.

введение – / – *ввод*, ср. *uvadení – uvádění – (úvod)*; *обсечение* – *обсечение* – *обсечка* ср. *odseknutí – odsekání – odsekávání – odsek*; *свершение* – *свершения*² ср. *uskutečnění* (ед. и мн. ч.) – *uskutečňování* (ед. и мн. ч.)³.

Определение видовых черт отглагольных существительных

При определении потенциальных видовых⁴ черт ОИД невозможно пользоваться стандартными способами определения вида у глаголов, например, используя их принадлежность к **определённой глагольной парадигме** (т. е. используя возможность образовывать в рамках этой парадигмы конкретные формы – *буду наблюдать*, **буду написать*). Вид глагола также невозможно определить при помощи наличия или отсутствия видовых суффиксов, которые, например, в русском языке не всегда являются носителями соответствующего аспектуального значения [Пчелинцева 2016: 95].

Вид глагола, однако, оказывает влияние на его **сочетаемость**, например, с показателями повторяемости или длительности действия, с результативными глаголами и с **фазовыми глаголами**. В чешском и в русском фазовые глаголы допускают сочетание с глаголом НСВ в форме инфинитива. Это объясняется тем, что инфинитив должен обозначать ситуацию, членимую на фазы, т. е. выраженную при помощи НСВ

¹ Ср. выражение многократного действия при помощи мн. ч.: *Путин призвал поскорее закончить испытания новейшего оружия*. [<https://www.vesti.ru/doc.html?id=2577182>].

² Русские примеры взяты из [Пчелинцева 2016: 106].

³ Парадигма чешских ВС отличается также высокой степенью омонимии форм: в ед. ч. имеются только две формы, во мн. ч. – четыре, им. пад. ед. и мн. ч. омонимичны. Множественное число образуется нерегулярно.

⁴ Т. е. черты, которые имеют системные **следствия / проявления** в грамматическом плане языка.

[Падучева 2004: 179]⁵. Так как фазовые глаголы допускают сочетание как с глаголами, так и с существительными, они представляют собой реальное средство для диагностики аспектуальных характеристик ОИД.

Фазовые глаголы и их сочетаемость

Лингвисты обращали внимание на фазовые глаголы прежде всего с точки зрения статуса предикатов, состоящих из фазового глагола и инфинитива [Русская грамматика 1980: § 1958, МС III 1987: 24], или как на одно из средств выражения фазовости [Падучева 2004: 179, Маслов 1978: 18, ТФГ 1987: 153]. Функциональная грамматика описывает средства выражения фазовости отдельно для значения начала, продолжения и прекращения [ТФГ 1987: 153]. Такой подход делает возможным рассмотрение различных видов предикатов, сочетающихся с конкретными фазовыми глаголами, и исключить из анализа фазовые глаголы как однородную группу с тождественными свойствами (см. ниже).

Некоторые определения фазовых глаголов акцентируют внимание на сочетании фазовых глаголов с инфинитивом, ср. в чешском: Фазовые глаголы «... vyjadřují různý průběh děje vyjádřeného plnovýznamovým slovesem v infinitivu, např. začátek, zakončení děje apod. ...» [Česká mluvnice 1981: 221]. Иногда в определениях вовсе исключаются иные сочетания фазовых глаголов, кроме сочетаний с инфинитивом, напр., [NESČ: Fázová slovesa]⁶: «V č. tradici se za f.s. pokládají slovesa, která mají tři nutné vlastnosti: (a) speciální sémantiku: označují fáze události,...; (b) a (c) speciální morfosyntax: (b) kombinují se **jen** s infinitivní skupinou (*začal blednout*), (c) infinitiv je vždy nositelem vidového rysu [nedokonavost]».

На возможность сочетания фазовых глаголов с предикативным актантом в форме существительного указывается в чешской лингвистической литературе чаще всего в связи с ВС. П. Карлик говорит о «чувствительности к сочетанию с фазовыми глаголами и видовыми предлогами» [Karlík 2004: 78], а в «Новом энциклопедическом словаре» [NESČ: Fázová slovesa]: «...verbální substantiva ukazují – očekávaně – vid stejně jako infinitiv: *začal s kouřením / s *vykouřením*». Я. Радимски, который исследовал сочетания категориальных глаголов в чешском языке с существительным, формулирует это положение уже менее однозначно,

⁵ В чешской грамматике Гавранека и Едлички выражена мысль, что инфинитив полнозначного глагола является с точки зрения видового значения нейтральным: «Tato slovesa fázová určují sama vidový význam dokonavosti nebo nedokonavosti celého spojení a plnovýznamové sloveso v infinitivě zastává vidově neutrální» [Česká mluvnice 1981: 221].

⁶ В некоторых случаях этот пропуск еще более очевиден: «**Fázovým predikátem** rozumíme víceslovný predikát složený z fázového slovesa < ... > a z **infinitivu** slovesa plnovýznamového, který nese hlavní lexikální význam celého spojení. ... K **fázovým slovesům** řadíme: *začít, zahájit, přestat, skončit* apod» [Příručka PDT: 5.9.1.2.]. Глагол *skončit* при этом в чешском языке **не допускает** сочетания с инфинитивом.

говоря, что фазовые глаголы сочетаются гораздо чаще с отглагольными существительными НСВ [Radimský 2010: 69].

В русском ОИД часто рассматриваются в рамках общей категории фазовости [Падучева 2004: 179; Пчелинцева 2016: 153]. Как показывает анализ Е. В. Грудевой и Ю. Ю. Кузьминой, основанный на русском материале, между фазовыми глаголами существуют значительные отличия относительно частотности сочетаний с инфинитивом, именным актантом или с эллиптированным предикативным актантом [Грудева, Кузьмина 2009: 42].

Далее в статье представлены: 1) анализ сочетаемости фазовых глаголов; 2) сопоставление возможностей сочетаний фазовых глаголов в русском и чешском языках с ОИД и 3) анализ вида ВС в сочетаниях с фазовыми глаголами в чешском.

Сравнение сочетаемостей фазовых глаголов

В наше корпусное исследование вошли чешские глаголы *začít, začínat, končit, skončit*, и русские глаголы *начать, начинать, кончить, кончать*. Первая часть анализа была сосредоточена на видах предикативных актантов, с которыми сочетаются исследуемые глаголы в фазовом значении, т. е. мы пытались выяснить, сочетаются ли они и в какой мере с актантами в форме инфинитива и отглагольного существительного или у них предикативный актант⁷ опускается. Данный анализ был проведен на материале параллельного корпуса InterKorp v10. Из-за ограниченного размера корпуса и количества проанализированных примеров приведенные ниже результаты показывают лишь тенденцию в сочетаемости конкретного фазового глагола⁸.

Фазовый глагол	Инф.	Имя	Эллипсис
кончить	14%	36%	50%
кончать	32%	37%	31%
начать	69%	11%	20%
начинать	63%	8%	29%

⁷ Из статистики исключены случаи, в которых фазовые глаголы не имели функцию вспомогательного глагола. Напр., глагол *skončit* часто выражает в чешском языке значение «занять какое-то место»: «*Reprezentanti do 18 let na Turnaji čtyř ve slovenské Prievidzi druzi ...*». Значения некоторых выражений различаются в зависимости от того, есть ли в предложении эллиптированный предикат или его нет: *Skončil na ministerstvu*. ‘Ушёл с работы’ x *Skončil na policejní stanici*. ‘Его задержали’.

⁸ Наши результаты и результаты анализа Грудевой и Кузьминой [Грудева, Кузьмина 2009: 42] на материале КРЛЯ могут различаться видами текстов, входящих в **корпуса, различной морфологической аннотацией корпусов и ошибками в лемматизации**.

Фазовый глагол	Инф.	Имя	Эллипсис
skončit	0 ⁹	46,8%	25%
končit	0	81,2%	18,7%
začít	82%	11%	7%
začínat	81%	13,6%	8,5%

Существительные на *-ní/-tí, -nie/-mie* при фазовых глаголах

Во второй части нашего корпусного исследования были рассмотрены сочетания ОИД в предикативной функции с глаголами *začít, začínat, končit, skončit* и *начать, начинать, кончить, кончать*. Исследование проводилось как открытое, т. е. были исследованы и классифицированы все сочетания фазовых глаголов и ОИД в предикативной функции. Полученная классификация основывается на материале, доступном в корпусе, включает только наиболее частотные формы и далека от полного описания.

В исследуемых языках ОИД выступают при фазовом глаголе наиболее часто в форме им., тв. и вин. падежей, а в русском языке – также в форме род. пад. с предлогом *с*.

Существительное в **именительном падеже** обозначает начало / конец процесса, выраженного существительным, МС III указывает, что сочетание фазового глагола с абстрактным существительным в позиции субъекта является наиболее близким к фазовым модификациям с инфинитивом [МС III 1987: 24]:

(1) *Než začne vyjednávání...*

(2) *Мы начинаем заполнение эмиграционной карточки.*

В **родительном падеже** в русском существительные употребляются при глаголах *начинать / начать* с предлогом *с*. При этом конструкция выражает значение начальной фазы действия [Падучева 2004: 183]. В чешском употребляется аналогичная конструкция с твор. пад.¹⁰:

(3) *... u já nāchnu ... s pōkraski domōv.*

(4) *... chci začít s malováním domů.*

В **творительном падеже** существительное обозначает «часть действия, которое выделяется из процесса» [Падучева 2004: 187]:

⁹ Глагол *končit*, однако, допускает сочетание с причастиями, в нашем анализе это было зафиксировано дважды, например: ..., *keré neprávem končí zapomenutý*.

¹⁰ В чешском языке, кроме того, встречается форма с предлогом *od* и род. пад. Данная конструкция не зафиксирована в словарях, включая словарь сочетаемостей Vallex 3.0, однако в корпусе Syn v6 она встречается довольно часто, напр.: *Zāčneme od školení osob ve vedoucích funkcích./Je nutné začít od potírání drobné kriminality...*

(5) *Všechno končilo v roce 1980 zimováním geofyzika Tibora Ďuriše na Vostoku.*

(6) *Начал речь приветствием* [Падучева 2004: 187].

Значение фазы процесса может быть выражено беспредложной падежной формой или при помощи предлога *s* (в твор. или им. пад.). В некоторых случаях эти формы являются конкурирующими: *начать речь приветствием / начать речь с приветствия; začalo to zmizením strýce / začalo to se zmizením strýce*. В случаях, где возможна агентивная и деагентивная интерпретация, предлог распределяет значение части, выделяющейся из процесса, (7, 8) и процесса, который заканчивается или начинается (9, 10):

(7) *Skončil hvízdáním ... (projev) x* (8) *Skončil s hvízdáním (on).*

(9) *Mnozí končí užíváním levných léků¹¹.* *x* (10) *Mnozí končí s užíváním léků.*

В конструкциях с **винительным падежом** субъект начинает / заканчивает процесс, выраженный существительным:

(11) *Začala jsem vyšetřování.*

(12) *Я начала расследование.*

Вербальные существительные при фазовых глаголах

Следующая часть нашего исследования посвящена вопросу, с какими вербальными существительными сочетаются фазовые глаголы в чешском языке и можно ли здесь обнаружить какие-то предпочтения в выборе существительного СВ или НСВ видов. Все ниже указанные примеры взяты из корпуса InterCorp v10.

Začínat

В параллельном корпусе InterCorp встретилось всего 71 сочетание с глаголом *začínat*, при этом преобладали формы от глаголов НСВ (45:26). У сочетаний **BC НСВ** преобладали сочетания в **им. пад.**:

(13) *Zvyšování produktivity infrastruktury začíná už ve fázi plánování.*

(14) *Každé hledání začíná štěstím začátečníka.*

У сочетаний с **BC СВ** более частотной является форма твор. пад. со значением начальной фазы действия:

(15) *Chytrá mocenská strategie začíná jasným zhodnocením mezi.*

Začít

Začít имеет в чешском более высокую общую частотность, которая отражается также в сочетании с BC. Здесь также преобладали формы НСВ в соотношении 3:1. Формы **НСВ** встречались **одинаково часто** в

¹¹ В значении: *Многие в результате принимают дешевые препараты.*

форме твор. и им. падежей. ВС НСВ в твор. пад. (16) и в им. пад. (17) выражали чаще всего **начало процесса**:

(16) *Začneme jednoduchým vyhledáváním několika jasných klíčových slov...*

(17) *Když strategie selže, začne vzájemné obviňování.*

Формы **ВС от СВ** чаще всего выступают в **твор. пад.** В этих случаях ВС выражает не значение начала процесса, а значение закрытого действия, которое является определённой фазой процесса:

(18) *Obamova snaha znovu rozdmýchat blízkovýchodní mírový proces začala izraelským odmítnutím dočasného zmrazení výstavby osad.*

Končit

В параллельном корпусе было обнаружено в общей сложности 38 сочетаний глагола *končit* с ВС. Среди примеров преобладали формы ВС НСВ. **ВС НСВ** были зафиксированы прежде всего в форме **твор. пад.**, причем у них преобладает значение деятельности, которую субъект заканчивает (19). Многие сочетания в чешском языке выражают намерение субъекта (лица) отказаться от какой-то привычки (20). **ВС НСВ** в форме **им. пад.** встретились в одной трети примеров (21). Для получения более точных данных был проведён анализ также на основе одноязычного корпуса Syn v6. Исследование на более широком материале показало, что в им. пад. преобладают формы НСВ, а среди форм твор. пад. Наиболее часто встречаются формы СВ.

(19) *Právě končím s vynášením smetí a tak.*

(20) *Končím s pitím a kouřením.*

(21) *Prohrávání teď končí.*

Формы **СВ** наиболее часто фиксируются в **им. пад.** и представляют собой преимущественно пограничные случаи, т. е. как ВС со значением действия, так и существительные с конкретным значением (*sdělení, setkání*).

(22) *Tím končí pozastavení letů.*

Skončit

Среди сочетаний глагола *skončit* с ВС также преобладают **ВС НСВ** (79 из 103 форм), которые наиболее часто фиксируются в форме им. пад. и обозначали конец процесса:

(23) *Pokud toto zneužívání antibiotik neskončí, brzy se ocitneme bez léků schopných účinně léčit bakteriální infekce.*

ВС СВ выступают в равной степени в **твор.** (24) и **им. пад.** (25); также были выявлены примеры со значением 'отказаться от привычки' (26).

(24) *Když několikerým prudkým máchnutím paží svoje prostocviky skončí, začíná se svou toaletou.*

(25) *Když rozdělení skončilo, objevila se náhle příležitost zrekonstruovat v baltském regionu tradiční volný pohyb osob...*

(26) ... *chemoterapie přiměje leckoho skončit s kouřením.*

Выводы

Анализ показал, что фазовые глаголы различаются сочетаемостью. В рамках сочетаний фазовых глаголов с ОИД данные существительные выступают чаще всего в форме им. и твор. пад. В отличие от им. пад., при помощи которого выражается значение начала / конца процесса, существительные в форме твор. пад. могут также выражать значение определённой фазы действия.

Корпусное исследование сочетаний глаголов *začít / začínat, končit / skončit* с ВС в чешском языке показало, что в них преобладают сочетания с ВС НСВ. Подтверждается тенденция к предпочтению форм НСВ, однако формы СВ не являются абсолютно невозможными. С другой стороны, формы ВС не являются произвольными, в конструкциях с фазовыми глаголами они отражают аспектуальные значения: ср. ... *film končí rozdáváním dárků pro děti v nemocničním pokoji*, со значением длительного, повторяющегося процесса; и *film končí rozdáním dárků pro děti v nemocničním pokoji* со значением однократного законченного процесса. Кроме того, исследование выявило тенденцию к выбору форм **НСВ в им. пад.**, которые очень близки к значению инфинитива, ср. *začne mýt, začne mytí*. Формы **СВ** встречаются чаще всего в форме **твор. пад.**, и у них преобладает значение определённой фазы процесса; действие, выраженное существительным, представляется как целое: ...*rok skončí polapením viníka*. Видовая форма ВС не обладает положением в системе, соответствующим видовым формам глагола. С этой точки зрения сочетания с фазовыми глаголами не представляют собой однозначный диагностический контекст для «имперфективного» или «перфективного» значения девербативов.

Литература / References

1. *Васильева В.Ф.* Предметная номинация в русском и чешском языках (сопоставительный аспект) // Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков / Под ред. *А. Г. Широковой*. М.: Издательство МГУ, 1998. С. 100–170.

2. *Грудева Е.В., Кузьмина Ю.Ю.* Фазовые глаголы в современном русском языке (корпусное исследование) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2009. № 3. С. 36–43.

3. *Маслов Ю.С.* К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1978. С. 4–44.

4. *Падучева Е.В.* Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004. 608 с.

5. Пчелинцева Е.Э. От глагола к имени: аспектуальность в русских, украинских и польских именах действия / Под ред. М.Д. Воейковой. СПб.: Наука, 2016. 368 с.
6. *Русская грамматика*. Т. 2. Синтаксис. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980. 714 с.
7. ТФГ / Теория функциональной грамматики: Введение, Аспектуальность, Временная локализованность, Таксис / Под ред. А. В. Бондарко. Л.: Наука, 1987. 347 с.
8. Čermák F. Viceslovná pojmenování typu verbum – substantivum v češtině // Slovo a slovesnost, 1974. 35/4. С. 287–306.
9. Česká mluvnice / eds. B. Havránek, A. Jedlička. Praha: SPN, 1981, 562 с.
10. InterCorp / *Korpus InterCorp*, verze 10 z 1. 12. 2017. ÚČNK FF UK, Praha, 2017. [Электронный ресурс.] URL: <http://www.korpus.cz>. Дата последнего обращения: 12.01.2019.
11. Karlík P. Mají dějová substantiva slovesný rod? // Čeština – univerzália a specifika 5. Eds. Z. Hladká, P. Karlík. Praha: NLN, 2004. С. 33–46.
12. Kopečný, F. *Základy české skladby*. Praha: SPN, 1958. 335 с.
13. MČ 3 / *Mluvnice češtiny 3* / eds. F. Daneš, Z. Hlavsa, M. Grepl. Praha: Academia, 1987. 748 с.
14. NESČ. Nový encyklopedický slovník češtiny / eds. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. [Электронный ресурс.] URL: <https://www.czechency.org>. Дата последнего обращения: 10.12.2018.
15. Příručka PDT / Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu / Kolektiv autorů. [Электронный ресурс.] URL: <https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/index.html>. Дата последнего обращения: 15.01.2019.
16. Radimský J. Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. 216 с.
17. Syn v6 / *Korpus SYN*, verze 6 z 18. 12. 2017. ÚČNK FF UK, Praha, 2017. [Электронный ресурс.] URL: <http://www.korpus.cz>. Дата последнего обращения: 12.12.2018.
18. Vallex 3.0 / Valenční slovník českých sloves VALLEX / Lopatková M., Kettnerová V., Bejček E., Vernerová A., Žabokrtský Z. [Электронный ресурс.] URL: <http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/>. Дата последнего обращения: 23.01.2019.

Использованные сокращения

ВС – вербальные субстантивы

СВ – совершенный вид

НСВ – несовершенный вид

ОИД – отглагольное имя действия на *-ние*, *-тие* / *-ní*, *-ті*

**Языковые средства передачи чешской и словацкой
идентичностей в тексте транснационального романа
и его переводе**

В. С. Князькова, М. Ю. Котова

**Language Means Forming Czech and Slovak Identities
in a Text of a Transnational Novel and its Translation**

Viktoria S. Kniazkova, Marina Yu. Kotova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/73-80

ABSTRACT. The article examines transnational novels and their translations with the goal to analyze English insertions in a Czech-language novel by J. Škvorecký, Czech insertions in a German-language novel by L. Moníková and Slovak insertions and enciphered realia in German-language novels by I. Brežná. The conclusion is made about the role of foreign insertions and realia in the representation of Czech and Slovak identities in these novels and about the requirement to convey this literary technique in literary translation.

Keywords: identity; Czech; Slovak; transnational fiction; foreign insertions; realia.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются транснациональные романы и их переводы с целью анализа английских вкраплений в чешскоязычном романе Й. Шкворецкого, чешских вкраплений в немецкоязычном романе Л. Мониковой и словацких вкраплений и зашифрованных реалий в немецкоязычных романах И. Брежной. Делается вывод о роли иноязычных вкраплений и реалий в репрезентации чешской и словацкой идентичностей в этих романах и о необходимости передавать этот писательский прием при художественном переводе.

Ключевые слова: идентичность; чешский; словацкий; транснациональная проза; иноязычные вкрапления; реалии.

Прозу писателей с чешскими и словацкими корнями, оказавшихся за пределами Чехии и Словакии по экономическим, политическим или другим причинам и создавших свои произведения на родных или освоенных за рубежом языках мы относим к транснациональной прозе. Полагаясь на наши предыдущие исследования [Сегменты идентичности... 2014; Котова 2016], мы пришли к выводу о наличии у нее следующих литературно-философских типологических черт: автобиографичность, неоднозначная национально-культурная самоидентификация автора и героев, освещение проблем интеграции эмигрантов, трансформация культурной памяти, коррекция стереотипов и системы ценностей – все вместе выстраивающие новый тип национально-культурной идентично-

сти писателя и персонажей его произведений. Со стилистической и языковой точки зрения в транснациональной прозе, как правило, присутствует интертекстуальность в виде смысловых аллюзий и иноязычных вкраплений, которые включаются автором в текст не только намеренно как речевые характеристики действующих лиц, но и самопроизвольно – в авторской речи, обнажая противоречивую природу авторской системы выражения, преобразованной под влиянием инородного языкового окружения. Именно эти два аспекта, являющиеся наиболее ярким лингвистическим воплощением национально-культурной чешской и словацкой идентичностей в транснациональной прозе, рассмотрим подробнее. Привлекая для анализа художественные переводы транснациональной прозы, мы находим доказательства уникальности ряда приемов переключения кодов и пытаемся заострить внимание на необходимости поиска нетрафаретных способов адекватной передачи труднопереводимых контекстов.

I. Чешская транснациональная проза

К чешской транснациональной прозе мы относим произведения, написанные по-чешски или на языке окружения (например, на немецком или на английском). Учитывая результаты исследований чешской идентичности, проведенных на кафедре славянской филологии СПбГУ совместно с А. В. Русан и А. Н. Болдыревой [Русан 2016; Болдырева 2017], а также труды о чешской идентичности таких российских и зарубежных ученых, как Е. Н. Ковтун, Н. В. Коровицына, Е. С. Худякова, J. Czaplinska, S. Čmejrková, B. Feldmeier, J. Gazda, T. Hedin, P. Mareš, M. Nekula, I. Pospíšil, S. Kreisslová, R. Pynsent, K. Vlachová и В. Řeháková и др., рассмотрим наиболее типичные способы лингвистического воплощения чешской идентичности на примере двух произведений транснациональной прозы и их переводов: чешскоязычного романа Й. Шкворецкого «Příběh inženýra lidských duší» («История инженера человеческих душ», 1977) и немецкоязычного романа Л. Мониковой «Die Fassade» («Фасад», 1987).

1) Английские вкрапления в чешском тексте

Английские вкрапления в чешском тексте романа Й. Шкворецкого «Příběh inženýra lidských duší» оформлены либо как английские вставки, либо с использованием чешской графики и по чешским словообразовательным моделям, например:

*Jako už močkrát cítím k malé **Irish girl** vděčnost* [Škvorecký 1989, II: 75].

*Já byla **ív** mor šokt!* [Škvorecký 1989, I: 144].

*Celej čas sem do angličtiny **mixovala** česká slova! **Ív** celé věty!* [Škvorecký 1989, I: 154].

Английские вкрапления в чешском тексте рассматриваются в выпускной квалификационной работе аспирантки Алисы Владимировны Русан «Смешение и переключение кодов в речи эмигрантов (на материале прозы Й. Шкворецкого)» [Русан 2017] как проявления переключения кодов в речи персонажей-билингвов. А. В. Русан выявила в своей работе 953 примера переключения с чешского на английский язык в романе Й. Шкворецкого «*Příběh inženýra lidských duší*». Согласно ее выводам, во-первых, билингвизм героев романа Й. Шкворецкого и специфика переключения кодов в этом произведении напрямую связаны с билингвизмом автора (62% всех внутрифразовых переключений в пределах словосочетания или простого предложения содержатся в речи автора); во-вторых, переключения кодов в романе «*Příběh inženýra lidských duší*» представляют собой единицы разных уровней английского языка (слово, словосочетание, предложение, реплика) в чешскоязычном дискурсе; в-третьих, специфической функцией переключений кодов в романе Й. Шкворецкого является создание эффекта коммуникации на английском языке (стилизация речи под коммуникацию на английском языке) [Русан 2017: 5].

2) Чешские вкрапления в немецком тексте

Чешским вкраплениям в немецком тексте романа Л. Мониковой «*Die Fassade*» («Фасад», 1987) посвящена магистерская диссертация Анны Николаевны Болдыревой «Чешская идентичность: лингвокультурологический аспект (на материале немецкоязычного романа Л. Мониковой «*Die Fassade*» («Фасад») и его чешского перевода)» [Болдырева 2018]. В романе зафиксированы два типа чешских вкраплений. Первый – это переведенные ранее на немецкий язык, но написанные автором на чешском языке, например: «*Die Babička*» von B. Němcová [Moníková 1987: 209] (ср. изданный в Германии в 1858 году перевод повести «*Die Großmutter*»). Этот тип включает в себя произведения искусства и имена чешских авторов, важные для культуры Чехии, географические и исторические наименования, значение которых отличается более глубокой связью с Чехией, некоторые предметы быта, имеющие параллели в немецком языке и др. Важный пласт представляет передача чешских имен и фамилий. Например, чешское написание имени древнечешской правительницы, мудрой княгини, предсказавшей строительство и величие Праги, – *Libuše* [Moníková 1987: 34] (ср. нем. *Libussa* или *Libuscha*). Несмотря на наличие немецкого варианта написания ее имени, в романе оно фигурирует в чешском варианте. К первому типу относятся и другие используемые в романе имена, важные для чешской культурной памяти, такие как: *Jaroslav Hašek*, *Leoš Janáček*, *Jan Žižka*, *Svatopluk Čech*, *Alois Jirásek*, *Božena Němcová*, *Bedřich Smetana*, *Jan Amos Komenský*, *Karel Čapek* и другие.

Ко второму типу чешских вкраплений в немецком тексте можно отнести неперебиваемые и не переведенные на немецкий язык реалии и элементы культурной и общественной жизни, например: реалии *laskonka* [Moníková 1987: 138] – традиционное чешское и словацкое пирожное или печенье; *polárka* [Moníková 1987: 99] – сорт мороженого в Чехии; *deko* [Moníková 1987: 137] – принятая в Чехии мера веса, равная десяти граммам, и др.; названия чешских и словацких журналов («*Mladá fronta*» [Moníková 1987: 173]; «*Lidová demokracie*» [Moníková 1987: 173]; «*Práce*» [Moníková 1987: 173] и др.); название произведений искусства, например, чехословацкого фильма-мюзикла 1965 года «*Kdyby tisíc klarinetů*» [Moníková 1987: 310] и др.

Исследование художественных переводов – чешскоязычного романа Й. Шкворецкого на английский язык и немецкоязычного романа Л. Мониковой на чешский язык – приводит к заключению о значительных потерях в плане передачи смысловых коннотаций иноязычных вкраплений оригинала, которые часто ассимилируются в переводе (английские вкрапления – в английском переводе, чешские вкрапления – в чешском переводе), поскольку никак не выделяются переводчиками в тексте. И английские вкрапления в чешском тексте, и чешские вкрапления в немецком тексте концентрированно выражают коллективную культурную память нации, а также стереотипы на ценностной шкале, сложившейся в Чехии, которые необходимо сохранять при художественном переводе.

II. Словацкая транснациональная проза

Начало транснациональной прозы словацкого происхождения можно отнести к периоду первых волн эмиграции словаков в конце XIX – начале XX вв. Наиболее ярким примером является творчество американского писателя Томаса Белла (Thomas Bell, 1903–1961), потомка первых словацких трудовых мигрантов в США. Его роман «*Out of This Furnace*» («Из этой печи», 1941) – это наблюдение за изменениями идентичности в условиях эмиграции, и ключевую роль в этом литературном исследовании автор отдает языку. Метаязыковые размышления автора и словацкие вкрапления в речи героев становятся доказательством постоянной внутренней борьбы идентичности эмигранта. Роман был переведен на словацкий язык под названием «*Dva svety*» («Два мира», 1949), однако вследствие потери словацких вкраплений в тексте перевода не удалось отразить основной замысел автора о ключевой роли языка в осмыслении идентичности эмигранта [Identity... 2017: 111–129].

Последующие волны эмиграции словаков дали множество ярких писательских личностей с гибридной идентичностью. Это и Й. Цигер-

Гронский, и Л. Лагола, и Я. Блажкова, и В. Мнячко, и З. Бекер, и многие другие.

Писательница и журналистка Ирена Брежна родилась в Словакии в 1950 году, а в 1968 году эмигрировала с родителями в Швейцарию. Она изучала славистику, философию и психологию в университете Базеля. Язык художественных произведений Ирены Брежной – немецкий, но их тематика всегда затрагивает болезненные стороны жизни в родной для нее Словакии, вопросы эмиграции и отношений между народами. В Словакии кроме статей вышло пять книг Ирены Брежной. Два романа – «Die beste aller Welten» (2008) (словацкий перевод «Na slepačích krídlach», 2007) и «Die undankbare Fremde» (2012) (словацкий перевод, «Nevďačná cudzinka», 2012) – были переведены на словацкий язык переводчицей, писательницей и основательницей общества «Аспект» Яной Цвиковой в соавторстве с самой писательницей с ее немецких рукописей¹.

Художественные произведения Ирены Брежной имеют все черты транснациональной литературы: автобиографичность, вопросы идентичности, темы эмиграции, взаимоотношения культур, национальных стереотипов, метаязыковые изыскания, культурно-исторические размышления. Творчество Ирены Брежной признано как в немецкоязычном пространстве, так и в Словакии. Она является обладательницей различных швейцарских, немецких и словацких журналистских и литературных премий. В 2016 году она стала первым (и пока единственным) «иностранным» лауреатом престижной в Словакии литературной премии им. Доминика Татарки за книгу «Nevďačná cudzinka». Эта же книга в 2012 году получила Литературную премию Швейцарской Конфедерации.

В первом романе «Die beste aller Welten» представлена словацкая действительность 1950-х годов посредством наивного и одновременно глубокого описания повседневной жизни и личных переживаний девочки-подростка, от лица которой ведется повествование. В романе упоминаются различные страны, города, народы, их языки и их правители, но не называются при этом прямо, а подразумеваются в зашифрованном описании.

*Dabei gibt es in **unserem Land** kein Unglück und keinen Jesus Christus* [Brežná 2016a: 9].

*V **našej krajine** niet nešťastia ani Ježiša Krista* [Brežná 2016b: 10].

*Als Großvater jung war, ging er <...> und kam in eine **große Stadt**. **Dort gab es die Sprache unserer Unterdrücker*** [Brežná 2016a: 54].

¹ Роман «Die beste aller Welten» («Лучший из миров») на русский не переведён, роман «Die undankbare Fremde» издан на русском языке в 2014 году под названием «Неблагодарная чужестранка».

Ked' bol dedko mladý, <...> prišiel do veľkého mesta, kde hovorili rečou našich utláčateľov [Brežná 2016b: 71].

Es ist die Sprache unseres Brudervolkes, mit dem wir in einem Land zusammenleben [Brežná 2016a: 61].

Je to reč nášho bratského národa, s ktorým žijeme v jednej krajine [Brežná 2016b: 80].

Auch das braune Getränk aus dem Feidesland ist in aller Munde <...> [Brežná 2016a: 73]

A všetci majú plné ústa toho hnedého nápoja z nepriateľskej krajiny <...> [Brežná 2016b: 96]

Wir sind ein kleines Land mit einem großen Freund [Brežná 2016a: 126].

Sme malá krajina s veľkým priateľom [Brežná 2016b: 168].

В тексте романа зашифрованы такие географические названия, как Словакия, Чехия, Венгрия, Советский Союз, США, Япония, Куба, Украина, Германия, города Братислава, Тренчин, Будапешт и другие. Описание предельно ясно указывает на ту или иную страну или город, словацкий читатель без труда расшифровывает обозначения государств, народов, их языков и их правителей.

Рассказывая об опыте эмиграции во втором романе «Неблагодарная чужестранка», писательница также упоминает языки, народы, страны, противопоставляет родину и чужбину, характеризует идентичность жителей страны и эмигрантов, но при этом не называет их прямо, а дает только описания:

Das Verrückte an unserer Geschichte war, dass uns unsere besten Freunde überfallen hatten, und auf der Flucht von den Truppen der Verbündeten waren wir in einem Feidesland gestrandet [Brežná 2016a: 7].

Šialené na našom príbehu bolo to, že nás prepadli najlepši priatelia a na úteku pred vojskami spojencov sme uviazli v nepriateľskej krajine [Brežná 2016b: 9].

Da hatten sie mir Zuflucht in der besten aller Welten geboten, und die undankbare Fremde verspottete ihre Weltanschauung [Brežná 2016a: 34].

Tak oni mi poskytli útočisko v najlepšom zo všetkých svetov a táto nevďačná cudzinka sa vysmieva ich svetonázoru [Brežná 2016b: 39].

Die Burg meiner Sprachidentität täglich zu verteidigen, war aufreibend [Brežná 2016a: 114].

Vysilovalo ma deň čo deň brániť pevnosť svojej jazykovej identity [Brežná 2016b: 127].

В связи с этим возникают два вопроса: первый – для чего используется данный прием; второй – как этот прием воспринимается в оригинальном тексте немецкоязычным читателем. Чтобы ответить на первый

вопрос, вспомним, что речь идет о транснациональном романе, где автор описывает жизнь на своей первой родине, при этом выбирая для описания язык своей второй родины. На чем основан данный выбор? Это довольно распространенное явление среди писателей-эмигрантов, основанное на сознательном отстранении от того, что было родным и сейчас ощущается как болезненное переживание, преодоление прошлого и поиски новой идентичности. Сама Ирена Брежна говорит: «Да, мне пришлось написать об этом по-немецки, потому что иначе мне бы это не удалось сделать вообще – вытащить воспоминания из глубинных клеток» [Hrdličková]. Таким образом, не только выбор иностранного, с точки зрения описываемых явлений, языка, но и прием зашифрованных реалий является своего рода эвфемизмом для смягчения негативной нагрузки текста для самого автора.

Что касается восприятия оригинального немецкого произведения, сама писательница отмечает, что немецкая книга более литературная, более абстрактная, более вымышленная [Hrdličková]. Кроме того, в самом немецком тексте используются вспомогательные лексемы для объяснения некоторых вкраплений и реалий:

Kinder nennen nämlich jede Frau Tante und jeden Mann Onkel [Brežná 2008: 29].

<...>*každú ženu totiž voláme teta a každého muža ujo* [Brežná 2010: 37].

Als Großvater jung war, ging er wie der Held Janko in die Welt [Brežná 2008: 54].

Ked' bol dedko mladý, šiel do sveta ako Janík [Brežná 2010: 71].

Als sie jung war, habe es in dem befreundeten Nachbarland eine schreckliche Hungersnot gegeben [Brežná 2008: 152].

Ked' bola mladá, bol v susednej krajine príšerný hladomor [Brežná 2010: 202].

Как видно из примеров – а их в обоих романах большое количество, – оригинал становится эксплицитнее, чем перевод, что противоречит традиционному отношению оригинала и перевода [Popovič 1983: 200; Zambor 2000: 45–48]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что такой транснациональный роман на языке оригинала воспринимается как перевод, и, наоборот, переводной словацкий текст читается как оригинальное произведение.

Подводя итог, хочется заметить, что подобное явление наблюдается и в других словацких произведениях конца XX – начала XXI века. В частности, можно упомянуть роман П. Криштуфeka «Суфлер» или рассказ П. Виликовского «Všetko, čo viem o stredoeurópanstve» («Все, что я знаю о центральноевропействе»). В этих произведениях, где действие происходит в Словакии и Чехии, названия стран и народностей также

представлены в зашифрованном виде. Возможно, такое решение свидетельствует о поиске идентичности, характерном для всей современной словацкой литературы. Анализ переводов транснациональных произведений приводит к выводу о недооценке переводчиками важности сохранения культурного кода, отраженного как в эксплицитных иноязычных вкраплениях, так и в имплицитно зашифрованных реалиях. В большинстве случаев, он оказывается утраченным, что значительно снижает общую эстетическую ценность переводного текста.

Литература / References

1. *Болдырева А.Н.* Чешская идентичность и транснациональный роман Либуше Мониковой «Die Fassade» // *Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций.* 2017. №3 (19). С. 3–13.
2. *Болдырева А.Н.* Чешская идентичность: лингвокультурологический аспект (на материале немецкоязычного романа Л. Мониковой «Die Fassade» («Фасад») и его чешского перевода). Магистерская диссертация (научный руководитель – проф. М.Ю. Котова). СПб.: СПбГУ, 2018 (в рукописи). 99 с. [Электронный ресурс.] URL: <https://dspace.spbu.ru/handle/11701/12578>. Дата последнего обращения: 10.11.2018.
3. *Котова М.Ю.* Специфика инокультурного кода в транснациональном романе (на материале прозы Марины Левицкой) // *Филологические науки. Вопросы теории и практики* Тамбов: Грамота, 2016. № 11(65): в 3-х ч. Ч. 2. С. 106–108.
4. *Русан А.В.* Английские вкрапления в романе Йозефа Шкворецкого «Příběh inženýra lidských duší» // *Филологические науки. Вопросы теории и практики.* 2016. № 7–1 (61). С. 128–130.
5. *Русан А.В.* Смешение и переключение кодов в речи эмигрантов (на материале прозы Й. Шкворецкого). Выпускная квалификационная работа аспиранта (научный руководитель – проф. М.Ю. Котова). СПб.: СПбГУ, 2017 (в рукописи).
6. *Сегменты идентичности в творчестве зарубежных славянских писателей / А.Г. Бодрова, Е.Е. Бразговская, В.С. Князькова, М.Ю. Котова и др.; отв. ред. М.Ю. Котова.* СПб., 2014. 142 с.
7. *Brežná I.* Die beste aller Welten. Berlin: Edition Ebersbach, 2008. 168 S.
8. *Brežná I.* Die undankbare Fremde. Kiepenheuer & Witsch, 2016a. 141 S.
9. *Brežná I.* Na slepačích krídlach. Bratislava: Aspekt, 2010. 218 s.
10. *Brežná I.* Nevďačná cudzinka. Aspekt, 2016b. 160 s.
11. *Hrdličková J.* Der Slowakeidiskurs bei Irena Brežná und Zdenka Becker [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sme.sk/c/4180880/spisovatelka-irena-brezna-dovlastneho-hniezda-sa-vraj-neykda.html>. Дата последнего обращения: 10.03.2017.
12. *Identity and Translation Trouble / Ed.: I. Hostová.* Cambridge Scholars Publishing, UK, 2017. 195 pp.
13. *Moníková L.* Die Fassade. M.N.O.P.Q. München, 1987. 439 S.
14. *Moníková L.* Fasáda. M.N.O.P.Q. Praha, 2004. 368 s.
15. *Popovič A.* Originál / Preklad. Interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran, 1983. 362 s.
16. *Škvorecký J.* Engineer of human souls. Illinois, 1998. 592 pp.
17. *Škvorecký J.* Příběh inženýra lidských duší, I., II. Toronto, 1968. I. 336 s., II. 356 s.
18. *Zambor J.* Preklad ako umenie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 240 s.

Семантический переход «красивый» – «хороший» в славянских языках¹

М. Л. Кулешова, Е. И. Якушкина

The semantic shift «beautiful → good» in Slavic languages

Maria L. Kuleshova, Ekaterina I. Jakushkina

ABSTRACT. The paper considers the semantic shift «beautiful → good» as exemplified in adjectives and adverbs in modern Slavic languages. This shift is to some extent represented in all Slavic languages, except for Russian and Belarusian, and is based on the opposition *quality* ↔ *pleasure*.

Keywords: lexical semantics; lexical typology; Slavic languages; polysemy.

АННОТАЦИЯ. В докладе рассматривается семантический переход «красивый → хороший» на материале прилагательных и наречий в современных славянских языках. Данный переход в той или иной степени представлен во всех славянских языках, кроме русского и белорусского, и базируется на оппозиции *качество* ↔ *удовольствие*.

Ключевые слова: лексическая семантика; лексическая типология; славянские языки; полисемия.

Семантический переход «красивый → хороший» носит универсальный характер и свойственен языкам, относящимся к различным группам и семьям. Настоящее исследование базируется на материале современных славянских языков. Мы поставили своей целью определить, для каких из них характерна полисемия частной эстетической и общей положительной оценки в рамках нейтрального прилагательного со значением ‘красивый’ и наречия ‘красиво, а также насколько широка сочетаемость данных многозначных лексем. Материалом для исследования послужили данные Интернета и интервью с носителями языка.

Объектом настоящего исследования являются прилагательные, входящие:

- к корню *kras-* (русск. *красивый*, укр. *красивий*, болг. *красив*, чеш. *krásný*);
- к праслав. **lěpъ* < **leip-* ‘мазать маслом, жиром, клеить’ (словен. *lep*, хорв. *lijep*, серб. *len*) [ЭССЯ 1987: 227];
- через посредство тур. *хоб* ‘красивый’ к нов.-перс. (*хiйb* ‘красивый’ болг. *хубав* и макед. *убав*) [Фасмер];

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00471.

- к праслав. **pěkrъ*, родственному латинскому *pulcher* ‘красивый’ (пол. *piękny*, чеш. *pěkný* и словц. *pekny* [Machek 1968: 442]);
- к праслав. **goditi* (чеш. *hezky*, блр. *прыгожы*);
- к древнескандинавскому *harr* ‘князь’ (укр. *гарний*) [ЕСУМ 1982: 476].

Рассматривая лексемы на синхронном уровне и на данном этапе не углубляясь в диахронический аспект процесса перехода в каждом из языков, отметим, что корень *kras-*, этимологически связанный также с цветовой характеристикой, препятствует возникновению перехода «красивый → хороший». Отсутствие данного рода полисемии наблюдается также у белорусского прилагательного *прыгожы*, однако при этом наречие *прыгожа* иногда может употребляться в значении общей оценки: *Дужа прыгожа даводзілі тыя разумнейшыя, і іх слухалі* ‘Очень правдоподобно рассуждали умники, и их слушали’ [НКРЯ, параллельный белорусско-русский корпус, Василь Быков].

Остальные прилагательные, употребляющиеся в украинском, польском, чешском, словацком и всех южнославянских языках, реализуют анализируемый переход в различной мере. Чтобы определить, для какого рода контекстов данная реализация наиболее характерна, мы обратились к классификации общеоценочных смыслов Х. Фон Вригта (цит. по: [Вольф 1985: 27]): 1) **инструментальное** «добро» – выполнение необходимой функции (о предмете): *хороший автомобиль, хорошие ботинки* и т. д.; 2) **медицинское** «добро» – соответствие медицинской норме: *хорошее здоровье, хорошее зрение* и т. д.; 3) **техническое** «добро» – выполнение функций, обязанностей (о человеке): *хороший преподаватель, хороший игрок* и т. д.; 4) **гедонистическое** «добро» – доставление удовольствия: *хороший обед, хороший вечер* и т. д.; 5) **утилитарное** «добро» – способствует достижению определенной цели: *хороший план, хорошая возможность* и т. д.; 6) «добро» **человека** – характеризует человека и проявления его характера: *хороший человек, хорошая черта* и т. д.

Мы пришли к выводу, что переход «красивый → хороший» не представлен – или в небольшой степени представлен – в рамках инструментального, медицинского и технического «добра». Что касается иных видов «добра», то они слабее коррелируют с лингвистическими данными, вследствие чего мы предпочли выделить основные типы контекстов, которым свойственен анализируемый переход, в меньшей мере опираясь на вышеприведенную классификацию.

Один из наиболее частотных случаев перехода – словосочетания с лексемой со значением ‘**погода**’, представляющие собой пересечение гедонистического и утилитарного «добра»: словен. *lepo vreme*, серб. *lepo vreme*, макед. *убаво време*, болг. *хубаво време*, словц. *pekne počasie*, чеш. *pěkné / hezké počasí*, пол. *piękna pogoda*, укр. *гарна погода* ‘хорошая

погода'. Также переход семантики прилагательных от частной эстетической к общей положительной оценке достаточно распространен в сочетаниях с существительными со значением **единицы времени**, например 'день': словен. *lep dan*, серб. *lep dan*, макед. *убав ден*, болг. *хубав ден*, пол. *piękny dzień*, словц. *pekný deň*, чеш. *pěkný / hezký den*, укр. *гарний день* 'хороший день' – или 'выходные': словен. *lep vikend*, серб. *lep vikend*, макед. *убав викенд*, болг. *хубав уикенд*, пол. *piękny weekend*, словц. *pekný vikend*, чеш. *pěkný / hezký vikend*, укр. *гарні вихідні* 'хорошие выходные'; 'отпуск': словен. *lep dopust*, *lepe počitnice*, серб. *lep odmor*, макед. *убав одмор*, болг. *хубава почивка*, словц. *pekná dovolenka*, чеш. *hezká / pěkná dovolená*, польск. *piękne wakacje*, укр. *гарна відпустка* 'хороший отпуск'. Отрезок времени, безусловно, связан с гедонистическим «добром» и сама по себе семантика удовольствия, положительных эмоций часто является базой для перехода «красивый → хороший».

Значение удовольствия может находить свое выражение в сочетаниях с лексемами **абстрактного** характера, в частности с семантикой 'воспоминания': словен. *lepi spomini*, серб. *lepe uspomene*, макед. *убави спомени*, болг. *хубави спомени*, пол. *piękne wspomnienia*, чеш. *hezká / pěkná vzpomínka*, словц. *pekná spomienka*, укр. *гарні спогади* 'хорошие воспоминания'; 'впечатление': словен. *lep vtis*, серб. *lep utisak*, макед. *убав впечаток*, болг. *хубаво впечатление*, чеш. *pěkný / hezký dojem*, словц. *pekný dojem*, пол. *piękne wrażenie*, укр. *гарне враження* 'хорошее впечатление'; 'новость': словен. *lepa novica*, серб. *lepa vest*, макед. *убава вест*, болг. *хубава новина*, чеш. *hezká / pěkná zpráva*, словц. *pekná novinka*, польск. *piękna wiadomość*, укр. *гарна новина* 'хорошая новость'. Положительные эмоции могут иметь отношение и к материальному объекту, например 'подарку' (который может приобретать и нематериальное воплощение): словен. *lepo darilo*, серб. *lep poklon*, макед. *убав подарок*, болг. *хубав подарък*, словц. *pekný darček*, чеш. *hezký dárek*, пол. *piękny prezent*, укр. *гарний подарунок* 'хороший подарок'.

Существительные, согласно классификации Х. Фон Вригта, входящие в сферу «**добра**» **человека**, как правило, сочетаются с прилагательными эстетической оценки. Например, лексема со значением 'черта (характера)' встречается в такого рода сочетаниях в словенском (*lepa lastnost*), сербском (*lepa црта*), македонском (*убаво својство*), болгарском (*хубаво качество*), чешском (*hezký rys*), словацком (*pekná črta*), польском (*piękna cecha*), украинском (*гарна риса*). Похожая ситуация наблюдается с 'поступком': словен. *lepo dejanje*, серб. *lep čin*, макед. *убава постапка*, болг. *хубава постъпка*, чеш. *hezký skutek*, словц. *pekný skutok*, польск. *piękny postępek*, укр. *гарний вчинок* 'хороший поступок' (правда, в данном случае трудно разделить семантику «хорошего» и

«красивого» поступка). Само существительное со значением ‘человек’ практически не способствует реализации перехода «красивый → хороший» из-за высокой релевантности эстетической оценки в данном контексте. Украинский – один из немногих языков, в котором переход все же возможен (*гарна людина* ‘хороший человек’), равно как и в рамках его гипонимов: *І гарний сей чоловік Грицько, коли б не пив* ‘хороший человек Григорий, еще бы не пил’.

Многие лексемы представляют собой сложные случаи, совмещающие в себе несколько типов «добра», и, вследствие этого, различным образом ведут себя в сочетании с прилагательным ‘красивый’. Существительные со значением ‘**прием пищи**’, например, ‘обед’, с одной стороны, относятся к гедонистическому «добрю», с другой – отличаются минимальным эстетическим компонентом в семантике. Этот факт создает ограничение на переход в словенском, чешском (для прилагательного *pěkný*) и польском языках, но не влияет в случае серб. *lep ручак*, макед. *убав ручек*, болг. *хубав обед*, чеш. *hezky oběd*, словц. *pekny obed* ‘хороший обед’ (в последнем случае словосочетание носит редкий характер). Значение ‘**работа**’ («у меня есть хорошая работа») ассоциируется в первую очередь с утилитарным «добротом» (хотя может быть имплицитно связано и с «добротом» гедонистическим) и способно определяться прилагательным эстетической оценки в словен. *lepa služba*, серб. *lep посао*, макед. *убава работа*, чеш. *hezka/pěkná práce*, словц. *pekna práca*, укр. *гарна робота*, для болгарского и польского языков такие сочетания не характерны. Лексема с семантикой ‘**зарплата**’ сочетает в себе как утилитарное «добро», так и значение количества: словен. *lepa plača*, серб. *lepa плата*, макед. *убава плата*, болг. *хубава заплата*, чеш. *pěkný plat*, укр. *гарна зарплата* ‘хорошая зарплата’ – при отсутствии или ограниченности перехода в польском, словацком языках (словц. *pekny plat* носит разговорный характер).

Славянские прилагательные со значением ‘красивый’ достаточно широко сочетаются с обозначениями различных **артефактов**, характеризую их при этом как оптимальные, соответствующие требованиям, которые обычно предъявляются к таким вещам, и приятные в использовании: словен. *lepa cesta*, серб. *lep пут*, макед. *убав пат*, болг. *хубав път*, чеш. *hezka cesta*, укр. *гарна дорога* ‘хорошая дорога’; словен. *lepo stanovanje*, серб. *lep стан*, макед. *убав стан*, болг. *хубава квартира*, чеш. *hezky byt*, укр. *гарна квартира* ‘хорошая квартира’; словен. *lep muzej?*, серб. *lep музеј*, макед. *убав музеј*, болг. *хубав музей*, чеш. *hezke museum*, укр. *гарний музей* ‘хороший музей’. Использование атрибута «красивый» применительно к дороге означает, что дорога «не разбитая», применительно к квартире – что она «удобная», «приятная на

вид», «в ней хорошо жить», применительно к музею – что он «интересный». Прилагательное «красивый» здесь указывает на то, что говорящий рекомендует данный предмет для использования. Часто такие употребления возникают в позиции предиката, ср. серб. *Bash ti je lep ovaj fen!* ‘Хороший у тебя этот фен!’. В сербском, болгарском и македонском языках круг сочетаемости соответствующих прилагательных с артефактами, по сравнению с другими славянскими языками, наиболее широк. Слово *piękny/pěkný* в польском и чешском языках в такие сочетания не вступает.

Общая положительная оценка, которая присутствует в семантическом спектре обозначений «красивого», часто близка к оценке «хороший», но все-таки не тождественна ей, что в ряде случаев проявляется очень ярко. В словенских фразах *Če nočem biti lačen, si moram izbrati dober poklic. Postati mesar je prava izbira* ‘Если я не хочу голодать, я должен выбрать хорошую профессию. Стать мясником – правильный выбор’ и *Srečna je, da si je izbrala tako lep poklic, kot ga ima, saj ji pomeni tudi hobi, zato ga opravlja z največjim veseljem* ‘Она счастлива, что выбрала для себя хорошую профессию, которая для нее как хобби. Поэтому она занимается своим делом с огромным удовольствием’. Словоупотребление *dober poklic* указывает на профессию (*poklic*), обеспечивающую высокую заработную плату и престиж, а *lep poklic* – на профессию, приносящую самореализацию, удовольствие. Полной нейтрализации лексем с основным значением общей оценки и с основным значением эстетической оценки не происходит и в некоторых других, приводившихся выше примерах. В случае с артефактами, абстрактными объектами, приемами пищи, работой и зарплатой использование слова с основным значением ‘красивый’ указывает на то, что объект «приятен» говорящему, нравится ему (в этом смысле оценка «красивый-хороший» более субъективна, чем оценка «хороший», передавая личное впечатление от реальности, а не общепринятое мнение). Возможно, поэтому в превосходной степени обычно сохраняется основное значение ‘красивый’: серб. *najlepši praznični filmovi koje morate da pogledate* ‘самые красивые праздничные фильмы, которые вы должны посмотреть’.

У лексем с семантикой «красивого-хорошего», как и у слов с основным значением общей положительной оценки, возможно развитие значений большого размера и **интенсивности**. Ср. словен. *Ko je Kranjska investicijska družba predstavila projekte za novi Kolizej <...>, je bil lep del Slovenije v šoku* ‘Когда инвестиционная компания г. Крань представила проект нового кинотеатра «Колизей» <...>, многие словенцы были в шоке’, серб. *Stekao je lep imetak* ‘Он нажил много имущества’, болг. устар. *На връщане ни намокри хубав дъжд* ‘На обратном пути нас

намочил сильный дождь’, польск. *Jednak nie zmieniło to faktu, że zebrano piękną sumę 40.100,12 zł oraz 2 złote pierścionki* ‘Однако это не изменило тот факт, что была собрана приличная сумма в размере 40 100 злотых и два золотых кольца’, чеш. *Bude tě to stát pěkný peníze* ‘Тебе это обойдется в хорошенькую сумму’, укр. *Vin відрізав гарний шматок сиру, зважив і загорнув його* ‘Он отрезал большой кусок сыра, взвесил и завернул его’.

Подобно прилагательным, семантику общей положительной оценки могут выражать и **наречия** с основным значением оценки эстетической. Ср. словен. *lepo so me sprejeli* ‘меня хорошо приняли’, серб. *lepo smo se smestili* ‘мы хорошо разместились’, макед. *ubavo ќе се чувствувате* ‘будете себя хорошо чувствовать’, болг. *би било хубаво да отидем* ‘было бы хорошо съездить’, польск. *następnego dnia pięknie odpoczęliśmy* ‘на следующий день мы хорошо отдохнули’, чеш. *mějte se hezky!* ‘желаю вам хорошо провести время’, укр. *дякую за гарно проведений час* ‘благодарю за хорошо проведенное время’. Как и в случае с прилагательными, использование наречий с семантикой ‘красиво’ возможно, если говорящий оценивает ситуацию, как доставляющую удовольствие. Если такой оттенок значения отсутствует, то используется лексема общей положительной оценки. Ср.: серб. *Добро је што сте дошли баш тог тренутка, у супротном би ова госпођа остала без помоћи* ‘Хорошо, что вы пришли как раз в тот момент, иначе некому было бы помочь этой женщине’, болг. *Добре, всичко разбрах* ‘Хорошо, я все понял’ (*хубаво* в данном случае бы означало, что говорящий не просто соглашается со сказанным, а одобряет его).

Часто славянские наречия со значением ‘красиво’ выражают вторичную семантику ‘приветливо, вежливо’: чеш. *To je od vás hezké, že mi to říkáte* ‘Очень мило с вашей стороны, что вы мне это говорите’, словен. *Vedno me lepo pozdravijo, vprašajo, kako sem, dodajo besedo o vremenu* ‘Они всегда приветливо со мной здороваются, спрашивают, как дела, как погода’. Как и прилагательные, наречия могут приобретать интенсифицирующее значение: серб. *lepo sam ga izgredila (istungla)* ‘я его выругала/ побила как следует’, словц. *vyšlo nás to pekne draho* ‘это нам обошлось достаточно дорого’, чеш. *pěkně si ho podám, až přijde* ‘задам я ему, когда он придет’. Наречия могут даже утрачивать свое основное лексическое значение и служить для усиления смысла всего предложения или сказуемого. Ср. словен. *lepo pustì [kožo] pri miru in ne «rascaj» se prav z nobeno kremo po razbarvanem delu kože* ‘просто оставь [кожу] в покое и не «загрязняй» покрасневший участок никаким кремом’, серб. *седим ја лепо/тако на тераси кад зазвони телефон* ‘сиджу я себе на балконе, как вдруг звонит телефон’; *lepo sam ti rekla (=нисам ли ти рекла?)* ‘я же тебе говорила’ (=‘не говорила ли я тебе?’).

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что переход *красивый* → *хороший* возможен в тех случаях, когда говорящий интерпретирует ситуацию как приносящую удовольствие, и невозможен, когда речь идет о чистой оценке качества объекта или ситуации. В наибольшей степени этот переход характерен для украинского, сербского, македонского и болгарского языков.

Литература/References

1. *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. Изд. 2-е, доп. М.: Наука, 2002. 280 с.
2. Етимологічний словник української мови. Том 1. А–Г / Под ред. *О.С. Мельничука*. Київ: Наукова думка, 1982. 632 с.
3. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscorpora.ru>. Дата последнего обращения: 10.08.2018.
4. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка [Электронный ресурс.] URL: <https://vasmer.lexicography.online>. Дата последнего обращения: 13.08.2018.
5. Этимологический словарь славянских языков. Праoslavянский лексический фонд. Вып. 14 / Под ред. *О.Н. Трубачева*. М.: Наука, 1987. 272 с.
6. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Československá akademie věd, 1968. 868 s.

**Из истории лингвистических исследований цвета
в России и в Польше**

В. Г. Кульпина

**About History of linguistic studies of color terms
in Russia and in Poland**

Valentina G. Kulpina

ABSTRACT. The article is devoted to the first Russian and Polish researchers of color terms. There are considered the fundamental works of the researchers, the basic trends of their studies and their achievements in linguistic of color.

Keywords: term of color; etymological studies; psycholinguistics; Russian language; Polish language; V. I. Shertzl (1843–1906); A. Zaręba (1921–1988).

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена первым российским и польским исследователям терминов цвета. Рассматриваются базовые работы этих исследователей, основные направления их исследований, их достижения в лингвистике цвета.

Ключевые слова: термин цвета; этимологические исследования; психолингвистика; русский язык; польский язык; В. И. Шерцль (1843–1906); А. Заремба (1921–1988).

Статья посвящена российским и польским первоисследователям наименований цвета. Нижний предел очерчивают исследования русского языковеда Викентия Ивановича Шерцля (1843–1906), увидевшие свет в Воронеже в «Филологических Записках» в типографии В. И. Исаева в 1884 г. Верхний предел представлен трудом польского исследователя терминов цвета Альфреда Зарембы (1921–1988) «Названия цветов в диалектах и польского языка. С 2 картами», вышедшим во Вроцлаве в 1954 году. Хотя обе эти книги отделены друг от друга столетием, их роднит, в частности, монографический характер изысканий в области лингвистики цвета. До появления трудов этих ученых можно говорить лишь о фрагментарных работах по данному направлению исследований, затрагивающих отдельные и достаточно частные проблемы. Общее у этих ученых – пионерский для своего времени подход к исследованиям терминов цвета и глубочайшая компетентность как результат таланта, трудолюбия и невероятных усилий по продвижению своей отрасли знаний. Новаторство В. И. Шерцля состояло в установлении этимологических сопряженностей и сопоставлении невероятного количества терминов цвета совершенно разных языков и лингвокультур, выявлении символической значимости цветоименований и в целом

открытие терминов цвета как невероятно интересного предмета этимологических, конфронтативных, психолингвистических и, как мы бы сейчас сказали, – этнолингвокогнитивных исследований.

Первопроходческий характер лингвистических исследований цвета А. Зарембы состоял в том, что он собрал вместе и инвентаризировал термины цвета польского языка, выделил в их составе диалектизмы или особые варианты литературных цветообозначений, которые картографировал по регионам, выделил и описал профессиональную цветолоксику, прежде всего термины цвета, употребляемые польскими ткачами, и таким образом, создал полную цветовую картину польской лингвокультуры. Впрочем, труды обоих ученых, попавших в объектив данного аналитического обзора, настолько многогранны, что их невозможно представить в нескольких предложениях.

Лингвистические исследования цвета в современном мире осциллируют в основном в пределах следующих направлений: эволютивного, психолингвистического, когнитивного, сопоставительного, лингвокультурологического, онтологического, институционального (связанного с объединением лингвистических исследований цвета в одну дисциплину – лингвистику цвета) и терминоведческого (о существующих направлениях в лингвистике цвета см.: [Кульпина 2006: 197–231]). Однако первые исследования цвета существовали в менее определенных структурных очертаниях, были более диффузны и синкретичны, при этом научно исключительно интересны, в том числе с позиций сегодняшнего дня, благодаря своей свежей первозданности, первопроходческим идеям, компетентности и благородному исследовательскому напору. В наши дни перечисленные направления исследований наименований цвета характеризуются бурным развитием. Однако в те далекие дни исследования обоих авторов открыли новое направление и послужили серьезным импульсом для дальнейшего развития лингвистических исследований цвета.

Исследования В. И. Шерцля, профессора Новороссийского университета, имеющие явную отнесенность к области лингвистики цвета, в первую очередь следует причислить к историко-этимологическому направлению исследований и расценить как образец исследований чрезвычайно компетентного человека, обладающего обширными знаниями в области истории и этимологии цветообозначений. В то же время в его лице мы имеем и яркого специалиста по сравнительно-историческому и сопоставительному языкознанию. В его трудах представлена история очень многих отдельных цветообозначений, нередко достаточно древняя, данная в сравнительно-историческом срезе. В монографии представлен, можно сказать, «калейдоскоп» терминов цвета из самых разных языков. Создается впечатление, что многими языками В. И. Шерцль

владел практически (об этом же свидетельствуют факты его научной биографии). Наряду с латынью, греческим и санскритом источником экземплификаций являются китайский и японский, язык аборигенов Австралии и многие африканские языки, а также аварский, албанский, лужицкий, ирландский, персидский и многие другие.

По поводу специфической метафорической родословной целой череды терминов цвета в языках мира В. И. Шерцль пишет: «Метафора, переносящая многочисленные категории из конкретной области в абстрактную и символизирующая множество понятий, имевших сначала чисто вещественную подкладку, превращала также древнейшие корни, облеченные характером звукоподражательным, в звуковые комплексы с переносными значениями, в которых основная идея слуха и слухового впечатления уступила место представлению зрения и светового впечатления» [Шерцль 1884: 17]. И далее: «Примеров тесной связи между понятиями «шуметь, кричать, звучать, говорить» с одной стороны и «блестеть, сверкать, глядеть, видеть» с другой стороны встречаем в языке много» [Шерцль 1884: 18]. Исследователь приводит многочисленные примеры синестезии, в том числе на материале русского языка: «Как русский говорит о ярком голосе и ярком звуке, так он и говорит о ярком свете и ярком огне, и светлые цвета он называет также веселыми...» [Шерцль 1884: 20]. Такого типа метафоры В. И. Шерцль «коллекционирует», в том числе знакомую нам: «Русские стройный звон колоколов и колокольчиков зовут малиновым» [Шерцль 1884: 20].

Историко-этимологические и сопоставительные исследования органично соединены у Шерцля с психолингвистическими, в чем ему помогало знание многих языков и несомненный профессиональный вкус к этимологическим разысканиям. Исследователь задается вопросом о связи наименований цветов с их перцепцией. Его интересуют вопросы поиска цветового эталона у разных народов, выявление связи терминов цвета с понятием света и блеска, проблемы синестезии (*кричащие цвета*). Возьмем, например, такой эталон красного цвета, как цвет крови, – таковой выступает, наверное, в большинстве языков мира; аналогично – зеленый как цвет травы, синий – как цвет неба. В. И. Шерцль показывает, что не все лингвоцветовые эталоны столь универсальны и очевидны и выявляет их неуниверсальность и лингвокультурную отмеченность.

Материал исследования и его анализ позволяют В. И. Шерцлю показать, что способность различать цвета не является врожденной, но благоприобретенной способностью человека; цвет является производной от языка, культуры и социума. Отмечается синкретизм целого ряда наименований цвета в категориях смешения цветов (см.: [Шерцль 1884: 36–39 и далее]; сам термин *синкретизм* не употребляется) на материале

персидского, греческого и санскрита (на материале Ригведы). Смешение цветов отмечается прежде всего на линии *желтый – зеленый, синий – зеленый, красный – желтый*. Фиксируется обозначение цветом отвлеченных понятий (например, *страх* у Гомера обозначен желтым цветом (см.: [Шерцль 1884: 41]).

Тематика цветового синкретизма позволяет исследователю использовать широчайший диапазон своих наблюдений на материале многих языков и сделать лингвистически важные обобщения: «В разных языках для синего и зеленого цветов существует одно общее слово, но кроме того, употребляется еще особое выражение для одного из этих цветов или для обоих...» [Шерцль 1884: 49].

Хотя режет слух выражение *некультурные народы*, в ходе рассуждений В. И. Шерцля проявляется его лояльность и толерантность в отношении всех народов на планете: он наглядно демонстрирует, что не считает какие-либо народы лучше или хуже, а отсутствие какого-либо термина цвета объясняет отсутствием практической потребности в его языковой фиксации. Он пишет: «Одной только способности распознавать цвета не довольно для точного их различения в языке: сравнительная оценка и классификация цветов требует продолжительной практики, навыка и обширной опытности, а это в свою очередь обуславливается необходимостью более точного различения цветов для разных практических целей. <...> При увеличении потребности точного обозначения цветов народ старается удовлетворить ей образованием новых слов или изменением значения старых. <...> Что недостаточная терминология цветов вовсе не служит доказательством соответствующего недостатка перцепции, подтверждено многими фактическими наблюдениями» [Шерцль 1884: 51].

В. И. Шерцль приводит результаты сопоставительного анализа употребления некоторых терминов цвета русского и немецкого языков, свидетельствующие о неодинаковом цветовидении и категоризации.

Ученый высказывает точку зрения, согласно которой наличие в языке самого слова *цвет* как отвлеченного понятия уже является показателем определенного развития социума в плане зрительных ощущений и их осмысления, установления ассоциативных связей. Исследование В. И. Шерцля показывает, что цвет является производной от языка, культуры и социума, ср.: «Разные кочующие народы Африки, сосредоточивающие свое внимание на домашних животных, развили поражающую своим богатством номенклатуру цветов скота» [Шерцль 1884: 30]. Исследователь полагает, что у каждого народа постепенно вырабатывается склонность к хроматическому анализу.

Предметом интереса у В. И. Шерцля являются не только цветовые, но и другие перцептивные ощущения, в том числе вкусовые и обоня-

тельные. При этом трудно удержаться от цитирования очередного фрагмента работы: «Несоразмерность в количестве разнообразных ощущений, относящихся к обонянию и вкусу, и в количестве слов, выражающих такие ощущения, действительно изумительна. Какое у нас разнообразие в ощущениях обоняния и какая поразительная бедность в словах, передающих такие ощущения! Запах навоза, серы, лука, трупа, дыма, козла, табака, мяты, газа, жареного кофе, сжигаемых перьев и пр. – все эти крайне типичные и своеобразные ощущения языки пока не имеют никаких средств выразить через самостоятельные слова, а тем не менее мы в перцепции совершенно отчетливо отличаем все эти ощущения друг от друга и было бы крайне превратно судить из недостатка слов этой категории о недостаточной перцепции» [Шерцль 1884: 57].

Заключительный раздел монографии В. И. Шерцля посвящен символике цвета: «У многих народов известные группы цветов приведены в целую систему символических значений, мифологических эмблем, аллегорических или декоративных знаков и пр.» [Шерцль 1884: 69]. Исследователь отмечает воздействие цвета, цветовых эффектов на психологическое восприятие человеком мира, на его настроение, но эти наблюдения уже выходят за рамки собственно лингвистических. Следует особо отметить увлеченность исследователя своим предметом, что нашло свое выражение в глубине анализа и эмоционально-интеллектуальном освоении материала.

Альфред Заремба является известным польским лексикологом и диалектологом, славистом и полонистом, профессором Ягеллонского университета в Кракове, в котором он проработал всю жизнь. Его труд «Названия цветов в диалектах и истории польского языка. С 2 картами» стал первым в польскоязычном ареале трудом, в котором произведена фактически инвентаризация польских цветообозначений.

Свое направление исследований в данной работе А. Заремба обозначил как лингвогеографию, если точнее, книга написана в русле диалектографии, о чем свидетельствует сбор диалектного материала цветообозначений (собственноручный) в рамках полевых исследований в нескольких десятках населенных пунктах, разбросанных по всей территории Польши, и его картографирование. Необходимо особо отметить несомненный вклад А. Зарембы в словообразование: он выделил модели базовых и сложных терминов цвета и модели формирования от них степеней сравнения. Однако с учетом обновления в наши дни департаментизации направлений языкознания исследования А. Зарембы прежде всего заняли бы свое место среди таковых в области лингвистики цвета, а в широком плане были бы отнесены к когнитивной семантике и этнолингвистике.

В разделах монографии А. Зарембы термины цвета делятся на (1) **нейтральные цвета** (в основном представленные ахроматическими цветами), (2) **собственно цвета** (хроматические), (3) **неоднородные цвета** (пестрые и узорчатые). Среди нейтральных в свою очередь выделяются а) названия белых и светлых цветов; б) черных и темных цветов; в) серых и бурых цветов. Так, например, среди названий *белых и светлых цветов* выявляются те термины цвета, которые выступают в диалектах для обозначения *белых и светлых предметов*. Наряду с литературной формой, приводятся варианты формы прилагательного *biały* ‘белый’, а также те цветолексемы, которые употребляются наряду с литературным словом или вместо него. А. Заремба отмечает, что с помощью термина белого цвета могут обозначаться такие предметы, которые собственно белыми не являются и для которых в языке часто имеются другие цветообозначения – например, лицо человека, вылинявшая материя, лошадиная шерсть и пр. Он фиксирует расширение семантики белого цвета и ее распространение на цвет серебра, световых и светящихся явлений, а также на другие цвета, например, бледно-желтый.

Среди терминов цвета диалектного базирования был выделен, например, термин цвета *siwu*, в диалектах служащий цветоопределению глаз; его употребление в художественных текстах способствует их стилизации и фольклоризации. Однако в литературном языке этот термин цвета обычно употребляется для цветообозначения волос: *siwe włosy* ‘седые волосы’.

Сейчас мы бы сказали, что А. Заремба материал цветообозначений распределил по концептам, хотя в период его жизни понятия концепта как понятия этнолингвистического не существовало. В пределах одного концепта, к примеру, сгруппированы *szary* ‘серый’ и *bury* ‘бурый’, нередко выступающие как взаимозаменяемые и употребляемые в отношении тех цветов, которые трудно определить и вербально обозначить. С их помощью обычно определяют цвет обычной дворовой кошки.

В один концепт по признаку цветовой близости объединены черные и темные цвета, группирующиеся вокруг терминов цвета *czarny* ‘черный’ и *ciemny* ‘темный’. Даются примеры обозначения черного цвета в диалектах: это не только *czarny* ‘черный’, но и *szady* и *brudny* ‘грязный’, а также *czarnawy* – букв. ‘черноватый’. А. Заремба фиксирует привязку цветообозначений к определяемым по цвету объектам. Например, цветообозначение *śniady* ‘смуглый’ ориентировано исключительно на цвет кожи.

Название подраздела «Названия цветов в зависимости от предмета» говорит само за себя. Интересно, что впоследствии ориентация исследований на связь цвета с наделяемым цветом объектом отчасти утратилась. Показательно название раздела в заключительной главе книги:

«Названия цветов в зависимости от социальных факторов». А. Заремба охватывает социолингвистическим взглядом различия в восприятии цвета между городом и селом, определяет частотность употребления тех или иных цветообозначений. Так, на селе больший интерес проявляется к окрасу животных и прежде всего лошадей. В городской же среде употребляется гораздо большее количество заимствованных цветообозначений (таких, как *fioletowy* ‘фиолетовый’, *lila / liliowy* ‘лиловый’, *szafirowy* ‘сапфировый’), которые в сельской среде не имеют хождения. А. Заремба подмечает и гендерные различия в восприятии цвета, связанные с разделением мужского и женского труда.

Важнейшим аспектом исследования стал анализ цветолексики, выступающей в качестве профессиональной терминологии ткачества. Ранее такого рода исследования не проводились и после, кажется, тоже.

Подытоживая презентацию таких важнейших научных фигур в области лингвистики цвета, как Викентий Иванович Шерцль и Альфред Заремба, хочется во весь голос заявить, что кропотливый добросовестный труд усердных и увлеченных работой людей остается в науке на веки вечные. Он может дезактуализироваться в некоторых деталях, но никогда не может устареть, потому что он становится ступенькой, лежащей в основе нового подъема, фундаментом нового знания. И именно с такими трудами самоотверженных ученых, наших коллег по профессии, мы имеем дело в данном случае.

До появления исследований В. И. Шерцля и А. Зарембы можно говорить лишь о фрагментарных работах в области лингвистики цвета, затрагивающих отдельные и достаточно частные проблемы. В монографических же исследованиях акцентировалось прежде всего использование цвета в живописи (см., напр.: [Петрушевский 1891; Rzepińska 1970] и более поздние публикации).

Литература / References

1. *Кульпина В.Г.* Изучение социальной детерминированности терминов цвета в современном русском языке // Русский язык в современном обществе: Функциональные и статусные характеристики: Сб. обзоров / ИНИОН; отв. ред. *Е.О. Опарина, Е.А. Казак* М., 2006. С. 197–231.

2. *Петрушевский Ф.Ф.* Краски и живопись. СПб: Типография М.М. Стасюлевича, 1891. 344 с.

3. *Шерцль В.И.* Названия цветов и символическое значение их // Филологические записки. Воронеж: Типография В.И. Исаева, 1884. 70 с.

4. *Rzepińska M.* Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego: W 2 t. Warszawa: Arkady. T. 1. 1970. T. 2. 1979.

4. *Zareba A.* Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego. Z 2 mapami, Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk: Komitet Językoznawczy, 1954. 204 s.

(Не)официальные урбанонимы в языковом пространстве города: на материале названий (микро)районов г. Винницы

О. А. Остапчук

(Non)official street-names in the linguistic landscape of the small town: on the urbanonimic material from Vinnitsa

Oxana A. Ostapchuk

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/95-103

ABSTRACT. The paper is devoted to the problem of terminology used for the in-town objects' names (microtoponym vs urbanonym). The semantic and functional specificity of the street names is also under examination. Functioning of the street names is analyzed both in the official linguistic landscape and in the non-official town speech in Vinnitsa (Ukraine).

Keywords: microtoponym; official street name; non-official street name; language landscape; language of town.

АННОТАЦИЯ. В статье затрагивается проблема терминологической трактовки названий внутригородских объектов (микротопоним vs урбаноним). Рассматривается семантическая и функциональная специфика отдельных видов урбанонимов. Разбираются также проблемы функционирования городских названий в (официальном) языковом пространстве и (неофициальной) речи горожан в г. Винница (Украина).

Ключевые слова: микротопоним; урбаноним; официальное название; неофициальное название; языковой ландшафт; язык города.

Лингвистическое описание внутригородских объектов предполагает конкурентное использование ряда терминов, среди которых наиболее частотным и семантически ёмким является урбаноним как общая единица внутригородской топографии. Ономастическая дискуссия о (не)возможности рассмотрения урбанонимов в рамках микротопонимики позволила специалистам по ономастике, среди прочего, четче определить функционально-семантическую специфику городских названий [Суперанская 1967: 32]. Так, было установлено, что урбанонимика, будучи составной частью топонимической лексики, разделяет с ней целый ряд конституирующих черт, среди которых прежде всего выделяется: 1) тесная связь с экстралингвистическими факторами; 2) вторичный характер номинации; 3) системность организации [Мезенко 1991: 14]. В то же время, искусственный характер номинации и возможность частой сменяемости городских названий противопоставляет их возникающим, как правило, естественно и прочно закрепленным в языковом сознании микротопонимам [Суперанская 1967].

Новый толчок изучению городских названий придала активно развивающаяся в последние годы отрасль социолингвистики, изучающая языковой (лингвистический) ландшафт города [Павленко 2017: 496–498]. Использование пространственной метафоры в термине «языковой ландшафт» довольно четко определяет сферу интересов ученых, занимающихся данной проблематикой. Это прежде всего внешнее визуальное оформление городского пространства в условиях многоязычия, впрочем, при расширительном толковании термина он используется также в исследованиях баланса языков в публичной городской коммуникации в целом. Именно к такой трактовке языкового ландшафта мы склоняемся в настоящей статье, рассматривая городские названия (в том числе вывески) как одно из средств оформления внешнего облика города и одновременно формирования его более общего символического образа в речевом узусе.

Особый интерес в этом смысле представляет выявление специфики урбанонимической составляющей языкового ландшафта городов и других населенных пунктов в зависимости от их размера, положения в центре / на периферии языкового (культурного) пространства, наличия в них моно-/полилингвальной среды и под. Так, например, вычленение урбанонимической системы провинциального города исходит как из культурно-исторических, так и сугубо лингвистических предпосылок [Разумов 2011]. Город Винница (ныне областной центр Винницкой области, Украина), ставший объектом нашего внимания, является типичным провинциальным городом, сохраняющим при этом яркие черты украинского этнокультурного ландшафта [Культурный ландшафт 2017: 5–19]. Для формирования его урбанонимической системы важное значение имел тот факт, что собственно городское устройство вплоть до конца XIX в. было характерно лишь для центральной (торговой) части города, в то время как гораздо более значительную его часть занимали (микро)районы, обустроенные фактически как слободы (например, русская старообрядческая *Дубовецкая слобода* известна с XVII в.) или дворянские (часто польские) / сельские (собственно украинские) усадьбы [Там же: 17]. Эта особенность отражена, в частности, в сохраняющихся до сих пор названиях (микро)районов города, прямо указывающих благодаря содержащимся в них (родовым) обозначениям на связь с общим характером застройки: *Малые Хутора*, *Хутор Шевченко*, *Царское село*, *Военный городок*, *Свердловский массив* и др. Именно названиям (микро)районов мы уделим в настоящей статье основное внимание, тем более что они довольно редко являются предметом отдельного рассмотрения.

Не менее существенным фактором, обусловившим специфику урбанонимической системы Винницы, является полилингвальная языковая среда ее формирования: в течение XIX–XX в. город был ареной актив-

ного межэтнического и языкового взаимодействия, в котором принимали участие украинская, еврейская, польская, русская и др. этнические группы. Урбанонимы, участвующие в создании языкового ландшафта этого города, отражают как колебания баланса языков в публичной городской коммуникации, связанные с изменениями языковой политики, так и неоднородный языковой опыт жителей города. В этом смысле наш материал опровергает тезис о том, что урбанонимы формируются с опорой на языковые средства одного языка, предоставляя примеры не только закрепления в языковой памяти генетически неоднородных названий (как, например, остров *Кемпа* – от пол. *kerpa* ‘земляная насыпь’), но и конкуренции разноязычных названий, что для монолингвальных территорий фактически невозможно. Например, существовавшая до недавнего времени улица *Первомайская*, известная также в украинской версии как *Першотравнева*, и сегодня в украинской речи горожан вполне может фигурировать в русской форме как *Первого мая* [Культурный ландшафт 2017: 31]. Примечательно, что на этой улице, носящей теперь возвращенное ей старое (польское) название *Магистратская* (*Magistratська*), до сих пор, наряду с новыми табличками, на части домов обнаруживаются вывески *Первого мая*, а на другой – *Першого травня*, что является дополнительным свидетельством сохраняющейся конкуренции русского и украинского языков в публичном пространстве. Продублированные на двух языках названия известны и для других винницких урбанонимов, включая названия районов: *Замостье* / *Замостя* (в официальной версии до 2012 г. *Замостянский* / *Замостянський район*), *Старый город* / *Старе місто* (*Старогородский* / *Староміський район*), *Пирогово* / *Пирогове* и т.д.

В свою очередь, проведенный нами диахронический анализ развития винницкой урбанонимики продемонстрировал, что многие названия, зафиксированные впервые в XVII–XVIII вв., могут рассматриваться, среди прочего, как символический знак принадлежности города к кругу польской культуры. Сюда можно отнести, в том числе, названия, связанные с особенностями городского рельефа (генетически это один из самых старых типов урбанонимов): *Длинная* (*Długa*), *Широкая* (*Szeroka*), *Большая* (*Wielka*), *Высокая* (*Wysoka*); связанные с соответствующими городскими объектами: *Капуцинов*, *Магистратская*, *Ярмарковая*, а также с характером занятий ремесленников, живших на этих улицах: *Хлебная*, *Пекарская*. В свою очередь, в начале XX в. в ходе предпринятой в Российской империи в 1911 г. систематизации городских названий их сменили урбанонимы, характерные для общего имперского пространства (*Николаевский проспект*, *Большая* и *Малая Дворянская улица*, *Большая* и *Малая Купеческая улица*), в том числе маркированные как «городские» в противовес «сельским» и также свя-

занные с важными объектами городской инфраструктуры: *Торговая, Театральная, Почтовая*. К середине же XX столетия город приобрел оформление, типичное для (провинциального) советского города с большим количеством урбанонимов идеолого-коммеморативного типа: *Улица Ленина, площадь Ю. Гагарина, Первомайская, 40-летия Победы, Красноармейская, Красных курсантов, Интернациональная* и др. Еще раз подчеркнем, что урбанонимы нередко выступали здесь в двух языковых вариантах, поскольку языковое пространство города не было абсолютно монолингвальным. Так, если на популярных открытках с видами города конца XIX в. названия дублировались на русском и польском языках, чтобы подкрепить позиции традиционно сильного в этом регионе польского культурного класса, то в середине – конце XX в. – на украинском и русском, что закрепляло факт декларативного двуязычия в официальном пространстве.

В составе урбанонимов выделяется несколько разрядов названий в зависимости от типа обозначаемого объекта: названия улиц (годонимы), площадей (агоронимы), (микро)районов (хоронимы) вплоть до названий отдельных городских объектов (магазинов, кинотеатров и под) [Суперанская 1967: 32]. Как показал наш анализ, по своему характеру, семантике и функционированию хоронимы оказываются довольно близки к микропонимам. Так, в обоих случаях номинация хоть и является вторичной, но носит скорее естественный (стихийный) характер и довольно часто отражает особенности рельефа и другие природные условия: см., напр. такие названия «углов» в одном из районов города Пятничаны (в черте города с 1938 г.): *Забіжжя / Забужжя, На пустирі, Рів, Горбочок* [Культурний ландшафт 2017: 131]. При этом и названия (микро)районов, и микропонимы в отличие от ряда других разрядов топонимической лексики, обладают довольно ограниченной сферой употребления, охватывая строго определенную часть языкового коллектива в границах конкретного населенного пункта. Примечательно, что это позволяет хоронимам дополнительно выполнять консолидирующую функцию в культурном пространстве, позволяя отделить «своих» (тех, для кого название знакомо) от «чужих» (тех, кто с ним незнаком). С этим связан также тот факт, что в отличие от других урбанонимов, хоронимы так же, как и микропонимы демонстрируют довольно высокую степень устойчивости, задавая надежные координаты в языковом пространстве города в условиях довольно частых переименований, характерных для других урбанонимов. Так, например, название одной из площадей города и примыкающего к ней района *Хлебная* сохраняется с начала XIX в. несмотря на то, что рынок, на котором торговали хлебом, еще в 1885 г. был перенесен на другое место. Столь прочной связи хо-

ронимов с обозначаемым объектом способствует, в частности, тот факт, что они функционируют преимущественно в неофициальном речевом узусе. Так, попытка введения официального деления г. Винницы на районы (с 1972 по 2012 г.) *Замостянский, Старогородский и Ленинский* (центральный) оказалась довольно неудачной, хотя отчасти и использовала традиционное районирование, в то время как неофициальные, но известные всем горожанам названия районов *Старый город, Калича, Пятничаны, Корея, Замостье, Тяжилов, Славянка* и др. активно используются и сегодня.

Разграничение официальной и неофициальной сферы употребления урбанонимов чаще всего увязывается с появлением у неофициальных наименований дополнительных коннотативных смыслов. По словам Е. С. Отина, «под влиянием различных экстралингвистических и собственно языковых факторов они приобретают добавочные значения (созначения), или референтные коннотации, имеющие смысловой ассоциативно-образный и эмоционально-оценочный компоненты» [Отин 2003: 55]. Эмоционально-коннотативный потенциал названий, впрочем, различается в зависимости от типа номинации, положенного в основу названия. Так, у хоронимов, возникших в результате естественной номинации и связанных с физическими характеристиками именуемых объектов, таких как *Волощина, Кружляк, Садки*, – дополнительные референтные коннотации способствуют более тесной связи с обозначаемым объектом в том числе благодаря сохранению внутренней формы, однако их эмоционально-экспрессивная окраска довольно нейтральна.

Отмеченное преобладание в неофициальных городских названиях, в том числе хоронимах, принципа естественной номинации не исключает возможности постепенной их десемантизации, в том числе в результате утраты реалии, которая легла в основу номинации (*Калича, Пятничаны*) или потери связи с конкретным лицом в случае с названием владельческого типа (*Кумбару*¹), а также с другими названиями, образованными в результате трансонимизации (названия районов *Вишенка, Тяжилов* образованы от названий рек). Это приводит к тому, что компенсаторное обрастание названий дополнительными коннотациями сопровождается появлением городских легенд в духе «народной этимологии». Так, например, название площади *Калича*, вероятнее всего, образовалось

¹ Название связано с именем одесского купца греческого происхождения Александра Кумбари – владельца одного из самых роскошных особняков на берегу р. Южный Буг. Кстати, «одесская» логика номинации подкреплялась тем, что лестница, ведущая к пляжу и спроектированная известным архитектором А. Артыновым в 1908 г., получила неофициальное название «потемкинской»: см. <https://vn.20minut.ua/Nashe-mynule/mikrorajonista-yak-u-vinnici-umistilisy-koreya-parizh-i-kuba-10472566.html>

путем трансонимизации и сохранило для горожан название одноименной реки *Калича* (так же называется овраг), которая теперь пересекает площадь по подземным трубам. Однако городская легенда предлагает другую мотивацию названия, привнося в него метафорический смысл: «В те времена, когда казаки воевали с поляками, на этом месте был глубокий овраг. И вот как-то на одном склоне остановилось казаческое войско, а на другом – польское. Начался у них бой, много воинов погибло, но еще больше покалечено. Потом погибших поляков похоронили с одной стороны оврага, а казаков – с другой. С той поры тут появилось два кладбища – католическое и православное, а овраг назвали Каличей в память об этой жестокой битве»². Тенденция к ресемантизации, переосмыслению названий, восстановлению их внутренней формы, приводит к появлению конкурирующих трактовок. Так, одна из центральных улиц города, пережившая несколько переименований, носившая, среди прочего, имя императора Николая II и В. И. Ленина, сейчас носит название *Соборная*. Трактовка логики номинации в речевом узусе может быть двоякой: с одной стороны, название может рассматриваться как мотивированное расположением на этой улице главных городских соборов (православного и католического), с другой стороны, не исключена символическая (идеологическая) мотивация, в соответствии с которой название символизирует соборность (совокупность) украинских земель в едином государстве.

Особо выделяются среди традиционных винницких хоронимов названия, возникшие в результате метонимического переноса. Один из самых показательных примеров в этом смысле – название района *Ерусалимка*, известное как минимум с XVII в. и содержащее указание на этническую (еврейскую) доминанту района; в образовании названия заметно также стремление к языковой экономии (универбации). Происхождение названия другого винницкого района (также универба) – *Славянка* не поддается однозначной трактовке. Исходя из общей логики организации этнокультурного ландшафта города, вполне возможно, что район получил свое название в противовес *Ерусалимке*³. Однако метонимическая основа названия здесь не столь очевидна. Действительно, в новом районе, оформившемся к концу XIX в., основное население составляли как раз представители славянских этносов, предположительно украинцев и русских (староверов), в свою очередь, связь названий улиц

² http://vinnytsiahistory.org.ua/book/chapter_7/chapter.html. Заметим, что кладбища составляют факт современной городской топографии.

³ <https://vn.20minut.ua/Nashe-mynule/mikrorajoni-mista-yak-u-vinnici-umistilisya-koreya-parizh-i-kuba-10472566.html>

с якобы проживавшими на них представителями других славянских народов (сербов, хорватов, чехов и др.)⁴, не находит своего фактического подтверждения. Гораздо более правдоподобна другая версия происхождения названия, связывающая его с популярным сортом яблок Славянка, которые охотно выращивали жители района, состоявшего из сельских усадеб. Для нас же здесь интерес представляет как множественность мотивировок, устанавливаемых в языковом сознании, так и тяготение трактовок к метонимии.

Довольно распространенным типом номинации среди винницких хоронимов оказался также другой тип переноса – метафорический, что прекрасно характеризует языковое пространство провинциального города, бывшего ареной различных культурных влияний в течение нескольких веков. Речь идет о таких образных названиях (кстати, также возникших в результате трансонимизации), как *Париж*, *Варшава*, *Шанхай*, *Корея*.

Так, район, известный среди горожан под названием *Париж*, расположен в самом центре города. Сближение его в языковом сознании со столицей Франции, видимо, было обусловлено архитектурным окружением, оформившимся в конце XIX – начале XX в. и выдержанном в стиле (нео)классицизма с архитектурной доминантной – зданием театра. Нелишним будет отметить, что неподалеку располагались самые роскошные гостиницы города, носившие в начале XX в. французские названия «Бель-вю», «Савой», «Националь».

Район *Варшава*, в свою очередь, обязан своим названием возникшему в конце XIX в. архитектурному ансамблю, состоявшему из кирпичных казарменных сооружений, оформленных и украшенных по европейскому образцу – скорее всего, немецкому, но поскольку метафорический перенос запад = Варшава можно считать узуальным для этого региона⁵, то и новые здания вскоре были названы «варшавскими»⁶.

Существует несколько возможных мотиваций названия микрорайона *Корея*, возникшего в послевоенное время. Так, одна из версий предусматривает, что район получил свое название в память об арендаторе-корейце, которому участок земли, где позже возник микрорайон, отдал в аренду ее

⁴ Об этом предположении см. [Культурный ландшафт 2017: 12]; речь идет о названиях таких улиц, как *Хорватская*, *Черногорская*, *Чешская*, *Богемская*.

⁵ Именно с Варшавой как главным цивилизационным ориентиром сравнивают лучшие городские здания в своих воспоминаниях представители винницкой культурной элиты XIX в. «Настоящая Варшава» – так информанты из с. Мурафа во время полевых диалектных исследований характеризовали богатую культурную жизнь местной польской общины.

⁶ <https://vn.20minut.ua/Nashe-mynule/mikrorajoni-mista-yak-u-vinnici-umistilisya-koreya-parizh-i-kuba-10472566.html>

тогдашний владелец – граф Грохольский. Владельческой мотивации противостоит та, которая связывает название с «корейцами» – военными летчиками, участвовавшими в войне в Северной Корее, которые получили здесь надель под застройку. Третья, наконец, учитывает логику метафорического переноса: район, удаленный от центра, увязывался в сознании жителей с далекой Кореей⁷. Метафорической оказывается главная версия происхождения также названия другого микрорайона – *Шанхай*. По свидетельству антропологов, проводивших в 2017 г. полевые исследования культурного ландшафта, сами жители называли его «Шанхаем», т. к. построенные у дороги домишки беспорядочно лепятся друг к другу (хата на хате), как это было, судя по фотографиям, в китайском Шанхае в начале XX в. [Культурный ландшафт 2017: 134].

Характерная для неофициальной сферы функционирования вариантность в данном случае может проявляться в форме конкуренции разных номинативных типов названий: ср. площадь *Хлебная / Калича*, часто связанных с различным временем формирования названия, ср. названия острова *Кемпа / Фестивальный*. Преимущество отдается, как правило, более яркому названию, обладающему прозрачной внутренней формой, но при этом способному выражать коннотативные смыслы.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что большинство рассмотренных нами хоронимов принадлежат к неофициальному речевому узусу, хотя могут использоваться также в официальном языковом пространстве города:

1. При этом для большинства хоронимов очевидно тяготение к естественной номинации, активное использование метафорического и метонимического переноса, сопряженного с трансонимизацией, а также словообразовательных средств, характерных для микропонимов (универбации в первую очередь).

2. Урбанонимы традиционно относятся к типу названий, которые присваиваются произвольно и поэтому легко могут сменяться вместе с изменением идеологических, эстетических и др. приоритетов. Однако, как оказалось, для хоронимов характерна довольно высокая устойчивость, закрепленность в культурной памяти и речевом узусе. Благодаря своей прозрачной внутренней форме, эти названия сохраняют тесную референтную связь с обозначаемыми объектами, а в случае ее утраты проявляют тенденцию к ресемантизации на основе создаваемых в узусе городских легенд. Функционирование в языке города создает для таких хоронимов возможность множественной трактовки их мотивации.

⁷ <https://vn.20minut.ua/Nashe-mynule/mikrorajoni-mista-yak-u-vinnici-umistilisya-koreya-parizh-i-kuba-10472566.html>

3. Для хоронимов свойственна множественность принципов номинации и специфическая иерархия их функций. Так, если для большинства урбанонимов ведущей является информативная, идентифицирующая, а также эстетическая и (факультативно) идеологическая (коммеморативная) функция, то для хоронимов именно идентификация, связь с местными реалиями выходит на первый план. В регионе с этнически смешанным населением такие городские названия могут рассматриваться также как одно из средств сохранения культурной памяти и дополнительное свидетельство интенсивности этнических / языковых контактов (*Кумбари, Ерусалимка*).

4. Традиционная дихотомия официальной / неофициальной сферы употребления подкрепляется тем, что официальные названия улиц и площадей закреплены на письме, неофициальные же, в том числе хоронимы, имеют преимущественно устную форму бытования. Однако современный речевой укус учитывает способность неофициальных названий, обладающих яркой коннотативной образностью, к актуализации идентифицирующей функции, что способствует их последующему закреплению во внешнем оформлении города, например, в названиях кафе, магазинов и под.

Литература / References

1. *Голикова Т. А.* Официальные vs. неофициальные годонимы Москвы: модели трансимизации // Научный диалог. 2014. № 9 (33) : Филология. Педагогика. С. 24–36.
2. Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього: зб. статей / Уп. *О. Коляструк, Т. Каросва*. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛІТД», 2017. 192 с.
3. *Мезенко А. М.* Урбанонимия Белоруссии. Минск: Университетское изд-во, 1991. 165 с.
4. *Отин Е. С.* Коннотативные онимы и их производные в историко-этимологическом словаре русского языка // Вопросы языкознания. 2003. № 2. С. 55–72.
5. *Павленко А.* Языковые ландшафты и другие социолингвистические методы исследования русского языка за рубежом // Russian Journal of Linguistics. Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2017. Vol. 17. No. 3. С. 493–514. [Электронный ресурс.] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-landshafty-i-drugie-sotsiolingvisticheskie-metody-issledovaniya-russkogo-yazyka-za-rubezhom/>. Дата последнего обращения 10.09.2018.
6. *Потанахина И. Н.* Городская неофициальная топонимика // Русский язык в школе. 2008. № 10. С. 65–69.
7. *Разумов Р. В.* Развитие систем урбанонимов провинциальных городов в 1940-е гг. // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2. Том I (Гуманитарные науки). С. 214–219.
8. *Суперанская А. В.* Микропонимия, макропонимия и их отличие от собственно топонимии // Микропонимия / Под ред. *О. С. Ахмановой*. М.: Изд-во Московского университета, 1967. С. 31–38.

Об общеславянском характере метафорических социальных значений континуантов псл. *kolo и krogъ¹

Б. Рашевска-Журеќ

On the all-Slavic nature of the figurative social meanings of the descendants of the Proto-Slavic *kolo and *krogъ

Beata Raszevska-Žurek

O ogólnosłowiańskim charakterze przenośnych znaczeń społecznych kontynuantów psl. *kolo i *krogъ

Beata Raszevska-Žurek

ABSTRACT. The article is devoted to the social meanings of the descendants of the Proto-Slavic *kolo and *krogъ in almost all Slavic languages. The figurative meanings ‘a group of people bound by some sort of links’ are of all-Slavic nature, which could indicate Proto-Slavic heritage, although they are attested relatively late, which indicates rather borrowings. Moreover, the lexemes whose basic meaning refers to ‘a round shape’ also feature a social meaning in non-Slavic languages. The sources of borrowings should be pursued in Latin and Greek – the languages of early cultures which constitute the foundation of European culture. Regardless of the paths of borrowing in various languages, the facility of the penetration and the spread of the meaning ‘a group of people’ as a semantic calque is a result of the universal nature of the metaphor ‘a circle, a ring is a community of people’. The reason of the metaphorisation could be associated with the ancient collective experience of sitting in a circle, in a ring around a fire, which facilitated the development of communal links.

Keywords: historical semantics; metaphorical meanings; social lexis.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящается значениям континуантов псл. *kolo и *krogъ, связанных с понятием «общество», почти во всех славянских языках. Метафорические значения ‘совокупность людей, объединённых какого-то рода связями’ имеют общеславянский характер, что могло бы указывать на общеславянское наследство. Однако факт, что они были зафиксированы относительно поздно, свидетельствует о семантическом заимствовании. Кроме того лексемы с основным значением ‘круглая форма’ приобретают указанную семантику также и вне славянских языков. Источников заимствования следует искать в латыни и греческом – языках древних культур, являющихся основой европей-

¹ Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą «Narodowy Program Rozwoju Humanistyki» w latach 2017–2022, nr projektu 11 H 16 0266 84.

ской культуры. Независимо от путей заимствований в разные языки, легкость проникновения и распространения значения ‘группа людей’ как семантической кальки вытекает из универсального характера метафоры ‘колесо, круг – группа людей’. Причиной метафоризации мог стать древний коллективный опыт сидения в круге, колесе вокруг огня, что способствовало созданию общественных связей.

Ключевые слова: историческая семантика; метафорическое значение; общественная лексика.

Przedmiotem mojego zainteresowania są dwa podobne semantycznie leksemy ogólnosłowiańskie, kontynuanty psł. **kolo, kolese* i psł. **krōgъ*, a raczej ich jedno szczególnie znaczenie. Oba leksemy mają niewątpliwy rodowód prasłowiański i zbliżone znaczenie konkretne odnoszące się do przedmiotów o okrągłym kształcie i przeróżnym przeznaczeniu, a dalej i bardziej abstrakcyjnie – do samego kształtu: psł. **kolo, kolese* ‘krąg’, ‘okrągły przedmiot umożliwiający toczenie się’ [Spsł] i psł. **krōgъ* ‘coś okrągłego, przedmiot, płaszczyzna, okrągły kształt’ [ESSJ]. Przedmiotem niniejszej analizy jest przenośne znaczenie o charakterze społecznym ‘grupa ludzi powiązanych ze sobą’ – mają je oba leksemy w większości języków słowiańskich.

W grupie zachodniosłowiańskiej najstarsze jest czeskie poświadczenie znaczenia społecznego leksemu *kolo* ‘schůzka bratrstva vinařského’ z przełomu XV i XVI w. [Gebauer SL], ale „Słownik Staroczeski” nie podaje kontekstu, więc można jedynie ogólnie stwierdzić, że chodzi o grupę ludzi o tym samym zajęciu, cech rzemieślniczy. W Słowniku Jungmanna znaczenie społeczne *kolo* ‘shromažděnj lidj, hromada’ zostało potwierdzone, a wśród przykładowych użycí pojawia się *kolo senátorskíe* i *w kolé své rodiny* [Jungmann]. Szczególnie to drugie określenie konotuje więź społeczną, bardzo bliską, bo rodzinną, zatem można przypuszczać, że opartą na bliskości emocjonalnej. W czeszczyźnie społeczne znaczenie leksemu *kolo* ‘společnost, kroužek (známých a přátel)’ [Přír] utrzymało się do współczesności: *Pan Prošek, vida se v kole milých přátel a rodiny, byl velice pohnut* [Přír].

Polskie *koło* już w XVI w. miało znaczenie ‘zespół ludzi stanowiący pod jakimś względem wspólnotę’ [SXVI], a w zapisach występowało *koło braci: Przy nim koło bráćiey* [SXVI], w którym podstawą poczucia wspólnotowego mogła być bliskość emocjonalna. Inaczej konstituowane są *koło poselskie, rycerskie, senatorskie* i *radzieckie* – mają one charakter instytucjonalny, a więzi między członkami koła są natury formalnej, co nie wyklucza bliskości emocjonalnej. Wymienione w zapisach instytucjonalne koła odpowiadają szesnastowiecznemu podziałowi społecznemu, a przynależność do nich była

zapewne odczuwana jako zaszczyt przez ich członków, także z powodu prawa do udziału w życiu politycznym:

Y znącznego Rycerftwá niepoślednie kolo Stáwi się [SXVI];

w Senatorfkim kole vpominal Się iáwnie vdziału fwoiego oyczyftego Kijowa [SXVI];

Przyście IchM Panów (...) w kolo nasze poselskie jest u nas tak wdzięczne, iż to wyznawać musimy [SXVI];

żeby była iednym świadectwem dobrego przyjaćielftwa y sąśiedztwá miedzy námi/ ták w Stanie priwatnym iáko y w kole Radzieckim [SXVI].

W polszczyźnie także, jak w czeskim, *kolo* w znaczeniu społecznym funkcjonuje nieprzerwanie do współczesności: ‘niewielkie stowarzyszenie powołane do realizacji wspólnych zamierzeń, rozwijania zainteresowań naukowych, zawodowych, społecznych, sportowych lub w celu prowadzenia jakiejś działalności w sposób niezarobkowy’ [WSJP] i dotyczy grup zinstytucjonalizowanych. Warto dodać, że od XVI w. leksem *kolo* ma swoje stałe miejsce w historii polskiego parlamentaryzmu – w języku polityki *kolo* ‘jedna z form zrzeszenia posłów i senatorów w polskim parlamencie’: *Zgodnie z regulaminami Sejmu i Senatu, zarówno kolo poselskie, jak i senackie musi liczyć co najmniej 3 członków. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólne kolo parlamentarne* (Wikipedia).

W grupie wschodniosłowiańskiej *коло* w znaczeniu społecznym jest poświadczona w staroruskim od początku XVII w.: ‘казачья сходка, совет’ [SRJ XI–XVII]. Słownik Dala potwierdza takie znaczenie: *коло* ‘мирская сходка, рода, казачий круг, совет’ [Dal], ale nie podaje egzemplifikacji, a sam leksem określa jako dawny, dziś zachowany tylko w dialektach pld. zach. Wydaje się też, że społeczne znaczenie było zawsze dość marginalne, na co wskazywałyby niewielka liczba poświadczeń:

У воровскихъ людей нынѣ декабръ въ 9 день было коло, а присягали всѣ на томъ, что имъ всѣмъ под Колмогорскимъ острогомъбудеть не возмутъ, помереть [SRJ XI–XVII].

W miejscu dawnego leksemu *коло* we współczesnym rosyjskim występuje leksem *колесо* i w nim także daje się odnaleźć ślad znaczenia społecznego: ‘о торговом или ином хозяйственном предприятии, деле’ [SSRJ]. Definicja nie mówi w tym wypadku wprost o zbiorowości ludzi, ale przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie handlowe przywołuje skojarzenia właśnie z grupą ludzi, którzy w takiej działalności uczestniczą: *А что касается до того, что погребов² было много то ведь тогда и колесо большое было – тов-то вдесятеро против нынешнего было [SSRJ].*

² *Погреб* – небольшое заведение, обычно в полуподвальном этаже, где торговали винами и распивали их на месте (устар.) [SSRJ].

W ukraińskim *коло* jako ‘сукупність, група людей, об’єднаних якими-небудь інтересами’ [SUM] funkcjonuje współcześnie: *Були «обмиті» капітанські погони, були проголошені тости за тисним столом в колі друзів у офіцерській їдальні* [SUM]. Natomiast staroukraińskich poświadczeń tego rodzaju nie znalazłam.

Oprócz powyższych użyć jest też wyraz ukraiński *кола* w l. mn. jako określenie ‘певні групи населення чи суспільні угруповання’ [SUM]: ... *щоб Мічурін, проживши понад сорок з чимось років в злигоднях, став, нарешті, відомий широким народним колам* [SUM].

Białoruskie *кола* także ma znaczenie przenośne ‘grupa ludzi, ab’яднаних якімі н. сувязямі’: *кола сяброў, кола знаёмых* [BTR], poświadczone we współczesnym języku: *Калі аркестр трапляў куды-небудзь на сквер або ў парк, кола слухачоў навялічвалася* [BTR]. Starszych poświadczeń nie znalazłam.

W południowej słowiańszczyźnie kontynuans psł. **kolo* występuje w znaczeniu społecznym nielicznie. W chorwackim dawny leksem *kòlo*: *коло јуди* ‘corona hominum’ [Mikašin-RJAZ] figuruje w XVII-wiecznym trójjęzycznym słowniku chorwacko-włosko-łacińskim, którego autorem jest Jakov Mikalja, jezuicki misjonarz i nauczyciel gramatyki w gimnazjum. Kolejne poświadczenia pochodzą już z przełomu XIX i XX w. , a współcześnie w serbsko-chorwackim *kòlo*, *kòlo* to ‘круг јуди здружен каквом везом (пореконом, положајем, занимањем, идејом)’: *У доба Марулићево било је у Сплиту коло латинских песника хуманиста* [RMat].

Społeczne znaczenie kontynuantu psł. **krōgъ* jest udokumentowane nieco później, ale również całkiem dobrze.

W grupie zachodniosłowiańskiej w dawniejszych wiekach występował czeski *kruh*, bez wskazania w objaśnieniach na znaczenie społeczne, jest jednak egzemplifikowany zapisem: *Radnj kruh* [Jungmann]. Dzisiaj znaczenie takie istnieje nadal, jest aktualne i dobrze udokumentowane: *kruh* ‘družina, společnost spjatá společnými zájmy’ [Přír]. Dotyczy zarówno grup powiązanych rodzinnie: *v kruhu své rodiny* [Přír], jak i zawodowo: *v kruzích politických a žurnalistických* [Přír].

Takie samo znaczenie ma współcześnie słowacki leksem *kruh* ‘skupina ľudí spojená rodinnými zväzkami al. spoločnou činnosťou, spoločnými cieľmi’: *kruh rovesníkov; kruh priateľov; kruh známych; kruh milovníkov poézie; neopustil’ rodinný kruh; vytvoril’ redakčný kruh* [SSJ]. Historycznych poświadczeń słowackich nie znalazłam.

W polszczyźnie *krąg* w znaczeniu społecznym pojawił się późno, piśmiennictwo od staropolszczyzny jest dobrze udokumentowane, a pierwsze poświadczenie społecznego znaczenia tego leksemu pochodzi dopiero z

XVII w., a i tak nie jest jednoznaczne, może chodzić o *krąg*, czyli grupę ludzi powołaną do rady czy decyzji, albo po prostu o ustawienie się w kształt kręgu:

... *podał między Kozaki one listy, oni zaraz **krąg** po naszymu koło siebie uczyniwszy* ... [ESXVII/XVIII].

Drugi przykład XVII-wieczny także nie jest jednoznaczny, ale raczej chodzi o społeczne pojmowanie:

*Co iedno strzelby ma, **krąg krolestwa** wżysstek, miał na spisku u siebie* [Linde].

Dopiero z XIX w. pochodzi poświadczenie znaczenia społecznego, które nie budzi wątpliwości: ***Krąg znajomości** Tadeusza był dosyć obszerny* [SW]. Liczniejsza dokumentacja pojawia się w XX w. Współcześnie *krąg* to ‘grupa osób, które coś łączy’ [WSJP], a «coś» w definicji oznacza w istocie «cokolwiek», dotyczy więzi o różnym stopniu bliskości, czasem połączenia zupełnie przypadkowego, jak np. *krąg odbiorców czegoś: Niska cena towaru może poszerzyć **krąg odbiorców*** [WSJP].

W językach wschodniosłowiańskich staroruski *крузь* ‘собрание, совокупность’ ma znaczenie społeczne całkiem dobrze poświadczone od XVII w.:

У рожественского попа Петра въ домъ ... многие крестьяне и зъ женами пиво пили ссыпное свое мирское на два круга: одинъ кругъ былъ у него попа в избѣ, а другой кругъ былъ на повѣтъ, а в кругу было по тридцати человекъ [SRJ XI–XVII];

*И мы, холопи ваши, вашу государскую грамоту принели, а принявъ вашу государскую грамоту, збили **кругъ войсковой** и въ кругу вашу государскую грамоту прочли* [SRJ XI–XVII].

W rosyjskim znaczenie takie utrzymało się do dziś: *круг* ‘совокупность, группа людей связанных, объединенных чем-либо’, ‘группа людей объединенная в бытовом отношении’ i dotyczy powiązań rodzinnych i towarzyskich: *в кругу своих друзей; В кругу своих знакомых* [SSRJ].

Współcześnie leksem *круг* funkcjonuje też w języku białoruskim w znaczeniu społecznym ‘grupa ludзей, аб’яднанных якімі н. сувязямі’, synonimicznym do *кола*: *Увайшоў в дом, у **круг сямейны**. Як уваходзяць сваякі* [BTR]. Historycznych poświadczeń dla języka białoruskiego nie znalazłam.

W grupie południowosłowiańskiej leksem ma znaczenie społeczne w prawie wszystkich językach współczesnych. W słoweńskim *króg* to ‘osebe, ljudje glede na poklicno, socialno povezanost’ [SSKJ], a pośród przykładów użycia można znaleźć zbiorowości ludzi dobrane na różnych zasadach: *cerkveni krogi; obisk so pripravili **diplomatski krogi; gospodarski krogi; mariborski kulturni krogi; za to so zainteresirani široki krogi*** [SSKJ].

W serbsko-chorwackim *круг* ‘grupa ljudi združenih kakvim vezama, interesima’ [RMat] funkcjonuje współcześnie, poświadczenia z XIX wieku [RJAZ] są wątpliwe pod względem znaczenia, konteksty o prawdziwie społecznym znaczeniu pochodzą dopiero z początku XX w.: *Taj dogaňaj razmaħo je u krugovima aneksiionista joħ veħu buru* [RMat];

W bułgarskim *круг* to ‘grupa хора обединени в обществено или битово отношение’ [RBE], a egzemplifikacje: *в тесен семеен круг, в интимен круг*, sugerują bliskość emocjonalną, więzi uczuciowe konotowane w leksemie. Jednak *круг* dotyczy też grup ludzi powiązanych na różne sposoby – zawodowo, ideologicznie, a nawet przypadkowo: *Един мил круг от хора на перото и мисълта съществувате някога в подножието на Витоша* [RBE].

Ogólnosłowiański zasięg metaforycznego znaczenia społecznego leksemów-kontynuantów psł. **kolo* i **krōgъ* mógłby sugerować, że wykształciło się ono już w czasach wspólnoty prasłowiańskiej, a po jej rozpadzie zostało przejęte przez poszczególne języki jako ustalony już element semantyki obu leksemów. Na rzecz takiej hipotezy przemawiałoby ich występowanie w tożsamej formie i takiej samej semantyce we wszystkich trzech grupach języków słowiańskich. Jeśli chodzi o leksem psł. **kolo*, śladu społecznego komponentu jego znaczenia można upatrywać jeszcze wcześniej. Psł. **kolo* pochodzi od czasownikowego rdzenia pie. *k^hel-*, **kel-* ‘obracać się, krążyć dookoła’, Oleg N. Trubaczow [Трубачев 1959: 149 – 150³] uważa, że dał on początek leksemom o wielu różnorodnych znaczeniach, w tym społecznych, jak np. st. ind. *kūlam* ‘stado, duża liczba ludzi, ród’, st. słow. *челѣдь* ‘czeladź’, irł. *cland* ‘ród, klan’, lit. *kiltis* ‘ród’, łot. *cilts* ‘ts’.

Przeciwko hipotezie o prasłowiańskim rodowodzie metafory ‘grupa/wspólnota ludzi to koło, krąg’ i będącej jej skutkiem neosemantyzacji już na gruncie prasłowiańskim przemawia słabe poświadczenie w słownikach historycznych języków słowiańskich. Znaczenia społeczne tylko w kilku językach są poświadczone historycznie, najwcześniej w XV/XVI w. (czes. *kolo*, pol. *koło*) nieco liczniej od XVII w. (ros. *коло*, chr. *kolo*, pol. *krąg*, ros. *кругъ*), ale powszechnie dopiero w XX wieku.

Należy zatem wziąć pod uwagę, że są one efektem zapożyczeń, ściślej – kalk semantycznych, w poszczególnych językach. Na rzecz takiej tezy silnie przemawia występowanie społecznego znaczenia leksemów o podstawowej semantyce ‘coś okrągłego’ w językach niesłowiańskich, np.: fr. *cercle*: *cercle de famille, cercle d’amis*; niem. *Zirkel*: *ein intellektueller Zirkel, Mitglied in*

³ Autor nie przychyła się do hipotezy o istnieniu pie. homonimicznych rdzeni pie. *k^hel-*, **kel-*, argumentując na rzecz jednorodności znaczeń pochodnych od pie. rdzenia *k^hel-*, **kel-*.

einem literarischen Zirkel sein; ang. *circle: his circle of friends, in bussines circles*. Te zresztą także zapewne są zapożyczone. Źródła zapożyczeń społecznych, a szerzej – kulturowych, należałoby szukać w językach źródeł kultury europejskiej – łacinie i grece, gdyż w obu językach leksemy o podstawowym znaczeniu ‘coś okrągłego’ mają jednocześnie znaczenia społeczne. I tu daje się odnaleźć łac. *circulus* ‘ludzie wkoło zgromadzeni na rozmowę, koło, grono ludzi, towarzystwo, klub, zgromadzenie, zebranie’ [SLP] i gr. *κύκλος* ‘tłum otaczający książąt, miejsce na rynku, gdzie sprzedawano sprzęty domowe’ [SGrP].

Zapożyczenie do prasłowiańszczyzny jest nieprawdopodobne, więc należy przyjąć zapożyczenia do poszczególnych języków słowiańskich z łaciny albo z greki. Drogi tych zapożyczeń, czy raczej kalk semantycznych wraz z ewentualnymi pośrednictwami innych języków wymagałyby odtworzenia i objaśnienia. We wszystkich wypadkach mamy do czynienia ze specyficznymi kalkami – dochodzi do rozszerzenia znaczenia obu leksemów przez dodanie znaczenia społecznego, pierwotnie metaforycznego, ale z zachowaniem znaczeń starszych, konkretnych, odziedziczonych z prasłowiańszczyzny.

Kognitywne ujęcie metafory mówi, że tkwi ona w sposobie postrzegania i kategoryzowania zjawisk rzeczywistości, zwłaszcza rzeczywistości mentalnej, a w języku jest odzwierciedlona, więc nie ma powodu wątpić w to, że prasłowiański, a nawet jeszcze starszy, sposób myślenia właśnie taką metaforą się posługiwał. Jeśli spojrzeć się na genezę samej metafory ‘grupa/wspólnota ludzi to koło, krąg’, widać wyraźnie, że ma ona podstawę w zmysłowym postrzeganiu otaczającej rzeczywistości. Jak pisze D. Buttler [Buttler 1978: 88] „Zasada kojarzenia zjawisk na podstawie ich różnorodnych cech pokrewnych stanowi najbardziej chyba typowy mechanizm ludzkiego myślenia <...> Punktem wyjścia metafory są zazwyczaj cechy wyglądu desygnatów.” K. Kleszczowa [Kleszczowa 1993: 42–45] zwraca uwagę na dobrze poświadczone w staropolszczyźnie, a więc bardzo dawne, metaforyzowanie emocji w kategoriach ognia, a współczesne wystąpienia takiej metafory np. w angielskim [Lakoff, Johnson 1988] sugerują, że istnieją metafory o charakterze uniwersalnym.

Podstawa metafory ‘grupa/wspólnota ludzi to koło, krąg’ jest pradawna, wiąże się ze zwyczajem zasiadania wokół ognia praktykowanym już w czasach ludzi pierwotnych. Zwyczaj ten sprzyjał integracji grupy i wytwarzaniu więzi wspólnotowych – wokół ognia musieli zasiadać wszyscy członkowie plemienia, kto nie miał dostępu do źródła ciepła (i światła) – umierał. Można zapewne uznać *koło* i *krąg* za rodzaj semantycznego archetypu, doświadczenia powtarzanego i utrwalonego (pewnie nieświadomie) przez wiele pokoleń. Z pierwotnych potrzeb dostępu do ciepła

i zasiadania wokół ognia wyrasta poczucie więzi, w miarę rozrostu społeczności pojawia się więcej ognisk, a wokół wybranego skupiają się ludzie już na podstawie poczucia bliskości. Stąd w polszczyźnie Koła Poselskie i Senatorskie ugruntowane wielowiekową tradycją, często *koło* w nazwach stowarzyszeń czy grup ludzi o wspólnych zainteresowaniach (np. pol. *Koło Młodych Dyplomatów*) i funkcjonujące w wielu językach współczesnych określenia, jak np. pol.: *krąg rodzinny, krąg przyjaciół, krąg znajomych, obracać się w różnych kręgach towarzyskich*. Sensem i istotą tych grup – *kół* czy *kręgów*, jest poczucie emocjonalnej lub intelektualnej więzi wspólnotowej ludzi tam zgromadzonych. Warto też wspomnieć o apotropaicznym charakterze koła/kręgu (okrągłego kształtu) – chroniło przed złymi duchami, demonami, klęskami i chorobami, odpędzało zło⁴. Ma to, w moim przekonaniu, związek ze społeczną i wspólnotową konotacją leksemów *koło* i *krąg* – człowiek siedzący w kole czy kręgu przy ogniu w otoczeniu bliskich osób miał wyższe poczucie bezpieczeństwa i komfortu niż w innych sytuacjach, a to przeniosło się na pozytywne konotacje leksemów. Metafora ‘grupa/wspólnota ludzi to koło, krąg’ jest wzmocniona kulturowo np. poprzez legendę i symbolikę okrągłego stołu, czy też, na gruncie słowiańskim, przez *koło* – nazwę wolnego tańca, zapewne grupowego, który, jako element wspólnej zabawy, podtrzymywał poczucie wspólnotowe.

Realizacja metafory ‘grupa/wspólnota ludzi to koło, krąg’ w semantyce leksemów w różnych językach, niezależnie od tego, w jaki sposób się do nich dostała, wskazuje na jej obecność w ludzkim umyśle. Gdyby taka metafora nie była zgodna ze sposobem pojmowania świata przez człowieka w sensie uniwersalnym, nie miałyby takiej łatwości rozprzestrzeniania się w różnych językach.

Литература/References

1. *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. С. 150.
2. ВТР – Български тълковен речник / Ред. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров. София, 1955.
3. *Buttler D.* Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa, 1978.
4. Дал – Толковый словарь живого великорусского языка / *В. Даль*. 3. исправленное и значительно дополненное издание под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртене. I–IV. СПб.–М., 1903–1909.
5. *Dobrzyńska T.* Mówiąc przenośnie ... Studia o metaforze. Warszawa, 1994.

⁴ Do prastarych zwyczajów należało oborywanie wsi przed zarazą; w XIX w. u wschodnich Słowian gospodyni w Wielką Środę objężdżała dom nago dla ochrony przed dzikim zwierzem, złym człowiekiem i leśnym duchem, więcej o zwyczajach i przesądach związanych z kołem, por. SSS.

6. ESSJ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. *О. Н. Трубачева*, М. 1974-.
7. ESXVII/XVIII – Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII w. / [Электронный ресурс.] URL: <http://sxvii.pl>; wraz z kartoteką. Дата последнего обращения: 01.08.2018.
8. Gebauer – Slovník staročeský / *J. Gebauer*. Praha, 1903-.
9. *Jungmann J.* Slovník česko-německý. T. I–V. Praha, 1835–1839.
10. *Kleszczowa K.* „Metafory ...” w badaniach diachronicznych // *Język Polski*. T. LXXIII. 1993. Z. 1. S. 41–48.
11. *Lakoff G., Johnson M.* Metafory w naszym życiu. Warszawa, 1988.
12. Linde – Słownik języka polskiego / *S. B. Linde*. Warszawa, 1807–1814.
13. Přír. – Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957.
14. RJAZ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880.
15. RMat – Речник српскохрватскога књижевног језика. Матица српска–Матица хрватска, Нови Сад–Загреб, 1967-.
16. SGrP – Słownik grecko-polski / Red. *Z. Abramowiczówna*. Warszawa, 1958–1966.
17. SLP – Słownik łacińsko-polski / Red. *J. Korpanty*. Warszawa, 2001–2003.
18. Spsl – Słownik prasłowiański. T. X / Red. *M. Jakubowicz*. W druku.
19. SRJ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. М. 1975-.
20. SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970-.
21. SSRJ – Словарь современного русского литературного языка. Т. I–XVII, М.–Л., 1948–1965.
22. SSS – Słownik starożytności słowiańskich / Red. *W. Kowalenko, G. Labuda i T. Lehr-Splawiński*. Wrocław, 1961-.
23. SSSJ – Slovník súčasného slovenského jazyka. T. I–II / Red. *K. Buzássyová, A. Jarošová*. Bratislava, 2006–2011.
24. SUM – Словник української мови / Ред *І. К. Білодід*. Київ, 1970-.
25. SW – Słownik języka polskiego / Red. *J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki*. Warszawa, 1900–1927.
26. SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku / Red. *M. R. Mayenowa*. Wrocław 1966-; wraz z kartoteką.
27. WSJP – Wielki słownik języka polskiego. [Электронный ресурс.] URL: <http://wsjp.pl/index.php?pwh=0>. Дата последнего обращения: 01.08.2018.

Новояз современной польской политики

Н. В. Селиванова

Newspeak of modern Polish politics

Nina V. Selivanova

ABSTRACT. The emergence of new words and concepts in the modern Polish language, as well as changes in the existing ones, are characteristic of the current political discourse. In the struggle for power, the one who succeeds in building a more accessible world of concepts and meanings is often victorious. In this, the current Polish politicians are competing, creating considerable difficulties for translators and analysts.

Keywords: modern Poland; newspeak; political neologisms; transforming reality language.

АННОТАЦИЯ. Появление в современном польском языке новых слов и понятий, а также изменение существующих, характерно для нынешнего политического дискурса. В борьбе за власть зачастую побеждает тот, кто построит более доходчивый мир понятий и смыслов. В этом и соревнуются нынешние польские политики, создавая немалые трудности для переводчиков и аналитиков.

Ключевые слова: современная Польша; новояз; политические неологизмы; язык, изменяющий действительность.

Конкурсы на слово года очень популярны. Моду на их проведение лингвисты и культурологи объясняют всё возрастающим пониманием значимости языка, стремлением подчеркнуть роль слова и его влияния на действительность. Занимаются такими опросами всевозможные СМИ, центры изучения общественного мнения, социальные сети и прочие исследователи от доморощенных до серьезных и авторитетных вроде издательства Оксфордского университета.

Поляки от мировых трендов стараются не отставать. Словом № 1 2017 г. стала «пуща» в связи с вырубкой деревьев в заповедной Беложевской пуще, а в 2018 молодёжь отдала предпочтение слову *dzban* – «кувшин, жбан», под которым понимается беззлбное «дурень, пустышка».

В языке современной польской политики – свои лидеры и свои особенности. Давно известные понятия обретают новые, подчас неожиданные смыслы. «Творчески» перерабатывается язык прошлых эпох, возникают неологизмы и диковинные аббревиатуры.

Не стали победителями, но заняли почётные призовые места в 2017 году в Польше слова *targowica* – «тарговица» (в пакете с «таргови-

чанами») и *uchodźcy* – «беженцы», вошедшие в группу слов, изменивших своё первоначальное значение. Если раньше Тарговица и тарговицанин употреблялись в отношении конкретного события и его участников (имеется в виду Тарговицкая конфедерация – союз польских магнатов, направленный против реформ Речи Посполитой, созданный в 1792 г. году в местечке Тарговице), а также в польском политическом лексиконе последних двухсот с лишним лет в качестве метафорического определения предательства и предателя, что применялось к разным событиям и персонажам, то теперь метафора отброшена. Так теперь напрямую и конкретно называют депутатов Европарламента от польской оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Интересно и прямое повторение политического ритуала более чем двухсотлетней давности: так в конце октября 2017 г. активисты «Национального движения Верхней Силезии» в городе Катовице в рамках устроенного хэппенинга повесили на деревянных виселицах портреты нынешних депутатов Европейского парламента от партии «Гражданская платформа», напомнив о том, как в 1794 г. во время восстания Костюшко в Варшаве повесили четверых тарговицан, а вместо недосягаемых для восставших лидеров Тарговицкой конфедерации на виселицу вздёрнули их портреты.

Впечатляющая метаморфоза произошла в польском восприятии со словом *uchodźca* – «беженец». Прежде так называли того, кто покинул свою страну с целью спасти жизнь или избежать преследований по политическим, этническим, религиозным и прочим мотивам, теперь же в беженце видят человека, а точнее элемент некоего сообщества, несущего угрозу, агрессивного, непредсказуемого, жестокого и опасного. Интересно, что в русском языке «беженец» сохранил свой первоначальный смысл, а в значении чужого и чуждого стало использоваться понятие «мигрант».

Уже не одно десятилетие бытует в социально-политическом пространстве Польши существительное *mocher* – «мохер», неподдающееся адекватному переводу на русский язык. Называют этим словом определённый тип женщины: немолодой и не слишком образованной, крайне набожной, проживающей чаще всего в провинции, из небогатых и голодующей всегда так, как велит приходской священник. Взялось это название от популярного в своё время у таких особ головного убора, связанного из мохеровой пряжи. Персонажи эти прочно вошли в польскую иконографию, в частности, политическую карикатуру. Множественным числом *mochery* оппозиция обзывает замшелых консерваторов, составляющих ядерный электорат находящейся ныне у власти партии «Право и справедливость».

Свежайшим приобретением польского политического новояза стало появившееся в 2018 году в связи со скандалом вокруг Комиссии финансового надзора и её (теперь уже бывшего) шефа Марека Хшановского слово *szumidło* – «глушилка». По определению известного лингвиста и популяризатора польского языка профессора Ежи Бральчика – это так называемый окказионализм, автором которого и стал господин Хшановский, имевший в виду противодействие прослушиванию разговоров в его кабинете. Как долго «глушилка» продержится в языке, зависит от СМИ и частоты появления информации о такого рода технических устройствах. Кстати, реклама в интернете уже активнейшим образом его осваивает. Но интересно, что понятием *szumidło* польские журналисты стали называть и медийную кампанию-прикрытие различных неблагоприятных поступков, а то и серьёзных скандалов, связанных с персонами из правящей элиты или к ней приближёнными и наносящих вред имиджу властей. Буквально на наших глазах родился и приобрёл дополнительное значение очередной неологизм польской политики.

Среди словосочетаний, существовавших с девяностых годов прошлого века, но сделавших головокружительную карьеру в последнее время и изменивших политический пейзаж нынешней Польши, особое место занимает *żołnierze wyklęci*, которое я бы перевела как «проклятые и забытые солдаты». Подробнее об этом выражении я рассказала в своей статье [Селиванова 2018: 153–155]. Кстати эти персонажи основательно меняют и самый, что ни на есть, реальный пейзаж, а также окружающий вещный мир: памятники, мемориальные доски, граффити, символика на одежде, аксессуарах, плакатах и баннерах, дизайн страниц в социальных сетях и фон рабочего стола компьютера, а наряду с этим документальные и художественные фильмы, музыкальные произведения всех жанров, исторические реконструкции, компьютерные игры и прочее.

Один из первых исследователей судеб «проклятых и забытых солдат» профессор Рафал Внук с сожалением отмечал, что безудержная глорификация и недобросовестные манипуляции фактами в интересах тех или иных политических и общественных групп обесценивают и нивелируют представление о движении сопротивления в Польше во время Второй мировой войны и в послевоенные годы, а также искажают историю Третьей польской республики, фальсифицируя историческую память нации.

Кстати, прилагательное *wyklęci* – «проклятые» всё чаще из патриотических соображений заменяется на *niezłomni* – «несломленные, стойкие», что, конечно, звучит куда духоподъёмнее.

Интересные эволюции происходят в польском политическом дискурсе с прилагательным *narodowy*, что на русский переводится и как «национальный», и как «народный». Одна часть польского политикума

и общественности во главе с правящей партией «Право и справедливость», можно сказать, присвоила себе это определение, вложив в него исключительно «правые» смыслы, характерные для крайнего национализма на грани с фашизмом. В лучшем случае синонимичные патриотизму. Представители же оппозиционного лагеря стали употреблять это прилагательное исключительно с негативными коннотациями, в оскорбительной и издевательской форме, как синоним «отстоя». Сейчас *narodowy* практически не употребляется в польском политическом спектре в качестве нейтрального определения, относящегося к народу и его жизни, объединённой общей историей и культурой.

То же самое разделение наблюдается в понимании выражения *katastrofa smoleńska* – «смоленская катастрофа» (имеется в виду авиакатастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года, унёсшая жизни 96 пассажиров и членов экипажа президентского самолёта, летевших на траурные мероприятия в связи с годовщиной расстрела польских пленных в катынском лесу). Вариант: «смоленский заговор», трактуемый одними как сговор либеральных польских элит и зловещего российского руководства с целью уничтожения цвета нации во главе с президентом Лехом Качиньским, другими же, то есть представителями польской оппозиции, понимается как заговор нынешних властей Польши, имеющий целью оболванивание народа ради укрепления своей электоральной базы.

Похожим образом разделила поляков и *miesięcznica smoleńska*, которую чаще всего переводят как «смоленские бдения», а я бы предложила чуть более длинный, но точный перевод «вахта памяти смоленской авиакатастрофы». Этим неологизмом назван ритуал поминовения десятого числа каждого месяца погибших в той катастрофе. Начавшиеся как публичные мероприятия, находившейся тогда в оппозиции партии «Право и справедливость», с приходом её к власти в 2015 г. эти «вахты» – своеобразное сочетание поминальной мессы с политическим митингом – превратились в официальные, чтобы не сказать официозные, процедуры, вызывающие резкие протесты оппозиции, зачастую сопровождающиеся беспорядками.

Надо сказать, власти уже позаботились о предотвращении протестов против столь оголтелого навязывания «единственно правильной точки зрения». В конце 2016 г. польский парламент изменил законодательство о собраниях, и теперь организаторы регулярно повторяющихся манифестаций (как раз «смоленских бдений») получают преимущество по сравнению с организаторами одноразовых мероприятий, причём контрдемонстрация должна проходить на расстоянии не менее 100 метров, что на практике делает проведение акций протеста невозможным.

Не меньшую проблему для перевода, а значит и верного понимания, представляют пропагандистские неологизмы, без устали создаваемые провластными креативщиками:

- *dobra zmiana* – «благая перемена» (прямая отсылка к библейской «благой вести») – уже ставшее стандартным определение политического курса правящей партии «Право и справедливость», на что из противного лагеря тут же ответили изобретением хлесткого неологизма *dobrozmian*, что можно перевести как «доброоборот» по аналогии с *plodozmian* – «севооборот», подразумевая под этим навязчивую рекламу своих достижений, запущенную в политический оборот нынешним руководством страны;

- *resortowe dzieci* – «ведомственные дети». От названия издательского проекта, в серии публикаций которого рассказывается о связях представителей современных польских элит из области средств массовой информации, бизнеса, политики и науки с государственными и политическими структурами Польской народной республики, то бишь времён социализма. Само прилагательное «ведомственные» связывают с существовавшими в эпоху сталинизма структурами государственной администрации, в которых, по мнению авторов публикаций, служили родственники описываемых «детей»;

- *złodziejska reprivatyzacja* – «воровская реприватизация». Имеется в виду передача ранее национализированной собственности не законным владельцам, а при помощи хитрых юридических схем людям из прежней властной элиты;

- *totalna opozycja* – «тотальная оппозиция», где прилагательное «тотальная» однозначно негативно ассоциируется с устоявшимися словосочетаниями «тотальная война», «тотальное уничтожение», «тотальная катастрофа»;

а то и напрямую отсылающее к революционному языку первых лет советской власти:

- *MaBeNa* – «Машина Безопасного Нарратива» – изобретение приближённого к нынешней польской власти профессора Анджея Зибертовича, обозначающее информационную кампанию по борьбе с нападка ми на Польшу (как это понимают правящие круги) и улучшению имиджа польского государства за рубежом.

Следует заметить, что многие лингвисты и культурологи отмечают поразительные аналогии языка команды «благой перемены» с языком пропаганды XX в. Существующий порядок вещей демонтируется не только путём институциональных изменений, но и средствами языка. Прежние значения понятий подвергаются деструкции (иногда спонтанной, но чаще вполне сознательной) и последовательно, прочно с помо-

щью повторяющихся ритуалов вводятся новые значения и новые понятия. Здесь важно создать впечатление, что только новый язык верно описывает действительность и, следовательно, только такая действительность – единственно верная. Особенно много сходства обнаруживается с методами и приёмами коммунистической пропаганды, столь хорошо знакомой полякам по временам собственного реального социализма.

В этой связи интересной представляется трансформация понятия *Niemiec* – «немец» и словосочетания *ulica i zagranica* – «улица и заграница». После окончания II мировой войны *немец*, понятное дело, был врагом, оккупантом, убийцей. Недаром в послевоенной социалистической пропаганде так часто обращались к битве под Грюнвальдом (экранизация романа Генрика Сенкевича «Крестonosцы», завершающегося масштабной сценой достопамятного сражения, установка мемориала на поле битвы, постоянные упоминания в политической риторике и публицистике). Грюнвальд стало словом-ключом, означавшим окончательную победу в многовековом противоборстве и ставящим его в один ряд с Каноссой и Сталинградом. В следующие несколько десятилетий стереотип немца подвергся существенным изменениям, что подтверждается многочисленными исследованиями. Уже в 70-х гг. всё чаще «немец» и «немецкий» употреблялись по отношению к экономике соседних германских государств, ассоциируясь с хозяйственностью, основательностью, качеством. В конце же 90-х гг., когда Польша начала включаться в европейские структуры, «немца» стали воспринимать как члена Евросоюза, доброго соседа и пример для подражания. А вот в последние годы опять вернулись к подчёркиванию зла, причинённого немцами Польше в прошлом (отсюда требования новых репараций от Германии), а также и в настоящем, уже вместе со злокозненным Брюсселем. Таким образом, нынешние власти вернулись к негативному определению «заграница», составляющему половину одиозного словосочетания «улица и заграница», которое объясняет критику правящего режима происками из-за рубежа или подрывными действиями отечественных «хулиганов» и прочих враждебных элементов. Обвинения такого рода были в ходу в 60-е и 80-е гг. прошлого века, а теперь снова востребованы командой «благой перемен». Только «улица» – это теперь не «хулиганы» времён Владислава Гомулки и Эдварда Герека, а участники разнообразных протестных акций, вроде «Чёрного марша», а пресловутая «заграница» – по-прежнему зловредные «немцы» вкупе с Брюсселем.

Правда, валить всё на рудименты и атавизмы проклятого социалистического прошлого не стоит. Как подчёркивают серьёзные исследователи языка современной польской политики, все пропагандистские языки обладают сходными чертами: это особая нахрапистость, навязчивые

повторения новоизобретённых или приспособленных к новым реалиям словесных клише, упрощение, чтобы не сказать примитивизация, понятий, выпячивание или, наоборот, замалчивание в зависимости от конъюнктуры определённых смыслов. Сферы же проникновения подобных манипулятивных практик бывают подчас совершенно неожиданными. Так, на внутреннем авиарейсе из Варшавы в Гданьск пассажиров информируют, что они летят из варшавского аэропорта имени Фридрика Шопена в Гданьск, а вот о том, что гданьский аэропорт носит имя Леха Валенсы, не сообщается. То же самое происходит и на обратном пути. Незатейливая манипуляция, но весьма показательная.

В связи со вступлением Польши в очередной электоральный цикл (парламентских, а затем и президентских выборов) следует ожидать расцвета политической пропагандистской риторики, а возможно, и практики, и, следовательно, обширного поля деятельности для исследователей польских лингвистических реалий и новых проблем для переводчиков.

Литература / References

1. Селиванова Н.В. Польша. Новые политические ритуалы // «Лингвострановедение: методы анализа, технологии обучения»: пятнадцатый межвузовский семинар по лингвострановедению (Москва, 14–15 июня 2017 г.): доклады и материалы. В 2 ч. Ч. 1: Языки в аспекте лингвострановедения / [отв.ред. Л.Г. Веденина]. Моск. гос. ин-т международных отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. М.: МГИМО-Университет, 2018. С. 152–159.

**Восточнославянизмы в ономастике восточных окраин
Польши**

Е. В. Федюкина

Russian world tracks on the area of present Poland

Elena V. Fedyukina

ABSTRACT. Habitat dividing into «the Russian world» and «the Polish world» between native eastern Slavic peoples of Poland remained till the beginning of the XXI century. At present time it is possible to say about the “Russian world” components referring to it onomastics where there are hidden east Slavic words including confessional given ones. In this regard both surnames, personal names and toponymic words primary in the area of the Bialowieza forest arouse interest. National memory remains old times names of its parts that officially have numeral names. «Russian ice» appear in the names of cultural objects and as well in the names of current establishing organizations and unions, mainly, in Podlasie region.

Keywords: Russian world; east Slavic ethnos; orthodox names; regional toponymy; national etymology; contemporary onomastics.

АННОТАЦИЯ. Ономастика восточных окраин Польши, в частности в регионе Подляшья, включает значительное количество восточнославянских названий. Названия рассматриваются в статье в связи с этноконфессиональной спецификой местного населения. В этом плане интерес вызывают не только исторические топонимы и антропонимы, но и хрематонимы, создаваемые в настоящее время.

Ключевые слова: русский мир; восточнославянский этнос; православные имена; региональная топонимика; народная этимология; современная ономастика.

С восточнославянскими названиями в Польше чаще всего можно встретиться преимущественно в исторических местах обитания православного населения, ныне совсем незначительного. Названия можно рассматривать как своего рода маркер «русскости», играющий определенную роль в идентификации автохтонного восточнославянского населения Польши. Здесь мы сосредоточимся, в основном, на ономастике Подляшья как региона наибольшего сосредоточения православного населения. В целом, этноконфессиональная православная группа в Польше практически полностью интегрирована в систему польской государственности. «Русскость» православного населения носит в настоящее время символический и фрагментарный характер. Ее можно соотнести с понятием «русский мир». Авторская трактовка понятия

«русский мир» близка к определению его как «человеческого сообщества православных христиан, живущих в единстве веры, обрядности и обычаев» [Лукин 2000: 113].

Подобным образом «русский мир» долгое время понимался и самими представителями восточнославянского этноса в Польше. Об этом свидетельствуют факты, с которыми здесь приходилось сталкиваться вплоть до начала XXI в. Зафиксированы слова одного из местных жителей (Павлючук, деревня Рыболы)¹, четко делившего среду своего обитания на «мир русский» и «мир польский». «Мир делится на русский и польский. Польский мир – это все что чужое и не наше. А русский мир – это очень просто – наш мир, домашний, деревенский, церковный, улаженный, понятный»² [Radziukiewicz 2017: 10]. «Русский мир» в этой трактовке очень близок иному самоопределению автохтонов Восточной Польши – *tutejszy*, то есть ‘свойский, здешний’.

Аналогично свидетельство православной журналистки, этнической белоруски, редактора выходящего в Белостоке «Православного обозрения» Анны Радзюкевич, для которой устроенный «русский мир» по мере возрастания во взрослую жизнь начинал все более разрушаться, разделяясь на «белорусский, украинский, литовский..., и даже на польский православный» [Radziukiewicz 2017: 10]. Такая динамика понятия в сознании индивидуума практически повторяет фазы его исторической эволюции, когда с развитием национальных движений среди восточнославянских народностей на смену понятию «русский» пришли новые: «старобелорусский», «староукраинский», «западнорусский» и пр. В настоящее время, действительно, можно вести речь лишь об элементах «русского мира», функционирующих в различных взаимосвязанных реальностях: конфессиональной, лингвокультурной, социальной и пр. Неотъемлемым лингвокультурным элементом этого мира, на наш взгляд, можно считать ономастику данного региона, вобравшую в себе восточнославянизмы, в том числе и конфессионально обусловленные. Этот «русский след» встречается как в личных именах и фамилиях, так и иных онимах³.

Этимологически многие фамилии, распространенные в восточных регионах Польши (отнюдь не только среди православного населения) имеют источник в православном месяцеслове. Представляя дериваты от родительских православных имен, одни из них практически не подверг-

¹ По свидетельству его племянника, профессора Ягеллонского университета, Владимира Павлючука.

² Здесь и далее перевод автора статьи – <Е.Ф.>.

³ Ниже будут рассмотрены региональные антропонимы, топонимы и хремотонимы.

лись изменению: *Awksentiuk, Aleksejuk, Dawydiuk, Fedoruk, Fedorońko, Klimuk, Klimowicz, Semenenko, Semeniuk*; в других же произошла морфологическая деформация, обусловленная спецификой местного говора: *Chilimoniuk* ‘от Филимона’, *Ławreszczuk* ‘от Лаврентий’, *Panasiuk* ‘от Опанаса – Афанасия’, *Supruniuk* ‘от Супруна – Софрония’, *Hapunowicz* ‘от Гапуна – Агафона’, *Guryn* ‘от Гурия’, *Wawryniuk, Wawrynowicz* ‘от Лаврентия’, *Waszkowiak* ‘от *Waszko*, т.е. Василия’. Со временем многие фамилии полонизировались, скажем, *Semeniuk* преобразовался в *Siemieniuk, Wawreniuk* в *Wawrzeniuk* [Лабович 2018: 57] и т.д.

Что касается непосредственно личных имен, среди них в данном регионе бытуют имена восточнославянские, в том числе в уменьшительной форме: *Nadzieja, Wiera, Luba, Misza, Ściopa*. Некоторые в полной форме семантизируются по правилу польской грамматики (*Nadzieja* ‘не *Nadieźda*’), другие же (преимущественно в деминутивах) приобретают лишь польское звучание: *Ściopa*.

Аналогична ситуация среди географических названий. Топонимы, представляющие скрытые восточнославянизмы, сохранились, преимущественно, в районе Беловежской пуши. Отдельные участки лесного массива имеют ныне официальные числовые обозначения. Однако в памяти местного населения сохраняются старинные названия, например, топонимы *Wielka* и *Mala Kletna / -o / -nia* [Вайко 2017: 53] (с варьирующимися окончаниями). По-видимому, их можно сопоставить с производными от *kletь* словоформами *клетник* и *клетовьё*, обозначающими ‘тонкомерный лес на холодные строения’ [Даль 1981: 121]. Вероятно, именно такого типа лес произрастал на данном участке. Обращает на себя внимание также название урочища *Reski* в регионе Беловежи, являющееся, по утверждению старожила местности П. Байко [Вайко 2017: 54], не чем иным, как приобретшим польскую форму русским словом «резки», так как именно здесь производилось нарезание земли для жителей Беловежи.

Подобные примеры народной этимологии содержит недавно изданный Фондом К. Острожского «Словарь географических названий и имен собственных Белосточкины» [Kondratiuk 2016]. Для нашего исследования принципиален сам факт присутствия восточнославянской этимологии в народном сознании.

Восточнославянизмы можно встретить и в хрестоматиях, в том числе и вновь создаваемых. Имеются в виду названия сакральных и городских объектов, организаций, фестивалей и пр., локализуемых, в основном, в регионе Подляшья. Специфика находящихся здесь культовых объектов сопряжена с различиями в агиографическом и праздничном «пантеоне» православной и католической конфессий. Отсюда и своеобразие в наименованиях находящихся православных храмов:

cerkiew pw. Aleksandra Newskiego, św Olgi, Serafina z Sarowa, cerkiew Pokrowy (Pokrowski chram). Интерес представляет так наз. «идейная хрематонимия» [Галковский 2015: 76], то есть в данном случае возникновение названий, осмысливаемых в русле трансляции культурных смыслов, значимых для восточного славянства. В качестве примера здесь можно привести, скажем, название объединения для межкультурного диалога *Tropinka* [Лукша 2017: 52], созданного в 2015 г. в рамках освоения природно-культурного наследия Беловежской пуши (название передается на письме латиницей либо кириллицей)⁴. С 2005 г. в музейном объединении Малой родины в местечке Студзиводы ежегодно проходит фестиваль сбора первого снопа «Олень по бору ходит», получивший название по первой строке народной восточнославянской песни. По названию древней церковнославянской рукописи (1496), сохранившейся в г. Бельск Подляшки, «Пролог – *Prolog*» назвали проходящие здесь с недавнего времени Дни культуры и славянской письменности.

Отметим и определенные фонетические «пристрастия» в сфере антропонимов, проявляющиеся в переводческой деятельности. Внимание к русской классике, несколько ослабевшее в последние десятилетия, вспыхнуло вновь в 2016–2017 гг, в частности, в связи с новыми переводами «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, вышедшими в эти годы⁵. Среди переводчиков этого последнего этапа и известный булгаковед Кшиштоф Тур⁶, труды которого в 2018 г. были отмечены премией им. Константина Острожского⁷. Для нас существенно то, что именно этот автор вернул фамилии *Булгаков* в польском варианте корневое *g* вместо широко распространенного написания этой фамилии с корневым *h*, то есть *Bułgakow*, а не *Bułhakow*. К. Тур мотивировал данную перестановку экстралингвистическими факторами и, в частности, тем, что поскольку автор произведения великоросс, то и фамилия его должна звучать по-«великорусски»⁸. Следует отметить, что расхождения в произношении звука «г» (взрывного либо фрикативного), в принципе, довольно часты на польско-белорусском пограничье, а употреблению согласных *g* и *h* на востоке Польши свойственна вариативность⁹.

⁴ В белорусской графике *Tropinka*.

⁵ В эти годы вышли новые три перевода, несмотря на уже существующие переводы И. Левандовской и В. Добровского, а также А. Дравича. Ими стали переводы Гжегожа Пшебинды, Кшиштофа Тура и Яна Цихоцкого.

⁶ В 2018 г. вышло исследование Кшиштофа Тура «Kronika życia Michała Bułgakowa».

⁷ Ежегодно присваиваемая Польской Православной Церковью.

⁸ Информацию об этом находим в интервью «Służę się Bogu, albo mamonie», данного автором перевода журналистке А. Радзюкевич для православного журнала: [Tur 2018: 11].

⁹ В случае конфессиональной лексики это *Gospodi* и *Hospodi*, *Bożego* и *Bożeho*, *igumen* и *ihumen*, среди антропонимов: *Genadiusz* и *Hennadiusz*.

Среди рассмотренных элементов «русского мира» на востоке Польши оказались различные классы имен собственных, характеризующих речевую ситуацию данного поликультурного региона. Названия, как мы видели, существуют не только в пассивной форме как географические имена, но, будучи результатом творческого акта, служат средством сохранения идентичности носителями православия в данном регионе. Таким образом, восточнославянские названия в ономастике восточных окраин Польши можно считать разновидностью культурогенеза конфессии, своего рода лингвокультурными маркерами «русского мира» как элемента духовной реальности автохтонного населения современной Польши.

Литература / References

1. *Галковский А.* К вопросу о диапазоне хремотонимии // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы III Международной конференции. Екатеринбург: «Изд-во Уральского университета», 2015. С. 76–77.

2. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. Т. 2. М.: «Русский язык», 1981. 779 с.

3. *Лабович Л.* Звідки Supruniuk i Bondaruk, тобто про прізвища на Підляшші // Przegląd prawosławny. 2018. № 4. С. 56–57.

4. *Лукин Ю.А.* Отношение к духовным ценностям: видимость и реальность // Христианская цивилизация: система основных ценностей. Мировой опыт и российская ситуация. М.: Научный эксперимент, 2007. С. 113–124.

5. *Лукина М.* На бязмежнай «Трапіцы» // Przegląd Prawosławny. 2017. № 8. S. 52.

6. *Bajko P.* Ogrody Batorego // Przegląd Prawosławny. 2017. №4. S. 53–54.

7. *Bajko P.* Uroczysko Reski // Przegląd Prawosławny. 2017. №2. S. 54–55.

8. *Kondratiuk M.* Nazwy geograficzne i osobowe Białostoczczyzny. Białystok: Fundacja Ostrogskiego, 2016. 800 s.

9. *Radziukiewicz A.* Bliski mi Wschód. Fundacja Ostrogskiego, 2017. 350 s.

10. *Tur K.* Służę się Bogu, albo mamonie // Przegląd Prawosławny. 2018. №3. S. 10–12.

**Категория уменьшительности и суффиксация
в словообразовании названий животных с аппеллятивной
функцией в русском и хорватском языках**

Ж. Челич

**Category of Diminutive and Suffixation in Word Formation of
Animal Names with Appellative Function in Russian and Croatian**

Ž. Čelić

**Kategorija deminutivnosti i sufiksacija u tvorbi nazivā životinja s
apelativnom funkcijom u ruskom i hrvatskom jeziku**

Željka Čelić

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/125-129

ABSTRACT. Category of Diminutive includes extension of semantic field for motivated words formed with suffixes. The most productive suffixes for formation of diminutive words in Croatian are *-k-* and *-ica-*, in Russian *-k-*. Semantic field of diminutive meaning expands on hypocoristic meaning in case of names for animals with appellative function expressing different social relationships. Expansion on pejorative meaning, in principle not characteristic for appellatives, but characteristic for Croatian language.

Keywords: suffix; hypocoristic meaning; suffix; Croatian; Russian.

АННОТАЦИЯ. Категория уменьшительности может подразумевать расширение семантического поля суффиксального образования. Самые продуктивные суффиксы с уменьшительным значением в хорватском языке *-k-* и *-ica-*, в русском – *-k-*. Семантическое поле уменьшительности в названиях животных с аппеллятивной функцией, выражающих разные социальные отношения, может расширяться до ласкательности. Выражение отрицательного значения, в принципе несвойственного аппеллятивам, характерно для хорватского языка.

Ключевые слова: уменьшительность; суффикс; хорватский; русский.

Kategorija deminutivnosti upućuje na relativno minimizirani objekt ili subjekt¹ u usporedbi s društveno određenim dimenzijama². Ako u našem slučaju subjekt predstavlja živo biće, čovjeka ili životinju, u analizi, smanjivanje veličine može označavati i otklon na lenti vremena u biološkom

¹ «Imenice nastale sufiksalsnom tvorбом најчешће означају вршitelja radnje ... maloću ručica ...» [Hudeček, Mihaljević 2018: 76].

² «Umanjenicama se također može reći osjećaj nježnosti i dragosti <...>, dakle njihovo značenje može biti hipokoristično <...>, kao i osjećaj prezira, omalovažavanja <...> Kakvo će značenje imati umanjenica, ovisi o kontekstu. Umanjenice se tvore brojnim sufiksima koji su raspodijeljeni prema rodu osnovne imenice» [Barić i dr. 1990: 222–223].

smislu, tj. označava se pomladak³ obje navedene biološke vrste koje su u jeziku izražene imenicama. U morfologiji ruskog i hrvatskog jezika semantičko umanjivanje imenica ostvaruje se sufiksacijom. Najproduktivniji su sufiksi subjektivne karakterizacije s emocionalno-ekspresivnom značajkom⁴. Sufiksi u pravilu moraju imati značenje. Budući da sufiksi kao jedna od vrsta afikasa nisu obavezan dio riječi, za njih nije karakteristično korijensko značenje⁵, jer se nalaze iza samoga korijena⁶. Njihova se produktivost veže uz višeznačnost⁷, dok njihovo prvotno značenje može biti modificirano: deminutivnost prelazi u hipokorističnost⁸. Pri usporedbi s inventarom sufikasa hrvatskog⁹ i ruskog jezika, kao zajednički i produktivan sufiks izdvaja se sufiks *-k-* koji ima značenje deminutivnosti. Kategorija deminutivnosti odnosi se na veličinu objekta čije su dimenzije definirane u određenom društvu. Objekt značenjski obuhvaća i ljude i životinje. Deminutivnost imenica u nazivima životinja upućuje na smanjivanje gabarita ili otklon u kronološkom uzrastu pri usporedbi mladost-zrelost-starost. Analizirane riječi u komunikaciji ljudi imaju funkciju hipokoristikā-apelativā. Broj životinja koje čine tu grupu, je nevelik, iako pri tvorbi svaka imenica u teoriji može biti preoblikovana u umanjenicu. Skupina naziva životinja koje

³ «Umanjenice (deminutivi) imenice koje označuju što maleno, manje od prosječne veličine bića ili predmeta iste vrste <...>» [Težak, Babić 2003: 198].

⁴ «Суффиксы существительных: -ень-к- (дороженька) / -онь-к- (березонька), -ен-к- (лошаденка) / -онк- (книжонка); -ц- (зеркальце); -аш-к- (старикашка); -ин- (домина); -иш- (голошице); -ец (братец, морозец), -ик (билетик, букетик), -ок (дружок, снежок); -ч-ик (моторчик, карманчик); -иц- (водица, лужица); -к- (головка, ночка); -ин-к- (пылинка, росинка); -оч-к- (звездочка, мордочка) – ж.р., -оч-ек (листочек), -ечко (семечко) – м.р.; -ух / -юх- (Маруха, Ванюха), -уш-к- (дедушка), -юшк- (волюшко), -ышк- (солнышко), -ишк- (домишко), -уш-ек (воробушек), -ышек (колышек)» [Словарь русских суффиксов].

⁵ «Свака riječ ima korijenski morfem <...> On sadrži temeljno, leksičko značenje riječi» [Barić i dr. 1990: 19].

⁶ «СУФФИКС (суффиксальная морфема) <...> Выделяющаяся в составе словоформы послекорневая аффиксальная морфема <...> суффикс оценочный <...> суффикс пренебрежительный <...>» [Ахманова 2009: 464].

⁷ «Суффиксы, которые сохраняют продуктивность на протяжении истории языка, характеризуются во многих случаях многозначностью» [Борковский, Кузнецов 2010: 173].

⁸ «Некоторые суффиксы на протяжении истории языка меняют или теряют свое первоначальное значение. В особенности в этом отношении показательны уменьшительные. С одной стороны, из значения уменьшительности развиваются различные значения эмоциональной окраски (ласкательные, уничижительные), с другой стороны, у некоторых существительных они теряют уменьшительное значение, а бессуффиксное существительное или вообще выходит из употребления, или сохраняется как синоним к снабженному суффиксом» [Борковский, Кузнецов 2010: 175].

⁹ «Umanjenice motivirane imenicama muškoga roda tvore se sufiksima -ić, -čić, -ak, -ečak, -ičak. Sufiksi -ić i -čić vrlo su plodni, dok su ostali slabo plodni. Osim toga značenje je izvedenica sa sufiksom -ak više hipokoristično, a izvedenice sa sufiksima -ečak i -ičak stilski su obilježene. <...> Umanjenice motivirane imenicama ženskoga roda tvore se sufiksima -ica, -čica <...>» [Barić i dr. 1990: 223].

imaju i značenje hipokorističnosti, oblikuje se na osnovi paradigme određene kulture i animalne simbolike. I prijenos animalnih značajki na nežive objekte društveno je definiran¹⁰. Objekt naše analize jest proces sufiksacije imenica u njihovom umanjenom obliku, čije su motivirajuće riječi nazivi životinja, pri čemu se životinje prikazuju u veličini manjoj od onih društveno prihvaćenih. Značenje analiziranih umanjenica koje imenuju mladunčad, proširilo se u polje hipokorističnosti u kontekstu apelativa za ljude. Apelativi su sljedeći: mišek / < miš, ‘мышь’/; micica, micek, mucek /< mačka, ‘кошка’/; ribica / < riba, ‘рыбка’/; зайка, рыбка, киска. Pri usporedbi morfološkog sastava navedenih riječi, njihovih korijena, osnove, sufikasa, simbolike i semantike potvrđuje se upotreba sufiksa *-k-* zajedničkog u morfološkom inventaru oba jezika, kao najproduktivnijeg i s osnovnim značenjem umanjenosti i apelativnosti-hipokorističnosti. U analizi se izdvojio sufiks karakterističan samo za hrvatski jezik, vezano uz funkciju apelacije: sufiks *-ic-*, tj. *-ic-(-a)*. U bilješci 9 potvrđuje se i mogućnost negativne percepcije hipokorističnosti, no analiza ruskih i hrvatskih primjera pokazala je da ona postoji samo u hrvatskom jeziku: pri upotrebi sufiksa *-ica-* ostvaruje se i pejorativno značenje, izražava se ironija općenito pozitivne funkcije apelativā. U komunikaciji između partnera navedene se riječi rabe u intimnom okruženju: u hrvatskom jeziku *micica*, *micek*, *mucek*, u ruskom jeziku *рыбка*, *киска*. Upotreba ovih riječi specifična je za odnos između roditelja i djece, kao u slučaju apelativa *mišek* koji je imenica općega roda. Iznimka je ruska riječ *зайка*¹¹ koja se upotrebljava, općenito, u intimnoj komunikaciji između odraslih ljudi, no i u verbalnoj komunikaciji s djecom.

Za morfološki je inventar hrvatskog jezika i tvorbu hrvatskih riječi karakteristično da se sufiks *-k-*, koji tvori umanjenice s apelativnom funkcijom, upotrebljava samo u kajkavskoj sastavnici hrvatskoga jezika¹²

¹⁰ Usp., npr., objekte iz sfere Interneta o čemu je detaljno i nadahnuto pisao Maksim Krongauz u *Русский язык на грани нервного срыва* [Кронгауз 2017] opisujući koncept internetske domene *at* u ruskoj verziji *собачка*: «А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты, придумал сам русский язык (точнее, неизвестен автор, или, как в таких случаях говорят, народ). <...> А собачку заметили только мы, такой вот особый русский взгляд».

¹¹ «К примеру, если родители звали ребёнка «зайкой», то вместе со взрослением ему будет очень трудно вчеловечиваться» [<https://www.baby.ru/blogs/post/272452725-173816790/>, 22.11.2018].

¹² «Tvorba umanjenica nastaje samo jednim tvorbenim načinom – sufiksacijom, dodavanjem sufiksa s umanjeničkim značenjem na osnovu imenice. <...> U nekim se slučajevima, da bi se izbjegle suglasničke skupine na kraju osnove, umeće blagoglasno *-e-* <...> umanjenica može imati i dodatna značenja u rasponu od hipokorističnih do pejorativnih. Npr. ako im. znači osobu ili životinju, uz značenje ‘malo’ obično se dodaje i značenje ‘mlado i milo’, a može se izražavati i osjećaj dragosti nježnosti <...> Međutim, može se izražavati i omalovažavanje, označivati da je što loše, loše kvalitete, slabo, bezvrijedno i sl. <...> Prema tim kriterijima dobivamo uopćene sufikse za tvorbu umanjenica u kajkavskom narječju» [Marešić 2015: 78–80].

(u dijalektima i govorima kajkavskog narječja, konkretno, urbanom govoru – osobito u govoru grada Zagreba u kojem upotreba sufiksa *-ic-* u gore navedenim primjerima mijenja značenje apelativa u pejorativno). Kao posljedica promjene značenja riječi poprimaju nijansu ironije i na sintaktičkoj razini apelativ funkcionira kao atribut – uz pomoć govornikove intonacije, kao u primjeru *micica*, ne i *ribica*. Veza između sufikasa *-k-* i *-ic-* vidi se u tvorbi umanjenica ženskoga roda i u standardnoj i u nestandardnoj inačici hrvatskoga jezika. Oba su sufiksa načelno povezana s kategorijom ženskoga roda pri tvorbi imenica, no u gore spomenutim apelativima oni upućuju na mogućnost značenja i označavanja i muškog i općeg roda. Zadnja mogućnost, opći rod, karakterističan je i za riječi ruskoga jezika, tj. značenje općega roda, bez obzira na formalno oblikovanje riječi kao imenica ženskoga roda. Dakle, umanjenice u ruskom i hrvatskom jeziku tvore se pomoću sufiksa *-k-* koji je produktivan u tvorbi imenica oba gramatička roda. U hrvatskom jeziku, njegovoj kajkavskoj sastavnici, upotrebljava se sufiks *-ic-* koji u standardnom hrvatskom jeziku s osnovicom na novozapadnoštokavskoj bazi mijenja svoj oblik zbog glasovnih promjena, npr., *tomak – tomčić*, *konj – konjić*, no takvi oblici nisu apelativi, niti hipokoristici – niti u slučaju naziva životinja. U kajkavskoj sastavnici hrvatskoga jezika navedeni sufiks *-ic-*, tj. *-ica-*, koji u standardnom hrvatskom oblikuje stilski neutralne riječi, pridaje riječima ironijsku i pejorativnu ironijsku crtu. Sufiks *-k-*, koji postoji u inventaru i ruskoga i hrvatskoga jezika, pridaje apelativima značajku bliskosti u društvenim odnosima ljudi. Upotreba navedenih sufikasa i semantičke nijanse u kajkavskom dijelu hrvatskoga jezika i u ruskom u cjelini podudaraju se; razlika se očitava u gramatičkoj kategoriji roda: kajkavski se apelativi formalno izražavaju kao imenice muškoga roda, a ruski apelativi kao imenice ženskoga roda.

Литература / References

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: URSS, Книжный дом «Либроком», 2010. 576 с.
2. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М.: URSS, Книжный дом «Либроком», 2010. 512 с.
3. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2017. [Электронный ресурс.] URL: <https://mybook.ru/author/maksim-krongauz/russkij-yazyk-na-grani-nervnogo-sryva/> reader/. Дата последнего обращения: 19.11.2018.
4. Словарь русских суффиксов. [Электронный ресурс.] URL: <http://www.slovorod.ru/russian-suffixes>. Дата последнего обращения: 19.11.2018.
5. [Электронный ресурс] URL: <https://www.baby.ru/blogs/post/272457275-173816790/>. Дата последнего обращения: 22. 11. 2018.
6. Barić E. et al. Gramatika hrvatskoga književnog jezika / Ed. Z. Diklić. Zagreb: Školska knjiga, 1990. 454 str.

7. Hrvatska enciklopedija. [Электронный ресурс.] URL: <http://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58660> Дата последнего: обращения 20.08.2018.

8. *Hudeček L., Mihaljević, M.* Hrvatska gramatika. Priručnik za sve one koji žele ovladati pravilima hrvatskoga jezika. Zagreb: Jutarnji list-Institut za hrvatski jezik-Svjetlost klinika, 2018. 119 str.

9. *Maresić J.* O tvorbi umanjena u kajkavskom narječju // Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1/ Ur. D. *Brozović Rončević.* Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. S. 77–96.

10. *Težak S., Babić S.* Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje / Ur. D. *Merkler.* Zagreb: Školska knjiga, 2003. 339 str.

«Между небом и землей».

Об одном из фрагментов польской языковой картины мира

О. Н. Шапкина

Sky in the Polish Language Picture of the World

Olga N. Shapkina

ABSTRACT. The article presents the analysis of the images of sky, existing in the Polish language picture of the world. This is considered a range of language data (lexical, phraseological, word-formative), which allow to identify both common and distinctive features of these images.

Keywords: language picture of the world; vocabulary; phraseology; axiology; Polish language.

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ образа неба, существующий в польской языковой картине мира. При этом рассматривается целый ряд языковых данных (лексических, фразеологических, словообразовательных), которые позволяют выявить как общие, так и своеобразные черты этого образа.

Ключевые слова: языковая картина мира; лексика; фразеология; аксиология; польский язык.

Для воссоздания языкового образа какого-либо отрезка действительности, необходимо учитывать целый ряд языковых данных. Во-первых, информацию, содержащуюся в самом слове (семантическая и словообразовательная структура, происхождение и т. д.). Во-вторых, значение дериватов, словообразовательной базой которых является лексема, служащая названием рассматриваемого отрезка действительности. В-третьих, фразеологические обороты и пословицы, содержащие данную лексему. И, наконец, в-четвертых, лексико-семантические поля, в которые входит данное слово, прежде всего, его синонимы и антонимы. Образ какого-либо объекта обычно дополняется его оценкой, поскольку человеку свойственно рассматривать окружающий мир с точки зрения оценочных категорий: хороший – плохой.

Приступая к описанию языковой картины какого-либо фрагмента действительности, необходимо определить его границы в данном языке. Для этого нужно присмотреться к объектам более или менее схожим и определить, относятся ли они в данном языке к одной и той же категории действительности, т.е. называются при помощи одной лексем, или к разным категориям и называются при помощи разных лексем. Воссоздание языковой картины тех или иных фрагментов окружающего мира предполагает как описание отдельных признаков, черт данного объекта,

так и определение его способа существования и его места среди других объектов действительности. При этом «место» может пониматься не только дословно, в значении «пространство» (например, *небо над городом*), но и в контексте отношений «часть – целое» (*райский сад – небо*), «элементы одного множества» (*небо – земля – море*).

Мы попытались проанализировать образ неба, существующий в польской языковой картине мира. Хотя элементы языковой картины мира можно искать на разных уровнях языка, в данном случае наибольший интерес, несомненно, представляет лексический уровень, поэтому материалом для анализа послужили данные толковых и фразеологических словарей, словарей синонимов, а также текстов литературных произведений.

Данные толковых словарей польского языка дают основание предположить, что в польской языковой картине мира образ неба складывается из двух составляющих – физической и духовной (религиозной). С одной стороны, небо является воздушным пространством, представляющим глазу куполом, расположенным высоко над землей, по которому движутся небесные светила. С другой стороны, небо – это место обитания Бога, ангелов, святых и спасшихся душ, являющееся наградой людям за их благочестивую жизнь на земле. Данный образ передается в польском языке как при помощи лексемы *niebo* – «небо», так и при помощи лексемы *niebiosa* – «небеса». Синонимы *firmament u nieboskłon* – «небосвод, небосклон» связаны лишь с первой, физической составляющей образа неба. Синонимами этих слов во втором, религиозном значении являются *raj, królestwo niebieskie* – «рай, Царство небесное».

Небо как воздушное пространство, купол может иметь различные физические характеристики: цвет, высоту, ширину, размер и т.д. Такая физическая характеристика неба как «высокое» находит отражение в следующих дериватах и фразеологизмах: *niebotyczna góra* ‘высокая гора’, *chłop pod niebo* ‘высокий мужчина’, *leci pod niebem* ‘высоко летит’. Еще одна физическая характеристика неба – «большое» имплицитно содержится в выражениях *przewyższać kogoś o całe niebo* ‘превосходить кого-либо на целое небо, т. е. намного’ и *różnić się o całe niebo* ‘отличаться на целое небо, т. е. намного’. В некоторых дериватах, производных от *niebo*, закреплён признак формы – *podniebienie* ‘нёбо’ и цвета – *niebieski* ‘голубой’.

С небом связаны также погода и различные атмосферные явления: *jasne, pogodne, czyste, bezchmurne*. Некоторые из них, например, гром или молния могут падать на людей с неба: *spaść jak piorun z jasnego nieba* ‘как гром среди ясного неба, т. е. произойти неожиданно, в неподходящий момент’. Поскольку строение неба воспринимается как ‘купол,

свод, шатер' *niebieskie sklepienie, kopuła, namiot*, то, как в обычном шатре, в нем можно проделать дыру. *Nie robi się przez to dziura w niebie* 'это не сделает дыру в небе', – говорят поляки о малозначительном событии, которое не вызовет существенных последствий.

Образ неба в его второй, религиозной составляющей представлен в польской языковой картине мира не менее детально. На уровне словообразования религиозные коннотации данного образа находят отражение во многих дериватах: *niebiański* 'неземной', *niebianin* 'небожитель', *niebianka* 'жительница неба', *wniebowstąpienie* 'вознесение', *wniebowzięcie* 'успение' и др.

Небо ассоциируется с некоей высшей силой (Бог, судьба) от которой зависит жизнь и благополучие людей, а также с тем пространством, где эта сила обитает: «Пусть будет на то воля неба, с ней всегда надо соглашаться». О возмутительном событии, достойном осуждения и наказания говорят, что оно *wola o pomstę do nieba* 'требуется мести неба'. Небо воспринимается как место обитания Бога и других небожителей. Одним из проявлений этого является, в частности, фразеологический оборот *Jak Pan Bóg na niebie*, употребляющийся в качестве клятвы, чтобы убедить слушателя в своей правоте. На это указывают также описательные названия обитателей неба: *niebieski dziędzic* 'Бог-отец', *niebieskie dzieciątko* 'Иисус Христос', *Królowa nieba, niebieska pani, księżniczka niebieska* 'Богородица', *niebiescy posłowie* 'апостолы'.

Небо не является однородным пространством, а имеет несколько уровней. Находиться на высшем, т.е. седьмом небе, значит «чувствовать себя очень счастливым». Это и не удивительно, поскольку на небе сосредоточено все самое лучшее: *skarby niebieskie* 'небесные сокровища', *rozkosze niebieskie* 'небесное блаженство', *niebieskie migdały* 'небесный миндаль' и т. д. Счастливый человек *czuje się jak w niebie* 'чувствует себя, как на небе', а о чем-либо очень вкусном говорят *niebo w gębie* 'небо во рту'.

Небо – это цель, к которой стремится человек, оно является наградой за его добрые дела. Отсюда пожелания *niech mu Bóg da niebo* 'дай Бог ему небо', *Bóg zapłać niebem* 'пусть Бог заплатит небом'. В многочисленных пословицах говорится об условиях, которые надо выполнить, чтобы попасть на небо. Например: *Kto biednemu daje skoro, da mu niebo wdzięcioro. Kto żyje, jak trzeba, ten trafi do nieba. Kto bliźniego uciska, drzwi do nieba sobie zaciska*. Путь в небо непрост, о чем свидетельствуют такие фразеологические обороты, как *ciasna furka do nieba* 'тесна калитка в небо', *modlitwa mostem do nieba* 'молитва – мост в небо', *duszy do raju grzechy nie puszczają* 'душу в рай грехи не пускают'.

В зависимости от поведения людей небо *pomaga ludziom* ‘помогает людям’, *zsyła łaski* ‘посылает милость’, *wspiera zakochanych* ‘поддерживает влюбленных’, *karze* ‘карает’, *nagradza* ‘награждает’, *gniewa się* ‘сердится’, *placze* ‘плачет’, *jest głuche na czyjeś prośby* ‘глухо к чьим-либо просьбам’. Поведение человека по отношению к небу характеризуется следующими фразеологическими оборотами: *do nieba wznosić modły* ‘возносит к небу молитвы’, *wznosić oczy ku niebu* ‘поднимать глаза к небу’, *wznosić ręce ku niebu* ‘воздевать руки к небу’, *dziękować niebu za opiekę* ‘благодарить небо за помощь’.

Несмотря на то, что человек во многом зависит от воли неба и выступает по отношению к нему как пассивное начало, он при большом желании тоже может воздействовать на небо, а именно, *poruszyć niebo i ziemię* ‘привести в движение небо и землю’, т. е. сделать все возможное для достижения своих целей. Последний из примеров свидетельствует о том, что в польской языковой картине мира небо и земля, с одной стороны, тесно связаны, а с другой стороны, противопоставлены друг другу. Причем не только по физическим признакам («высокий – низкий», «далекий – близкий»), но и по признакам духовным, что связано со второй (религиозной) составляющей образа неба.

В польском языке так же, как в русском языке, «небо» имеет коннотацию высшего, противопоставленного «земле» как низшему. В основе оппозиции «небо – земля» лежат противопоставления «душа – тело», «радость – страдание», «вечное – преходящее», «божественное – человеческое, мечта – реальность». Рассматривая образ неба и земли в свете символики, В. Копалинский отмечает также наличие противопоставления по признакам «активное, духовное, мужское начало – пассивное, материальное, женское начало» [Kopaliński 1995: 251]. Противопоставление неба и земли находит отражение во многих фразеологизмах: *podobne jak niebo do ziemi* ‘похожи как небо и земля’, *różnić się jak niebo i ziemia* ‘отличаться как небо и земля’ и др. Выражение *pozostawać (być zawieszonym) między niebem a ziemią* употребляется по отношению к человеку, который везде чувствует себя чужим (не на своем месте).

В то же время, иногда земля и небо объединены. Это касается, прежде всего, их духовной, религиозной составляющей. Так, например, *dostać się, pójść do nieba, połączyć się z kimś w niebie* значит «умереть», но также *pójść do ziemi, spocząć w ziemi, leżeć w ziemi, gryźć ziemię*. А рай – это не только *królestwo niebieskie* ‘царство небесное’, но и *ziemia obiecana* ‘земля обетованная’. Выражение *niebo i ziemia* обозначает ‘всё, весь мир’, *na ziemi i niebie* ‘везде’. Например, *wzywać niebo i ziemię na świadectwo* ‘призывать всех в свидетели (досл. небо и землю)’.

Сочетаемость слова *niebo* с пространственными предлогами *w, po, na, do* свидетельствует о том, что небо в его первой физической составляющей воспринимается, прежде всего, как поверхность, а во второй, духовной составляющей – как пространство. Так, *gwiazdy, komety, samoloty ukazały się na niebie, słońce świeci na niebie* (как на поверхности), *chmura płynie po niebie* (как по поверхности), *no czuć się jak w niebie, połączyć się w niebie, być w siódmym niebie* (как в пространстве), *dostać się do nieba* – (как в пространство); пожалуй, единственным исключением является оборот *jak Bóg na niebie*.

В то время как земле небо обычно противопоставлено, с морем оно нередко сопоставляется. Поэтому движение по небу часто сравнивается с движением по воде, а облака или звезды – с островами (материалы картотеки «Словаря польского языка» под ред. В. Дорошевского): *Księżyc płynie po niebie* ‘Месяц плывет по небу’; *dzikie kaczki, żurawie płyną po niebie* ‘дикие утки, журавли плывут по небу’, *archipelag obłoków* ‘архипелаг облаков’. Подобное сопоставление становится основой развернутых метафор: *Niebo było jak gigantyczna mapa wyobrażająca morze i rozrzucony po niej wielowysp. Jedną z najbliższych wysp gwiazdowych jest piękna mgławica w gwiazdozbiorze Andromedy* – «Небо было как гигантская карта, представляющая море и разбросанный по ней архипелаг. Одним из ближайших звездных островов является прекрасная туманность в созвездии Андромеды».

Попытка проанализировать образ неба в польской языковой картине мира показывает, какое богатство содержания с ним связано. Данный анализ, к сожалению, ограничен тем, что не все коннотации, особенно из области религиозных верований (такой значительной для образа неба) нашли языковое подтверждение, а, следовательно, и отражение в данном образе.

Литература / References

1. *Kopaliński W.* Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. 512 s.

Еще раз об этимологии топонима Тербуны

Виктор Шетэля

Once again about the etymology of the toponym Terbuny

Victor Szetela

O etymologii toponimu Terbuny raz jeszcze

Wiktor Szetela

ABSTRACT. This note examines the etymology of the settlement of the Lipetsk region –the station and the village of Terbuny. The named toponym at different times sparked the interest of some researchers, as for example, in V. Bogdanov, A. L. Eletskaa, A. A. Golubiev, A. V. Kolesnik, A. A. Prokhorov, G. P. Smolitskii and others. Archival documents reviewed recently by well-known ethnographer Vladimir Bogdanov and analysis produced by him contained in volume edition, can further shed light on the origin of the toponym Terbuny. The author cites many versions of the origin of the name. He leaves readers the choice of the most vending his version on the origin of the name Terbuny.

Keywords: hydronym; a name; word; name; etymology.

АННОТАЦИЯ. В настоящей заметке рассматривается этимология названия населенного пункта Липецкой области – станции и села Тербуны. Названный топоним в разное время вызывал интерес у ряда исследователей, напр., В. В. Богданова, А. А. Голубева, А. Л. Елецких, А. В. Колесник, А. А. Прохорова, Г. П. Смолицкой и других. Архивные документы, изученные в последнее время известным краеведом В. В. Богдановым и произведенный им анализ, изложенный в объемном издании, могут дополнительно пролить свет на происхождение топонима Тербуны. Автор приводит много версий происхождения названия. За читателем он оставляет выбор наиболее понравившейся ему версии происхождения названия Тербуны.

Ключевые слова: гидроним; название; слово; топоним; этимология.

W 2017 r. miałem okazję na zaproszenie dziennikarza i krajoznawcy W. Bogdanowa odwiedzić ten skrawek Lipieckiej ziemi, której rejonowym centrum jest miejscowość o nazwie Terbuny, nazwie wciąż jeszcze tajemniczej z punktu widzenia etymologii. W 1897 r. otwarto linię kolejową Jelec – Wałujki ze stacją Terbuny, której nazwę dało «stare sióło Terbuny, położone 20 km. na wschód [teraz to sióło Wtoryje Terbuny]» [Богданов 2017: 6–7]. Pochodzenie toponimu Terbuny doczekało się swojego omówienia w pracach W. Bogdanowa, A. Gołubiewa, A. Jeleckich,

A. Koleśnika, A. Prochorowa, H. Smolickiej i innych. Wg A. Gołubiewa sioło Terbuny założyli osadnicy spod Smoleńska, na co wskazuje nazwa popularnego w tamtych stronach zawodu *теребилицык* ‘wybijacz, oczyszczacz lnu’ pochodzący od starego rosyjskiego słowa *теребуми* ‘trzebić, wybijać, oczyszczać włókno od badyła lnu’ [‘теребить, отбивать волокно от стебля’] [Голубиев 1999: 16]. Jednak archiwalne dokumenty z połowy XVII w., zbadane przez W. Bogdanowa, nie potwierdzają podobnej migracji spod Smoleńska, a wprost przeciwnie wskazują, że okolice Terbunów zamieszkiwał lud *слузыщы* pochodzenia bojarskiego, wojskowi w stanie spoczynku z Czernawy (sioło Izmalkowskiego rejonu Lipieckiego Obwodu), z Jelca i z Zemlanska. Te fakty pozwalają nieco inaczej spojrzeć na pochodzenie toponimu Terbuny. W. Bogdanow w pełni zgadza się z H. Smolicką, która uważa, że toponim Terbuny powstał od czasownika *теребить* oznaczającym czynność związaną z karczowaniem lasów i przygotowaniem poletek pod zasiew. Rdzeniem czasownika *теребить* jest prasłowiańska forma *terb-, która w języku rosyjskim reprezentowana jest w takich wyrazach, jak: *тереб, теребить, прутереб, подтереб* (zob.: [Смолицкая 2002: 346]). Czasownik *теребуми* odnajdujemy i w materiałach I. Srezniewskiego: «теребити – расчищать» [Срезневский 1912: 950]. Formę *тереб* (hasło w słowniku) i wyrazów pochodnych w językach słowiańskich i dialektach przytacza M. Vasmer [Фасмер 1987: 45]. Forma znalazła odbicie w hydronimach. Przypuszcza się, że rzeczka Тербунец, nad którą leży sioło Тербуны dało mu nazwę. Pochodzenie toponimu nie należy wiązać z nazwą legendarnego księstwa Terbunia (Тербунія) w znaczeniu ‘twierdza’ [‘крепость, укрепленное место’], jak to czyni P. Jakobi [Богданов 2017: 7]. Z konsultacji z pracownikiem naukowym Instytutu Języka Rosyjskiego RAN im. W. Winogradowa A. Szaposznikowym wynika, że wydarzenia w księstwie i wzmianki o innych wydarzeniach tego czasu, mają związek z serbskim plemieniem Тербуновицаи (greckie słowo). Stąd przypuszczenie, że serbskie plemię osiedliło się kiedyś w tych miejscach i nadało nazwę miejscowości. Stąd i przypuszczenie, że najbliższą do form *тербунь lub *тербунь i toponimu Terbuny może być jakaś rodowa lub antroponiczna nazwa. W. Bogdanow przytacza przykłady imion i przezwisk podobnych do tych form. Niewątpliwie, współczesne Тербуны odziedziczyły swoją nazwę od sioła Тербуна lub Тербунов, która w mianowniku będzie brzmiała jak Тербунь. Ta forma może być antroponimem osadnika, jak również nazwą puszczы. Hipotetycznie można przyjąć, że ojkonim Terbuny właśnie znaczy «osadnik lub potomek tego osadnika», «mieszkaniec tych okolic» (autor podaje jeszcze jedną wersję: nazwa od Terbun, wschodniosłowiańskie *тьрбунь). Autor pracy W.

Bogdanow pozostawia czytelnikowi do wyboru jedną z wielu przytoczonych przez niego wersji o pochodzeniu nazwy Terbuny (Тербуны).

Литература / References

1. *Богданов В.В.* Историко-экономическое описание населенных пунктов Тербунского района: документы Генерального межевания в фондах Российского государственного архива древних актов. Вторая половина XVIII – середина XIX вв. Елец: ООО «Типография», 2017. 146 с.: 20 ил.
2. *Голубев А.А.* Край родной: учебное пособие для учителей по истории воловской, долгоруковской и тербунской школ. Липецк, 1999. 254 с.
3. *Елецких А.Л., Колесник А.В.* Тайна старых замков. Поправка графа Витте ... Воронеж: Центр.-Чернозёмное кн. изд-во, 2010. 160 с.
4. *Прохоров В.А.* Липецкая топонимия. Воронеж: Центр.-Чернозёмное кн. изд-во, 1981. 160 с.
5. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 3. СПб., 1912.
6. *Смолицкая Г.П.* Топонимический словарь Центральной России. Географическое издание. М.: Армада-пресс, 2002. 416 с., ил.
7. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М.: Прогресс, 1987. 864 с.

Вопросы истории славянских языков. Славянская книжность

Языковые особенности списков первоначальной русской редакции Кормчей книги

Г. С. Баранкова

Language features copies of the original (initial) Russian edition of the Kormchaya book

Galina S. Barankova

ABSTRACT. In the article language features of the early Russian Kormchaya copies (XIII–XVI) are considered. The language data confirm the historians' assumptions about the Volyn and Novgorod-Pskov origin of the copies. It is asserted that Novgorod plays a special role in the creation of the Russian editing, and an assumption is made its initial origin Novgorod.

Keywords: Kormchaya; editing; copies; language.

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены особенности языка списков ранней русской редакции Кормчей XIII–XVI вв. Языковые данные подтверждают предположения историков о происхождении списков, отнесенных к Волынской и Новгородско-Псковской редакциям. Отмечается особая роль Новгорода в создании русской редакции и высказывается предположение о ее возможном первоначальном составлении в Новгороде.

Ключевые слова: Кормчая; редакция; списки; язык.

Первоначальная русская редакция Кормчей книги представляет собой компиляцию из предшествующих сводов кормчих книг: Древнеславянской (Ефремовской) Кормчей и Сербской Кормчей с толкованиями к правилам и канонам. Эта редакция пополнилась разнообразными древнерусскими статьями. Редактирование проходило в два этапа; первый (60–70-е годы XIII в.), когда в нее были включены 70 глав, в том числе 3 древнерусские статьи. Местом составления Кормчей Я. Н. Щапов считал митрополичью кафедру в Киеве [Щапов: 1978: 185]. С не дошедшего списка первоначальной русской редакции в 1286 г. была сделана копия для Волынского князя Владимира Васильковича, положившая начало Волынскому изводу Кормчей.

Второй этап создания Кормчей, относящийся к концу 70-х – началу 80-х годов XIII в., в течение которого она дополнялась новыми статьями (всего их насчитывается до 40), связан с Северо-Восточной Русью и привел к созданию Новгородско-Варсонофьевского извода. Судить об изначальном содержании ранней русской редакции можно лишь по оглавлению, одинаково представленному в обоих изводах.

В статье рассмотрены языковые особенности следующих списков **Волынского извода**:

Арадский список XV в. – Арадское епископство в Румынии, № 21 (далее А), Харьковский список XV в. – Харьковский историч. музей инв. № 21129 (X), Погодинский список XVI в. – РНБ, собр. Погодина № 234 (П);

Язык списков Новгородско-Варсонофьевского извода изучен по списку Новгородской (Климентовской) кормчей, 1280 г. – ГИМ, Синод. № 132 (С), списку Варсонофьевской кормчей XIV в. (ГИМ, собр. Чудовское, № 4 (Ч), Тихомировскому списку XV в. (ГПНТБ СО РАН Тихом. 536/539 (Т).

Настоящая статья связана с работой коллектива авторов (Г. С. Баранковой, Е. В. Беляковой, И. И. Макеевой, Е. В. Ухановой под руководством М. В. Корогодиной) по подготовке издания Ранней русской редакции Кормчей по Новгородскому списку с подведением разночтений по перечисленным выше спискам. Проведенная работа подтверждает описанное в общем виде текстологическое разделение списков на две редакции (или извода), предложенное Я. Н. Щаповым и поддержанное в трудах Е. В. Беляковой и М. В. Корогодиной. Текстологическое исследование списков, характер их разночтений выявляют следующую картину: списки разделяются на Волынскую (А, П, вторая часть X) и Новгородско-Варсонофьевскую С, Ч, Т, первая часть X) группы, при этом ряд чтений объединяет списки Волынского извода со списками сербской редакции (Законоправилом и Рязанской кормчей), что является свидетельством сохранения в Волынской группе более древних чтений, восходящих к первому этапу составления Кормчей ранней русской редакции. В то же время имеется ряд общих чтений (в том числе искажений), объединяющих списки обеих групп в отличие от чтений сербской редакции.

При исследовании списков ранней русской редакции Кормчей решался ряд вопросов: подтверждаются ли языковыми данными предположения о происхождении списков, отнесенных к Волынской и Новгородско-Варсонофьевской редакциям, какое место в кругу выбранных для анализа списков занимает древнейший Новгородский список 1280 г. и каково отношение Новгорода к созданию списков Кормчей книги.

Лингвистический анализ А показывает, что он является списком молдавского извода с среднеболгарскими особенностями в правописании: постоянны употребление ж, буквы ь вместо ъ на конце слов, жд на месте *dj, ѣ на месте а: **възбранѣти** 136б, **оудалѣтиса** 138б и т. п. Наблюдается мена юсов: **на стѣжа слоужбж** 13б, **съборнжа црковъ** 138а, **в не(д)ла** 136б, **всю роускжа земля** 213а и под., сочетания *тъгт представлены только в южнославянском варианте: **одръжати** 137б, **пръвое** 135б, **чръноризцоу** 386б и т. д. Спорадически в А проскальзывают черты восточнославянского оригинала, особенно в древнерусских по происхождению текстах (**стѣжажжъ** 139б, **володимеръ** 202б, **волости** 203а, **горо(д)скыи** 204а, **озера** 203а и т. д.).

Список П, как установила И. И. Макеева (устное сообщение), имеет выраженные юго-западные особенности в языке и правописании (мена начальных у/в; написания, отражающие отвердение [р] и [ч], мена ѣ/и).

Список Х, состоящий из двух частей, согласно исследованию М. В. Корогодиной, списан с разных оригиналов [Корогодина 2017: 271]. Первая его часть, которая датируется серединой XV в., текстологически очень близка Ч и написана новгородским писцом, так как в ней довольно широко представлено цоканье: **до сконцаниа** 41а, **преже сконцанья** 58г, **skonцавшe** 156б, **при концинѣ** 63б, **на концину** 159г, **нѣчни** 166г, **сирѣць** 87а, 87в, 104в, **члвчи** 150в, **сиче** 154а, **дѣцьскѣ** 164г и др. (часть примеров указана М. В. Корогодиной). О древности антиграфа первой части рукописи говорит ряд графико-орфографических черт. Помимо отмеченных М. В. Корогодиной употреблений буквы ѳ в середине слова, **ы** с **ѣ**, можно отметить спорадическое употребление **к**, не характерное для рукописей XV в., наблюдаемое как в тексте, так и в инициалах **Кѣп(с)пѳ** 20в, **Кѣретици** 157в, **кп(с)пѣ** 61в. Из других особенностей 1-й части укажем употребление буквы ї как в начале слов: **їхъ** 58в, **їмже** 153а, **їзвержени** 58в, так и после букв согласных в середине слова и очень часто на конце строки: **илі** 156в, **правіло** 156в, **чёрнорізі/цамъ** 152в и др. Перед буквами гласных чаще пишется и: **великии** 163г, **влүженне** 168а. Сочетание *dj передается как ж: **по нүжи** 41б, **оугажати** 152г. Сочетания редуцированных с плавными, когда редуцированный предшествует плавному, передаются в восточнославянском варианте.

Вторая часть, являющаяся копией с волынского извода, имеет совпадающие чтения с А и П. Она обладает заметными следами второго

южнославянского влияния. Сочетания типа *tʔtʔ передаются с редуцированным после плавного: *Ѡврѣжеса* 176в. Сочетание *dj передается чаще как жд. Кроме того, вторая часть имеет характерные южнорусские особенности правописания, в числе которых мена у-в: *оу свою волю* 282г, *повѣченье* 284а, *повченьа* 250б, *навчаетса* 250в, *оу слѣдѣ* 249б, *оу ср(д)ци* 249г, *оу великое говѣнье* 282г, *оупросилъ еси* 282г, *оу скормьлѣнии* 249в, *оудержанье* 250а, *навчѣньа* 284г, *оу прицацѣнье* 284в, *оу семь* 284б, *не вѣвѣси* 249а; постоянна мена ѣ/ е, в том числе написания с новым ѣ: *зѣмли*, 282г, *рѣче* 283в, *боудѣть* 282б, *вѣзмѣть* 249б, *нѣ могѣцю* 282б, *повѣлѣста* 282б, реже наблюдается мена ѣ/и: *свѣтокъ* 284г, *гниви* 249г. Представлено аканье: *кросоты* 250а, *оупрожни* 249г, *накозанье* 250б *потриарха* 284г (примеры с гиперкорректным написанием, указывающие на аканье в говоре писца). Таким образом, вторая часть Харьковского списка может рассматриваться как написанная в Юго-Западной Руси.

Языковые особенности названных списков подтверждают предположение историков о создании Волынского извода в Южной Руси с дальнейшим распространением на украинской и белорусской территориях, а затем и в Молдавии, о чем свидетельствует А.

Список С 1280 г. характеризуется ярко выраженными новгородскими особенностями в правописании (большим числом примеров цоканья, наличием бытовой новгородской системы письма, меной ѣ/е, ѣ/и и др.) [Баранкова 2017]. Все пять основных его писцов, выделенных Е. В. Ухановой [Уханова 2018], придерживались общих орфографических принципов и имели хорошую выучку. Язык С не является однородным и различается по группам текстов. Наиболее архаичны оглавление и первая часть С. Оригинальные древнерусские произведения отличаются большим количеством русизмов, тогда как в текстах канонических правил писцы сохраняли стандартный церковнославянский язык. В С имеется ряд искажений и порчи, а также индивидуальных чтений, что не позволяет считать его лучшим представителем Новгородско-Варсонофьевского извода, с которого в дальнейшем переписывались другие списки.

Варсонофьевская кормчая (список Ч) при большой близости ее разночтений к Новгородскому списку характеризуется добавлением одних статей и удалением других. Я. Н. Щапов, а вслед за ним и М. В. Корогодина считали, что его архетип, судя по добавленным статьям, имеющим владимирское происхождение, возник в Северо-Восточной Руси.

Кодикологический анализ Ч (обработка пергамена, брошюровка, разновка листов) показал, что при ее изготовлении использованы приемы, наблюдаемые при изготовлении новгородских книг [Уханова 2018: 326, 367]. На этом основании Е. В. Уханова пришла к выводу, не разделяемому другими историками, о возможном создании Ч в Новгороде.

Лингвистический анализ списка Ч допускает связать ареал ее происхождения с Новгородом (или, что более вероятно, антиграф рукописи восходит к новгородской языковой области), так как почти у всех ее писцов, выделенных Е. В. Ухановой, sporadически отмечаются примеры цоканья (1-й писец **по прилѹцаю** 25а, 3-й писец: **с любовдѣнчею** 150а, **сиче** 135а (2р.), **Ѡричаю(т)** 138б, **сичева** 148г, **вциненага** 135б, **чѣвцакаго** 138б, **до сконцанига** 149а, 149б, **сконцашаса** 149в, **на концинѹ** 140а, **наричаю(т)** 138б, **наричаютьса** 135а, 138в; 4-ц писец: **черноризичѣ** 169б, **причетничѣхъ** 170в, **чѣломѹдрена** 170в; 5-й писец: **оцѣскмъ** 190б, 6-й писец: **чернечь** 293г и др.).

Список Ч интересен редким способом сокращения слов, связанных с названиями букв. Этот способ особенно характерен для 5-го писца, Варсонофия, менее скромным набором слов-букв представлен он у 4-го писца. 4-й писец: **а̑** – азъ, **к̑** – како, **ѕ̑** – зело, **з̑** – земля; 5-й писец: **.а̑.** – азъ, **.д̑.** – добро, **.з̑.** – земля, **.и̑.** – иже, **.к̑.** – како, **.л̑.** – люди, **.н̑.** – нашъ, **.б̑.** – онь, **.р̑.** – рци, **.с̑.** – слово, **.т̑.** – твердо, **.ч̑.** – человекъ. Этот прием сближает правописные системы названных писцов и отличает от остальных. Однако названная особенность не позволяет локализовать список, так как у нас нет достоверных данных о том, писцы каких школ использовали подобный способ сокращения. Из других русских списков буквенный способ сокращения слов широко представлен в Златой Цепи кон. XIV-нач. XV в. (РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры № 11) и Диоптре Филиппа Пустынника XV в (РГБ, собр. Прянишникова, № 103).

Тихомировский список Кормчей дефектный, с пропуском листов, отсутствием самого конца рукописи, восстановлением части текста в XVI в. (лл. 1–88) и воссоединением двух рукописей Тихом 536 и Тихом 539 в одну, описан М. В. Корогодиной, ею же дано палеографическое описание рукописи и выделены ее писцы [Корогодина 2017: 245–263]; в конце рукописи имеются прибавления – послания митрополита Фотия в Псков 1416 г., на основании чего рукопись была признана исследователями псковской. Лингвистически рукопись не изучалась. Текстологически она имеет большую близость к Новгородской и Варсонофьевской, на что впервые обратил внимание Я. Н. Щапов, который указал на ее особенную близость к Новгородскому Синодальному списку.

Лингвистически рукопись неоднородна. Основная часть, датируемая XV в., различается как по своим правописным нормам, так и по языку. Писец 1-й части XV в., написавший большую часть рукописи, придерживается древнерусской правописной нормы, в его приемах орфографические черты второго южнославянского влияния проявляются лишь в незначительной степени (наличие так называемого «зияния», отдельные написания жд в соответствии с *dj). В сочетаниях редуцированных с плавными, когда редуцированный предшествовал плавному, писец пишет по-древнерусски, ставя редуцированный (как правило, это проясненный гласный) перед плавным: **смертьна** 91в, **исперва** 91в, **дерзноуѣше** 138а и т. п. Диалектные черты в правописании 1-го писца не проявляются. Совсем иные черты характеризуют правописание 2-го писца XV в., написавшего около 20 листов. В его системе письма наблюдаются довольно архаичные орфографические черты: употребление букв **к**, **ы** с **ъ**, **ѣ**, которые отмечаются в XIV в. и не свойственны орфографии сер. XV в. Однако главным отличием этого писца от первого является наличие разнообразных диалектных особенностей, позволяющих локализовать эту часть рукописи как псковскую. Это прежде всего многочисленные случаи написания свистящих **з** и **с** вместо шипящих **ж** и **ш** и наоборот, представляющих характерную особенность псковского говора: **ш/с: повѣши** 294г, **лиситиса** 295в, **смѣшилти** 293а, **оглашити** 293в, **оутѣсителѣмъ** 143б, **испадоса** 144а; **з/ж: долъзни** 294а, **многазды** 294в, **вборже** 292в, 294б, **въ ображе** 152в, **в возницѣ** 294г, **дружин** 144а, 294г, 295г, 297а, **мнозичею** 143г, **сквоже** 143в и т.д. Та же особенность характерна для правописания третьего писца (лл. 296а-303г, 304б): **вкѣшилъ** 296в, **чюдеша** 297б, **мѣшлю** 297а, **приношати** 296б, **грѣши** (им. мн.) 297г, **всѣа рѣши** 298б, **къ дружен** 296а, **можи** (пов. 2 л.) 296г, **иж ни(х)же** 305б, **не доздавъ** 297б, **лежетъ** 298а, **Ѡ без возны(х)** 298в, **ше** (вм. **се**) 296г и др.

Многочисленны примеры мены **ч** и **ц** (цоканья) у тех же писцов: 2-й писец: **въ цревѣ** 143г, **конча** 144а, **двоженча** 144а, **тржеженча** 144а, **черничамъ** и **черничемъ** 292в, **растоцити** 152б, **чернорижица** 148а, **черньчемъ** 293а, **свѣци** 292б, **свѣць** 292б, **свѣцю** 293в, **оѣ** (зв) 292а, **черньча** 292б, **челова(т)** 293б, **человавшѣ** 293а, 296в, **человати** 293б, 294г, 295б, 296в (Зр.), 297а (2 р.), 297б, **челѣть** 293б, 297а, **сочевича** 293в, **съ пше-ничею** 293в, **белчемъ** 293б, **рожанича** 293б, **отроче(х)** 293в, **ѡ пролитѣ** **вчта** 304 г, **сичѣ** 293г, **отрочи** 294г, **нечни** 294г, **съжеци** 295б; 3-й писец: **далецѣ** 296б, **въ грѣчехъ** 296, **прицитати** 298в, **черковного** 298г и др.

В правописании второго писца отмечается мена о/у: **испѹлни(т)** 292б, **мѹлви(т)** 293а, **испѹлнити** 295а, **иноу** (вм. **ино**). Наблюдается один случай отсутствия 1-й палатализации: **ѡблѣкешн** 292в.

Таким образом, большая часть ранних сохранившихся списков Кормчей (С, 1-я часть Х, а также список Ч, который мог быть написан в Новгороде или имел новгородский оригинал, отличающийся от С), связана с этим городом. Псковским, то есть написанным на сопредельной территории, является Т, у которого, как полагал Я. Н. Щапов, существовал архетип, общий для Синодального и псковского изводов, который он считал новгородским и датировал его временем до 1280 г. (датой создания списка С) [Щапов 1978: 231]. Тем самым можно говорить об особой роли Новгорода в создании Кормчей ранней русской редакции. Возможно, следует говорить о нем (а не о Киеве) как о центре создания первоначальной русской редакции.

Об этом свидетельствует ряд экстралингвистических обстоятельств. Прежде всего, обращает на себя внимание наличие многих списков Кормчей в Новгороде, в связи с чем работа по составлению русской редакции могла с успехом осуществляться там. В Новгороде, вероятнее всего, находилась Ефремовская кормчая, имеющая, согласно исследованию С. Н. Обнорского и поддерживавшего его И. В. Ягича, севернорусские особенности в правописании, в том числе мену *ч* и *ц* [Обнорский 1912]. Нельзя не отметить и факт дословного использования Ефремовской кормчей (или списка с нее) в новгородском памятнике Кириковом вопрошании, который отметили А. С. Павлов и Я. Н. Щапов [Павлов 1869: 58–59, Щапов 1978: 102]. В XV в. в Новгороде для Соловецкого монастыря была сделана копия с Ефремовской кормчей или ее списка. По мнению Щапова, имеющиеся на полях Ефремовской кормчей многочисленные пометы XII–XIII в. были сделаны для выборки текста при составлении Уваровского списка № 124 XIII в., также имеющего новгородские особенности в правописании. Щапов считал, что производившаяся в XIII в. и в более позднее время выборка статей из Ефремовской кормчей проводилась в одном церковном центре, допуская, что им мог быть Новгород, но называл более вероятным местом Киев [Щапов 1978: 111]. К сожалению, свидетельств о наличии ранних новгородских списков сербской редакции, второй составляющей части Кормчей первоначальной русской редакции, мы не имеем. Зато имеем данные о том, что 1-й писец Иловицкой (сербской редакции) кормчей 1262 г., как доказала Л. Цернич, был также новгородцем, о чем свидетельствуют языковые особенности первой части рукописи [Церний 1981: 49–50].

Еще одним доказательством в пользу Новгорода как возможного изначального места создания рассматриваемой ранней редакции является наличие двух русских статей, включенных в нее, как это следует из оглавления, на первом этапе. Это Вопросание Кирика и Правила митрополита Кирилла, исключенные из состава Кормчей в период бытования этой редакции в Вольни. Правила интересны тем, что в трех из шести представленных в них пунктах содержится осуждение новгородских обычаев. Это «соблюдение функций священников при службе, которые не должны переходить к дьяконам; «пьянство священников» и «запрет служить в церкви не имеющим посвящения». Историк русской церкви Е. Е. Голубинский писал по этому поводу: «Возбуждает недоумение в деянии соборном (т.е. Правиле митрополита Кирилла) то, что в нем делаются многократные указания на новгородскую область и именно только на нее одну <...>. Как объяснить себе это недоуменное обстоятельство, мы положительным образом сказать не можем; но представляется нам не невероятным следующее: все известные в настоящее время списки деяния соборного ведут свое начало от списка, который написан в Новгороде (и именно написан спустя очень непродолжительное время после собора)» [Голубинский 1900: 78]. Учитывая новгородскую направленность этого произведения, не удивительно, что сначала оно вошло в первоначальную русскую редакцию, а позже было исключено из Вольнского извода Кормчей.

Таким образом, на основании экстралингвистических факторов: существования в Новгороде Кормчей Ефремовской редакции и активной работы по выборке статей из нее, наличия не дошедшего до нас особого новгородского архетипа списков, общего с С и Т, а также основываясь на факте первоначального включения в состав древнерусской Кормчей статей, связанных с Новгородом (Кириково Вопросание, Правило мтп. Иоанна) и их позднейшего исключения из состава Вольнского извода, можно предположить, что сама ранняя русская редакция была изначально составлена не в Киеве, подвергшемся в период составления Кормчей большому разорению и запустению, а в Новгороде.

Литература / References

1. Баранкова Г.С. О некоторых графико-орфографических и языковых особенностях Новгородской кормчей 1280 г. // Славянское и балканское языкознание. Палеославистика. М.: Ин-т славяноведения РАН. 2017. С. 7–26.
2. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. II, пол. I. М.: Имп. об-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1904.
2. Корогодина М.В. Кормчие книги XIV – первой половины XVII века. Том 1. Исследование. М.; СПб: Альянс-Архео, 2017. 598 с.

3. *Обнорский С.Н.* О языке Ефремовской кормчей. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наук, 1912.

4. *Павлов А.С.* Первоначальный славяно-русский Номоканон. Казань: В университет. типографии, 1869.

5. *Уханова Е.В.* Кодикологические особенности рукописей новгородского архиепископского скриптория последней четверти XIII–XIV вв.: Климентовская и Варсонофьевская Кормчие (ГИМ, Син. 132 и Чуд.4) // Специальные исторические дисциплины. Сб. статей. Вып. 2. М., 2018. С. 320–367.

6. *Цернић Л.* Нека запажања о писарима Иловичке Крмчије // Археографски прилози. Београд, 1981. Књ 3. С. 49–64.

7. *Щапов Я.Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М.: Наука, 1978. 291 с.

Тема гуситской преемственности словацких евангеликов в исторических трудах и трактатах словацких писателей¹

М. Браксаторус

The theme of Hussite-Evangelical continuity in Slovakia in Historical Works and Tracts of Slovak Evangelicals

Martin Braxatoris

ABSTRACT: The paper surveys the theme of Hussite-Evangelical continuity in Slovakia in Historical Works and Tracts of Slovak Evangelicals from the first half of the 18th century to the first half of the 20th century. It focuses on the dichotomy of the historical-factual and symbolic plane and on the constitutive signs of symbolic grasping of the mentioned topics. It also seeks the sense of a symbolic way of thematisation of historical material, and seeks to define the contours of the direction of thinking about the related problems.

Keywords: Hussites; Slovakia; Utraquism; Evangelicalism; continuity.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается тема гуситско-евангелической преемственности в Словакии в исторических произведениях и трактатах словацких писателей с первой половины XVIII до первой половины XX века. Основное внимание уделяется дихотомии историко-фактографического и символического планов и определяющим признакам символического понимания указанных тем. Автор также анализирует смысл символического способа тематизации исторического материала и стремится обозначить контуры исследования связанных проблем.

Ключевые слова: гуситы; Словакия; утраквизм; евангелизм; преемственность.

Гуситская тематика в период Просвещения и Национального Возрождения характеризуется значительной символизацией исторического материала, которая является частью литературной традиции и исторической памяти евангеликов. Поэтому, исследуя образ гуситов в исторических работах и трактатах словацких писателей, мы часто сталкиваемся с дихотомией исторических фактов и определенного комплекса символов, вследствие чего элементы текстов получают целый спектр новых качеств и значений. Так, например, гуситов, наемников Я. Искры (в дальнейшем мы их будем называть искровцами) и братьев («bratříci»; буквально «братишки») стали включать в историю евангелической

¹ Статья подготовлена в рамках проекта VEGA 2/017/17 «Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika».

церкви. Данная традиция складывается из нескольких составных элементов, некоторые из которых мы рассмотрим ниже.

С исторической и фактической стороны гуситы, искровцы и братья представляют собой разные исторические явления, несмотря на их взаимное «переплетение». Братья и искровцы в определенный период даже были врагами, выступавшими друг против друга. Отряды искровцев были этнически и конфессионально неоднородными [Kratochvíl 1912: 16; Varsík 1932: 16]. Например, сам Я. Искра, согласно части источников, был католиком [Kvačala 1935: 16; Varsík 1932: 16]; в других же источниках указывается, что он был представителем компромиссного направления в рамках утраквизма, причем многие его предводители были католиками [Kratochvíl 1912: 17]. Кроме того, на стороне искровцев и братьев часто выступали негуситы из местного населения.

Эти различия, однако, как правило, не переносятся в *символическую плоскость*, поэтому в указанных ниже текстах упоминаются в основном только гуситы, а в качестве синонима используется термин искровцы. В этой связи следует отметить, что *понятия гуситы, искровцы и братья* в значительной степени *оказываются размытыми и отражают их синкретическое понимание* (далее мы будем писать только о *гуситах**).

Для *символического понимания* гуситов* характерно их *идиллическое сосуществование и даже смешение с местным населением*. С этой идеей тесно связано представление о их масштабной колонизации словацких территорий и воздействии на местное население, что соответствует утверждению о закреплении гуситских традиций в Словакии как предпосылки дальнейшего распространения Реформации. Такое понимание можно найти у многих авторов-евангеликов, причем восходит оно к работам М. Бела и Л. Бартоломеидеса. Значительную роль в этом плане, благодаря авторитету авторов, сыграли также более ранние работы, особенно А. Бонфини и Иоанна из Турца. У М. Бела мы находим информацию о том, что после получения прав горожан чехи осели в Венгрии [Belivš 1746: § XII]. Представление о том, что гуситы* колонизировали словацкие территории, оседая на них и смешиваясь с местным населением, развивает П. Й. Шафарик, ссылаясь на Иоанна из Турца и добавляя, что после данного им разрешения королем Матвеем (Корвином) остаться в Венгрии, их потомки живут там и по сей день [Schaffarik 1826: 373–374; ср. Palacký 1857: 449]. Подобным образом описывают события Л. Штур [Štúr 1956: 45], Й. М. Гурбан [Hurban 1846: 29] и С. Томашик, в творчестве которого мы находим подобные идеи, возможно, даже в более яркой форме [Tomášik 1921: 51; Tomášik 1971: 101].

Значительное распространение среди авторов-евангеликов имела точка зрения Л. Бартоломеидеса, утверждавшего, что, когда гуситы ста-

ли постепенно смешиваться с местным населением, король Матвей позволил им спокойно обустраивать свои жилища, и их многочисленные потомки живут там и поныне [Bartholomaeides 1783: 4]. В качестве доказательства чешской колонизации Малохонта он приводит примеры диалектных слов якобы чешского происхождения, с чем соглашались и более поздние авторы. Например, Ю. Ботто, ссылаясь на Л. Бартоломеидеса, пишет, что «словаки, населяющие Малохонт и соседние деревни <...> это потомки чешских гуситов, смешанных с местным населением» [Botto 1886: 85]. На рубеже XIX и XX веков и в первой половине XX века *символическое понимание* Бартоломеидесом темы влияния гуситов* подвергается критическому пересмотру. Й. Добровский относительно приводимых примеров якобы чешских слов пишет, что они чешскими не являются [Patera 1906: 111], что нашло положительный отклик в Словакии [Škultéty 1915: 296]. Среди первых словацких авторов, скептически относившихся к масштабу чешско-гуситского влияния на словаков, включая религиозное, были Я. Моцко и П. Крижко [Križko 1897: 153–178], в значительной степени отрицательно к традиционной интерпретации истории относился Й. Шкульгети. Наиболее активно дискуссия² протекала после издания романа А. Ирасека «Братство».

В работах первой трети XX века указывается на то, что поселения, возникновение которых приписывают чешской колонизации во времена Искры, в действительности появились либо раньше, либо позже нее [Varsik 1932: 25]. В дальнейшем словацкие и чешские авторы отмечали, что после ухода Искры «в Венгрии остались только группы братьев» [Varsik 1932: 19], «часть которых Матвей, обезопасив себя, включает в свои войска, <...>, а Владислав II в 1501 году отдал приказ изгнать гуситов из всех государственных учреждений, посадить их в тюрьму, а если они не откажутся от своей ереси, умертвить» [Kratochvíl 1912: 20]. Что касается оценки фактического сосуществования искровцев и братьев с местным населением, в первой половине XX столетия в работах авторов-евангеликов в определенной степени делается акцент на причиненном вреде и негативном влиянии, которое искровцы (и братья) оказывали на население указанных регионов [Škultéty 1915: 296; ср. Meltzer 1931 и Špirko 1937: 136]. Широкое распространение в Словакии получили взгляды Ф. Палацкого [Palacký 1857: 446, 456].

Важной характеристикой гуситов* как элемента *символического плана* является то, что благодаря ним в Словакии *распространился чешский в функции культурного и литургического языка*. Таким образом,

² Особого внимания заслуживает дискуссия Йозефа Шкульгети и Юлиуса Ботто в журнале «Slovenské pohľady».

гуситы символически выступают источником традиции использования чешского как культурного и литургического языка словацких евангеликов [см. напр. Hurban 1846: 29]. Символизация гуситов* как источника экспансии чешского языка в Словакию восходит к М. Белу, который пишет, что «вихрь гуситов» способствовал «красоте и славе» чешского языка в Венгрии и привел к «процветанию нации, а также зрелости и благозвучности» языка [Belivs 1746: § XII].

П. Й. Шафарик, ссылаясь на П. Долежала и Б. Таблица, указывает, что «гуситы как предшественники немецких реформаторов вызвали интерес к протестантскому учению <...> у словаков в Венгрии» и что через их книги «чешское наречие стало литературным языком словаков» [Schaffarik 1826: 380–381]. Л. Штур пишет, что именно благодаря гуситам, преследуемым в Чехии, «речь чешская стала письменной у словаков» [Štúr 1956: 45]. М. М. Годжа объясняет принятие чешского языка как культурного и литургического языка словаков тем, что чехи, осев среди словаков, стали распространять между ними святыне книги [Hodža 1970: 78].

Что касается *фактографической стороны*, можно предположить, что пребывание искровцев и братьев в определенной степени могло повлиять на процессы, связанные с позициями чешского языка в Словакии, однако представляется, что вышеупомянутый фактор не стоит переоценивать. Как видно из следующего отрывка, критическая оценка этого вновь появляется в первой половине XX столетия: «Письменный чешский язык у словаков не был результатом деятельности искровцев в Верхней Венгрии; это было бы невозможно из-за непродолжительности их пребывания. Гуситское движение могло способствовать распространению у нас письменного чешского языка, однако он является продуктом более длительного периода, насчитывающего, как минимум, полтора столетия, начиная с правления Карла IV и с момента основания Пражского университета» [Škultéty 1915: 296–297].

Следующей особенностью гуситов* как элемента *символического плана* является их связь с *активным прозелитизмом, а также со строительством костелов и чаш*. Образ гуситов* как строителей церквей, вероятно, основан на неопределенности формулировки в работе А. Бонфини [Bonfinius 1744; ср. Koula 1901: 132–133]. Данные о предполагаемых гуситских церквях и чашах приводит Л. Бартоломеидес [Bartholomaeides 1808: 8; ср. Varsik 1932: 23–24]. Упоминания о гуситских церквях, используемых в качестве фортификационных сооружений, и о чашах в Гемере мы находим, например, у С. Томашика [Tomášik 1971: 101].

В первой половине XX века наблюдается интенсивное переосмысление символического понимания темы. Из работ этого периода мы узнаем, что церкви, которые «искровцы использовали в качестве крепостей, они строили не сами. О некоторых церквях имеется конкретная информация, что искровцы их лишь занимали и превращали в крепости» [Varsik 1932: 22]. В оборонительных целях они также использовали камни существующих католических костелов [Kratochvíl 1912: 17]. Что касается распространения веры гуситов в период после битвы у Липан, то для реконструкции степени их религиозного влияния важное значение имеет письмо от 1449 г., в котором венгерский сейм сообщает Риму о распространении «гуситской ереси» и о том, что в Спише и Шарише в нескольких приходах принимается причастие под обоими видами [Petrik 1969: 41; Varsik 1932: 17; Kratochvíl 1912: 19].³ Однако целью этого документа было спровоцировать ответ церковного верховенства, поэтому его достоверность касательно упомянутой угрозы следует воспринимать критически [Varsik 1932: 17]. Даже в Гемере, Малохонте и Новограде, которые традиционно считались гуситскими, конкретные документы о переходе местного населения к утраквизму отсутствуют [Varsik 1932: 16]. Утраквисты во времена искровцев имели серьезные проблемы с отсутствием должным образом рукоположенных священников [Kratochvíl 1912: 17] и с недостатками в области организации церковной жизни [Špirko 1937: 136]. Поэтому трудно говорить о широком распространении их церковных структур и веры.

На то, что традиционные представления о возведении гуситами храмов в ряде случаев не совпадает с реальной датой возникновения церкви, указывают уже некоторые выводы Л. Бартоломеидеса⁴. Я. Коула, который очень осторожно полемизирует с этим утверждением и, никоим образом не преуменьшая авторитетность Бартоломеидеса,⁵ заключает, что в интерьерах «гуситских» церквей он не нашел никаких гуситских элементов; художественные формы в них восходят, по его мнению, к XVII в. [Koula 1901: 144]. В работах авторов первой полови-

³ Я. Петрик в качестве документа, свидетельствующего о распространении утраквизма, приводит также письмо Иоанна Капистрана, сообщавшего римскому папе о большом количестве тайных еретиков среди католиков [Petrik 1969: 41]. Данная часть письма, однако, согласно толкованию первой трети XX столетия, говорит, скорее, о необходимости гуситам скрываться в католической среде после того, как Искра покинул Венгрию (см. [Kratochvíl 1912: 19]).

⁴ Эти выводы положительно оценивает Я. Коула, когда пишет, что «Бартоломеидес правильно делает, когда лишь некоторые из костелов относит к гуситской эпохе, а другие считает более древними» [Koula 1901: 136].

⁵ На точку зрения Коулы, вероятно, опирался и Алоис Ирасек при создании романа «Братство» [ср. Urbánek 1921: 93].

ны XX в. отмечалось, что церкви, возведение которых традиционно приписывалось гуситам, как правило, были построены в период до гуситов или после гуситов [Kvačala: 1935: 16, 21; Varsik 1932: 21; Kratochvíl 1912: 22; Koula 1901: 135], или же просто отсутствуют какие-либо данные о том, что они были построены гуситами [Varsik 1932: 136]. Доказано, что и чаши на церквях во многих случаях появились в более поздний период. То же самое относится и к евангелическому выражению духовной связи с утрактивизмом и близости к причастию под обоими видами. Наконец, это касается и чаши на Тисовском костеле, о которой, как и о чаше на костеле в Ратковой, Л. Бартоломеидес утверждает, что ему достоверно известно об их гуситском происхождении [Bartholomaeides 1808: 277; ср. Varsik: 1932: 23–24]. К действительно гуситским чашам, возможно, относится чаша в селе Раткова [Mikitová–Đurinda 2015: 72, 74].

Символическое понимание присутствия искровцев и братьев в Словакии использовалось как аргумент существования гуситско-евангелической преемственности, связанной, в определенной степени, с феноменом так называемого мифа о золотом веке. Характеризуя оценки прошлого, которые давались в Словакии в период Просвещения и Национального Возрождения в конце XVIII века, а также программы, обращенные в будущее, Б. Варсик указывает, что «католическая Словакия, обращаясь к прошлому, находит точку соприкосновения, находит свою основу, в идее кирилло-мефодиевской, в империи Великоморавской» [Varsik 1932: 49], тогда как «евангелическая Словакия, исследуя прошлое своих предков <...> не могла не увидеть вершину своей исторической славы в славном гуситском периоде <...>: даже если бы нити начала Реформации не достигали непосредственно гуситского периода, то несомненно его достигали основы их культуры» [Varsik 1932: 50]. В словацком культурном контексте мы находим множество примеров связи евангеликов с Я. Гусом и гуситами. Исследователи обращают внимание на связи евангеликов с гуситами в области основ сакральной культуры, причастия мирян под обоими видами, критики негативных явлений в церкви и попыток их исправить, а также в отношении использования чешского как культурного и литургического языка. Известно также позитивное отношение М. Лютера к взглядам Я. Гуса [Petřík 1969: 38]. В то же время выявляется символический способ поиска «нитей» начала Реформации, в рамках которого гуситы* изображаются как элемент, создавший условия для ее быстрого распространения в словацких регионах [см. напр. Bartholomaeides 1808: 277; ср. Varsik 1932: 81].

Поиск нитей, ведущих от словацких евангеликов непосредственно к гуситам, в работах авторов-евангеликов имеет специфический генезис.

Д. Крман в рукописной работе «Hungaria evangelica» 1718 г. делит евангелическую церковную историю на две составляющие: от апостольского периода до Яна Гуса и от Яна Гуса до Жилинского синода [Kvačala 1935: 8]. Такое деление материала имеет *символический характер*, поскольку Гус и гуситы причисляются в данной работе к той же эпохе, что и Реформация. Здесь мы, однако, не встречаемся с включением гуситской традиции в собственно евангелическую церковную историю и с поиском начал Реформации в рамках гуситства; первооткрывателей словацкой Реформации Д. Крман видит в немецких городах и магнатах ([Varsik 1932: 48]; ср. также [Kvačala 1935: 52]). Позже образ гуситско-евангелической преемственности в работах словацких евангеликов становится все более значимым. Б. Таблиц высказывает мысль о том, что гуситы подготовили почву для немецких реформаторов [Tablic 1808: 47]. П. Й. Шафарик называет гуситов предшественниками «немецких реформаторов», которые «вызвали интерес к протестантскому учению не только у чехов, но и у словаков в Венгрии» [Schaffarik 1826: 382]. Я. Чаплович пишет, что учение гуситов «проложило у нас дорогу лютеранству, принесенному в Венгрию чешскими эмигрантами» [Čaplovič 1975: 228]. С. Томашик также пишет о том, что гуситы проложили дорогу к немецкому протестантизму [Tomášik 1971: 101] и что «свои религиозные книги они носили с собой, и их, как и проповеди гуситских священников, учились читать и понимать словаки; они часто имели возможность слушать, посещая их богослужения, и это стало причиной того, что позже Реформация на удивление быстро распространилась среди словаков» [Tomášik 1921: 52]. В символическом плане, однако, не отражается тот факт, что Реформация находила питательную среду сначала у этнических немцев и распространялась прежде всего через аристократию [ср. Kvačala 1935: 40, 52], а не через словацких и чешских уtrakвистов.

Заключение

Очевидно, что в исторических работах словацких евангеликов, начиная с XVIII столетия, феномен гуситства, искровцев и братьев включается в историю евангелической церкви. Эти литературные тексты представляют собой символический комплекс, составные элементы которого мы определили выше. Его функцией была защита законности и пространства для развития евангелических традиций. На рубеже XIX и XX веков, и прежде всего в первой половине XX века, подобные интерпретации интенсивно верифицируются и критически пересматриваются, причем внимание исследователей акцентируется прежде всего на духовной связи и лишь в некоторой степени на исторической преем-

stvennosti, oposredovanej analogickým rozvojom na českej terri-
 torii. Tradičné interpretácie stávajú pod pochybnosť najprv
 českými autormi (F. Palačkom, Ľ. Dobrovským, J. Kouřilom, Ľ. Kra-
 tochvilom). Ich kritické názory na hranici XIX a XX storočia a v prvej
 polovici XX storočia upadli v Slovensku na úrodnú pôdu
 (J. Močko, P. Krížko, Ľ. Škuljetty a na kvalitatívne novom úrovni
 historici B. Varšák, J. Kvačala), čo bolo spojené s stratou funkcion-
 ality symbolického komplexu v súvislosti s modernými sociálnymi
 potrebami spoločnosti a najmä s rozchodom pozitivistického
 metodológie v historickej vede. V tomto období sa ukončuje táto
 tradícia v histórii literárnej reflexie a historického chápania
 problematiky husitov, iskorovcov a bratrancev.

Literatúra / References

1. *Bartholomaeides L.* De Bohemis Kis-Hontensibus antiquis et hodiernis, Commentatio
 historica.... Wittenbergae: Adam Christian Charisi, 1783. in 4. P. 18.

2. *Bartholomaeides L.* Inlyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-
 geographico statistica. Leutschoviae: Josephi Caroli Mayer, (1806–)1808. 8, 782 p.

3. *Belivs M.* Praefatio. Lectori benevolo S. P. D. Matthias Belius // Doleschalivs P., Belivs
 M.: Grammatica Slavico-Bohemica... Posonium: Typis Royerianis, 1746. § I–XII, 321 p.

4. *Bonfinius M.A.* Rerum Ungaricarum decades IV. cum dimidia seu libri 45 gesta
 Hunnorum et Ungarorum á primis ... complexi. 6. editio. Posonii: [s.n.], 1744. 643 p.

5. *Botto J.* Starí a terajší husiti gemersko-malohontskí // Slovenské pohľady. Ročník VI.
 Rok 1886. S. 85–89.

6. *Čaplovič J.* O Slovensku a Slovákoch. Bratislava: Tatran, 1975. 267 s.

7. *Hodža M.M.* Dobro slovo Slovákom súcim na slovo. Bratislava: Tatran, 1970. 133 s.

8. *Hurban J.M.* Slovensko a jeho život literárni // Slovenskije Pohľady na Vedy, Umeňja a
 Literaturu. Diel I., zv. 1. Odpovední Redaktor a Vidavatel M. J. Hurban. V Skalici: V Tlačjarni
 Fraňa Xaviera Škarnicla a Sinou: 1846. S. 14–36.

9. *Kouřil J.* Příspěvek k poznání „husitských“ kostelíků na Slovensku. In: Slovensko.
 Sborník statí věnovaných kraji a lidu slovenskému. Praha: Umělecká Beseda, 1901. S. 132–144.

10. *Kratochvíl E.* Protestantismus a architektura. Praha: Šolc, 1912. 117 s.

11. *Križko P.* Stredoveké národnostné pomery na Slovensku. In: Sborník Muzeálnej
 slovenskej spoločnosti II/2., Turčiansky Sv. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1897.
 S. 153–178.

12. *Kvačala J.* Dejiny reformácie na Slovensku [1517–1711]. Lipt. Sv. Mikuláš:
 Tranoscius, 1935. 303 s.

13. *Meltzer V.F.* Das Hussitentum in der Zips und seine Bedeutung für die Reformation
 dieser deutschen Sprachinsel. Triltsch, 1931. 55 S.

14. *Mikítová M., Ďurinda M.* Ratková v historických a archívnych retrospektívach. Martin:
 Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 160 s.

15. *Palacký F.* Dějiny národu českého. Díl IV, částka 1. Praha: Bedřich Tempský, 1857.
 482 s.

16. *Patera A. (ed.)* Korrespondence Josefa Dobrovského. IV díl. Vzájemné listy Jos. Dobrovského a Jiř. Řibaye z let 1783–1810. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. 406 s.
17. *Petrík J.* Kapitoly z domácích cirkevných dejín. Bratislava: Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta, 1969. 277 s.
18. *Schaffarik P.J.* Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen: Mit kön.ung. Universitäts Schriften, 1826. 548 S.
19. *Škultéty J.* Myjava / Sost. *J. Bodnár* // Slovenské Pohľady. Sošit 4–5. Rok 1915. S. 291–304.
20. *Špirko J.* Husiti, jiskrovci a bratřici v dejinách Spiša (1431–1462). Spišská Kapitula: Spišský dejepisný spolok v Levoči, 1937. 146 s.
21. *Štúr E.* Dielo v 5 zväzkoch. Slovania bratia. Bratislava: SVKL, 1956. 443 s.
22. *Štúr E.* Dielo v 5 zväzkoch. Slovania bratia. Bratislava: SVKL, 1956. 443 s.
23. *Tablic B.* Kratičká historie augšpurského vyznání // Augšpurská Konfessý, aneb. Wyznánj Wjry Neygasněgssjmu Cýsaři Karlowi Vtému... We Wacowě: 1808. 253 (3) s.
26. *Tomášik S.* Ohne na Muráni / Zost. a doslov napísal dr. *Milan Pišút*. Bratislava: Tatran, 1971. 548 s.
27. *Tomášik S.* Pamätnosti Gemersko-Malohontské. Rimavská Sobota: Miestny odbor Matice slovenskej, 1921. 111 s.
28. *Urbánek R.* Jirásek a doba poděbradská. // Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin // Под ред М. Hýsek, Mádl K. Boromejský. Praha: Jan Otto, 1921. S. 32–133.
29. *Varsík B.* Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej synody. Sborník filoz. fakulty UK. Roč. VIII. Č. 62 (3). Bratislava: Tlačou „Universum“, Účast. tlačiareň v Bratislave, 1932, 228 s.

**Частная переписка Московской Руси (XVII–XVIII вв.)
и культурная парадигма Православной Славии**

А. Кречмер

**Private Correspondence in Moscow Russia (17th – 18th cent.)
and the cultural Paradigm of Slavia Orthodoxa**

Anna Kretschmer

ABSTRACT. In this paper we present the main results of our investigations of older russian private correspondence. Our corpus contains more than 1000 letters, the earliest one written in 1603, the youngest in 1731. With this corpus we will show the most relevant parallels and invariants within the whole highly homogeneous cultural area of Slavia Orthodoxa – as well the specific of its east-slavonic region.

Keywords: Slavia Orthodoxa; private correspondence; Moscow Russia: 17th & 18th cent.; invariants & specific cultural features.

АННОТАЦИЯ. В данной работе представлены основные результаты исследования частной русской переписки предпетровского и Петровского времени. Наш корпус состоит из более чем 1000 писем, написанных в 1603–1731 гг. Основная задача исследования – показать на этом материале как параллели и инварианты культурной парадигмы Православной Славии, так и соответствующую специфику данного ее восточно-славянского региона.

Ключевые слова: Православная Славия; частная переписка; Московская Русь (XVII–XVIII вв.); инвариантность и специфика культуры в регионах Православной Славии.

Концепция многовекового гомогенного в конфессиональном и культурном аспектах ареала православного славянского мира была введена в научный обиход более полувека тому назад – и почти одновременно – в трудах Н. И. Толстого [Толстой 1961] и Рикардо Пиккио [Pischió 1962]. Речь, конечно, идет о единстве только письменно-языковой ситуации и письменной, преимущественно сакральной культуры – не о специфической для каждого региона устной народной культуре. Наши исследования южно- и восточнославянского текстового наследия подтверждают существование такого монолитного культурного ареала у православных славян (и румын) (см. список литературы). Исследования этой единой и весьма своеобразной культурной парадигмы, сущностно отличающейся как от (значительно более дифференцированной) культурной истории неправославной Славии, так и от западноевропейской, как правило, сфокусированы именно на ее единстве, ее инвариантах –

в то время как внутренняя ее дифференциация во времени и пространстве значительно реже привлекает к себе исследовательское внимание. Именно этой тематике посвящены некоторые наши работы последних лет [Кречмер 2006, 2013; Kretschmer 2010].

Вопрос этот рассматривается нами на материале южнославянском, в первую очередь, сербском, и восточно-славянском, в первую очередь, русском. Исследования показывают при этом не только различия между восточно- и южнославянскими ареалами Православной Славии как таковыми, но и внутреннюю их субдифференциацию – обусловленную, прежде всего, видимо, различиями конкретных исторических контекстов. Так, культурно-языковое развитие т. н. Юго-Западной Руси во многом отличается от истории письменной традиции Руси Московской. Различия показывает и сравнение письменной парадигмы сербских регионов, попавших на века под власть турок-осман, и тех сербов, которые бежали в конце XVII в. с этих земель на территорию Австрии, создавших там свою собственную письменную культуру – т. н. славяно-сербскую – и оставшихся до 1918 г. австрийскими подданными.

Речь здесь идет, видимо, о различиях между культурами «материковыми» – это, безусловно, Московская Русь, позднее Российская империя, но сюда можно отнести и сербскую языковую территорию, завоеванную турками – и культурами «островными». В последнем случае православные славяне оказываются (часто угнетаемым) меньшинством в иноязычном, инокультурном и иноконфессиональном окружении. Сохраняя культурное наследие Православной Славии с его ярко выраженной спецификой, они в течение веков находятся в ситуации контакта (более или менее активного, но постоянного) с культурно-языковой парадигмой Западной Европы. В результате такого контакта, такого сосуществования в жизненном контексте этих православных славян двух (как минимум) культурных моделей, их картина мира, их самоосознание, индивидуальное и групповое, начинает все более заметно изменяться.

Одним из центральных положений нашего методологического аппарата является постулат примата текста при реконструкции истории письменной традиции Православной Славии. Наш основной «материковый» восточно-славянский текстовый корпус представлен частной перепиской Московской Руси предпетровского и петровского времени. Это более 1000 писем, самое раннее из которых датируется 1603, самое позднее – 1731 г. (корпус подробно описан в: [Kretschmer 1998]). «Островная» восточно-славянская письменная традиция представлена, в первую очередь, письменностью Великого княжества Литовского. По-

сколькo наши исследования этого ареала находятся в самой начальной своей фазе, здесь эта традиция далее рассматриваться не будет.

В силу неблагоприятных исторических условий из южнославянских регионов Православной Славии, особенно позднего ее периода, XVII – раннего XVIII вв., сохранилось, к сожалению, относительно немного светских текстов. Одним из крупнейших, а, возможно, и наиболее значительных памятников сербской письменности этого периода являются т. н. «Славяно-сербские хроники», написанные Джордже Бранковичем в самом начале XVIII вв. (автор их скончался в конце 1711 г.). В настоящее время мы работаем над первым изданием этого памятника (в рамках проекта Сербской академии наук) [Бранковић 2008, 2011]. Другой наш сербский корпус – т. н. славяносербская письменность 2-й пол. XVIII вв. – первых десятилетий XIX в., т. е. «островная» сербская письменная традиция – здесь этот более поздний по сравнению с упомянутой выше частной русской перепиской корпус также далее рассматриваться не будет. Сравнение т. о. здесь идет между «Хрониками» Бранковича и практически современной им частной русской перепиской. Основная задача – показать на этом материале как параллели и инварианты культурной парадигмы Православной Славии, так и соответствующую специфику рассматриваемых здесь ее регионов – последней и посвящено данное сообщение.

Несмотря на безусловную жанровую и интенциональную специфику – частная переписка, с одной стороны, историографический текст, с другой – оба корпуса, тем не менее, соотносимы по ряду параметров: в обоих случаях представлены светские жанры примерно одного периода, не относящиеся, однако, к собственно деловой письменности. Автор «Хроник» и круг его читателей сопоставимы во многом и по своему социальному статусу. Однако, видение ими мира, круг их интересов, жизненные их представления, шкала ценностей и т. п. расходятся неожиданно сильно. Различия эти довольно легко сформулировать. Это, прежде всего, наличие т. н. макромира, общеевропейский и общеславянский горизонт серба Бранковича – и практически полное его отсутствие в частной русской переписке его современников. И это несмотря на то, что среди авторов и получателей исследуемых писем немало представителей социальной и политической верхушки тогдашнего московского общества – как князь Василий Голицын, Тихон Стрешнев, Федор Шакловитый и др. И напротив – абсолютная доминанта деловой, хозяйственной тематики в частном русском письме: этот русский «человек за письмом» (ср. [Кречмер 2009а: 267]) занят проблемой оптимального выживания, желательно, с выгодой, своего и своего рода. Примечательно, что центральный статус семьи, рода в частном

письме никак не отражается на эмоциональном плане. Так, родственные чувства и эмоции – даже в связи с такими событиями, как рождение, болезнь, смерть самых близких родственников – почти полностью в переписке отсутствуют [Кречмер 2018: 141]. Зато в ней заметно присутствуют темы взяток, связей и протекционизма, вплоть до ложных показаний и вообще обмана [Там же: 137–140]. Напротив, войны с турками и татарами, смерть возвращающегося из ссылки патриарха Никона, Азовское сидение – все это, если вообще упоминается, то лишь на втором плане, и явно мало интересует как отправителя, так и получателя письма. Их не интересует макромир, в том числе, например, происхождение и история славян и их соседей, Византия, православие (особенно догматические его аспекты) – как таковое и в сравнении с другими вероисповеданиями – темы, к которым вновь и вновь обращается образованный серб Бранкович в своих «Хрониках». Русский человек, пишущий и получающий эти письма полностью погружен в свой микромир – в значительной степени еще и в Петровское время [Кречмер 2009а, 2009б]. Если Бранкович предстает перед нами как один из тех людей, которые, по выражению А. А. Алексева, связывают старое и новое время [Алексеев 1993: 240], то подданные Московской Руси времен первых Романовых, еще полностью остаются в рамках старой православной славянской традиции. Более того – в частном русском письме этого времени просто оживает «Домострой». Основопологающим моментом следует здесь, видимо, как уже упоминалось выше, считать соответствующий конкретный исторический контекст. Перечислим некоторые из особо значимых, на наш взгляд, в данной связи параметров – оговорив при этом, что пока при объяснении причин столь видимых различий мировосприятия и мирозерцания мы оперируем на уровне рабочих гипотез:

- наличие / отсутствие института города в западноевропейском понимании, гражданского урбанного сословия, Магдебургского права;
- какой социальный слой является основным носителем культуры и развития: в Московской Руси и России петровской и послепетровской это высшие слои знати, в Великом же княжестве Литовском или у австрийский славян эту роль берут на себя просвещенное гражданство и купечество – в то время, как в России купечество почти до современности остается одной из самых консервативных социальных групп;
- школьная система и объем элементарного образования.

И, конечно, нельзя недооценивать саму «островную» ситуацию, роль постоянного и долгосрочного иноязычного, иноконфессионального, инокультурного окружения – как и статус меньшинства у соответ-

ствующих православных славян. Этим статусом обусловлена не всегда добровольная их адаптация к диктуемому большинством жизненному макроконтексту.

Проверить эти и другие рабочие гипотезы, как и в целом адекватно реконструировать этот жизненный макроконтекст и влияние его на различия в мировосприятии различных ареалов Православной Славии поможет, на наш взгляд, лишь комплексный анализ ее сохранившегося текстового наследия.

Литература / References

1. *Алексеев А.А.* Внутренняя хронология русского литературного языка // *Philologia Slavica* (к 70-летию академика Н. И. Толстого) / под ред. *В.Н. Топорова*. Москва: Наука, 1993. С. 238–244.

2. *Бранковић Ђорђе*. Хронике славеносрпске / Приредила *Ана Кречмер*. Српска академија наука и уметности. Критичка издања српских писаца VII. Београд: САНУ, 2008. 431 с.

3. *Бранковић Ђорђе*. Хронике славеносрпске / Приредила *Ана Кречмер*. Српска академија наука и уметности. Критичка издања српских писаца VIII. Београд: САНУ. 2011. 544 с.

4. *Кречмер Ана*. О феномену тзв. Pax Slavia Orthodoxa у контексту историје словенских стандардних језика // Научни састанак слависта у Вукове дане 25/2. Београд: Међународни славистички центар, 1996. С. 31–39.

5. *Кречмер Ана*. Руско приватно писмо у 17. веку и у доба Петра Великог // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику, 2002. Т. 62. С. 117–148.

6. *Кречмер Анна*. О руском језику петровског времена (в свете данних анализа частной переписки) // *Germano-Slavistische Beiträge* (Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag) / *М. Okuka, U. Schweier* (Hg.). // *Die Welt der Slaven*, 2004. Sammelbde – Сборники. Bd. 21. С. 137–148.

7. *Кречмер Анна*. Културне парадигме код Срба и Руса на прелазу од средњовековног ка новом добу // *Susret kultura. Zbornik radova*. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2006. С. 493–500.

8. *Кречмер Анна*. Человек за письмом (русский человек Петровского времени в частной переписке) // *Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert: Tradition and Innovation – Русский язык и литература в XVIII веке: традиция и инновация* (Gedenkschrift für G. Hüttl-Folter) / *J. Besters-Dilger, F. Poljakov* (Hg.) / *Русская культура в Европе – Russian Culture in Europe 5*. Frankfurt/M. u. a. O.: Peter Lang Verlag, 2009a. С. 267–287.

9. *Кречмер Анна*. Человек и социум на Руси XVII–XVIII вв. // Категория родства в языке и культуре / *С.М. Толстая* и др. (ред.). Москва: Ин-т славяноведения РАН, 2009b. С. 36–56.

10. *Кречмер Анна*. Картина мира Православной Славии накануне Нового времени (на русском и сербском материале) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология / *Е.Л. Березович* и др. (ред.) / Материалы II Международной научной конференции 8–10 сентября 2012 г. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2012. С. 29–30.

11. *Кречмер Анна*. Региональная дифференциация русского языка XVII – начала XVIII вв. (на материале частной переписки) // Региональные варианты национального языка / *А.П. Майоров* и др. (ред.). Улан-Уде: Изд-во БГУ Улан-Уде, 2013. С. 250–253.

12. *Кречмер Анна*. Макро- и микромир русского человека поздней Московской Руси (на материале частной переписки) // In *Нопорем* (сборник статей к 90-летию А. Е. Супруна) / под ред. *Е.Н. Руденко, А.А. Кожиновой*. Минск: РИВШ, 2018. С. 133–145.

13. *Толстой Н. И.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // *Вопросы языкознания*, 1961. № 1. С. 52–66.

14. *Kretschmer Anna*. Zur Geschichte des Schriftrussischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. München: Kubon & Sagner, 1998. *Specimina Philologiae Slavicae*. Suppl. 62.

15. *Kretschmer Anna*. 1998 Zum Problem der vorstandardsprachlichen Norm (am Material des russischen Privatbriefes) // *Die Welt der Slaven* (Beiträge für den XII. Internationalen Slawistenkongress, Krakau 1998), 1998. V. XLIII. С. 259–270.

16. *Kretschmer Anna*. Srpska i ruska kulturna paradigma u osvit Novog doba // *Susret kultura / Lj. Subotić, I. Živančević-Sekeruš* (ur.). V *Međunarodni interdisciplinarni simpozijum*. Zbornik radova, knj.1. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2010. С. 363–371.

17. *Kretschmer Anna*. Russische Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jh.s (sozio- und pragmalinguistische Auswertung) / *Österreichische Beiträge zum Internationalen Slawistenkongress Minsk 2013 / U. Doleschal et al.* (Hg.). *Wiener Slawistischer Almanach 2013*, Sonderband 83. С. 47–60.

18. *Picchio R.* Die historisch-philologische Bedeutung der kirchenslavischen Tradition // *Welt der Slaven 1962*. № VII. С. 1–27.

Славянизмы в работах Викентия Ракича

Тамара Н. Лутовац-Казновац

Slavicisms in the Works by Vikentije Rakić

Tamara N. Lutovac Kaznovač

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/162-167

ABSTRACT. This paper examines the use of Slavisms in the works by Vikentije Rakić. In the research we were focused on his three books of religious verse – «Песн историческаја о житији свјатаго, праведнаго Алексија човека божија» (A Historical Poem about the Life of Aleksije, a Saintly and Righteous Man of God, 1798), «Жертва Аврамова» (Abraham's Sacrifice, 1799) and «Житије свјатаго и праведнаго Јосифа прекраснаго» (The Life of Joseph the Handsome, a Holy and Righteous Man, 1804). Taking into consideration that the aforementioned works were composed during the last decade of the 18th and the first decade of the 19th century, at a time when the literary language of the Serbs was Slavonic-Serbian, in addition to the also existing live practice of writing in the folk dialect, a question arises as to the extent to which Vikentije Rakić, an extinguished member of the clergy, employed Slavisms in his pious writings, which are considered to have been written in the folk dialect. Our research of Slavisms will be based on two methods of their classification – the classification proposed by A. Mladenović, which focuses on the phonetic, morphological and lexical Slavisms, and the one proposed by S. Stijović, which classifies Slavisms according to their origin into those from the Russian recension of Church Slavonic, those from Serbian Slavonic, and those from Old Church Slavonic, but also including the appearance of expected hybrid forms. Bearing in mind that the sustainability of Slavisms in the lexical system of the Serbian language was conditioned by the nature of the texts as well as by the restraints of their genre, we expect that their presence in the analyzed texts will be confirmed. Even though Vikentije Rakić was, in the words of J. Škerlić, one of the most widely read Serbian writers from the beginning of the 19th century, the linguistic study of his works is yet to be initiated among the Serbian scholars, and therefore this research should also signify the beginning of the study of the linguistic properties of the literary works written by this Serbian Pre-Romantic author.

Keywords: Slavisms; Vikentije Rakić; Pre-Romanticism.

АННОТАЦИЯ. Предметом наших исследований¹ является использование славянизмов в религиозных поэмах «Житие святого и справедливого Иосифа прекрасного» (1836), «Стихотворение историческое о

¹ Рад је урађен у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика (178014), који финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије.

житии святого, праведного Алексия Божьего человека» (1844) и «Жертва Аврамова» (1856) периода сербского предромантизма. Принимая во внимание тот факт, что эти произведения были написаны в течение последнего десятилетия XVIII и первого десятилетия XIX века, когда литературный язык сербов был славяносербским, но культивировалась и практика использования в литературе народного языка, возникает вопрос, насколько Вакентий Ракич как выдающийся представитель духовенства пользовался славянизмами в произведениях религиозного содержания, которые, как считается, были написаны на народном языке. Проведенный анализ показал, что в исследуемом корпусе в основном представлены славянизмы с русско-славянскими фонетическими характеристиками, также присутствуют сербскославянские и сербские формы. Основная цель этой работы состоит в изучении лингвистических характеристик литературных произведений Викентия Ракича. Викентий Ракич был, как указывал Й. Скерлич [Скерлич 1921: 87], наиболее читаемым сербским писателем начала XIX века и принадлежал к кругу сербских писателей, которые в конце XVIII и начале XIX века выступали за использование в литературе родного языка и тем самым «подготавливали почву для более полной реформы алфавита» [Ивич 2014: 173].

Ключевые слова: славянизмы; Викентий Ракич; предромантизм.

1. Уводне напомене. О личности Викентија Ракића и у историји српске књижевности зна се веома мало. Неколико краћих бележака о овом нашем предромантичарском писцу дато је у Скерлић 1921, Поповић 1985 и Деретић 2002.

Значајнија истраживања којима се осветљава књижевноисторијски значај овог писца проведена су у Ераковић 2008, а данас су његова сабрана дела доступна у Дигиталној библиотеци Матице српске (<http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/string:%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5>).

Насупрот претходно наведеном, у нашој науци о језику о делу Викентија Ракића дато је неколико општих напомена у *Прегледу историје српског језика* Павла Ивића, док се у раду *Сава Мркаљ и његови претходници у реформи предвуковске ћирилице* истиче значај овога и других писаца предвуковске епохе у припремању терена за «крупну појаву Саве Мркаља и његове азбучне реформе 1810. године» [уп. Младеновић 1967: 184]. Међутим, и поред наведених студија, језичка проучавања књижевног стваралаштва Викентија Ракића до данас нису ни започета.

Предмет нашег истраживања јесте употреба славенизама у побожним спевовима *Житије свјатаго и праведнаго Јосифа*

прекраснаго (1836), *Песн историческаја о житији свјатаго, праведнаго Алексија човека божија* (1844) и *Жертва Аврамова* (1856) овог српског предромантичара, уз напомену да је сужавање предмета истраживања на три поменута предромантичарска пева предузето искључиво због ограничености опсега прилога.

Како су употреба и дистрибуција славенизама условљене, пре свега, жанровском припадношћу текстова, очекујемо да ће у анализираним делима, и поред тога што се напомиње да су написана народним језиком [уп. Ивић 2014: 142], удео славенизама бити одржив, не само због природе текста већ и због тога што је аутор припадао редовима клера, за чије припаднике је било својствено познавање, како народног, тако и богослужбеног језика.

О славенизмима односно о настојању да се што прецизније дефинише овај термин, у нашој науци о језику говорено је у [Стијовић 1992, Младеновић 1995, Терзић 1996, Милановић 2005, Чигоја 2005]. Наше истраживање славенизама засниваће се на двама приступима њиховој класификацији – класификацији А. Младеновића која подрезумева фонетске, морфолошке и лексичке славенизме и класификацији С. Стијовића, који славенизме разврстава према пореклу на оне из рускословенског, српкословенског и црквенословенског, уз појаву очекиваних хибридних облика.

2. Анализа грађе. У анализираним делима потврђени су у највећој мери славенизми са рускословенским фонетским ликом, али је потврђено и присуство српкословенских и србизираних форми, као и хибридних облика.

2.1. Група /жд/ која може бити и рускословенско, али и српкословенско обележје јавља се у усамљеном примеру **принуждава** [Ракић 1836: 23], а насупрот овом јавља се и хибридна форма **переворођенъ** [Ракић 1836: 11].

2.2. Потврђени су примери са рускословенским рефлексом некадашњег назалног вокала предњег реда: **чада** [Ракић 1856: 4], **чадо** [Ракић 1836: 20, 35], **святѣй** [Ракић 1836: 1], **свѣта** [Ракић 1836: 19], али се напоредо јављају и облици **чедо** [Ракић 1836: 10, 13; 1844: 4; 1856: 16].

2.3. У великом броју примера јављају се славенизми са рускословенским односно руским рефлексом некадашњих полугласника (у корену речи и префиксима): **любовь** [Ракић 1856: 8; 1836: 4x2, 30], **любезна** [Ракић 1856: 8], **любопытства** [Ракић 1836: 34], **любовнице** [Ракић 1844: 4], **сохранити** [Ракић 1856: 17], **возвѣстио** [Ракић 1856: 28], **согрѣшио** [Ракић 1856: 31], **возлюби** [Ракић 1836: 4, 17], **возвиси**

[Ракић 1836: 7], **возвысити** [Ракић 1856: 7], **возлюблѣнь** [Ракић 1856: 11], **сотим** [Ракић 1856: 5], **возводи** [Ракић 1856: 16], **сохрани** [Ракић 1856: 16], уз појаву усамљеног српскословенског лика **сабраше** [Ракић 1836: 13].

2.4. Највише је примера славенизама са рускословенским односно руским вокалним /p/: **сердца** [Ракић 1836: 14; 1844: 1], **берже** [Ракић 1856: 3x2, 6, 11, 19; 1836: 17, 31, 35], **сердце** [Ракић 1856: 3x2, 4, 8x2, 11x2, 14x2, 20, 27; 1836: 30, 31, 35], **жертва** [Ракић 1856: 5, 7, 8, 25, 27; 1836: 32], **дерва** [Ракић 1856: 11, 25], **мертви** [Ракић 1856: 11], **навершити** [Ракић 1856: 11], **жертвеникъ** [Ракић 1856: 26, 27x2], **свершити** [Ракић 1856: 27], **мертва** [Ракић 1856: 28], **утверди** [Ракић 1856: 29], **мерзити** [Ракић 1836: 4], **терпити** [Ракић 1836: 4], **умерла** [Ракић 1836: 7; 1836: 34], **смерти** [Ракић 1836: 8, 13, 30], **терговцы** [Ракић 1836: 9], **преворођенъ** [Ракић 1836: 11], **смерть** [Ракић 1836: 1], **смерт** [Ракић 1836: 12], **разтерже** [Ракић 1836: 12], **разтерзанъ** [Ракић 1836: 12], **разтергли** [Ракић 1836: 13], **держи** [Ракић 1836: 17, 30], **первенство** [Ракић 1836: 17], **первый** [Ракић 1836: 22], **перстень** [Ракић 1836: 22], **перста** [Ракић 1836: 22], **терпѣніе** [Ракић 1836: 30], **терпѣти** [Ракић 1836: 30], **мертви** [Ракић 1836: 34], **загерлити** [Ракић 1836: 34].

2.5. У усамљеном примеру присутан је један славенизам са рускословенским односно руским рефлексом вокалног /л/: **исполни** [1856: 24].

2.6. При творби именица препознају се у малом броју примера рускословенски суфикси: (а) -еств < -ѣств: **пророчества** [Ракић 1856: 4], **отечество** [Ракић 1836: 7], (б) -ецъ: **творец** [Ракић 1844: 3x3], (в) -ије: **видѣніе** [Ракић 1836: 5], **мученіе** [Ракић 1844: 22], али и србизиран облик **беззаконя** [Ракић 1836: 3].

2.7. Од лексичких славенизама потврђених у анализираним делима издвајају се славенизми из црквенословенског: **прочи** [Ракић 1836: 1], **чрезъ** [Ракић 1836: 5x2] и **даже** [Ракић 1836: 9], као и усамљени пример из руског: **красота** [Ракић 1836: 15].

3. Закључне напомене. Најмањи проценат славенизама потврђен је у спеву *Песн историческаја о житији свѣтаго, праведнаго Алексија человека божіја*, али ово може бити условљено обимношћу самога дела, будући да је уједно реч и о најкраћем спеву.

Проведена анализе показује да је од забележених славенизама у анализираним делима у највећем проценту оних у којима се очитују рускословенска односно руска обележја, а овде мислимо на: (а) рускословенским рефлекс некадашњег назалног вокала предњег

реда; (б) рускословенски односно руски рефлекс некадашњих полугласника; (в) рускословенски односно руски рефлекс вокалног /р/; (г) рускословенски односно руски рефлекс вокалног /л/; (д) присуство рускословенских суфикса -еств, -ецъ и -ије.

Будући да је аутор припадао редовима црквених лица, а да опет, с друге стране, забележени славенизми нису припадали апстрактном кругу лексике, може се претпоставити да се њихова употреба спонтано наметала, посебно ако се има у виду чињеница да поред рускословенских и руских паралелно егзистирају и србизирани форме.

Иако је очекиван већи удео славенизама, будући да је реч о побожним спевовима, ипак се и кроз анализу показало залагање Викентија Ракића за употребу народног језика, и поред тога што је познато да је српским народним језиком писао само нека од својих дела (уп. [Младеновић 1987: 58]).

Имајући у виду све наведено, овим прилогом смо настојали да у нашој науци о језику започнемо проучавање језичких карактеристика књижевних дела Викентија Ракића, а на значај и неопходност даљих истраживања у вези са истакнутом темом упућује, не само чињеница да је Викентије Ракић био, како истиче Ј. Скерлић [Скерлић 2009: 87], најчитанији српски писац с почетка XIX века, него и сазнање да је припадао кругу српских писаца који су крајем XVIII и почетком XIX века били изразити поборници писања на народном језику чиме су уједно и «припремали земљиште за потпунију реформу азбуке» [Ивић 2014: 173].

Литература / References

1. *Деретић Ј.* Београд: Историја српске књижевности. Београд: Просвета, 2002.
2. *Ераковић Р.* Религиозни еп српског предромантизма. Нови Сад: Матица српска, 2008.
2. *Ивић П.* Преглед историје српског језика. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижевна Зорана Стојановића, 2014.
3. *Милановић А.* Статус појма и термина славенизам у србистици, Научни састанак слависта у Вукове дане. Терминолошка стандардизација лингвистичких описа савременог српског језика. Београд: МСЦ, № 34/3. С. 323–327.
4. *Младеновић А.* Сава Мркаљ и његови претходници у реформи предвуковске ћирилице. Нови Сад: Годишњак филозофског факултета, 1967. № 10. С. 161–198.
5. *Младеновић А.* Славеносрпски књижевни језик – почеци и развој. Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. № XXXVIII/2. С. 103–117.
6. *Младеновић А.* Улога рускословенског језика у формирању српског књижевног језика новијег периода. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. № XXX/2. С. 45–64.
7. *Поповић М.* Историја српске књижевности, књига I. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1985.

8. *Скерлић Ј.* Историја нове српске књижевности. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона (друго потпуно и илустровано издање), 1921.

9. *Стијовић С.* Славенизми у Његошевим песничким делима. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1996.

10. *Терзић Б.* Русизми и славенизми у језику «Житија» Герасима Зелића. Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: МСЦ. № 25/2. С. 97–105.

11. *Чугоја Б.* Славенизми – допринос Светозара Стијовића проучавању термина славенизам. Научни састанак слависта у Вукове дане. Терминолошка стандардизација лингвистичких описа савременог српског језика. Београд: МСЦ. № 34/3.

Извори / Sources

1. *Ракић В.* Песн историческаја о житији свјатаго, праведнаго Алексија човека божија. [Електронски извор] URL: <http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=4641&m=2#page/1/mode/2up>. Дата последнего обрашенија: 08.08.2018.

2. *Ракић В.* Жертва Аврамова. [Електронски извор] URL: <http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=3626&m=2#page/1/mode/2up>. Дата последнего обрашенија: 08.08.2018.

3. *Ракић В.* Житије свјатаго и праведнаго Јосифа прекраснаго. [Електронски извор] URL: <http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=794&m=2#page/2/mode/2up>. Дата последнего обрашенија: 08.08.2018.

Древнеславянский перфект и его историческая судьба

И. К. Манучарян

The Old Slavic Perfect and Its Historical Destiny

Ivetta K. Manoucharyan

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/168-175

ABSTRACT. The article discusses the perfect, the compound form of the past tense in Slavic languages, which dates back to the old Slavic perfect. In some Slavic languages this form has preserved with the auxiliary verb, while in the others without.

Keywords: Old Slavic perfect; auxiliary verb; dialogue; syntactic structure.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается форма прошедшего времени в современных славянских языках, восходящая к древнеславянскому перфекту. В одних славянских языках она сохранилась со связкой, в других – употребляется без связки.

Ключевые слова: древнеславянский перфект; глагол-связка; диалог; синтаксическая структура.

Славянские языки с глубокой древности характеризовались богатой и сложной системой временных форм, восходящей к праславянскому языку, а еще ранее к индоевропейскому периоду их существования и развития. Об этом свидетельствует аналогичная сложная система временных форм, сохранившаяся в ряде современных индоевропейских языков – английском, немецком, армянском и др.

О богатой системе временных форм в славянских языках в древности свидетельствуют многочисленные данные, особенно старославянские тексты, по времени наиболее близкие к праславянскому состоянию славянских языков и отражающие наиболее полную картину состояния их глагольной системы в древности.

Система форм прошедшего времени в славянских языках в древности состояла из двух простых глагольных форм – аориста и имперфекта – и двух сложных форм – перфекта и плюсквамперфекта. Поскольку в славянских языках в древности категория вида была слабо развита, основную нагрузку в выражении глагольного действия и всех его особенностей несла категория времени, унаследованная из праславянского языка.

Своеобразие такой сложной формы прошедшего времени, как древнеславянский перфект, всегда вызывало интерес исследователей с точки зрения и ее семантики, и структуры. Вообще перфект считается одной из загадочных грамматических форм старославянского языка и грамматических систем славянских языков: семантика и компонентный состав его сложны и своеобразны.

К семантике перфекта в старославянском языке обращались многие авторы. Так, перфект, по определению А. Вайана, выражает прошедшее действие, рассматриваемое с точки зрения настоящего [Вайан 1952: 381]. С одной стороны, в перфекте отражается свершившийся факт, относящийся к плану прошедшего, с другой стороны – он связан с планом настоящего, с моментом речи. Перфект «был тесно связан по смыслу с настоящим временем, и формы перфекта обозначали не действие в прошлом, а состояние в момент речи, явившееся результатом действия в прошлом» [Ремнева 2004: 269]. Естественно, что в перфекте вербализовались две семы – прошедшее и настоящее, чем и объясняется сложность формы перфекта. О. Есперсен полагал, что перфект выражал не только временной момент, но и результативность, т.е. результат уже прошедших событий. Он достаточно метко называет перфект ретроспективной разновидностью настоящего времени [Есперсен 2006: 336]. Есть и другая точка зрения: результативность не является спецификой семантики старославянского перфекта и что перфект и аорист были конкурирующими формами прошедшего времени», в частности, в старославянских текстах [Плунгян, Урманчиева 2017: 50]. Но большинство исследователей придерживается того мнения, что спецификой славянского перфекта было все же выражать именно результативность. Не случайно, в старорусских памятниках XIV–XVI вв. нередко встречаются перфект и формы настоящего времени в качестве вариантов. Такая вариативность в употреблении перфекта лишней раз подчеркивает уникальность его формы – отношение перфекта к плану и прошлого, и настоящего.

Компонентный состав перфекта включал несклоняемое действительное причастие прошедшего времени, образованное преимущественно от глаголов совершенного вида с помощью суффикса *-л*, изменявшееся по родам и числам, и личные формы вспомогательного глагола *быти* в настоящем времени, указывавшие на действующее лицо. Лексическое значение заключалось в знаменательном компоненте перфекта.

Как известно, причастия в славянских языках были всегда склоняемыми формами, в этом смысле действительное причастие прошедшего времени с суффиксом *-л* стоит особняком среди других причастий. Оно не склонялось, не употреблялось самостоятельно, а лишь функционировало в составе аналитических глагольных форм: в изъявительном наклонении в составе перфекта, плюсквамперфекта, сложного будущего II, а также в сослагательном наклонении. Причастие прошедшего времени на *-л* А. Вайан аргументированно называет перфектным причастием [Вайан 1952: 280]. Существование перфекта в древности во всех славянских языках подтверждается данными старославянского языка, который хронологически ближе всего стоит к праславянскому языку.

Развитие категории вида привело к упрощению временной системы славянских языков. Аорист и имперфект – простые формы прошедшего времени, которые существовали во всех славянских языках, – стали утрачиваться: им на смену пришли парные глаголы прошедшего времени совершенного и несовершенного видов, тем более что формы аориста и имперфекта представляли собой парадигмы с достаточно сложной системой личных окончаний. Эти формы (аорист и имперфект) в настоящее время сохранились лишь в серболужицком языке (западнославянский ареал) и в отдельных языках южнославянской группы – в болгарском, сербском / хорватском языках. Таким образом, в южнославянских языках сохранилась старая система временных форм и это обусловлено историческими факторами: очевидно, замкнутостью в своем ареале, оторванностью от остального славянского мира, влиянием соседствующих балканских (неславянских) языков. И как свидетельствуют многие факты, формы аориста и имперфекта в некоторых из указанных языков идут на убыль. Отметим, что сохранение аориста и имперфекта в серболужицком (западнославянском) языке также связано с изолированностью его носителей от остального славянского мира.

Перфект в славянских языках

Перфект активно употребляется в славянских языках, отмечается частотное его употребление и в старославянских текстах, особенно в диалогах. Уже по древним текстам можно заметить, что перфект встречается, как правило, не в авторском повествовании, а чаще в прямой речи, в диалоге, что обусловлено его семантикой [Аверина 2008: 286]. Вот наглядный пример из «Притчи о блудном сыне» (из Остромирова евангелия): <...> *мьнѣ николи же не далъ еси козляте. – мне же никогда ты (до этого момента!) не дал даже козленка.* Мы видим в предложении, представляющем диалог между отцом и сыном, благодаря форме перфекта четкую связь между прошедшим и настоящим.

Исследования такого языкового феномена, как диалог, проводили и проводят многие ученые в прошлом и в наши дни (А.А. Потехня, М.М. Бахтин, Е.В. Падучева и др.). При этом они особо высвечивали главнейшую цель построения и функционирования диалога – это достижение между участниками диалога взаимопонимания и согласия, то есть коммуникативное взаимодействие. И если диалог между его участниками отражает момент речи и события, упоминаемые в диалоге, касаются прошлого, то естественно, здесь как нельзя более подходил перфект с его отношением и к настоящему, и к прошедшему.

Уже в отдельных фрагментах старославянских текстов наблюдается ранняя утрата вспомогательного компонента перфекта, в частности, в Супрасльской рукописи. А данный памятник, как известно, более позд-

ний, и действия в нем свободно развиваются. В таких построениях даже при слабом намеке на деятеля связка, указывавшая на лицо, очевидно, осознавалась как избыточная. Обращаясь к древнерусским памятникам письменности, отметим, что специфической и частотной формой предиката в диалогах все же являлся перфект, чаще всего полный, который обозначал результат уже прошедшего действия, актуальный для момента речи. Так, в древнерусской «Повести временных лет» читаем: *Рекоша дружина игореву: «Отроци свенельжи изодели ся суть оружием и порты, а мы нази...»*. Перевод этого предложения таков: *Сказала дружина Игорю: «Воины Свенелда (воеводы) обзавелись оружием и одеждой, а мы нагие»*. Здесь в диалоге, представляющем сложносочиненное предложение, содержится полный перфект, а также противопоставление и уточнение в форме настоящего времени (*а мы нази*), оно подчеркивает значение, выражаемое перфектом, которое становится более выразительным. Ярким примером уже стилистической направленности в употреблении полного перфекта и начавшегося процесса утраты связки может послужить классический диалог из «Жития протопopa Аввакума» (XVII в.) в словах самого Аввакума и в ответных репликах его жены. Протопопица Марковна в диалоге употребляет уже живую форму прошедшего времени (перфект без связки), имеющую отношение конкретно к ней, однако затем следует полная форма перфекта со связкой в ссылке на слова апостола и этим создается яркий эффект неоспоримости его слов: *Слыxала я <...> апостольскую речь: привязался еси жене, не ищи разрешения...»*. Хотя по времени создания «Жития» видно, что дело идет уже к упрощению формы перфекта в древнерусском языке, однако полная его форма играет здесь стилизующую роль.

Из всех форм прошедшего времени самой жизнестойкой временной формой в славянских языках оказался перфект, который в качестве формы прошедшего времени сохранился почти во всех славянских языках. Перфект принял на себя функцию главной, также единственной (чаще всего!) формы прошедшего времени.

1. Перфект без связки сохранился в восточнославянском языковом ареале. В глагольной системе восточнославянских языков прошедшее время представляет собой только знаменательную часть перфекта, утратившего вспомогательный глагольный компонент, в связи с чем лицо в нем не выражено.

2. В западнославянских языках перфект в качестве формы прошедшего времени сохранился в активном употреблении в полной форме в 1 и 2 лицах в обоих числах, а форма 3 лица является бессвязочной. Однако сегодня в форме перфекта в разных славянских языках, даже в пределах одной группы, наблюдаются и некоторые различия. Так, связка в перфекте в польском языке слилась с причастием на *-l* в звуковом

отношении и графически в одно слово как в единственном, так и во множественном числах: так, *chodзіłem* – (я) *ходил* – 1 лицо ед. число, *chodзілиście* – (вы) *ходили* – 2 лицо множ. число. В чешском и словацком языках, в отличие от польского языка, связка употребляется в качестве отдельного слова. Отметим также, что в прошедшем времени в польском и чешском языках в форме причастий на *-l* проявляются и родовые различия во множественном числе в виде флексий *-i* (для мужского рода) и *-y* (для женского рода): польск. *pracowali* – *pracowały*, чешск. *pracovali* – *pracovaly*. В словацком же языке родовые различия во множественном числе в причастии на *-l* утратились.

И таким образом, в сохранившихся формах перфекта в западнославянской языковой области наряду со сходствами фиксируются и некоторые неодинаковые изменения в парадигмах.

3. В южнославянском языковом ареале представлена богатая система форм прошедшего времени. Так, в болгарском, сербском и хорватском языках сохранилась система старых форм прошедшего времени, которые в древности существовали во всех славянских языках: простые по форме – аорист, имперфект, и сложные по форме – перфект, плюсквамперфект. Из сложных форм прошедшего времени в **болгарском языке** чаще всего употребляется перфект. Образуется перфект в болгарском языке таким же образом, как и во всех славянских языках: основной компонент выражается причастием прошедшего времени на *-л* с родовыми показателями только в единственном числе, а связочный компонент представлен вспомогательным глаголом *сѣм* (русск. *быть*) во всех лицах и числах. Вот пример болгарского перфекта в парадигме: *искал сѣм* – *искал си* – *искал е* – *искали сѣ* – *искали сте* – *искали са*.

В глагольной системе **сербского / хорватского** языков также сохраняется старая славянская система форм прошедшего времени – аорист, имперфект (простые однословные формы) и перфект, плюсквамперфект (сложные формы). Отметим, что в настоящее время простые формы прошедшего времени в них утрачиваются.

Перфект в **сербском / хорватском** языках образуется с помощью причастия прошедшего времени на *-л* (с вариантом исхода *-о*) с родовыми окончаниями в единственном и множественном числах и со связкой во всех лицах и числах. Таким образом, парадигма перфекта является полной: *радио / радила сам* (я работал / работала) – *радио / радила си* (ты работал / работала) – *радио / радила је* (он работал / она работала) – *радили / радиле смо* (мы работали) – *радили / радиле сте* (вы работали) – *радили / радиле-радила су* (они работали). Как видно по парадигме спряжения сербского/хорватского глагола в перфекте, родовые различия и глагольная связка присутствуют во всех лицах и числах.

В македонском языке сохранился целый ряд сложных форм глагольного времени, одна из которых также восходит к древнему перфекту – это так называемое прошедшее неопределенное время, которое обозначает действие, происшедшее в прошлом без указания на конкретное время, а также действие, не наблюдавшееся говорящим лично [Илич-Свитыч 1963: 563]. Эта форма прошедшего времени по своей форме восходит к перфекту, образуется с помощью причастных форм на -л и форм настоящего времени вспомогательного глагола *е*: *сум извикал – си извикал – извикал – сме извикале – сте извикале – извикале*. Отметим, что при этом вспомогательный глагол отсутствует в формах 3 лица единственного и множественного чисел, что можно увидеть в формах перфекта и в других славянских языках.

Перфект в **словенском** языке имеет более широкую парадигму за счет существования двойственного числа, т. е. имеет парадигму единственного, множественного и двойственного чисел. Отметим, что в славянском языковом мире только в словенском языке, не считая западнославянского серболужицкого языка, сохранилось двойственное число [Дуличенко 2005: 212].

Формы аориста и имперфекта в словенском языке полностью утратились, однако перфект сохранился и является основной формой прошедшего времени. Перфект в словенском языке представляет собой сложную форму, состоящую из *l*-причастия и личных форм вспомогательного глагола *biti* в настоящем времени: *govoril sem* (я говорил) – *govoril je* (он говорил) – *govorili smo* (мы говорили) и др.

Связь между грамматической формой прошедшего времени в современных славянских языках, восходящей в подавляющем числе случаев к перфекту, в зависимости от сохранения или от утраты в нем вспомогательного глагола, указывающего на лицо, сказалась и на синтаксисе славянского простого предложения. Невыраженность лица, субъекта действия в форме прошедшего времени в бывшем перфекте (например, в русском языке) во многих случаях приводит к необходимости экспликации грамматического подлежащего. И наоборот, наличие вспомогательного компонента в форме прошедшего времени, восходящего к перфекту (например, в чешском языке) диктует в нейтральных случаях односоставность предложения, в котором нет необходимости в выражении действующего лица, деятеля в подлежащем.

Заключение

Таким образом, перфект со связкой или без нее сохранился в качестве главной формы прошедшего времени в славянских языках, став в них в одних случаях единственной формой прошедшего времени (без

связки – во всех восточнославянских языках), в других случаях – с сохранением связочного глагола (полностью или частично – в западнославянских языках), в третьих случаях – с сохранением, помимо полного/неполного перфекта, и других старых форм простого и сложного времени (в южнославянских языках).

Почему именно перфект стал основной формой прошедшего времени почти во всех славянских языках? На мой взгляд, здесь надо отметить несколько факторов.

1. В этом сыграла свою роль простота образования форм в парадигме перфекта в отличие от сложности образования личных форм глагола в прошедшем времени, например, в аористе и имперфекте.

2. Неоспорим тот факт, что язык является средством коммуникации и в славянских письменных памятниках разных периодов четко отмечается частотное употребление перфекта в текстах диалогического регистра. И таким образом, перфект был частотен в диалогах, как специфическая форма прошедшего времени глагола-сказуемого. Роль диалога в языке четко определяет М. М. Бахтин: «Быть – значит общаться диалогически» [Бахтин 1996: 178].

3. Однако важно и следующее: перфект, очевидно, сохранился потому, что он связывал прошедшее с настоящим, то есть через него осуществлялась связь времен.

В итоге, можно констатировать, что тенденция освобождения от многообразия грамматических форм, тенденция стремления к простоте их образования в исторический период развития славянских языков действовала на разных участках их грамматических систем. Так, упростились многие грамматические категории – категория числа (из трехчленной в двухчленную), категория падежа (утрата во многих славянских языках звательной формы), категория наклонения (в императиве в основном установилась двухчленная форма, в сослагательном наклонении в некоторых славянских языках вспомогательный компонент – бывшая форма аориста 2–3 лица единственного числа от глагола *быти* – преобразился в частицу *бы*) и др. И наконец, категория прошедшего времени в подавляющем числе славянских языков упростилась, однако сохранился перфект со связкой или без нее. Можно зафиксировать, что перфект в современных славянских языках в целом получил статус единственной или основной формы прошедшего времени.

Таким образом, знаменательный компонент древнеславянского перфекта – несклоняемое причастие прошедшего времени на *-л (-l)* – оказался действенным в истории глагольных систем славянских языков, сохранившись в них в качестве формы прошедшего времени. Отметим

также, что причастие на *-л (-l)* в древности принимало участие и в формировании других глагольных форм. Оно играло и сыграло важную роль в глагольных системах славянских языков.

И как не вспомнить здесь слова Ф. де Соссюра: «Время изменяет все, и нет никаких оснований считать, что на язык это универсальное положение не распространяется».

Литература / References

1. *Аверина С.А. и др.* Старославянский язык. Учебник для высших учебных заведений РФ / Под ред. *У.Г. Макухиной*. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. 415 с.
2. *Бахтин М.М.* Проблемы речевых жанров // Русские словари. Т. 5. 1996. С. 159–207.
3. *Вайан А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 376–382.
4. *Дуличенко А.Д.* Южнославянские языки. Словенский язык // Языки мира. Славянские языки. М.: Academia, 2005.
5. *Есперсен О.* Философия грамматики. М.: КомКнига, 2006. 408 с.
6. *Иллич-Свитыч В.М.* Краткий грамматический справочник // Македонско-русский речник. М., 1963. С. 560–567.
7. *Кондрашов Н.А.* Славянские языки. Учебное пособие. М.: «Просвещение», 1986. 238 с.
8. *Манучарян И.К.* Старорусский диалог в памятниках XVII в. // Лингвистические исследования / Под ред. *Л.Г. Брутян*. Ереван: Лимуш, 2015. С. 87–97.
9. *Манучарян И.К.* Глагольные предикаты в старославянских текстах // Лингвистические исследования / Под ред. *Л.Г. Брутян*. Ереван: Изд-во ЕГУ, 2009. С. 90–99.
10. *Плунгян В.А., Урманчиева А.Ю.* Перфект в старославянском: был ли он результативным? // Slověne. № 2. 2017. 56 с.
11. *Ремнева М.Л.* Старославянский язык / Под ред. *Е.Г. Домогацкой*. М.: Москва, 2004, С. 234–273.

К вопросу о первоначальном славянском переводе Евангелия: история и современность

А. С. Новикова

On the original Slavic translation of the Gospel: history and today

Anna S. Novikova

ABSTRACT. The present article is devoted to the historical problem of creating the original Slavonic translation of the Gospel. The functional type of this translation (concise Aprakos-Gospel or Tetra-Gospel) and the attitude of paleoslavists to it is analysed. The article contains proof in favour of creating the original translation of concise Aprakos-Gospel.

Keywords: Gospel; Tetra-Gospel; Aprakos-Gospel; Old Church Slavonic; characteristics of language; paleoslavistics.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению вопроса об истории создания первоначального славянского перевода Евангелия. Выясняется функциональный тип этого перевода (краткий апракос или тетр) и отношение к нему палеославистов. В статье приводятся доказательства в пользу создания первоначального славянского перевода краткого апракоса.

Ключевые слова: Евангелие; тетр; апракос; старославянский язык; языковые особенности; палеославистика.

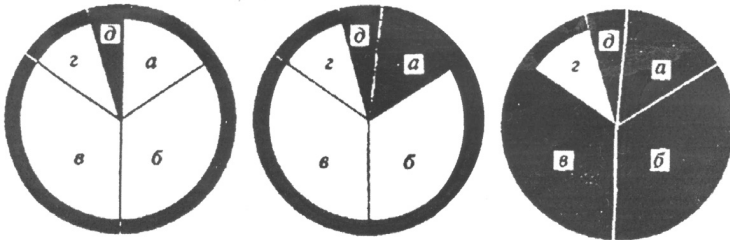
История создания первоначального славянского перевода Евангелия давно волнует многих отечественных и зарубежных славистов. Несмотря на большое количество работ, посвященных решению данной проблемы, до сих пор сохраняется много спорных вопросов в этой области.

Давно известно, что первоначальный перевод Евангелия с древнегреческого языка на язык солунских славян был осуществлен святыми братьями Константином-Кириллом и Мефодием. По поводу того, где и когда произошло столь важное в истории всех славянских народов событие, существуют разные мнения. Заслуживает внимания точка зрения болгарского ученого Куйо Куева, который, опираясь на данные Паннонского жития Кирилла, считает, что первоначальный перевод Евангелия был сделан святыми братьями в Малой Азии, на горе Олимп. По мнению проф. К. Куева, работа над созданием первой славянской азбуки и переводом самых важных богослужебных книг началась здесь уже после сарацинской миссии Кирилла, когда он отправился на Олимп к своему брату Мефодию, и была завершена к 863 г. перед поездкой в Моравию [Куев 2012: 67].

Все древние славянские и греческие рукописи VII–XIV веков, содержащие евангельские тексты, можно разделить на две большие группы. Первая – Евангелие-тетр, тетроевангелие или четвероевангелие (греч. *téttra* – четыре) – четый тип Евангелия. В этом функциональном типе текст расположен в порядке изложения евангельских событий четырьмя апостолами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Вторая – Евангелие-апракос (греч. *ápraktoç* – недельный, праздничный) – богослужебный тип Евангелия. По мнению известного палеослависта Г. А. Воскресенского, «Евангелия-апракосы не представляют евангельский текст в его полнотѣ и первоначальномъ видѣ: въ началѣ чтеній они иное опускають, другое прибавляють, иногда соединяють сказанное въ разныхъ мѣстахъ, даже у разныхъ евангелистовъ». Вместе с тем Г. А. Воскресенский все Евангелия-апракосы подразделяет на две группы: Евангелия-апракосы сокращенные, т. е. содержащие «послѣ Пятидесятницы евангельскія чтенія только субботнія, недѣльные и по месяцеслову», и апракосы полные, т. е. имеющие и будничные чтения [Воскресенский 1894: 11–12].

Во второй половине двадцатого столетия русский славист и палеограф Л. П. Жуковская, подробно изучавшая этот вид древней книги, разделила все апракосы на три группы: праздничный (или воскресный), краткий и полный [Жуковская 1976: 225].

Схематично она представила это так:



Воскресный апракос Краткий апракос Полный апракос

Закрашенные части круга обозначают наличие того или иного цикла чтений на определенную часть года, незакрашенные – отсутствие. Закрашенное кольцо (ободок круга) обозначает чтение только на субботу и воскресенье, секторы – чтения на дни с понедельника по пятницу; *a* – чтения от Пасхи до Пятидесятницы (Троицы); *b* – чтения от Пятидесятницы до Нового лета; *v* – чтения от Нового лета до Великого поста; *z* – чтения шести недель Великого поста; *d* – чтения Страстной седмицы (недели).

Поскольку известны функциональные типы списков Евангелия разных редакций и изводов, необходимо выяснить, к какому функциональному типу принадлежит первоначальный перевод Евангелия, названный в «Житии Кирилла» как «вєстѣда еуаггелєска» [Куев 2012: 67].

Впервые о том, что Константин-Кирилл и Мефодий перевели с древнегреческого языка на славянский именно Евангелие-апракос, сказал К. И. Невоструев во время своего выступления на праздновании в 1863 г. в Москве 1000-летнего юбилея славянской письменности. К. И. Невоструев ссылался на Иоанна экзарха Болгарского, говорившего о том, что святой Кирилл и его брат Мефодий перевели «изборное Евангелие», то есть не все Евангелие целиком, а избранные места священного текста, предназначенные для богослужения, начиная с Евангелия от Иоанна. Он также ссылался на Паннонское житие Кирилла, в XIV главе которого сказано, что первыми переведенными на славянский язык словами были: «Шскоунъ бѣ Слово н Слово бѣ у Ёога н Ёогъ бѣ Слово» (Ин. 1,1), которыми и начинается апракос [Невоструев 1865: 209–210].

Точка зрения К.И. Невоструева была поддержана М. Н. Сперанским, акад. В. Ягичем, а впоследствии многими другими отечественными и зарубежными славистами.

Однако в 1998 и 2005 гг. вышли два труда, осуществленные под руководством проф. А. А. Алексеева, в которых оспаривается мнение ученых XIX и XX вв. [Алексеев 1998, 2005]. Свои опровержения А. А. Алексеев строит на том, что, во-первых, в Паннонском житии Мефодия (глава V) в соответствующем месте отсутствует чтение от Иоанна 1,1 (которым начинается краткий апракос). Во-вторых, для установления церковных служб на славянском языке первоучителям Кириллу и Мефодию не могло хватить исключительно краткого апракоса и переведенных в Моравии Псалтыри и Паримийника. По мнению А. А. Алексеева, в этом случае нужно было составить служебный тетр. В-третьих, в древнейших Мариинском и Зографском Евангелиях имеется литургическая разметка на полях, что «может объясниться богослужебным назначением первичного тетра» [Алексеев 1998: 19]. В-четвертых, по мнению А. А. Алексеева, никто из ученых никогда не приводил развернутой филологической аргументации в пользу первичности краткого апракоса. Чтобы доказать первичность тетра, он приводит чтение от Иоанна 12, 3–7 из Мариинского Евангелия, в котором находит нарушение в согласовании по роду: женский род указательного местоимения ѿ не соответствует среднему роду существительного мѣро, к которому оно относится [Алексеев 1999: 149–150]. По его мнению, это объясняется тем,

что первоначально на месте существительного среднего рода *мѹро* был грецизм женского рода *хрнзма* (греч. *χρῖσμα*). Утверждение А. А. Алексеева, что грецизма *мѹро* не было в первоначальном переводе, весьма спорно. Болгарский ученый И. Д'обрев относит это слово к числу лексем кирилло-мефодиевского перевода [Д'обрев 1978: 91, 96, 98].

Доводы А. А. Алексеева неубедительны. Несмотря на то, что в крупномасштабном исследовании, осуществленном под его руководством, было указано большое количество рукописей (в одном случае более 1000, в другом – 532), А. А. Алексеевым с коллегами не были учтены данные ряда болгарских тетроевангелий и данные житийной литературы. Не согласиться с выводами проф. А. А. Алексеева также помогает диссертационное исследование А. С. Плис, которая делает следующий вывод: «теория первичности четвероевангелия не находит подтверждения при лингво-текстологическом анализе» [Плис 2010: 114].

К сожалению, до сих пор окончательно не решен вопрос об объеме и составе чтений первоначального (до моравской миссии) славянского перевода Евангелия. Текстологическая история этого памятника практически отсутствует. Некоторые предположения в решение этого вопроса вносит С. Ю. Темчин. По его мнению, святыми братьями Кириллом и Мефодием первоначально были переведены краткоапракосные чтения на каждый день от Вербного воскресения до Пятидесятницы, а также 11 воскресных евангельских фрагментов и некоторые чтения Месяцеслова [Темчин 1993: 20].

Точка зрения Л. П. Жуковской, разделившей все апракосы на три функциональных типа с указанием в них чтений на определенные дни церковного года, представляется нам более правильной.

Самыми древними краткими апракосами, сохранившимися до наших дней, являются рукописи конца X в.: глаголическое Ассеманиево Евангелие и кириллические Ватиканское Евангелие (палимпсест) и Савина книга.

Ватиканское Евангелие представляет собой наиболее ранний славянский текст, написанный на кириллице. Он был транслитерирован на кириллицу с одного из ранних глаголических протографов, который, вероятно, старше архетипа Ассеманиева кодекса [Кръстанов 1988: 38–66].

Начало Евангелия от Иоанна (1, 1), характерное для первоначально кирилло-мефодиевского перевода Евангелия, в Ватиканском кодексе утрачено, и чтения начинаются со вторника Светлой седмицы (Пасхальный цикл, Лк. 24, 21) и завершаются чтениями Месяцеслова на 29 августа. В количественном отношении в Ватиканском Евангелии со-

хранилось меньше чтений, чем в Ассеманиевом, но здесь наличествует 35 чтений, отсутствующих в древнеболгарской части Саввиной книги [Новикова 1999: 144–145].

Состав чтений Ватиканского Евангелия сходен с Ассеманиевым и Остромировым кодексами, но в некоторых местах отличается от них и сближается с Саввиной книгой.

Во всех древних кратких апракосах имеются некоторые инновации, возникшие под влиянием поздних редакций: в Ассеманиевом кодексе – преславской, в Ватиканском и Саввиной книге – мораво-паннонской и преславской. Наиболее близким по объему, составу чтений и языковым особенностям к первоначальному славянскому переводу Евангелия считается Ассеманиев кодекс.

В первоначальном кирилло-мефодиевском переводе Евангелия успешно избегалось навязывание чуждых славянскому языку конструкций как в грамматическом строе, так и в словарном составе. Не случайно многие исследователи говорят о сюжетной и богословской точности этого перевода, его красоте. Святые братья пользовались принципом пословного перевода, который применялся при наличии общего культурного компонента в славянском и греческом языках. Слово понималось как единство лексемы и семемы. В плане выражения слово – лексема, а в плане содержания – семема.

Большое внимание первыми переводчиками уделялось семантической структуре греческих слов, правильно учитывался контекст при переводе многозначных лексем. При переводе основанием для выбора славянского слова служило наличие общих сем. Например, в краткоапракосном чтении от Матфея (6, 9, молитва **Ѹтъче нашъ**) святые братья, пользуясь принципом пословного перевода, в соответствии с особенностями славянской речи, добавили форму 2 л. ед.ч. от глагола **взѣти**, отсутствующего в греческом оригинале.

Ср. перевод греческой конструкции $\acute{o} \text{ P}\acute{\alpha}\tau\epsilon\rho \eta\mu\acute{o}\nu \acute{o} \acute{\epsilon}\nu \text{ to}\acute{\iota}\varsigma \text{ O}\acute{\upsilon}\rho\alpha\nu\acute{o}\iota\varsigma$ в древних кратких апракосах:

Асс. **Ѹѣ нашъ ѣже еси на нбсн**

Ват. **Ѹѣ нашъ нже еси на небесехъ**

Сав. **Ѹѣ нашъ нже еси на нбсхъ**

Грецизмы сохранялись в основном для обозначения антропонимов, топонимов и новых для славян реалий, связанных с религиозно-церковной сферой. Проведенный нами лингво-текстологический анализ 55 списков Евангелия разных редакций и изводов, а также евангельских цитат в Супрасльской рукописи и сравнительное сопоставление лексики

евангельских кодексов, которые подвергались редакционному пересмотру в Преславе, и лексики некоторых оригинальных произведений и переводов преславских книжников (в частности, пресвитера Козьмы), позволяют заключить, что в Евангелии чтения Страстной седмицы с понедельника по четверг на литургии более архаичны и стабильны по сравнению с чтениями на утрени и лучше сохраняют традиции первоначального кирилло-мефодиевского перевода. Поновление евангельского текста особенно ярко прослеживается в чтениях Великой пятницы (в этот день по Уставу литургии не положено).

Больше всего исправлений в чтениях Страстной седмицы было сделано в Преславском книжном центре. Материал обследованных нами текстов позволяет говорить только о стабильности грецизма *коустоднѣ* *коустодѣа* «стража» Мф. 27, 65, 66 Асс., Мар., Зогр.; Мф. 28, 11 Асс., Сав., Мар., Зогр., для которого не обнаружено славянского дублета. Известны лишь два написания этого слова в искаженном виде: *костоднѣ*, *коустоуднѣ* [Алексеев 2005: 157].

Грецизм *дина* (греч. *δείνα*) сохранился в форме Дат. пад. ед. числа только в Ассеманиевом Евангелии в чтении Тайной вечери (Мф. 26, 18): *упаѹете еіс την πολιν προς τον δεινα ндѣте въз градъ къ динѣ*. По мнению А. С. Львова, данный грецизм не мог быть в первоначальном славянском переводе Евангелия, «поскольку первые переводчики Евангелия, хорошо знавшие греческий язык, не могли воспринять *δείνα* как личное имя». Первичным словом в этом чтении А. С. Львов считает лексему *онзснца*, ссылаясь на мнение болгарского ученого Б. Цонева, обнаружившего это слово в македонских диалектах [Львов 1966: 90]. Напротив, К. Горалек [Горалек 1959: 97] и Р. М. Цейтлин [Цейтлин 1977: 127] слово *онзснца* причисляли к неологизмам старославянского языка, которые вошли в состав памятников славянской письменности в эпоху царя Симеона. С точки зрения А. С. Львова, грецизм *δείνα* был заменен на местоимение *етеръ* в Моравии в результате «подравнивания текста к другим чтениям» [Львов 1966: 90].

Однако лексема *δείνα* в греческом языке имела значение «такой-то, некоторый» и была хорошо известна солунским славянам. Поэтому нельзя исключать возможность ее появления именно в первоначальном славянском переводе краткого апракоса. Славянские дублеты этой лексемы возникли уже в результате редакционных правок в разных школах славянской книжности.

Первыми переводчиками использовался также поморфемный принцип перевода – калькирование. Словообразовательные кальки характерны для таких тематических областей, в которых переводчики не находили культурного компонента в греческом, соответствующего славянской языковой культуре. В основном это области, связанные с религиозно-церковной сферой и общественно-правовым устройством. Поморфемный принцип перевода особенно ярко виден из факта постоянного отождествления ряда морфем греческого и славянского языков: отождествляются и одинаково переводятся греческие приставки *δια* (раз(с)), *εκ* (из), *εν* (вз, на), *επι* (на), *κατα* (о), *συν* (сз). Однако греческие слова не обязательно калькировались. Главное внимание уделялось семантической структуре слова, например *οι ειρηνοτοιοι* Мф. 5,9 – сз(ь)мнрѣѣще(н)н Асс., Сав., Зогр., сзмѣрѣѣщен Ват.; *κεχαριτωμενη* Лк. 1,28 – благодѣть(з)наѣ(н) Асс., Ват., благодатьнаѣ Мар.

В качестве доказательства первичности краткого апракоса проведем лингво-текстологический анализ фрагмента Евангелия от Марка (15, 20).

Из всех известных нам евангельских кодексов лексема *прѣпрѣдъ* отмечена в двух чтениях Евангелия от Марка (15, 17 и 15, 20), и только в Ассеманиевом Евангелии: *н егда порѣгаша сѧ емоу сзвѣтша сѧ него прѣпрѣдъ* (греч. *τορφύρα*). Данное слово относилось к древним основам имен существительных на *ī. «В первоначальном переводе *прѣпрѣдъ* являлось отглагольным именем с приставкой *прѣ-* < *рег, так же, как и *прѣальсть*, *прѣчьсть*, *прѣяюбзи*, *прѣнзѣнка* и т.п., в которых приставка *прѣ-* означает усиление степени качества, обозначаемого основой слова» [Львов 1966: 221]. В других старших и младших списках Евангелия в данном чтении зафиксированы иные фонетические варианты перевода греческого слова *τορφύρα*: с приставкой *прѣ-*: *прѣпрѣда* (Саввина книга), *прѣпрада* (болг. Евангелия № 1139 НБКМ и № 1140 НБКМ), *прѣпроудъ* (сербск. Евангелие № 470 НБКМ), *прѣпроуда* (сербск. Евангелие № 856 НБКМ); с приставкой *пра-*: *прапрѣдъ* (Ватиканский палимпсест), *прапрѣдъ* (Маринское и Зографское Евангелия), *прапроуда* (Константинопольское Евангелие). В русских Библиях обнаружены следующие варианты: *прапроуда* (Геннадиевская Библия), *препруда* (Острожская Библия), *препрада* (Елизаветинская Библия).

По мнению А. С. Львова, лексема прѣпрѣдь относится к первоначальному кирилло-мефодиевскому переводу, а приставка прѣ- в этом слове заменена на пра- при составлении тетроевангелия в Моравии [Львов 1966: 222]. В ряде списков Евангелия в этом стихе отмечены преславизмы: багърѣнница и чрѣвленница.

Особый интерес в данном чтении представляет перевод греческой синтаксической конструкции ἐξέδυσαν αὐτόν τῆν πορφύραν. В большинстве евангельских кодексов отражен первоначальный кирилло-мефодиевский перевод греч. Вин. пад. предлогом съ с Род. пад.: съвѣтъша в древних списках или съвѣтъкоша съ него в поздних.

В некоторых списках Евангелия, к сожалению, представлен неверный перевод указанной греческой конструкции из-за непонимания значения лексем прѣпрѣда (Евангелие № 1140 НБКМ), прѣпрѣудь (Евангелие № 470 НБКМ), прапроуда (Константинопольское Евангелие), прапроуда (Геннадиевская Библия). В этих переводах искажен смысл чтения. Получается, что не богатую одежду пурпурного цвета сняли со Спасителя, а Он Сам был снят с одежды (!). Такой перевод поставлен в качестве основного в текстах четвертой редакции по Г. А. Воскресенскому [Воскресенский 1894: 383].

Можно привести еще много фактов чисто языкового характера, свидетельствующих о том, что св. Константин-Кирилл и Мефодий подарили всему славянскому миру именно богослужебный краткий апракос.

Неубедительной представляется нам точка зрения А. А. Пичхадзе, согласно которой Ассеманиев кодекс как краткий апракос создавался «на основе тетра типа Зографского евангелия» [Пичхадзе 2002: 49].

До сих пор ведется много споров по поводу греческого оригинала первоначального славянского перевода Евангелия. Мало исследована текстология Евангелия от Луки в древнейших евангельских кодексах.

Так что работу над изучением вопроса о том, каким был первоначальный кирилло-мефодиевский перевод Евангелия, нельзя считать завершенной.

Литература / References

1. *Алексеев А.А.* Евангелие от Иоанна в славянской традиции. СПб., 1998.
2. *Алексеев А.А.* Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
3. *Алексеев А.А.* Евангелие от Матфея в славянской традиции. СПб., 2005.
4. *Воскресенский Г.А.* Древне-славянское Евангелие. Сергиев Посад, 1894.

5. *Горалек К.* Несколько замечаний о задачах сравнительно-исторической лексикологии // Славянское языкознание. М., 1969.
6. *Добрев И.* Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужбени книги // Български език. Кн. 2. София, 1978.
7. *Жуковская Л.П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
8. *Кувев К.* Малоазийската теория за езика на св.св. Кирил и Методий // Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия. Велико Търново, 2012.
9. *Львов А.С.* Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966.
10. *Невоструев К.И.* Записка о переводе Евангелия на славянский язык, сделанном св. Кириллом и Мефодием // Кирилло-мефодиевский сборник. М., 1865.
11. *Новикова А.С.* Первый славянский краткий апракос // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте. М., 1999.
12. *Пичхадзе А.А.* Две древнейшие редакции славянского Евангелия: Зографское и Ассеманиево евангелия. Палеославистика. Лексикология. Лексикография. М., 2002.
13. *Плис А.С.* Кирилло-мефодиевский перевод Евангелия: лингвотекстологическое исследование // Кандидатская диссертация М., 2010.
14. *Темчин С.Ю.* Было ли краткоапракосное Евангелие первой славянской книгой, переведенной с греческого // Исследования по славянскому историческому языкознанию. М., 1993.
15. *Цейтлин Р.М.* Лексика старославянского языка. М., 1977.

**Праславянская и древнечешская перегласовка
в дательном падеже множественного числа основ на -jo-**

Иржи Рейзек

**Proto-Slavic and Old Czech fronting of vowels
in the dative plural of the *jo*-stems**

Jiří Rejzek

Praslovanská a staročeská přehláska v dativu plurálu *jo*-kmenů

Jiří Rejzek

ABSTRACT. The study deals with the development of the *jo*-stem dative plural ending in Czech and the operation of the morphological analogy. The early Old Czech re-installment of the ending *-om-* for Proto-Slavic *-em-* (a result of a regular fronting after the palatal consonant) is difficult to explain since it is the only instance of the revocation of the Proto-Slavic “umlaut” in Czech morphology. The possible reason can be the identical ending of the *jo*-stem and *o*-stem dative singular and the general dominance of the *o*-stems. Not too long after this re-installment of *-om* ending into the *jo*-stem dative plural, the Old Czech fronting *o* > *ě* took place which introduced (at least partially) forms on *-iem* into this case again. These forms yielded *-óm* in masculine *jo*-stems while they have remained in neuter *jo*-stems which can be explained again by the respective analogical influences.

Key words: nominal inflexion; fronting of vowels; morphological analogy; Proto-Slavic; Old Czech.

АННОТАЦИЯ. Доклад посвящен развитию окончания дательного падежа множественного числа основ на *-jo-* в древнечешском языке. В статье объясняется, когда и почему в дательном падеже исчезла праславянская перегласовка *o* > *e* и каким образом в нем нашла отражение следующая (древнечешская) перегласовка *o* > *ě*. Также уделяется внимание роли и мотивации морфологической аналогии, которая повлияла на все перечисленные изменения.

Ключевые слова: именная флексия; перегласовка; морфологическая аналогия; древнечешский язык; праславянский язык.

Praslovanská a staročeská přehláska v dativu plurálu *jo*-kmenů

Praslovanština zdědila z pozdní indoevropštiny v dativu plurálu *o*-kmenů a *jo*-kmenů koncovku tradičně zapisovanou jako *-omъ*, zřejmě z původního *-omos* [Hujer 1910: 154]. *O*-kmeny a *jo*-kmeny (a stejně tak *a*-kmeny a *ja*-kmeny) se původně nijak nelišily, přípony *jo-*, resp. *ja-* měly charakter slootovorných sufixů stejně jako jiná konsonantická rozšíření dominantních vokalických kmenů na *-o-* a *-a-*.

Zvláštní vývoj *jo*-kmenových a *ja*-kmenových koncovek nastal až v rané fázi klasické praslovanštiny díky přehláskám. Přehlásky – v té podobě, jak je známe z psl. – jsou v rámci indoevropských jazyků poměrně specifické hláskové změny, jež mimo slovanské jazyky prakticky nemají obdobu. Vykládají se jako projev tendence k slabičnému synharmonismu, díky níž se zadní vokály mění ve své přední protějšky působením předcházejícího palatálního konsonantu (na začátku klasické praslovanštiny to byl pouze konsonant *j*). V podmínkách tehdejšího čtyřúhelníkového vokalického systému si tedy hláskovou realizaci přehlásek můžeme představit takto:

$$\begin{aligned} 'u > i \quad 'ū > ī \\ 'a > e \quad 'ā > ē \end{aligned}$$

V literatuře najdeme i jiné hláskové symboly, především u autorů, kteří předpokládají dřívější delabializaci *u*-ových vokálů [Mareš 1965: 6n., Lamprecht 1987: 34]. Symbol *a* představuje samohlásku vzniklou splynutím ie. *a* a *o*, která byla podle svědectví výpůjček v ugrofinských jazycích v období klasické praslovanštiny bližší *a*, na jeho konci se však labializovala na *o*. Takto se také konvenčně zapisuje a pro větší srozumitelnost zde budeme v dalším výkladu tento grafém používat i my. I ostatní hlásky se konvenčně znamenávají ve svém poněkud pozdějším znění po změně kvantity v kvalitě, tedy *ā* jako *a*, *ē* jako *ě* (s předpokládanou otevřenou výslovností), *ī* jako *i*, *ū* jako *y*, *ī* jako *ь* a *u* jako *ъ*.

Díky přehláskám tedy došlo v některých pádech ke změně původně totožných koncovek *o*-kmenů a *jo*-kmenů. Šlo o tyto pády: N, A, L a I sg., D, L, I pl. (u mužských i A) a D, I duálu (u neuter i N, A, V). Koncovka dativu plurálu *jo*-kmenů se praslovanskou přehláskou náležitě změnila z *-omъ* na *-emъ*. Tuto podobu ale reálně nacházíme jen ve staroslověnštině a ve slovinštině. Ostatní slovanské jazyky v plurálu často směřovaly k unifikaci rodových koncovek, případně k tvarovému synkretismu (srov. [Běličová 1998: 18, 21]). Srbština a chorvatština má v D, L i I koncovku *-ima*, východoslovanské jazyky a lužičtina zobecnily v dativu všech rodů *a*-kmenovou koncovku *-am*, polština zase *-om*, původní přehlasované podoby typu *rytierzem*, *koniem* se však drží až do začátku 17. st. [Klemensiewicz et al. 1955: 280]. Čeština oproti jiným slovanským jazykům konzervativněji uchovává psl. stav a k vyrovnávání koncovek mezi rody i tvrdými a měkkými typy v ní tolik nedochází (shoda *o*-kmenů a *jo*-kmenů v I sg. je výsledkem pravidelného hláskového vývoje). Jediným případem, kdy čeština reviduje výsledek psl. přehlásky v nominální flexi je tedy právě jen tvar dativu plurálu (a také duálu) m. a n., kde již v nejstarších staročeských památkách nacházíme nepřehlasované *-óm*.

Právě tato ojedinělost vyrovnávání psl. přehlásky v češtině zřejmě vedla Trávníčka k myšlence, kterou nadhodil už Jagič v recenzi Gebauerovy mluvnice [Jagič 1894: 517], totiž že tvary s *-ém*, *-iem*, které se vedle tvarů na

-óm ve stč. občas vyskytují, jsou pokračováním psl. přehlasovaných tvarů a nikoliv výsledkem stč. přehlásky *ó* > *ie* [Trávníček 1935: 41]. Tento názor je však ve světle stč. dokladů sotva udržitelný. Přehlasované tvary se objevují až ve druhé polovině 14. st., zatímco podobu s *o* najdeme již v glosách Mater verborum (*kurencom*). Je však pravda, že jinak mnoho dokladů na dřívější užití *-óm* není, přehlasované i nepřehlasované podoby se vyskytují spíš souběžně. Proto je důležitější argument, že přehlasované podoby jsou v naprosté většině s *ie*, nikoliv *é*, a to i v památkách, které rozdíl *ie/é* spolehlivě zachovávají (např. Hradecký rukopis) [Komárek 1962: 117], což nutí Trávníčka k nepravděpodobnému vysvětlení psaní *-iem* vlivem tvarů *dušiem*, *sudiem*.

Jistou zápletku v otázce vyrovnávání psl. přehlásky ovšem představují některé propriální doklady z neliterárních památek 11.-13. stol., na které upozornil Bergmann [Bergmann 1921]. Jde o toponyma jako *Malšev*, *Neševo*, *Zaševo*, *Vrševici*, *Kralčevici*. Komárek tu nejprve uvažoval o zachycení přední varianty *o* po měkkých souhláskách (*ö*), v druhém vydání své mluvnice však připouští, že jde o pozůstatky psl. stavu, které se udržely v toponymech, kde jsou archaismy běžné [Komárek 1962: 118]. V žádném případě nejsou tyto případy argumentem pro udržení psl. přehlasovaných podob až do stč. období (což si ostatně uvědomuje i Trávníček). Podrobněji tyto doklady analyzuje výzkum, který provedl Šmilauer ve svém semináři [Šmilauer 1950]. Podle zjištění jednoho z jeho studentů, která se opírají o Codex diplomaticus a Profousova Místní jména v Čechách, byla na počátku historické doby podoba přípony po palatálách *-ev*. Od pol. 11. stol. ustupuje tato podoba analogicky *-ov*, nejprve v nářečích moravských, pak i v českých, přičemž západní Čechy zasahuje až v pol. 13. st. Podobný proces lze pozorovat i v polštině, kde analogické vyrovnávání postupuje z oblasti malopolské k velkopolské. V první polovině 14. stol. se objevuje česká přehláska *-ov* > *-ěv*, která vychází ze severních a středních Čech. Největšího rozmachu dosahuje mezi léty 1370-1420, kdy činí až 40% dokladů v listinných památkách. Ve druhé čtvrtině 15. stol. nastává ústup přehlásky a ve druhé polovině je nahrazena všude kromě několika mluvnických forem.

Tato Šmilauerem prezentovaná zjištění jistě mají svou důležitost i pro vývoj dativní koncovky *-óm*, i když morfologická analogie má své vlastní zákonitosti a pramenné doklady jsou tu mnohem méně četné. Je zřejmé, že v tomto případě není vysvětlení analogií tak triviální jako v některých jiných případech meziparadigmatického vyrovnávání. Jak už bylo řečeno, v češtině jde o jediný případ, kdy byl výsledek praslovanské přehlásky revidován. Např. v lokálu se díky přehlásce *o*-kmeny a *jo*-kmeny rozrůznily v singuláru (*-ě* × *-i*) i v plurálu (*-iech* × *-ích*) a tyto rozdíly byly v podstatě zachovávány (i když v plurálu najdeme příklady míšení obou koncovek). Naproti tomu

koncovka *-óm* je na začátku historické doby nejen u mužských a středních *jo*-kmenů, ale i u *u*-kmenů, kde náležitá koncovka *-em* (< *-ьмь*) vůbec není doložena (už ani ve staroslověněštině). Snad je to právě okolnost, že v dativu sg. *o*-kmenů a *jo*-kmenů nedošlo k rozrůzněni koncovek (*hradu – mořu*, asi z **-ou*, resp. *-eu* nejistého původu), která přispěla k podobné unifikaci i v plurálu. U maskulin bychom mohli uvažovat i o vlivu genitivní koncovky *-óv* (původně *u*-kmenové), která ve staré češtině v *o*-kmenech i *jo*-kmenech téměř vytlačila původní koncovku nulovou, sotva tím však lze vysvětlit restituci *-óm* v neutrech, kde jde o jedinou *o*-ovou koncovku. V této souvislosti je zajímavá situace ve staré polštině, kde v *jo*-kmenech neuter dokonce zobecněla koncovka *-om* rychleji a důsledněji (již v době předhistorické) než u maskulin (viz výše zmíněné pozůstatky koncovky *-em*) [Klemensiewicz et al. 1955: 303]. Ve staré ruštině již od 13. stol. podléhá koncovka *-em* *jo*-kmenů unifikaci podle *a*-kmenů [Горшкова, Хабыраев 1981: 194n]. V jiných slovanských jazycích spolehlivé svědectví historického vývoje této koncovky nemáme. Obecně ale můžeme říci, že v plurálu nacházíme víc analogického vyrovnávání než v singuláru. Šmilauer [1950] zdůrazňuje i labializační vliv následujících *v* a *m*, ale je otázkou, zda tento fonetický faktor mohl na morfologickou analogii působit.

Porovnání s vývojem v jiných slovanských jazycích, zjištění Bergmanova a Šmilauerova a na druhé straně podoba *kuřencom* v Mater verborum naznačují, že k restituci nepřehlasované podoby *-óm* došlo «pravděpodobně již v nejstarším období češtiny» [Komárek 1962: 117], konkrétně nejspíš mezi 11. a začátkem 13. stol. Již o století či dvě později však v češtině nacházíme znovu přehlasované tvary, tentokrát způsobené staročeskou přehláskou *o > ě*.

Staročeské přehlásky jsou zajímavou reminiscencí přehlásek praslovanských, která nemá jinde ve slovanských jazycích obdobu (některé náznaky přehlásek najdeme ve slovanských či východobulharských nářečích) [Rejzek 2003: 254]. Opět jde o změnu zadních samohlásek v přední působením měkkého konsonantu, který se ocitl před zadním vokálem v důsledku hláskových změn proběhlých po praslovanských přehláskách nebo v důsledku analogie. Jinak jsou ovšem staročeské přehlásky méně kompaktní a symetrické než ty praslovanské. Přehláska *a > ě* proběhla zhruba o století a půl dříve než dvě zbývající přehlásky a také za jiných podmínek (nestačila předchozí měkká, nesměla následovat tvrdá). Jako příčinu stč. přehlásek lze jistě vyloučit vliv německé přehlásky (tzv. umlautu) (tak [Gebauer 1894: 121]), kterou s našimi přehláskami spojuje jen název; jinak je podstata změny odlišná a ani chronologie neodpovídá [Lamprecht 1986: 66, Rejzek 2003: 253]. Přehláska *a > ě* zřejmě souvisí v první fázi s fonetickým sblížením *a s ä* (*z e*) po měkké souhlásce, v další fázi pak

s tendencí odstranit toto *ä* z fonologického systému, aby se samohlásková měkkostní korelace nedublovala s měkkostní korelací u souhlásek [Komárek 1962: 65, Lamprecht 1986: 66, Marvan 2000: 232]. Společně s následnými přehláskami *u > i* a *o > ě* pak lze tuto přehlásku vnímat jako pokračování již pračeských depalatalizačních procesů, které pak vrcholí hlavní historickou depalatalizací (ztrátou měkkostní korelace). Přehláska *o > ě* má ovšem mezi staročeskými přehláskami specifické postavení v tom, že *o* se na rozdíl od *a* a *u* nedostalo do pozice po měkké souhláске v důsledku praslovanských a pračeských hláskových změn, ale pouze v důsledku morfologické analogie (původně *u*-kmenové koncovky), případně analogického tvoření (jako v případě sloves 6. inf. třídy, např. *kral'ovati*, *noc'ovati*). V konkurenci frekventovanějších nezměkčených typů pak byla tato přehláska od začátku pod silným tlakem opětovného analogického vyrovnávání. Byla patrně územně omezena a nepronikla zcela ani do spisovného jazyka [Lamprecht 1986: 73], měla v podstatě dialektní charakter [Vážný 1970: 31]. Analogická změna je tu tedy mnohem snáze vysvětlitelná než v případě přehlásky praslovanské. Příklady přehlásky v dativu *o*-kmenů se objevují od druhé poloviny 14. stol., např. *mužiem* (Pror, Hrad, BiblOI aj.), *Němciem*, *cuzozemciem*, *zlodějiem* (Hrad), *srdciem* (BiblOI), do 16. stol. však přehláska u maskulin opět zaniká. Známou výjimkou je pouze tvar *koním* (< *koniem*), který se jako dubleta k tvaru *koňům* udržel do dnešní češtiny. U středních *jo*-kmenů se přehláska prosadila (*mořóm > mořiem > mořím*), lze to však přičíst sblížení s typem *duše*, s nímž se v plurálu střední *jo*-kmeny shodovaly ve všech pádech kromě instrumentálu. Nelze tu tedy v souvislosti s přehláskou mluvit čistě o fonologické záležitosti, opět tu hrála roli analogie.

Dvojitý pokus o přehlásku v koncovce dativu *jo*-kmenů maskulin a její dvojitý analogické zrušení na cestě od praslovánštiny k češtině (v rozmezí několika staletí) jistě patří mezi kuriozity slovanské historické morfologie. Zároveň ukazuje nevyzpytatelnost analogie jako nepravidelné formální změny psychologické povahy, změny, kterou můžeme zpětně popsat, nikoli však předvídat a v některých případech její motivaci ani spolehlivě objasnit.

Literatura/References

1. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. Москва: Высшая школа, 1981. 359 с.
2. Běličová H. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha: Karolinum, 1998. 222 s.
3. Bergmann F. K chronologii některých staročeských zjevů mluvnických. Listy filologické. 48. 1921. S. 223–239.
4. Gebauer J. Historická mluvnice jazyka českého I. Praha–Viedeň: Nákladem F. Tempského, knihkupce cis. akademie ve Vídni, 1894. 702 s.

5. *Hujer O.* Slovanšká deklinace jmenná. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa, 1910. 173 s.
6. *Jagič V.* Historická mluvnice jazyka českého (rec.) // Archiv für slavische Philologie. 1894. № 16. S. 505–527.
7. *Klemensiewicz Z., Lehr-Splawiński T., Urbanczyk S.* Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: PWN, 1955. 596 s.
8. *Komárek M.* Historická mluvnice česká. Hláskosloví. Praha: SPN, 1962. 196 s.
9. *Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J.* Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986. 424 s.
10. *Lamprecht A.* Praslovanština. Praha: SPN, 1987. 196 s.
11. *Mareš V.* The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ann Arbor, Michigan: Michigan Slavic Publications. 1965. 94 s.
12. *Marvan J.* Jazykové milénium. Slovanšká kontrakce a její český zdroj. Praha: Academia, 2000. 410 s.
13. *Rejzek J.* Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu // Bohemistika. 2003. № 3. S. 251–264.
14. *Šmilauer V.* Staročeská přehláska *o v ě* // Časopis pro moderní filologii. 1950. № 33. S. 72.
15. *Trávníček F.* Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich, 1935. 446 s.
16. *Vážný V.* Historická mluvnice česká. Tvarosloví I. Praha: SPN, 1970. 203 s.

Об употреблении *-л*-форм в значении действительных причастий прошедшего времени в древнейших древнерусских летописях на общеславянском фоне

М. В. Скачедубова

On the functioning of *l*-forms as past participles in the oldest Old Russian chronicles in the light of data of other Slavonic languages

Maria V. Skachedubova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/191-198

ABSTRACT. *L*-forms used without auxiliary in non perfect meaning are usually regarded as perfect forms which have lost their perfect meaning. However, as the analysis of the oldest Old Russian chronicles has shown, examples with such *l*-forms in the narrative can be divided into several types of contexts where the usage of *l*-forms turns out to be quite predictable if we assume that they could function as «usual» past participles. This supposition can be confirmed both by Russian dialectal data and by material of other Slavonic languages.

Keywords: *l*-form; past participle; perfect tense.

АННОТАЦИЯ. *-л*-форма без связи, употребленная не в перфектном значении, рассматривается обычно как бывшая форма бессвязочного перфекта, превратившаяся в простой претерит. Как показал, однако, анализ текста древнейших древнерусских летописей, примеры с таким употреблением в нарративе распределяются на несколько типов контекстов, в которых использование *-л*-формы становится закономерным, если допустить тот факт, что она могла употребляться в функции «обычного» причастия прошедшего времени. Данное предположение подтверждается как русскими диалектными данными, так и материалом других славянских языков.

Ключевые слова: *-л*-форма; причастие прошедшего времени; перфект.

Как известно, древнерусский перфект состоит из факультативной связки *быти* в форме настоящего и *-л*-причастия и традиционно описывается как время, выражающее «соотнесение результатов (последствий) прошедшего действия с моментом речи» [Шевелева 2001: 202]. Уже с древнейших древнерусских памятников связка в перфекте постепенно начинает выполнять лишь функцию указания на лицо и опускаться тогда, когда на лицо указывается с помощью подлежащего [Горшкова, Хабургаев 1981: 306]. В связи с этим, *-л*-форма, употребленная без

связки, обычно рассматриваться как форма бессвязочного перфекта. Начиная с древнейших древнерусских летописей встречаются примеры, в которых *-л-*форма без связки в нарративе не имеет перфектного значения и которые в рамках описанного подхода интерпретируются как свидетельства утраты перфектного значения и превращения *-л-*причастия в финитную форму. Однако, как показывает проведенный анализ текста ИЛ, НПЛ ст. и мл., ЛЛ. и Ак.¹, такие примеры можно разделить на несколько групп, в каждой из которых употребление *-л-*формы оказывается закономерным, если допустить возможность ее функционирования в качестве «обычного» причастия прошедшего времени.

1. Первую группу составляют примеры, где *-л-*форма употребляется в контекстах, в которых, по данным А. А. Потевни [Потевня 1888/1958: 211–214] и А. А. Пичхадзе [Пичхадзе 2011], обычно употребляются причастия.

Один из типов контекстов, характерных для причастных предикаций – контексты с союзными (вопросительно-относительными словами, которые указывают на неопределенный, любой субъект/объект, обстоятельство или свойство, ср. *а прокъ ихъ разбежеса. коуды кто вида. нъ тѣхъ корѣла где обидоуче въ лѣсе ли. выводаче избиши* НПЛ ст. л. 103 об.

Часть примеров, в которых *-л-*форма употребляется не в перфектном значении, приходится на этот тип контекстов, ср.:

1) ИЛ л. 302 *и розъсла мл(с)тню по всеи земли и стада роздая оубогымъ. людемъ. оу кого то конии нѣтоуть. и тѣмъ **иже кто погибли** в Телебузиноу рать* – ‘раздавал милостыню всем/любим/кто (ни) пострадал во время рати’;

2) НПЛ мл. л. 130 *взяша Цесарьград на щить, иськоша Гръцѣ; и **кто ся их гдѣ хоронилъ**, и тѣх, выводяще, иськоша; а святую Софѣю всю пограбиша и что в неи* – ‘кто где ни прятался, всех вывели и убили’;

3) НПЛ мл. л. 207 об. *а хотя **кто что вынеслъ** или на поле, или на огороды, или въ греблю...то все пламенемъ взялось* – ‘кто что ни вынес, все сгорело’;

2. Отдельную группу составляют контексты, в которых одиночная *-л-*форма употребляется в нарративной цепочке наряду с другими аористами и имперфектами. Место *-л-*формы в предложении, характер обозначаемого действия наводят на мысль о том, что в найденных контекстах она используется в качестве причастия прошедшего времени на

¹ ИЛ – Ипатьевская летопись; НПЛ ст. и мл. – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов; ЛЛ – Лаврентьевская летопись; Ак. – летопись по Академическому списку.

-ѡи-/-ѡи- в конструкциях типа «вставъ (и) рече», подробно разобранных А. А. Потебней [Потебня 1888 / 1958: 188–197]. Рассмотрим пример:

4) ЛЛ л. 66 об. *сице бы(с) волхвъ вьсталь при Глѣбѣ в Новѣгородѣ. глѣшетъ бо людемь. и творашеть бо (людемь) бѣмь* – этот контекст повторяется в ЛЛ ПВЛ:

5) ЛЛ л. 60 об. *сиць бѣ волхвъ всталь при Глѣбѣ Новѣгородѣ. глѣтъ бо людемь творася акы Бѣ. и многы прельсти мало не всего града. глѣшетъ бо яко проповѣдь вса. и хула вѣру х(с)янскую* – разница заключается в том, что в первом случае глагол *быти* представлен в форме *бысть*, а во втором – в форме *бѣ*. Если пример (5) не сопоставлять с примером (4), то *бѣ всталь* можно было бы интерпретировать как форму плюсквамперфекта. Однако наличие *бысть* в (4) свидетельствует о том, что глагол *быти* здесь использован в функции введения новой ситуации со значением ‘случилось [так]’, при этом чаще всего он выступает именно в форме *бысть* (см. [Шевелева 2007: 222]). Такое употребление частотно в древнерусских памятниках. Подобные конструкции сохранились в северных говорах, где дейктически самостоятельное *было* «вводит ситуацию прошедшего времени» и высказывания с ним должны пониматься как «А было так:…» [Пожарицкая 1996: 276–277; Пожарицкая 2014: 218–220]. К плюсквамперфекту такие структуры отношения не имеют. В связи с этим *сице бысть* следует понимать, скорее всего, как ‘было / случилось так, что’. Таким образом, форму *всталь* нужно анализировать отдельно от глагола *быти*. Вряд ли ее стоит интерпретировать как употребленную в аористной функции, так как отсутствует союз *и*, который должен был бы соединять два самостоятельных сказуемых («*появился и говорил*»). По-видимому, *-л-*форму нужно рассматривать как причастие, употребленное в классической причастной функции для обозначения дополнительного действия. В таком случае предложение следует понимать так: ‘Случилось так: волхв, появившись / появившийся при Глебе в Новгороде, начал проповедовать людям и выдавать себя за бога’. Рассмотрим другой пример:

6) ЛЛ л. 48 *Ярославъ...[РА оутерль [А оутерь] слезь. и ре(ч) имъ на вѣчи...* – если данный контекст читать как ‘Ярослав, утерев слезы, сказал им на вече’, то мы получаем совершенно нормальную для древнерусского синтаксиса конструкцию, в которой причастием обозначается второстепенное сказуемое, а аористом – главное. Такую интерпретацию подтверждают и разночтения;

7) ЛЛ л. 75 об. – 76 *и присла Володимерь втрока своѣго Бандюка по Итлареву чадь. и ре(ч) Бандюкъ Итлареву. завет вы князь. Володимерь. рекль [А рекь, Р отрекь] тако:...* – как кажется, естественнее все-

го читать данное предложение следующим образом: «Зовет вас князь Владимир, сказав так...». Такую трактовку подтверждают и разночтения по спискам. Если предположить, что *-л-*форма выполняет аористную функцию, то текст получается не таким «гладким» в синтаксическом отношении: «Зовет вас князь Владимир. Сказал так...».

3. Еще один характерный тип контекстов, в которых употребляется *-л-* форма – это контексты, в которых выражается продолжительное действие. В рассмотренных контекстах *-л-*форма обозначает продолжительное действие, противопоставленное по своему характеру действиям, выраженным соседними формами аориста. Регулярное использование *-л-*формы в такой функции свидетельствует о том, что ее употребление не непредсказуемо и вызвано не случайной заменой книжной формы претерита разговорной формой прошедшего времени. Очевидно, такое употребление связано с тем, что *-л-*форма обладала свойствами, которые позволяли ей выражать либо фоновое действие, во время которого разворачивается ряд других событий, либо действие, находящееся в нарративной цепи, однако более продолжительное, чем действия, выражаемые аористом. Рассмотрим примеры:

8) ИЛ л. 222 об. *наворопници же перешедше Хороль. **взиудоша** на шолома. гладающе. кдѣ оузрать гь. Кончакъ же **стоялъ** оу лоузѣ. сгоже гьдоуще по шоломени **вминоуша**. иныгъ же вагаты оузръвшие. **оударииша** на нихъ – ‘пока передовой отряд переходил Хорол и поднимался на холм, Кончак (все это время) находился на лугу’;*

9) НПЛ мл. л. 255 *Тогда же на святой недѣли, априля въ 5, **выиха** весь великий Новгород ратью на поле на Заргъчскую сторону к Жилотугу, а князь Василии **былъ** тогда на Городици, и не **бысть** новгородомъ ничегоже – описываемые аористами события разворачиваются на фоне того, как князь Василии был / находился в Городище;*

10) Ак. л. 225 об. *а мнози **истопоша** бѣжачи в рецѣ. а инѣи ранены заше(д) **изомроша**. а живыи **побѣгоша**. ввиш к Володимерю. а инѣи к Переяславлю. а инѣи в Юрьевѣ. Князь же Юрьи **стоялъ** противоу Костянтиноу. и **оузръ** Ярославъ полкъ побѣгше. и тои **прѣбѣже** в Володѣмерь – как и в предыдущих примерах, действие *стоялъ* охватывает весь период действия предшествующих аористов*

В ряде случаев *-л-*форма обозначает состояние, начавшееся до момента повествования и продолжающее длиться в момент описываемых событий, например:

11) СЛ л. 170 *Ахматъ вставѣ брата своя .вѣ. бюсти и крѣпнѣти свободѣ свои(хъ). и самъ не смѣгъ вставити в Руси зане **не могъ** нати ни вдинога княза. и поиде в Татары держаса полку Татарского – Ахмат*

побоялся остаться в русских землях, т.к. не смог / не был в состоянии в тот момент (а не ранее!) победить ни одного князя;

12) НПЛ мл. л. 215 об. *Того же лѣта ходиша новгородци въ Юрьевъ, и розмѣнишася Нѣмци<...> на дружину их, что **быль** за моремъ у Свѣйскаго короля <...> прихаша в Новѣград вси здрави* – новгородцы обменяли пленных немцев на своих дружинников, которые ‘были находившимися’ вплоть до описываемого момента в плену у шведского короля.

Отметим, что в рассматриваемых примерах значение *-л-*формы принципиально отлично от значения предпрошедшего, которое иногда отмечается у *-л-*форм. Так, рассматриваемый пример невозможно читать как ‘Новгородцы обменяли захваченных немцев на новгородцев, которые до этого были за морем у свейского короля’; захваченные дружинники, действительно, находились за морем до описываемых событий, но они продолжали там находиться и во время принятия решения об обмене. *-л-*форма в данном случае могла бы быть заменена на имперфект или причастие – формы, которые использовались для обозначения одновременности и продолжительности. Кажется, что логичнее всего объяснять *-л-*форму в анализируемых примерах ее причастным значением, ср.: ‘обменял на дружинников, находившихся за морем’.

О возможности семантической и синтаксической синонимии двух причастных образований форм на *-л-* и на *-ъш/-въш-* свидетельствуют примеры, в которых *-л-*форма и «обычное» причастие выступают как однородные члены, ср. примеры, которые приводит М. Н. Шевелева: ЖАЮ *да и еще не **възмоглъ есть** проити ихъ на(с) дела...еще бо седмыи въкъ мира сего и чтенныи лѣты **не кончавьса късть** 112*; характерное различие в ЖАЮ между списками Сол. № 216 и Тип. № 182: *Епифанъ ре(ч) горе мнѣ то з)с)не мои да тацѣм ли образомъ **створивьса суть** дѣла члѣвчьскыи 88* – Тип. № 182 *створили са **суть** 39*; «Притча о блудном сыне» *мрѣтъвъ бѣ и оживе. **изгыблъ бѣ** і обрѣтеса* Зогр., Лк. XIX-II; ЖАЮ *Якоже бо зеліе гнило. тако и тои **есть** изгннлъ и немощень 3* об. [Шевелева 2001: 203-204]. Показательный пример встретился в ИЛ: ИЛ л. 170 об. *Изаславъ же ре(ч) и нныи вы есмь створишь. вже есте на ма. пришли. а како ми с вами Бѣ дасть. **блшеть** бо **пославъ** и **подвелъ** Глѣба Дюргеви(ч) с Половци;*

Данное предположение подтверждает и наличие примеров с сочетанием *быти* в пр. / наст.вр. + прич. на *-ъш/-въш-*, выражающим результативное значение, как и перфект и плюсквамперфект с *-л-*формой, ср.: НПЛ мл. л. 42 об. *Бѣ бо Рогъволодъ **пришед** изъ заморья, имяше власть свою в Полотьскѣ.*

О том, что *-л*-формы в древнерусском могли функционировать как причастия на *-въи/-ъи-*, говорят русские диалектные данные, а также материал других славянских языков.

Так, русским говорам известны причастные формы типа *всталиши, обулиши*. О происхождении таких форм высказывалось два предположения: 1) [л] в образованиях этого типа обязано своим происхождением существованию совпадающих вариантов произношения фонем <в> и <л> – [ў] [Обнорский 1953: 232]; 2) образования типа *всталиши* появились в результате взаимодействия на грамматическом уровне образований типа *вставши* и форм пр.вр. на основе их генетического родства и параллельного употребления в предикативной функции [Кузнецов 1954: 91]. И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко склоняются к тому, что свою роль сыграли оба фактора: «можно думать, что замена варианта *вста[ў]ши*, возникшего фонетическим путем, вариантом *всталиши* произошла уже под воздействием грамматического фактора» [Историческая грамматика русского языка 1982: 300]. Такая интерпретация кажется наиболее возможной, т.к. весь наш материал свидетельствует о существовавшей в некоторый период синонимии двух причастных образований.

Славянским языкам в разной степени известны прилагательные, восходящие к *-л*-причастиям, ср.: русск. *огрубелый, талый*, диал. *иззяблый, палый*; укр. *померлий, погаслий*, чешск. *zahynulý, rodilý*; польск. *okazały, niedosięgły*; словенск. *otekel, osirotel*.

П. С. Сигалов, занимаясь вопросом возникновения подобных форм, пришел к следующим выводам: «эловые формы, отмеченные в древнерусских и церковнославянских (русского извода) произведениях XI–XII веков, очень немногочисленны» [Сигалов 1967: 17], этот способ образования прилагательных становится продуктивным в более позднюю эпоху, приблизительно с XV–XVI вв., «они все чаще выступают в памятниках XVII–XVIII вв., эти формы широко представлены в словарях этого времени» [там же: 24]. К таким же выводам приходит и Е. В. Корчагина. Исследовательница приводит таблицы, в которых сопоставляется число *-л*-прилагательных, образованных от глаголов разных типов, в разные периоды. В графе XV–XVII вв. число обнаруженных *-л*-прилагательных, как правило, в несколько раз превышает число, указанное в графе XI–XIV вв. [Корчагина 1995: 17–18].

Приблизительно та же картина наблюдается в памятниках украинского и белорусского языков. «В работах, посвященных рассматриваемым проблемам на материале украинского и белорусского языков, также обращается внимание на позднее развитие этого адъективного типа» [Сигалов 1967: 33]. Так, в белорусском языке *-л*-прилагательные становятся широко употребительными с XVI–XVII вв. [Ляончанка 1957: 155].

Таким образом, тот факт, что продуктивной модель образования *-л-*прилагательных становится довольно поздно, лишь в XVI–XVII вв., служит дополнительным доказательством сохранения причастного характера *-л-*формы вплоть до указанных веков. Если считать, как это делается традиционно, что *-л-*форма уже в раннедревнерусскую эпоху стала финитным образованием, утратившим связь с именем, то образование огромного количества *-л-*прилагательных в XVI–XVII вв. оказывается необъяснимым с точки зрения логики развития языка.

Поздний процесс образования членных *-л-*прилагательных, без сомнения, связан с процессом превращения *-л-*формы в финитную форму и утратой ею каких-либо причастных признаков. Будучи некогда причастием (т. е. сочетая в себе именные и глагольные признаки), *-л-*форма, после того как в языке появилась потребность в единственной финитной форме прошедшего времени, теряет свои причастные свойства, «разделяясь» на две части речи: она становится либо полноценной глагольной формой (финитной), либо именной (прилагательным), в силу того что как причастие в грамматической системе она была больше не нужна.

В болгарском языке *-л-*причастие употребляется не только в составе сложных глагольных форм, но и как причастие прошедшего времени. Такое использование *-л-*формы отражается уже в древнейших болгарских памятниках. Особое распространение это явление получило в памятниках XVII в., например, в дамаскинах, ср.: *и като нъкои коги е уморень о(т) дльгъ путь и прогоргьль о(т) пекъ и ожьднль и наиде кладенць студень* (Коприштенский дамаскин, 161) – ‘и как некто, кто есть уставший от долгого пути, **изжарившись** от жары и **страда** жаждой, и нашел холодный источник’.

Если бы функции *-л-*формы ограничивались исключительно участием в образовании сложных времен, то обсуждаемые выше образования никогда бы не появились. По всей видимости, история *-л-*форм сложнее, чем принято считать. Учитывая летописный материал, а также инославянские данные, следует предположить, что в определенный момент *-л-*форма могла употребляться самостоятельно в функциях, типичных для действительных причастий прошедшего времени на *-ъш/-въш-*, обозначая дополнительное или фоновое действие, употребляться в контекстах, типичных для зависимых причастных предикаций, и др. Иными словами, *-л-*форма использовалась для маркирования действия, характер которого отличался от действий основной линии повествования, выраженных, как правило, формами аориста.

Литература / References

1. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. М.: Высшая школа, 1981.
2. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. Под ред. Р.И. Аванесова, В.В. Иванова. М.: Наука, 1982.
3. Корчагина Е.В. Отглагольные прилагательные на -л- в истории русского языка (XI–XVII вв.). Автореферат дисс... канд. филол. наук. М., 1995.
4. Кузнецов П.С. Русская диалектология. М., 1954.
5. Ляончанка Д.А. Гісторыя дзеяпрыметнікаў у беларускай мове. Минск, 1957 (машинопись).
6. Обнорский С.П. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
7. Пичхадзе А.А. Славянское причастие-сказуемое в зависимых предикациях как показатель модальности и эвиденциальности // Библистика. Славистика. Русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева. СПб., 2011. С. 462–480.
8. Пожарицкая С.К. Отражение эволюции древнерусского плюсквамперфекта в говорах севернорусского наречия Архангельской области // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1991–1993 гг. М., 1996. С. 268–279.
9. Пожарицкая С.К. Конструкции с глаголом *быть* (*был, была, было, были*) в одном севернорусском говоре: к вопросу о плюсквамперфекте // *Contemporary Approaches to Dialectology. The Area of North, North-West Russian and Belarusian Dialects* / Ed. by *Ilja A. Seržant & Björn Wiemer*. Bergen, 2014. Pp. 216–244.
10. Потёбня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.: Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1958.
11. Сигалов П.С. К истории эловых причастных-прилагательных // Труды по русской и славянской филологии X. Серия лингвистическая. Tartu, 1967.
12. Шевелева М.Н. Об утрате древнерусского перфекта и происхождении диалектных конструкций со словом *есть* // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: Сборник научных статей к 80-летию профессора К.В. Горшковой. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 199–216.

**Терминологическая система сочинений И. Т. Посошкова
в аспекте истории русского литературного языка**

А. М. Хизанцян

**Terminological system of works by I. T. Pososhkov
in the aspect of the Russian literary language**

Anna M. Khizantsyan

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/199-206

ABSTRACT. The paper analyzes the terminological system of works of the publicist, public figure of the first third of the 18th century (Petrine epoch) I. T. Pososhkov in the aspect of the Russian literary language. On the basis of the obtained results, we attempted to characterize the terminological system of the Russian literary language of the first third of the XVIII century.

Keywords: the Petrine epoch; language of the first third of the XVIII century; I. T. Pososhkov; terminological system; term.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается терминологическая система сохранившихся сочинений публициста, общественного деятеля первой трети XVIII в. И. Т. Посошкова в аспекте истории русского литературного языка. На основе полученных результатов нами была предпринята попытка дать характеристику формирующейся в первой трети XVIII в. терминологической системе русского литературного языка.

Ключевые слова: Петровская эпоха; язык первой трети XVIII в.; И. Т. Посошков; термин; терминологическая система.

Первая треть XVIII века – период радикального изменения жизни России, известный также как Петровская эпоха. В это время проводятся реформы и преобразования, модернизовавшие военное и морское дело, административную организацию страны, а также полностью поменявшие мировосприятие жителей страны.

Изменения и реформы оказали влияние и на язык как главное средство общения жителей всех слоев общества Российского государства.

В данной статье на материале наиболее крупных сочинений Ивана Посошкова – первого русского теоретика-экономиста, публициста, изобретателя и предпринимателя, самобытного писателя – «Доношение о ратном поведении» (1701 год) (далее «Доношение»), «Зеркало очевидное» (1708 год) (далее «Зеркало»), «Завещание отеческое сыну своему» (1719 год) (далее «Завещание») и главный труд Посошкова «Книга о скудости и богатстве» (1724 год) (далее «Книга») – изучается терминологическая система языка первой трети XVIII века. Полученные результаты позволяют дать характеристику процессу становления русской терминологической системы и русского национального языка рассматриваемого периода в целом.

Наше исследование основано на изучении использования И. Т. Посошковым в своих сочинениях церковных, административных, юридических (судебных), военных терминов.

Рассмотрены такие **церковные термины**, как *архиерей, архимандрид, епархия, игумен, инок, монастырь, монах, пастырь, пресвитер, дьякон, сановник, приход, тробник*. Все они вошли в русский язык из греческого языка посредством церковнославянского. Исключение составляет слово *сановник* 'влиятельное лицо, обладавшее высоким саном, занимавшее высокое положение в государстве; вельможа, заимствованное русским языком из тюркского'.

Приведем примеры из сочинений Посошкова: *«Аще же речете, яко аще и не Самъ Христосъ, но и пресвитери прежиши подавали было то истое тело Христово, а ныне несть совершенна тела Христова, понеже не на ездми просфорахъ служба ныне совершается, и креста осмиконечнаго на просфорахъ несть»* («Зеркало»); *«Тии бо примут от новоставлиника дары и затвердят ему во псалтыри псалма два-три и перед архиереем заставят то тверженое читати, и той ставленик ясно и внятно и поспешно пробежит, и архиереи, не ведая того ухищреннаго подлога, посвящают во пресвитеры»* («Книга»).

Анализ **экономической терминологии** в трудах Посошкова позволил подтвердить слова Б. А. Ларина о том, что Посошков, стараясь сохранить чистоту русского языка, стремился сформировать русскую национальную терминологию, не используя заимствованные термины. Так, он использует такие славянизмы, как *приплод, прибыль, спора/спорынья* (древнерусское слово), *припас, платеж, убыток, расход, взятка* и *гостинец*. Приведем соответствующие примеры:

«...а буде же Бог помощь Свою пришлет к вам, то сот семь, или и восемь повалите; и в таковой целной стрелбе, пороху и свинцу будет неизьянно, а война будет спора» («Завещание»); *«А целная стрелба, хотя не красива стрелбою, толко неприятелю страшна будет, и казна великого государя спора б была, а салдатом покойна»* («Книга»);

«И аще кой салдат учнет ти какую почесть давати, в вине сущей, то ты, за принос ево, вдвое, или и втрое вяжиши накажи, дабы впредь никто не смел под тебя подвалитися; велми взятков бойся» («Завещание»); *«А аще кой судья и не по взятку, но по дружбе или по чьей прозьбе учинить не по новоизложенному уставу, то без всякаго милосердия учинить ему определенной указ, как о том уложено будет...»* («Книга»);

Некоторые из рассмотренных слов сохранились и в современном русском языке, например, *расход / росход, промысел, платеж, взятка, пошлина*. Другие, такие как *спорынья, личба*, вышли из употребления, третьи – сохранились в современном русском языке, однако потеряли значение термина, например, *заклад, гостинец, приплод, припас*.

Подробнее рассмотрим термины *приплод*, *интерес* и *гостинец*, использованные Посошковым в качестве терминов и представляющие, на наш взгляд, наибольший интерес с точки зрения становления экономической терминологии русского языка.

Лексема *приплод* в «Полном церковнославянском словаре», составленном Григорием Дьяченко (1900 год), толкуется как ‘приращение, приумножение’: *«И ныне вы дайте ми совет здравый, что мне лучши творити: в землю ли данные ми таланты закопати, или приплод ими творити?»* («Завещание»); *«И таковые указы с нарочными посыльщики разослать во все города, указов ста по два-три а или менши, смотря по количеству сел и деревень, чтобы всякому сотскому и пятидесятскому указ был дан печатной и чтобы те посыльные люди в городех воеводам или кому надлежит отдать те указы имянно с росписками»* («Книга»).

В толковых словарях современного русского языка *приплод* имеет единственное значение ‘потомство у животных’.

В современном русском языке лексема *гостинец* не употребляется в качестве экономического термина. Эта лексема имеет значение ‘подарок (чаще о привозимом откуда-нибудь)’, а в форме множественного числа имеет значение ‘конфеты, сладости’.

Посошков же использует рассматриваемое слово для обозначения «подношение должностным лицам, взятка», например, *«А на дом к себе никаких челобитчиков не пускай, и гостинцов у них, ни великих, ни малых не принимай, понеже мзда заслепляет очи и мудрому»* («Завещание»); *«А гостинцов у исцов и у ответчиков отнюд принимать не надлежит, понеже мзда заслепляет и мудрому очи. Уже бо кто у кого примет подарки, то всячески ему будет способствовать, а на другога посягать, и то дело уже никогда право и здраво разсуждено не будет, но всячески будет на одну сторону криво»* («Книга»).

Лексема *гостинец* в этом значении, зафиксированном в «Словаре XVIII в.», широко употреблялась с XVI в.

Остановимся на слове *интерес*, которое используется Посошковым в значении ‘польза и выгода’: *«В сием интерес царственный тратитца напрасно, что колодники годы по два, и по три, и болши в тюрьмах сидят»* («Завещание»); *«И от того великому государю пополнение интереса, а об люди будут целы и промыслов своих не отбудут»* («Книга»).

Это заимствованное слово «интересно» тем, что в словарях отмечается два языка-источника – латинский и французский. В современном русском языке сохранилась вошедшая из французского языка лексема *интерес* (от фр. *intérêt*), которая в словарях толкуется как ‘внимание к кому-либо, чему-либо; заинтересованность в ком-либо, чем-либо; зани-

мательность, увлекательность'. Однако в «Словаре XVIII века» зафиксировано и произошедшее от лат. *interest*, вошедшее в русский литературный язык в 1698 г. непосредственно или же посредством пол. *interes*, нем. *Interesse*, англ., гол. *interest*. Эта лексема в указанном словаре получила толкование 'польза, выгода, денежная выгода, прибыль, доход, государственный, казенный доход, государственная казна, процент; рост' с пометкой финансовый, коммерческий.

В толковых словарях современного русского языка это значение не зафиксировано, однако употребляется выражение 'быть в чьих-либо интересах'.

Нами были изучены **юридические термины** *допрос, канторные допросы, записка, оброк, ответчик, очная ставка, послух, пристав, розыск, свидетель, сказка, допросные сказки, суд, судья, сыск, челобитник, наемные ябедники*.

Все эти термины зафиксированы в Русской правде и восходят к древнерусскому языку. Большинство из них, например, *допрос, ответчик, очная ставка, розыск, свидетель, суд, судья*, сохранилось в современном русском языке, не меняя своего значения; часть терминов, такие как *оброк, послух, челобитник*, вышли из употребления вместе с обозначаемыми ими реалиями и стали историзмами.

Интерес представляет термин *послух*, который Посошков использует лишь один раз: «*Слышите жь, что Святый Иоаннь Златоустый глаголетъ, во узилицы сидя; рече бо послухъ ми есть (си есть свидетель) Богъ, Его же ради си узы прияль...*» («Зеркало»).

Как известно, в древнерусском государстве и русских княжествах периода феодальной раздробленности термин использовался для определения свидетеля, который заявлял под присягой, что показания стороны заслуживают полного доверия.

Согласно Русской правде, *послухом* мог быть только свободный человек. Термин «послух» вышел из употребления в 1550 г., когда Судебник Ивана IV Грозного положил конец послушеству, потребовав от свидетелей 'не видев, не послушествовать, а видевши сказать правду'.

Коротко остановимся и на некоторых лексемах, которые сохранились в современном русском языке, но изменили свое значение, а именно на словах *записка, сказка, пристав*.

В «Словаре XVIII века» у лексемы *записка* зафиксировано значение 'деловая бумага, документ, запись дневных дел, событий; журнал, дневник'. В данном значении лексема *записка* зафиксирована и у Посошкова: «*А наипаче там ее надлежит записывать на кореню, где она сварена, тамо надлежит две записки иметь, едина выварная, а другая розвозная, и о самосатке то ж чинить*» («Книга»).

В современном русском языке слово *записка* в этом значении не употребляется, и в толковых словарях имеет пометку ‘официальный, канцелярский, устаревший’.

Термин *пристав* в «Словаре XVIII века» с пометкой «исторический» имеет значения ‘должностное лицо, приставлявшееся к кому-либо, чему-либо для наблюдения, надзора в Московской Руси’. Именно в этом значении Посошков употребляет рассматриваемую лексему: «*А и от приказных своих правителей весьма их оберегай, понеже обыкновенно архиерейских приказов не токмо судьи, иль подьячие, но и приставы, ни во что их ставят, и называют их «попишками», и в малом деле обирают их кругом, и того обирания и в грех себе не вменяют»* («Завещание»); «*И ради памятования надобно всякому судье безотложно на всякой день колодников своих всех пересматривать, и всех их ставить перед себя налицо, то нельзя будет подьячому иль приставу посадить за хоженое свое»* («Книга»).

В современном русском языке термин немного изменил свое значение и сохранился лишь в сочетании «судебный пристав» – ‘государственный служащий, в чьи обязанности входит принудительное исполнение судебных решений и постановлений’.

Интерес представляет и термин *сказка*, который, как отмечено в Словаре XVIII века, имеет значение ‘правительственный реестр в царской России, состоящий из 450 человек, а также официальное показание, донесение, сообщение, оформленное как документ’ с пометкой «устаревший». Именно в этом значении Посошков использует данный термин: «*А после записки допросные, день-другой спустя, или и болши, прикажи им явитца, и в то время возми их допросные сказки и просмотри, как они сказали: с исцовыми ли словами, или с ответчиковыми сходно»* («Завещание»); «*Мне же ся мнит, тыи статьи стараго Уложения обе надлежит отставить и зделать так, чтоб каков иск ни был мал или велик, и егда кого обвинят в иску, то допросить ево, чтобы он дал сказку, когда он денги принесет»* («Книга»).

Добавим, что в этом значении лексема *сказка* не употребляется в современном русском языке, и в словарях зафиксировано лишь значение ‘литературное повествовательное произведение с невероятным, обычно волшебным сюжетом’; ‘пустая лживая болтовня, нечто восхитительное (разг.)’.

Рассмотрим термины *ябедник* и *наемный ябедник*. Как отмечается в словарях, в Древней Руси *ябедник* ‘должностное лицо, судья’, в XVI в. – ‘клеветник’, а также ‘сутяга (человек, склонный к тяжбам, с готовностью затевающий судебные конфликты)’. Приведем примеры из сочинений Посошкова: «*Понеже суд имянуется Божий, то тако и чини, чтобы суд*

твой подобен был суду Божию, нелицеприятный, и чтобы истец и ответчик сами были, а не наемные ябедники. Ябедников наемных ни в допросы, ни в очные ставки отнюд не допускай, понеже они, ябедническим многословием, и самую правду заминают и так ухищренно забивают, что и судьям трудно разобрать и правда познать» («Завещание»).

В современном русском языке лексема *ябедник* используется лишь в разговорном стиле речи в значении ‘человек, который ябедничает, наушничает’.

Большая часть из встречающихся у Посошкова **административных терминов** была заимствована из западных языков преимущественно в XVIII в., что объясняется проводимым Петром I процессом модернизации страны. Развитие торговли, фабрично-заводских предприятий сопровождалось насаждением новой терминологии, вторжением потока слов, появлением новых государственных органов, административных должностей и чинов, усложнением делопроизводства. Около четверти всех заимствований Петровской эпохи относится именно к «словам административного языка», вытесняющим собой соответствующие древнерусские наименования.

При анализе административных терминов, использованных Посошковым, нами были отмечены следующие группы заимствованных лексем: должность – *бурмистр / бургомистр, император, камерир, монарх, натариус, фискал*; документы – *инструкция, паспорт*; структурные подразделения – *коллегия, магистрат, контора*. Приведем фрагменты из текста сочинений Посошкова:

«И земским бурмистрам за ними присматривати, чтоб напрасные траты денгам не чинили и не бражничали бы, но употребляли бы их || в сущее дело, и те данные денги и прибыльные по изложению или по рассмотрению исправления их погодно ж брать» («Книга»);

«А буде в пошпорте написан срок, колико ему времени быть в доме, то всем соседем смотреть, чтоб за срок и одинаго дня не жил» («Книга»);

«Аще и не по вся дни, обаче, улуча время, по кальлегиям ходил бы и смотри, каково кто дело свое управляет и нет ли каковыя в делах не исправности и нет ли каких на них жалобщиков» («Книга»);

«А буде кой бурмистр не против даннаы ему инструкции что учит, то учинить ему штрафование великое и з наказанием и з запятанием, как о том уложено будет» («Книга»);

«Дворяня накупив пустошей, да в наймы отдают, и многия денги на кийждой год кортомы с нее берут, а великому государю ни по деньге на год не платят» («Книга»).

Как отмечает Б. А. Ларин, Посошков использует заимствованные термины только в тех случаях, когда не существует русского книжного аналога, например, *кортама* ‘арендная плата’. Подробнее остановимся на термине *фискал*. Лексема *фискал* была заимствована из лат. *fiscalis* (казенный). В рассматриваемый период термин обозначал должность, учрежденную Петром I (1711 г.) для тайных наблюдений за правительственными лицами. Приведем пример использования данного термина Посошковым: *«И у того роспросу никто бы посторонней человек не был, но токмо товарищ твой, да подьячей, кой записывает, да фискал»* («Завещание»); *«Аще кто великородной или и худородной вышьяшаго суда или и нижняго в коем городе или и в уезде главной камисар или подчиненой или и иной какой правитель или и посыльщик, наипаче же аще сыщик или фискал, не против того нового изложения станет что чинить своим вымыслом и хотя малую статью нарушит, то казнить ево неотложно, как о том уложено будет»* («Книга»).

В словарях зафиксированы и два других значения: ‘стряпчий, законный надзиратель, наблюдающий за исполнением законов в Лифляндии и Курляндии’ и ‘доносчик, наушник, шпион’.

Однако в современном русском языке зафиксирован лишь экономический термин *фискальный*, также заимствованный из латинского языка, имеющий, в отличие от термина *фискал*, положительную коннотацию – ‘принадлежащий фиску, государственной казне, казенный’.

Наряду с заимствованиями Посошков использует и исконно русские термины, такие как *выпись / выписка, посыльщик, справщик, целовальник, ценовищик, доношение*: *«А буде какое дело случитца дикое, еже на него ни в уложенье, ни в артикулах, ни во иных великаго Государя указах, решения не сыщешь, и ты учини докладную выписку, или доношение, дабы сиг-клитом, или имянным великаго Государя указом то дело решить и ту новую статью впредь для таковых же случаев блюсти в сохранение»* («Завещание»).

Детальнее рассмотрим лексему *целовальник*, не сохранившуюся в современном русском языке. *Целовальник* – ‘должностное лицо в XV–XVIII веках; человек, который отвечал за исправное поступление денежных доходов, участвовал в судебном и полицейском надзоре за населением. Вступившая в должность личность во время присяги целовала крест, от этого и произошел этот термин. В XVI в. целовальники являлись помощниками старост, с XVII в. их функции расширяются, и на них ложится ответственность за недоборы’.

Среди рассмотренных **военных терминов** большинство составляют заимствованные слова, такие как *офицер, комиссар, командир, адмиралтей*. Из исконно русских лексем хотим остановиться на лексемах *воевода* и *пехота*.

В «Словаре XVIII века» отмечено, что *воевода* – ‘военный чин в Московской Руси; военачальник. Это звание было отменено в Петровское время’. Так, несмотря на то, что должность была упразднена, само слово все еще употреблялось, т.к. именно в этом значении Посошков использует данный термин: «*И воеводы в такие вотчины и посыльчиков послать не смеют, а прикащик и староста, кои принимали, давно умерли и кнутом бить некого*» («Книга»).

Во втором значении – ‘административный чин в Московской Руси и в России XVIII в., ведавший делами местного управления в городе, провинции (звание отменено в 1775 г.); наместник’ – термин в сочинениях Посошкова не используется.

Касательно лексемы *пехота* – ‘вид войска’, необходимо заметить, что Посошков не использует вошедший в 1701 г. термин *инфантерия*, заимствованный из исп. *infanteria* через польск. *infanteria* или же фр., нем. *infanterie*.

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что терминологическая система в сочинениях И. Т. Посошкова не была упорядоченной: одна часть терминов представляла собой заимствования из европейских языков, вошедших в русский язык в Петровскую эпоху, другие термины – заимствованы из книжного литературного языка. Полученные результаты можно отнести ко всей терминологической системе русского литературного языка первой трети XVIII в., которая в рассматриваемый период находилась на этапе формирования, систематизации и рационализации.

Литература / References

1. *Винокур Г.О.* История русского литературного языка: Русский литературный язык в первой половине XVIII века // *Его же.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
2. *Войлова К.А., Леденева В.В.* История русского литературного языка: учебник для вузов. М.; Дрофа, 2009.
3. *Дьяченко Г.М.* Полный церковнославянский словарь: (со внесением в него важнейших древнерус. слов и выражений): пособие / Сост. свящ. Григорий Дьяченко. [Репр. воспр. изд. 1900 г.]. М.: «Отчий дом», 2004.
3. *Ремнева М.Л.* Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв.: Учебное пособие по курсу «История русского литературного языка». М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
4. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–14. Л. (СПб.): Наука, 1984–2004.

**Праславянско-санскритские соответствия
приставочных глаголов и эволюция праславянского
глагольного словообразования**

А. К. Шапошников

**Common Slavic-Sanskrit comparisons of prefixal verbs
and evolution of Common Slavic word-formation**

Alexander C. Shaposhnikov

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/207-216

ABSTRACT. The review of numerous Rus.-Sanskrit comparisons of prefixal verbs (160) is given, the most productive prefixes (8) and verbal bases (90) are revealed. The evolution of Common Slavic verbal word-formation is reconstructed. The place of probable convergence of ancestor types of Russian and Sanskrit within the framework of one area and language union is thought to be Syria. And time of their convergence and deep influence against each other should precede Mitanni (the fall of XVII – the beginning of XVI-th centuries BC).

Keywords: verbal aspect; word-formation; comparisons; prefixal verbs; prefix; stem / root; conjugation; thematic vowel; causative; iterative.

АННОТАЦИЯ. В докладе представлен обзор 160 рус.-санскр. сопоставлений приставочных глаголов и выявлен перечень глагольных основ (90) и наиболее продуктивных префиксов (8). Намечена реконструкция эволюции праслав. глагольного словообразования. Место схождения предковых видов русского и санскрита в рамках одного языкового ареала и даже языкового союза, вероятно, Сирия. А время этого языкового схождения и глубокого взаимовлияния должно предшествовать языковой ситуации Митанни (конец XVII – начало XVI в. до н. э.)

Ключевые слова: глагольный вид, глагольное словообразование, целно-лексемные сопоставления, приставочные глаголы, приставка, основа, глагольная модель, типы спряжения, тематический гласный, каузатив, итератив.

Хорошо известная позднепраславянская (V–VII вв.) система глагола является результатом революционной перестройки средне- и раннепраславянской (VII в. до н. э. – IV в. н. э.) системы глагола в V в. н. э. Но перестройки в праслав. системе глагольного спряжения явно покоятся на дославянском основании (XVII–VII вв. до н. э.) [Шапошников 2012: 546–552; он же 2013: 394–397]. К примеру, заметно продление тематического гласного (*-ājeti*, *-ĕjeti*) в прежнем спряжении на *-ajati*, *-’ajati* (как в образовании др.-греч. конъюнктива продлением тематических гласных

-ε-, -ο- > -η-, -ω-) при сохранении самой йотовой словообразовательной модели (раннепраслав. каузатив → поднепраслав. итератив?) [Шапошников 2018: 358].

В позднепраславянском определено бытовали отглагольные прилагательные на *-t-ъ < -t-ás < и.-е. -t-ós*. Они были переоформлены новыми именными флексиями *-ъ, -а, -ο* и продолжили своё существование в позднепраславянском и дочерних языках, ср. русск. *воспетый, гретый, битый, литой, шитый*. Регулярные русско-санскритские соответствия таких форм выявляют давнее состояние этой группы отглагольных прилагательных.

Вед., др.-инд. и санскр. [Рус.-Санскр. Сопостав. Сл.] соответствия даже позднепраслав. глагольным формам со всей очевидностью свидетельствуют о вост.-и.-е. языковом состоянии предшествующей стадии глагольного словообразования, вскрывают тождественные словообразовательные модели [Шапошников 2016].

Представим отобранные приставочные глаголы (в формах 3 л. ед. ч., иногда 3 л. мн. ч. в тех случаях, когда словообразовательные модели и словоизменительные парадигмы полностью совпадают, а также инфинитивы, если глаг. модели и парадигмы разнятся; в скобках глагольные основы в санскр. грамматической традиции), которые прекрасно иллюстрируют положение о древнем схождении предкового вида русского и предкового вида санскрита в каком-то непривычном для славистов ареале, скорее всего, в ситуации языкового союза:

вь- | **anu-**

*вберѣт < *v̆beretъ | anubhárati, anubharate (anubhri ‘to insert, to enter’)*

*ввезѣт < *v̆vezetъ | anuvahati (anuvah ‘to convey or carry along, to take after’)*

*вдетъ < *v̆dētī | anudhāti (anudhā ‘to add in placing upon, to stimulate to, to concede, allow’)*

*вживляет < *v̆živ’ājetъ | anujīvayati (anujīv ‘to restore to life’)*

*влипает < *v̆līpājetъ | anulepayati (anulip ‘to cause to be anointed’)*

*влюбляется < *v̆l’ūb’ājetъ (sę) | anulobhayati (anulubh ‘to long for, to desire’)*

*вменяет < *v̆mēn’ājetъ | anumānayati (anuman ‘to approve, assent to, permit, grant’)*

*войти < *v̆jytī | anuyāti (anuyā ‘to go towards, or after, follow’)*

*вплывѣт < *v̆plovetъ | anuplavate, anuplavati (anuplu ‘вплыть на’)*

*встать < *v̆stātī | anuṣṭhā ‘to stand near or by; to follow out; to carry out, attend to’*

*вишитый < *v̆ṣytъ | anusyūta ‘sewed consecutively, strung together or connected regularly and uninterruptedly’*

вы- | ud-

выбывает < **vybuvājetь* | *udbhāvayati* (*udbhū* ‘to cause to exist’)

выберет < **vyberetь* | *udbharati* (*udbhṛ* ‘to take or carry away or out’)

вывезет < **vyvezetь* | *udvahati* (*udvah* ‘to carry out or up; to bear up; to lift up’)

выехать < **vyjaxātí* | *udyacchati* (*udyacch* ‘to raise, to lift up’)

выкашлять < **vykāš’ātí* | *utkāśate* (*utkas* ‘to cough up; hawk; to expectorate’)

выпадает < **vyṗādājetь* | *utṗādayati* (*udṗad* ‘to produce, beget, generate; to cause, effect, to cause to issue or come forth, bring forward’)

вытекает < **vyṗěkājetь* | *utṗācayati* (*udṗāc* ‘to boil thoroughly, heat’)

выплывет < **vyṗlovetь* | *utṗlavate, utṗlavati* (*udṗlu* ‘to swim upwards, emerge’)

выпьет **vyṗjetь* | *utṗibati* (*udṗā* ‘to drink out, sip out; to drink up, devour’)

высидит **vyśīdītь* | *utsīdati, utsīdate* (*udsad* ‘to sit upwards, to raise one’s self, or rise up; to settle down’)

высмеет < **vyśmējetь* | *utsmayati* (*udsmi* ‘to begin smiling, smile at’)

высовывать < **vysovyvātí* | *utsuvati* (*utsū* ‘to cause to go upwards’)

высунет < **vyśūnetь* | *utsunoti* (*utsū* ‘to stir up, agitate’)

вытешет < **vytešetь* | *úttakṣatam* (*úttakṣ* ‘to form anything out of any other thing; to take out of anything’)

вытопит < **vytopítь* | *uttapati* (*udtap* ‘to make warm or hot, to heat thoroughly’)

вышитый < **vyšyť* | *utsyūtá* (*utsyu* ‘sewed up, sewed to’)

нис- | niṣ-

ниспадает < **nīspādājetь* | *niṣpādayati* (*niṣpad* ‘to fall out’)

об- | abhi-

обвезут < **obvezotь* | *abhivahant* (*abhivah* ‘to convey or carry near to or towards’)

обдаты < **obdā-tí* | *abhidā* (*abhidā* ‘to bring upon’)

облепить < **oblēpítí* | *abhilip* ‘smear with’

обнесёт < **obnesetь* | *abhinaśati* (*abhinaś* ‘to attain, reach’)

обвить < **obvítí* | *abhivyē* (*abhivi* ‘to wrap one’s self into smth’)

обожжёт < **ob’žьžetь* | *abhidákṣat* (*abhidah* ‘to singe, burn’)

обойти < **ob’jьtí* | *abhyeti* (*abhyā* ‘to come near, go up to or towards, approach’)

обомрёт < **obmьretь* | *abhimṛi* ‘to defile while dying’

опадёт < **obrādetь* | *abhipad* ‘to come near or towards, approach’

опасаться < **obpāsātí* (*se*) | *abhipaśyati* (*abhipaś* ‘to look upon, to look at, view, perceive, notice’)

описать < **obpīsātī* | *abhipīśat* (*abhipīś* ‘to adorn with’)
оплывать < **obplyvetь* | *abhiplāvati* (*abhiplu* ‘to swim or navigate towards, approach’)
опросить < **obprosītī* | *abhiprach* ‘to ask or inquire after’
осадить < **obsādītī* | *abhisidati* (*abhishad* ‘to besiege’)
осмеять < **obsmējety* | *abhismayati* (*abhismi* ‘to smile upon’)
остаться < **obstātī* (*sę*) | *abhiṣṭhā* ‘to stay, live; to stop; to tread or step upon’

отонуть < **obtopītь* | *abhitap* ‘to irradiate with heat, to heat’

пере- | pari-

переберёт < **perberety* | *paribharati* (*paribharate*, *paribhri* ‘to bring’)
перебывает < **perbyvājety* | *paribhāvayati* (*paribhāvayate* ‘to spread around’)

перевеет < **pervějety* | *parāvāti* (*parāvā* ‘to blow away, remove by blowing’)

перевезёт < **pervezety* | *parivahati* ‘to carry about or round’

переворотит < **pervoritītь* | *parivartati* (*parivartate* ‘to turn round, revolve’)

передает < **perdādtь* | *paridadāti* (*paridā* ‘to give, grant, bestow’)

перезжёт < **peržьžety* | *paridahati* (*paridah* ‘to burn round or through or entirely, consume by fire’)

перезреет < **perzrēītī* | *parijūryate*, *parijūryati* (*parijrī* ‘to become worn out or old or withered; to be digested’)

перейти < **perjētī* | *pariyāti* (*pariyā* ‘to go or travel about, go round or through’)

перекидает < **perkydājety* | *paricodayati* (*paricud* ‘to set in motion, urge, impel, exhort’)

перепадает < **perpādājety* | *paripādayati* (*paripad* ‘to change’)

перепёкает < **perpěkājety* | *paripācayati* (*paripac* ‘to cook, roast’)

перепечёт < **perpečety* | *paripacati* (*paripac* ‘to bring to maturity, to cook’)

переплывает < **perplyvājety* | *pariplāvayati* (*pariplu* ‘to bathe, water’)

переплывёт < **perplovety* | *pariplavate* (*pariplu* ‘to swim or float or hover about or through’)

пересидит < **persīdītī* | *pariṣīdati* (*pariṣīd* ‘to sit round, besiege, beset’)

пересыхает < **persyxājety* | *pariśoṣayati* caus. (*pariśuṣ* ‘to dry up, emaciate’)

перетопит < **pertopītь* | *paritapati*, *paritapyati*, *paritapyate* (*paritap* ‘to burn all around, to set on fire, kindle’)

переходит < **perxodītī* | *pariṣkandati* (*pariṣkand* ‘to leap or spring about’)

перешибѣт < **peršībetь* | *parikṣipati, parikṣipate* (*parikṣip* ‘to throw over, upset, carry or tear away’)

перешьѣт < **peršьjetь* | *pariṣīvyati* (*pariṣiv* ‘to sew roundwind round’)

превращает, диал. *перевертает* < **pervьrtājetь* | *parivartayati* (*parivrt* ‘to cause to turn or move round or back or to and fro’)

преминет < **permīnetь* | *pariminoti* (*parimi* ‘to set or place or lay round’)

по- | ура-

поберѣт < **roberetь* | *upabharati* (*upabhri* ‘to bring or convey near’)

побывает < **robuvājetь* | *arabhavayati, arabhavati* (*arabhū* ‘to be absent, deficient’)

повеет < **rovějjetь* | *upavāti* ‘to blow upon’; *apav · ti* (*apavā* ‘to blow off, to exhale’)

повезѣт < **rovezetь* | *upavahati* (*upavah* ‘to bring or lead or convey near’)

поворотит < **rovortītь* | *upavartate* (*upavrt* ‘to step or walk upon, to move or come near, approach, fall to’)

подать < **podātī* | *upadā* ‘to give in addition, add, to give, grant, offer’

подойт < **podojītь* | *upadhe* ‘to suckle, rear by suckling’

подуть, *подмѣт* < **rodьmetь* | *upadhāmati* (*upadhṃā* ‘to blow, breath at or upon’)

пожать, *поженет* < **roženetь* | *upahanti* (*upahan*)

пожжѣт < **rožьžetь* | *upadahati* (*upadah* ‘to burn, set fire to’)

познать < **roznāti* | *upajānīte* (*upajñā* ‘to ascertain, excogitate, invent, find out’)

позовѣт < **rozьvetь* | *upahvayate* (*upahve* ‘to call near to, invite, to call up, invoke’)

пойти < **rojьti* | *upayāti* (*upayā* ‘to come up, to come near; go near or towards’)

покарает < **rokārājetь* | *apakārayati* (*apakar* ‘to hurt, wrong’)

полюбить < **pol’ūbītī* | *upalubh* ‘to wish, desire’

помутит < **romotītь* | *upamanthati* (*upamath* ‘to whirl around; to stir, churn, mix’)

понудит < **ronūdītь* | pass. *apanodyate* (*apanoda* ‘removing’; *apanud* ‘to remove’)

понуждает < **ronūd’ājetь* | caus. *apanodayati* (*apanud* ‘to push on, urge, incite; thrust, impel, move’)

попадѣт < **ropādetь* | *upapadyate* (*upapad* ‘to go towards or against, attack, to approach, come to, arrive at, enter’); *apapadyate* (*apapad* ‘to escape, run away’)

поплавает < **poplāvājetь* | *upaplāvayati* (*upaplu* ‘to flood, water’);
parplāvayati (*apaplu* ‘to wash off’)
поплывёт < **poplovetь* | *upaplavate, upaplavati* (*upaplu* ‘to swim on the
surface as a light object; to overflow, inundate’)
попить < **porojiti* | *upapāyayati* (*upapa* ‘to give to drink’)
попросить < **poprositi* | *upapracch* ‘to ask a person about anything,
consult’
посидит < **posīditi* | *upasīdati* (*upasad* ‘to sit upon, to sit near’)
послушать < **poslūšati* | *upaśru* ‘to listen to, give ear to, hear’
посмеяться < **posmējati* (*sę*) | *upasmi* ‘to smile upon’
постлать < **postblati* | *upastri* ‘to spread over, cover with, clothe,
wrap up’
посушит < **posušiti* | *upaśuṣyati* (*upaśuṣ* ‘to dry up’)
потерпеть < **potьrpeti* | *apatarpayati* (*apatrip* ‘to starve, cause to fast’)
потопит < **potopiti* | *upatapati, upatāpat* (*upatap* ‘to make warm,
heat’)
почешет < **počešetь* | *apakaṣati* (*apakas* ‘to scrape off’)
про- | пра-
проберёт < **proberetь* | *prabharati* (*prabhr* ‘to bring forward, offer,
present’)
пробудит < **probūditi* | *prabhudyate* (*prabhud* ‘to wake up, awake’)
пробуждает < **probūd’ajetь* | *prabhodayati* (*prabhud* ‘to wake up,
awaken’)
поведает < **provēdājetь* | *pravedayati* (*pravid* ‘to make known, com-
municate, relate’)
повеет < **provējetь* | *pravāti* (*pravā* ‘to blow forth’)
повезёт < **provezetь* | *pravahati* (*pravah* ‘to carry forwards, drag on-
wards’)
продать < **prodāti* | *pradadāti* (*pradā* ‘to give away, offer, present,
grant, bestow’)
продеть < **prodēti* | *pradhā* ‘to place or set before’
прожжёт < **prožžetь* | *pradahati* (*pradah* ‘to burn’)
прожигает < **prožīgajetь* | *pradāhayati* (*pradah* ‘to cause to be
burned’)
прознять < **proznāti* | *prajānāti* (*prajñā* ‘to know, understand, discern,
distinguish, know about, be acquainted with’)
пойти < **projiti* | *prayāti* (*prayā* ‘to go forth, set out, progress’)
пронесёт < **pronesetь* | *pranaśati* (*pranaś* ‘to reach, attain’)
пропадает < **propādājetь* | *prapādayati* (*prapad* ‘to cause to enter’)
пропадёт < **propādetь* | *prapadyate* (*prapad* ‘to fall or drop down
from’)

пронечём < *propečety | *prapacati, prapacate* (*prapac* ‘to begin to cook’)

пронихаем < *propīxājety | *prapeṣayati* (*prapiṣ* ‘to pound, grind or crush to pieces’)

проплываем < *proplyvājety | *praplāvayati* (*praplu* ‘to cause to float or sail away’)

проплывём < *proplovety | *praplavate* (*praplu* ‘to go to sea, float or sail away’)

проседаем < *prosēdājety | *prasādayati* (*prasad* ‘make clear, purify’)

просидим < *prosīdīty | *prasīdati, prasīdate* (*prasad* ‘to settle down’)

просмеётся < *prosmějety | *prasmayate* (*prasmi* ‘to burst into laughter’)

проснём < *prosp̄rīt̄y | *prasvapati, prasvapiti* ‘to fall asleep, go to sleep, sleep’ (*prasūp* ‘asleep’)

простереть < *prostertī | *prastrī* ‘to spread, extend’

просушим < *prosūsīty | *praśuṣyati* (*praśuṣ* ‘to dry up, become dry’)

протопим < *protopīt̄y | *pratapati* (*pratap* ‘to give forth heat, burn, glow, shine’)

прочитаем < *pročitājety | *pracetayati* ‘to make known, cause to appear’ (*pracit* ‘to know or make known’)

прошибём < *prošībety | *prakṣipāti, prakṣipate* (*prakṣip* ‘to cast, hurl, throw or fling at or onto’)

съ- | saṃ-

свезём < *s̄vezety | *saṃvahati* (*saṃvah* ‘to bear or carry together or along or away, take, convey, bring’)

свернём < *s̄v̄r̄nety | *saṃvr̄ṇnoti, saṃvr̄ṇute* (*saṃvr̄ṇ* ‘to cover up, enclose’)

сгребаем < *s̄grebājety | *saṃgribhāyati* (*saṃgribh* ‘to grasp together, seize, snatch’)

сдавать < *s̄dātī | *saṃdadāti* (*saṃdā* ‘to give together’)

слагаем < *s̄lāgājety | *saṃlāgayati* (*saṃlag* ‘to attach to, put or place firmly upon’)

слизать < *s̄l̄zātī | *saṃlih, saṃrih* ‘to lick up, devour, affectionately’

смутим < *s̄m̄ṣīt̄y | *sammá[n]thyate* (*sam-math* ‘to bruise or pound together, crush to pieces’)

смуцаем < *s̄m̄ṣ̄’ajety | *samma[n]thayati* (*sam-math* ‘to bruise or pound together, crush to pieces’)

снотим < *s̄n̄oṣīt̄y | *saṃnásē* (*saṃnás* ‘to reach, attain’)

сосьём(ся) < *s̄v̄vjety | *saṃvyayati* (*saṃvi* ‘to roll or cover up; wrap one’s self in’)

сожжём < *s̄ž̄žety | *saṃdahati* (*saṃdah* ‘to burn together’)

сожрём < *s̄ž̄žrety | *saṃgirati* (*saṃgir* ‘to swallow up, devour’)

сознать < *sʒznā́tī | samjñā́ ‘to be of the same opinion’
созовѣм < *sʒzʒvetʒ / *sʒzyvājetʒ | samhvayate (samhva ‘to call out loudly, shout together’)
созреть < *sʒzʒrētī | samjīryati (samjīr ‘to become old together’)
сойти < *sʒjʒtī | samyāti (samya ‘to go or proceed together, to come to or into’)
сотрясѣм < *sʒtrʒsetʒ | samtrasat, -trasyati (samtras ‘to tremble all over’)
сотрясаем < *sʒtrʒsājetʒ | samtrasayati (samtras ‘to cause to tremble, frighten, terrify’)
сочиним < *sʒčīnītʒ | samcinoti, samcinute (samcin ‘to heap together, pile up, heap up; to arrange, put in order, to gather together’)
сходит < *sʒxodītʒ | samskandati (samskand ‘to drip or trickle off’)
считает < *sʒčītājetʒ | samcintayati (samcīt ‘to think about, think over, consider carefully, reflect about’)
сшивѣм < *sʒšībetʒ | samkṣipati (samkṣip ‘to through or keep together’)
сшивать < *sʒšīvatī | samśīvyati (samśyu ‘to sew together’)
сшитый < *sʒšītʒ | samśyūta (samśyu ‘to sew together’)

у- | ава-

узнать < *úznā́tī | avajānā́ti (avajñā́ ‘to disesteem’)
уйти < *újʒtī | avayā́ ‘to go or come down’
усидит < *úsīdītʒ | avasīdati (avasād ‘to sit at’)
уседает (диал.) < *úsēdājetʒ | avasādayati (avasād ‘to make sit at’)
усушит (диал.) < *úsūšītʒ | avasūśyati (avasūś ‘to become dry’)
ушибѣм < *úšībetʒ | avakṣipati (avakṣip ‘to cast, hurl, throw or fling at or onto’)

Сопоставление приставочных глаголов русского и санскрита подтверждает большинство прежних сопоставлений глагольных бесприставочных основ: *берѣм* | bharati 4 bharate 2; *будит* | bhudyate; *буждает* | bhodayati; *бываем* | bhavayati, bhavati 2; *бываем* | bhāvayati, bhāvayate 2; *ведает* | vedayati; *веет* | vāti; v • ti 3; *везѣм* | vahati 7; *везут* | vahant; *вернѣм* | vṛiṇnoti, vṛiṇute; *вуть* | vye; *воротит* | vartate 2 vartati; *вращает*, диал. *вертает* | vartayati, vrt; *вьѣм* | vyayati; *гребаем* | gribhāyati; *дать* | аог. dāt; dadāti dā 4; *десть* | dhā dhāti 2; *доуть* | dhe; *дуть*, *дму* | dhāmati, dhmā; *ежать* | yacchati; *ежену* | hanti, han; *ежѣм* | dahati 4 dākṣat; *еживляет* | jīvyati; *ежигает* | dāhayati; *ежрѣм* | girati; *знать* | jñā 4; *зовѣм* | hvayate, hve 2; *зреть* | jīryate, jīryati 2; *идти* | yā yāti 5 yeti; *карает* | kārayati; *кашлять* | kāsate; *кидает* | codayati; *лагает* | lāgayati; *лизать* | lih, rih; *лунает* | lepayati; *липнуть* | lip; *любить* | lubh; *любляет* | lobhayati; *меняет* | māpayati; *мереть* | mṛi; *минет* | min-

oti; *mṛēm* | *marati*; *мутум* | *manthati*, *má[n]that* 2; *муцаем* | *ma[n]thayati*; *несѣм* | *naśati* 2; *носум* | *náse*; *нудум* | *pass. noduyate*; *нуждаем* | *caus. nodayati*; *падаем* | *pādayati* 3; *надѣм* | *padūyate* 2; *насаемся* | *paśyati*; *надѣм* | *padati*; *пекаем* | *pācayati* 2; *печѣм* | *pacati*, *pacate* 2; *писать* | *piśat*; *пихаем* | *peṣayati*; *плаваем* | *plāvayati*; *пльваем* | *plāvayati* 2; *плывать* | *plāvati*; *пльвѣм* | *plavate* 5 *plavati* 3; *паяем, поить* | *pāyayati*; *просить* | *pracch* 2; *пѣм* | *pibati*; *садум* | *sidati*; *седаем* | *sādayati* 2; *сидум* | *sīdati* 5 *sīdate* 2; *слушать* | *śru*; *смеѣмся* | *smayate*, *smayati* 2; *смеяться* | *smi*; *совывать* | *suvati*; *снум* | *svapati*, *svapiti*; *стать(ся)* | *ṣṭhā* 2; *стереть* | *stri*; *стлать* | *stri*; *сунет* | *sunoti*; *сушум* | *śuśyati* 3; *сыхаем* | *caus. śośayati*; *торопеем, терпнем* | *tarpayati*, *trip*; *мешем* | *takṣati takṣatam*; *тонум* | *tapati* 3 *tāpat*, *tapayati*, *tapuyate*; *трясаем* | *trasayati*; *трясѣм* | *tra-sat*, *trasyati*; *ходум* | *skandati* 2; *чешем* | *kaṣati*; *чинум* | *cinoti*, *cinute*; *чумаем* | *cetayati*; *чумаем* | *cintayati*; *шибѣм* | *kṣipati* 4 *kṣipate* 2; *шивать* | *sīvyati*; *шумый* | *syūtá* 3; *шьѣм* | *ṣīvyati*. Следует обратить внимание на аналогичные глагольные словообразовательные модели, ступени огласовки корней и суффиксов, переключку значений, отсутствие зачатков приставочной перфективации [Vondrák 1906–1908; ЭССЯ 1–41; ESSJ 1: 160–161]. Реконструкция приставочных перфективов возможна для позднепраславянского языкового состояния (450–550-е гг.) Но, скорее всего, это инновации отдельных славянских языков и новых ареальных группировок славянских диалектов (VII–VIII вв.).

Литература / References

1. Шапошников А. К. Финейды и восточно-индоевропейское языковое состояние // Езикът и културата в съвременния свят. Материали от Международната научна конференция, проведена в Университет «Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас на 22 и 23 юни 2012 г. Бургас, 2012. 560 с. С. 546–552.
2. Шапошников А. К. Палеобалканские языковые реликты и реконструкция раннепраславянского языкового состояния // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии: Материали Международной научной конференции: Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Филологический факультет, 26–28 ноября 2013 г. / Ред. кол.: М. Л. Ремнёва и др. М.: МАКС Пресс, 2013. С. 394–397.
3. Шапошников А. К. Праславянско-санскритские соответствия приставочных глаголов и эволюция праславянского глагольного словообразования // Материали международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова А. Г. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета: 28–29 ноября 2018 года, Москва / Ред. колл.: М. Л. Ремнёва и др. – Москва: МАКС Пресс, 2018. С. 358–362.
4. Рус.-Санскр. Сопостав. Сл. – Борисов К. Л., Шапошников А. К. Русско-санскритский словарь общих и родственных слов / Russian-Sanskrit Dictionary of Common and Cognate Words. [Электронный ресурс] URL: <https://dict.gir.me.uk/> Дата последнего обращения: 10.07.2018.

5. Шапошников А. К. Русско-санскритский словарь общих и родственных слов / Russian-Sanskrit Dictionary of Common and Cognate Words – предварительные результаты электронной сравнительно-сопоставительной лексикографии // Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет. Международная конференция, посвященная 200-летию основания Варшавского университета 6–10 мая 2016 г. Варшава, 2016. [Электронный ресурс.] URL: <https://www...> Дата последнего обращения: 20.09.2017.

6. ЭССЯ 1–41 – Этимологический словарь славянских языков. Пра斯拉вянский лексический фонд / Под. ред. О. Н. Трубачева, А. Ф. Журавлёва, Ж. Ж. Варбот. Вып. 1– продолж. М.: Наука, 1974– продолж.

7. ESSJ – Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky. Koncové partikule. Sest. F. Kopečný. Praha, 1973. P. 160–161;

8. Vondrák W. Vergleichende slavische Grammatik. Bd. I–II. Göttingen, 1906–1908.

**Омонимия производных от *дѣлати* и *дѣлѣти*
в русском языке XI–XVII вв.**

И. А. Шелкова

**Homonymy of the Words Derived from *dělati* and *dělitŭ*
in the Russian Language of the XI–XVII Centuries**

Irina A. Shelkova

ABSTRACT. In the Russian language of the XI–XVII centuries homonymy of the words derived from the verbs *dělati* and *dělitŭ* was represented. In the most cases members of the homogroups functioned in the same historical period and in the same sphere. The words derived from *dělati* were usually more widespread, acquired more lexical meanings and remained in the language. This kind of homonymy is not typical for the modern Russian language.

Keywords: homonymy; homogroup; derived word; homonymic attitude.

АННОТАЦИЯ. В русском языке XI–XVII вв. была представлена омонимия производных от глаголов *дѣлати* и *дѣлѣти*. В большинстве случаев члены омогрупп функционировали на одном историческом этапе и в одной сфере. Производные от *дѣлати* обычно были более употребительны, развивали больше значений и сохранялись в языке. Для современного русского языка такая омонимия не характерна.

Ключевые слова: омонимия; омогруппа; производное; омонимические отношения.

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» отмечено 15 омогрупп, в которых производные от *дѣло*, *дѣлати* совпадают с производными от *дѣлѣти* (например, *отдѣльщикъ*¹, м. ‘тот, кто производит и оформляет раздел земли и т. п.’ и *отдѣльщикъ*², м. ‘тот, кто производит отделку, окончательную обработку чего-л.’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 13: 231]).

Большинство ученых считают **dĕlo* производящей базой для глагола **dĕlati*; основа слова **dĕlo* соотносительна с глаголом **dĕti*, но не является производной от него; оба слова восходят к индоевропейскому корню **dhĕ-* [Преображенский 1: 207–209; Фасмер 1: 496–497; Черных 1: 239; ЭССЯ 5: 7]. «С этимологией праслав. **dĕlo* < и.-е. **dhĕl-*...конкурирует сближение **dĕlo* с литов. *dailė* ‘дело, произведение, ремесло, искусство’» [ЭССЯ 5: 8] (о возможности такого сравнения упоминает и М. Фасмер [Фасмер 1: 496–497]). Для сопоставления с **dĕliti* приводятся корни с дифтонгами: литов. *dailŭti*, гот. *dailjan*, нем. *teilen* [ЭССЯ 4: 233]. Таким образом, глаголы *дѣлати* и *дѣлѣти* этимологически не родственны. При этом не исключено даже разное происхождение

фонемы <ѣ>: в первом корне она, согласно версии о родстве *дѣло* и *дѣлати* с глаголом *дѣти*, возникла из *ѣ, тогда как во втором – из дифтонга.

Итак, члены каждой из рассматриваемых омогрупп восходят к разным корням. Это явление А. Н. Тихонов и А. С. Пардаев определяют следующим образом: «омонимы, образованные на базе созвучных, но не омонимичных и не однокоренных слов, основы которых совпадают, когда они участвуют в словообразовании» [Тихонов, Пардаев 1989: 49]. Данный конкретный случай интересен тем, что каждый корень представлен двумя морфами, омонимически совпадающими с обоими морфами другого корня: *дѣ[л]-¹* (*дѣло*, *дѣлати*) / *дѣ[л]-¹*, после вторичного смягчения полумягких *дѣ[л']-¹* (*о дѣль*) – *дѣ[л]-²* (*дѣль*, *надѣль*, *удѣль*) / *дѣ[л]-²*, позже *дѣ[л']-²* (*дѣлити*).

В число анализируемых омонимических рядов включена омогруппа *дѣльница¹*, ж. – (?) и *дѣльница²*, ж. ‘удел, надел’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 210]. Первый омоним иллюстрируется в словаре единственным примером из «XIII слов Григория Богослова»: *Дѣльница по чювьству*; данный контекст не позволяет не только точно установить лексическое значение первого из омонимов, но даже и предположить его связь с *дѣло* или *дѣлити*. В «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского тот же пример дан с греческим соответствием слову *дѣльница* – *ἐργαστήριον* [Срезневский 1: 791], однокоренным с *ἐργον* ‘деяние, дело, поступок’ [Коссович 2012: 131] (ср. тж. *ἐργαστήριον* ‘рабочая лавка, фабрика’ [Коссович 2012: 131]). «Словарь древнерусского языка XI–XVII вв.» фиксирует тот же фрагмент в более широком контексте: *И еще и къ ѣланымъ добро главу очищати. яко же са глава очищает(т) дѣльница по чювьству* («Григория Богослова 16 слов с толкованиями Никиты Ираклийского», XIV в.); слово *дѣльница* при этом определено при помощи отсылки к *дѣлательница* ‘мастерская’ [СДРЯ 3: 161–162]. Всё это позволяет предположить, что первый из членов омогруппы восходит к *дѣло*.

Все 15 омогрупп именные: среди них 10 субстантивных (в том числе 1 состоящая из субстантивированных прилагательных: *отдѣльная¹*, ж. ‘документ о разделе земли и т. п.’ и *отдѣльная²*, ж. ‘помещение, где производится окончательная обработка чего-л.’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 13: 230]) и 5 адъективных.

По данным словаря, большинство омогрупп являются двучленными, 2 включают в себя по 3 омонима, 1–4. Однако вопрос о количестве членов в некоторых омогруппах оказывается спорным.

Так, например, омогруппа *дѣльный*¹⁻³ состоит из следующих слов: *дѣльный*¹ – 1) ‘обработанный, выделанный’; 2) ‘имеющий дель (о бортном дереве)’; 3) ‘предназначенный для изготовления чего-л.’; 4) ‘вложенный в дело, находящийся в деле в виде ссуды’; 5) ‘пригодный для военных действий (о людях)’, *дѣльный*² – 1) ‘отделенный, выделенный’; 2) ‘закрепляющий, регистрирующий раздел (о документе)’ и *дѣльный*³ – прил. к *дѣло*² ‘пушка’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 210] (чешск. *dělo* ‘орудие, пушка’ и польск. *działo* ‘пушка’ даны А. Г. Преображенским в статье *дѣло* [Преображенский 1: 208], П. Я. Черных – в статье *делать* [Черных 1: 238–239]). Очевидно, что одно из значений первого омонима – *дѣльный*^{1,2} – восходит не к *дѣло*, а к *дѣль* ‘устройство в виде углубления в бортном дереве для пчел’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 209]. М. Фасмер связывает *дѣль* с литовским *dėjele* ‘дерево, выдолбленное для пчел или предназначенное для выдалбливания’ [Фасмер 1: 497]; авторы же «Этимологического словаря славянских языков» первым из значений существительного *дѣль* упоминают ‘раздел’ (источник – книга Иисуса Навина по списку XIV в.) и считают это слово соотносительным с *дѣлти* и *дѣль*, тогда как «отношение к лтш. *dējele, dējela* ‘дерево с бортью’ нуждается в дополнительном изучении и уточнении», а со стороны *дѣло* возможно «эпизодическое влияние» [ЭССЯ 5: 10]; А. Г. Преображенский приводит *дѣль* ‘борть, отверстие в улье’ в качестве диалектизма в статье *дѣло*, не объясняя связи между этими словами [Преображенский 1: 208]. Тем не менее в данном случае представляется возможным говорить об омогруппе из четырех прилагательных – соответственно к *дѣло*¹, *дѣль*, *дѣлти* и *дѣло*² ‘пушка’, так как *дѣльный* ‘имеющий дель (о бортном дереве)’ семантически далеко и от *дѣлти*, и от *дѣло*.

Омогруппа *продѣлка*¹, ж. ‘выделка, обработка; изготовление’ и *продѣлка*², ж. ‘ошибка, просчет (в дележе, в каком-л. деле)’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 20: 119] представлена как состоящая из двух членов, однако в дефиниции второго омонима присутствуют слова *дележ* и *дело*; в одном примере, иллюстрирующем это слово, речь явно идет об ошибке в дележе, а в другом – об ошибке в деле: *Добычею было намъ промежь собя дѣлтица повытно, и по грѣхомъ, государь, какова продѣлка учиница, и намъ ту продѣлку платити повытно же* (Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства, 1568 г.) – *Аще ли по сей последующей мысли учнетъ кто дѣлати, и в томъ однолично продѣлки не будетъ и убытку въ томъ не учиница, а почать дѣлати такъ* (Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки, XVII в.). Таким образом, *продѣлка* ‘ошибка в дележе’ и *продѣлка* ‘ошибка в деле’, мотивированные разными производящими, представ-

ляют собой омонимы, а не лексико-семантические варианты одного слова; в этом случае омогруппа включает в себя 3 члена: *продгьлка*¹ ‘выделка, обработка; изготовление’, *продгьлка*² ‘просчет в дележе’ и *продгьлка*³ ‘ошибка в каком-л. деле’.

Что же касается омогруппы *подгьльный*¹ – 1) ‘имеющий основания’; 2) то же, что *поддгьльный*² ‘приправленный медом, соками, пряностями и т. п. (о квасе, пиве)’ и *подгьльный*² – в выражениях *подгьльные деньги*, *подгьльный рубль* ‘деньги, предназначенные для дележа между кем-л.’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 15: 255], то ее тоже было бы неточно считать состоящей из двух членов, поскольку в качестве значений первого прилагательного даны слова, занимающие разное место в словообразовательном гнезде *дгьло* и довольно далекие друг от друга по смыслу: *подгьльный*¹ ‘имеющий основания’ связано с *дгьло* (ср. *не по дгьлу* ‘незаслуженно’ в памятниках 1627 и 1663 гг. [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 207], *по дгьломь* ‘заслуженно’ – «Домострое» XVI–XVII вв. [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 208]), тогда как *подгьльный*² ‘приправленный медом, соками, пряностями и т. п. (о квасе, пиве)’ образовано от *поддгьлати*³ ‘приправить чем-л. (напиток), сдобрить’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 15: 250]. Еще в одном значении слово отражено в «Пандектах Никона Черногорца» (список конца XIV в.): *подгьльнь* ‘неглавный, второстепенный’ [СДРЯ XI–XIV вв. 6: 689].

Несколько производных от *дгьло*, *дгьлати* представлены еще в одной омогруппе: *недгьльный*¹ – 1) ‘воскресный, относящийся к воскресенью’; 2) ‘относящийся к неделе (семидневному сроку); продолжающийся неделю, исчисляемый неделями’; 3) в знач. сущ. *недгьльная*, ж. ‘служба с понедельной сменяемостью выполняющих ее лиц’; 4) ‘исполняющий службу в течение недели (при понедельной сменяемости)’, *недгьльный*² ‘не имеющий основания, несправедливый’, *недгьльный*³ – 1) ‘не оборудованный (для чего-л.)’; 2) ‘не превращенный в изделия (о материале), имеющий вид слитков, досок’ и *недгьльный*⁴ – 1) ‘неделимый’; 2) ‘неделеный или не подлежащий разделу’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 11: 72–73]. Первый из этих омонимов семантически наиболее далек от исходных *дгьло*, *дгьлати*, однако, как известно, первоначальное значение слова *недгьля* – ‘воскресенье’, то есть ‘день, когда нельзя работать, делать’; А. Г. Преображенский приводит значение ‘праздник’ [Преображенский 1: 208]. По мнению авторов «Этимологического словаря славянских языков», это «ранняя калька с *ἡ-πρακτος ἡμέρα* ‘нерабочий день’, причем для перевода было использовано... обозначение безделья, бездельника», и «на калькированность указывает ж. р. ввиду первоначальной отнесенности... к названию дня ж. р. (*ἡμέρα*)» [ЭССЯ 24: 116]. М. Фасмер считает более вероятным калькирование латинского *feria*, *diēs feriāta*, а перенос назва-

ния с воскресного дня на неделю, начинающуюся с воскресенья, объясняет наличием двойного значения у греческого τὰ σάββατα, «поскольку суббота считалась символом недели» [Фасмер 3: 57]. П. Я. Черных вообще не видит оснований предполагать калькирование [Черных 1: 566].

Чаще всего данные памятников письменности позволяют говорить о бытовании членов омогруппы на одном историческом этапе и в одной сфере употребления. Например, существительные *подгль*¹, ж. – 1) ‘второстепенная обязанность, дело, работа, исполняемая после главного дела, обязанности’; 2) ‘земля, расчищенная в лесу под пашню’ и *подгль*², ж. ‘доля, часть’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 15: 255] оба функционировали в деловых памятниках XVI в. Правомерно допустить возможность реальной омонимии и тогда, когда члены зафиксированной в словаре омогруппы одновременно существуют в языке, но различаются сферами функционирования, как *дгльецъ*¹, м. ‘тот, кто производит раздел’ и *дгльецъ*², м. ‘деловитый, способный человек’ [СлРЯ XI–XVII вв. 4: 205]: первый омоним представлен в списке пространной редакции «Русской Правды» (XII в.), выполненном в XV в., а второй – в Прологе 1383 г. (*дгльецъ* ‘делатель, мастер’) [СДРЯ XI–XIV вв. 3: 162] и «Житии Стефана Пермского», написанном Епифанием Премудрым (список XV–XVI вв. с памятника XV в.) [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 205].

Немногочисленны случаи потенциальной омонимии. Так, слово *недгль*¹, м. ‘ленивый’ употреблено в Пандекте Антиоха Черноридца XI в., а *недгль*², ж. ‘имущество, не подлежащее разделу или неделенное’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 11: 72] – в документе 1509 г. из архива П. М. Строева (обращение к «Материалам для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского позволяет убедиться, что это разъезжая грамота [Срезневский 2: 379]), то есть временной разрыв между фиксациями омонимичных лексем в письменности значителен, а потому их сосуществование в языке представляется маловероятным.

Судя по материалам «Словаря русского языка XI–XVII вв.» и «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.», в большинстве случаев производные от *дглати* были более употребительны, чем от *дгльити*, и имели больше лексико-семантических вариантов – последнее отмечено для 7 из 15 омогрупп, например: *дгловой*¹ (*дгловый*) – 1) ‘пригодный для обработки или обрабатываемый (о земле)’; 2) ‘наиболее благоприятный для работ; страдный (о времени года)’; 3) ‘предназначенный для производства работ или хранения материалов (о помещении)’; 4) ‘рабочий, тягловый (о лошади)’; 5) ‘мастерской, занимающийся каким-л. делом, не обрабатывающий землю’ и *дгловой*² – 1) ‘полученный в результате раздела (дележа); выделенный’; 2) ‘закрепляющий, регистрирующий раздел (о документе)’; 3) в знач. сущ. *дгловая (грамота)* ‘документ на

раздел чего-л.’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 208–209]. Это объясняется более широким, менее конкретным значением глагола *дѣлати*. Только в I омогруппе лексико-семантических вариантов больше у производного от *дѣлити*: *передѣль*¹, м. – 1) ‘переработка, переделка (монетного металла)’; 2) ‘пошлина, взимаемая за переработку соли’; 3) ‘партия товара, изготовленная, переработанная за один прием’ (?) и *передѣль*², м. – 1) действие по глаголу *передѣлити*; 2) ‘граница, межа’; 3) ‘область, страна, округ’; 4) ‘отделенная перегородкой часть помещения’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 14: 234]. В остальных 7 омогруппах оба омонима являются однозначными словами, как, например, прилагательные *передѣльный*¹ ‘переработанный, переплавленный’ и *передѣльный*² ‘относящийся к разделу, делению’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 14: 236], связанные с *передѣль*¹⁻² отношениями отраженной омонимии.

К настоящему времени рассматриваемые омонимические ряды претерпели различные изменения.

Подверглись разрушению 7 из 15 омогрупп: от каждой в языке осталось только по одному слову, которое не приобрело новых омонимов, а значит, фонетически и / или графически не совпадает ни с каким другим словом (как подчеркивает Л. В. Малаховский, «основной структурной единицей омонимии языка является не отдельный омоним, а группа омонимичных друг другу слов» [Малаховский 1990: 57]). Во всех 7 случаях сохранились производные от *дѣлати* (*делец*, *деловой*, *дельный*, *отделка*, *отдельщик* ‘рабочий, занятый отделкой чего-л.’ [ССРЛЯ 8: 1348], *проделка*, *раздельщик* ‘рабочий, специалист по разделке – обработке, приготовлению для чего-л.’ [ССРЛЯ 12: 284]).

Сохранившиеся в языке слова могут приобретать новые лексико-семантические варианты. Например, если в русском языке XVII в. *продѣлка*¹ – ‘выделка, обработка; изготовление’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 20: 119], то в современном русском языке наряду с этим значением (по одним данным – устаревшим [ССРЛЯ 11: 1030; БАС РЯ 21: 9], по другим – характерным для разговорной речи [<http://feb-web.ru>]) представлено и другое – ‘действие, поступок предосудительного характера’ // ‘завбавная выходка, шутка’ [БАС РЯ 21: 9].

Возможно также изменение семантики слова, сопровождающееся привнесением новой коннотации: слово *дѣлец*² ‘деловитый, способный человек’ [Сл РЯ XI–XVII вв. 4: 205] выражает положительную оценку, тогда как современное *делец* ‘человек, который ловко и не стесняясь в средствах ведет дела’ [Ожегов 1990: 161] – явно отрицательную. Интересно, что в этом ряду есть и промежуточное звено – представленное в Картоотеке Древнерусского Словаря *делец* ‘составитель, сочинитель’, значение которого не содержит оценочного компонента: *Сихъ басней дѣльцы суть: Орфей, Гомеръ, Гезіодъ и Овидій* [Писмовник I: 375].

Исчезли из литературного языка 5 омогрупп (*дельница*¹⁻², *недѣль*¹⁻², пара субстантиватов *отдѣльная*, *подѣль*¹⁻², *подѣльный*¹⁻²). «Толковый словарь русского языка» по редакцией Д. Н. Ушакова фиксирует в качестве историзма прилагательное *отдельный*, «по знач. связанное с разделом, отделом имущества», с примером *отдельная грамота* [<http://feb-web.ru>] (но не субстантиват *отдельная*).

Омогруппа *недѣльный*¹⁻⁴ сократилась – из 4 ее членов в русском языке представлены только 2: *недѣльный*¹ (разг.) ‘несерьезный, неосновательный’ (примеры из произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. Ф. Одоевского) и *недѣльный*² – 1) ‘продолжающийся в течение одной недели, длящийся неделю’ // ‘рассчитанный на неделю’ // ‘образовавшийся, полученный и т. п. за неделю’ // ‘родившийся неделю назад’; 2) устар. ‘еженедельный’ (примеры из произведений А. С. Пушкина, С. Т. Аксакова) [БАС РЯ 11: 587–588] (эту омогруппу фиксируют также «Словарь современного русского литературного языка» [ССРЛЯ 7: 799] и «Словарь омонимов русского языка» Н. П. Колесникова [Колесников 1995: 283]). Оба сохранившихся омонима этимологически восходят к *дѣлати*.

Для современного русского языка не характерна омонимия между производными от *делить* и *делать*. Из рассматриваемых 15 омогрупп сохранились только 2: *перedel*¹ – 1) ‘деление на части заново и иначе’; 2) ‘перераспределение крестьянских наделов по едокам (при общинном землепользовании)’ и *перedel*² – 1) ‘переработка грубых сортов металла в более высокие’ (спец.); 2) ‘претерпевание затруднений, пребывание в крайне неблагоприятных условиях; перedelка’ (разг.). [Колесников 1995: 353–354]; *перedelный*¹ – к *перedel*¹₂ и *перedelный*² – к *перedel*²₁ [Колесников 1995: 354]. Судя по данным словарей омонимов, другие такие омогруппы в литературном языке не представлены.

В современных диалектах, согласно данным «Словаря русских народных говоров», сохранилось больше производных от *дѣлати*, чем от *дѣлти*. Так, есть слова *делѣц* – 1) ‘деловой умный человек’ (орл.); 2) *ночной делѣц* ‘разбойник’ (Архив АН без указ. места и года) [СРНГ 7: 342], *пóдѣль*, ж. ‘верфь для постройки речных судов’ (волог., арх., беломор., север.) [СРНГ 28: 1], *подѣльный* – 1) ‘поделочный’ (арх.) // ‘служащий для изготовления поделок’ (твер.); 2) ‘исправный, пригодный для работы’ (твер.); 3) ‘дельный, настоящий’ (перм.) [СРНГ 28: 1], *продѣлка* ‘вторичная пахота’ (моск.) [СРНГ 32: 121], но нет омонимичных слов, восходящих к *делить*.

Сохранение производных от глагола *дѣлати* можно объяснить его большей употребительностью.

Литература / References

1. Большой академический словарь русского языка. Т. 4, 11, 14, 16–17, 21–22. СПб.: Наука, 2006–2013.
2. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 672 с.
3. Коссович И.А. Древнегреческо-русский словарь. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 368 с.
4. Малаховский Л.В. Теория лексической и грамматической омонимии. Л.: Наука, 1990. 283, [1] с.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Русский язык, 1990. 921 с.
6. Писмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещесловия. 4-е изд., вновь выправл., приумнож. и разделенное на 2 части профессором и кавалером Николаем Кургановым. Ч. 1. СПб., 1790.
7. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Вып. 1. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1910. 680 с.
8. Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 3–6. М.: Русский язык, 1990–2009.
9. Словарь русских народных говоров. Вып. 7, 28, 32. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972–1998.
10. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 4, 11, 13–15, 18, 20, 21 / Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М.: Наука, 1977–1995.
11. Словарь современного русского литературного языка. Т. 3, 7–12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1961.
12. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1893–1912.
13. Тихонов А.Н., Пардаев А.С. Роль гнезд однокоренных слов в системной организации русской лексики. Ташкент: Фан, 1989. 144 с.
14. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Сов. энци.: ОГИЗ, 1935–1940. [Электронный ресурс.] URL: <http://feb-web.ru>. Дата последнего обращения: 13.01.2019.
15. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2–3. М.: Астрель: АСТ, 2007.
16. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Русский язык, 1999. 624 с.
17. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 4–5 / Под ред. О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1977–1978.

Литературная обработка говоров помаков северной Греции (особенности графики и грамматики)¹

М. Н. Белова

Literary processing of Pomak dialects of the North Greece (graphic and grammatical features)

Maria N. Belova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/225-232

ABSTRACT. The article discusses an attempt to create a processed, codified language based on the Slavic dialects of the North Greece in the areas of the cities Xanthi and Kommotini using Greek and rarer Latin graphics. The main material for the study is the archiv materials of the newspaper «Zagalisa», published for several years in the newly created «Pomak language». The article describes the main features of the graphic system, including some inconsistent ways of adapting Greek graphics to the Slavic dialect, phonetic and grammatical features of the dialects, as reflected in written materials and video tutorials.

Keywords: Bulgarian dialectology; «Pomak language»; codification; graphics.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается попытка создания обработанной, кодифицированной формы языка на основе славянских говоров Северной Греции в областях городов Ксанти и Коммотини с использованием греческой и реже латинской графики. Основным материалом для исследования послужили архивные материалы периодического издания «Загалиса», несколько лет издаваемого на вновь созданном «помакском языке». В статье описаны основные черты графической системы, в том числе не всегда последовательные способы приспособления греческой графики к славянскому диалекту, фонетические и грамматические особенности говоров, отраженные в письменных материалах и видеоуроках.

Ключевые слова: болгарская диалектология; «помакский язык»; кодификация; графика.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00471.

Во второй половине 90-х годов XX века в Северной Греции в области современных городов Ксанти и Комотины – соответственно Ксантійско и Гюмюрджинско в болгарской терминологии – возник весьма интересный феномен, который получил название «помакский язык» («помацко», «помашки език», *πομακική γλώσσα*) и представлял собой попытку создания нового литературного, обработанного языка на основе славянских говоров данных территорий. Сама по себе идея создания литературно обработанного языка в этой южнославянской диалектной области отнюдь не нова, подобные попытки предпринимались несколько раз на протяжении XX века. Например, в 1925 г. после обращения ООН к правительству Греции с декларацией об обеспечении прав меньшинств был издан «Абецедар» на местном битольско-леринском диалекте. В 1953 г. в Эгейской Македонии издается «Грамматика на македонскиот език», адресованная болгарским детям, покинувшим территорию Греции и разъехавшимся по всему миру (изд. «Нова Елада») [Дуличенко 2018: 13–14]. Близкие говоры, а именно говоры Вардарской Македонии, как известно, легли в основу появившегося в середине XX века македонского литературного языка. И это был единственный успешный и состоявшийся опыт кодификации.

Интересен в этой связи также сюжет, связанный с несколько иной болгарской диалектной зоной – с шопскими говорами на территории Сербии. 28 февраля 2014 г. группа болгарских ученых составляет открытое письмо и предлагает Правительству Болгарии направить Сербии протестную ноту в связи с использованием премьер-министром Сербии Ивицей Дачичем термина «шопский язык» в отношении говоров Южной Сербии². Разумеется, в последнем случае речь не шла о какой-либо нормализации или кодификации, а лишь о не вполне удачной шутке, но реакция болгарских образованных кругов весьма показательна.

Появление так называемого «помакского языка» может быть также строго датировано выходом в свет в 1996 г. трех книжек греческого краеведа из города Ксанти Петроса Таохаридиса: «Грамматика помакского языка» (Π. Θεοχαρίδης Γραμματική της πομακικής γλώσσας με φράσις και κειμένα, Θεσσαλονίκη. 1996), «Помакско-болгарский словарь» (Πομακοελληνικό λεξικό, Θεσσαλονίκη. 1996) и «Болгарско-помакский словарь» (Ελληνοπομακικό λεξικό, Θεσσαλονίκη. 1996). 10 мая 1996 г. состоялась их торжественная презентация в Афинах. В том же 1996 году вышла еще одна грамматика помакского языка другого автора Ридвана Караходжи (Καραχούτζα, Ρ. Γραμματική της πομακικής γλώσσας Έκδοση: δ' σωμα στρατού. Απρίλιος 1996), адресованная не школьникам, а воен-

² См. текст открытого письма на <http://www.desant.net/show-news/29838>.

ным, работающим в этом регионе. Кроме того, с 1997 года начинает издаваться там же в г. Ксанти газета «Ζαγάλισα» («Любовь») на помакском языке. Сама печатная газета трудно доступна, но довольно значительное число изданных (архивных) номеров размещено на сайте zagalisa.gr. Номера за 1997–1998 гг. целиком печатались на помакском языке (за исключением некоторых коротких статей на турецком языке), с 1998 г. большая часть материалов дублируется (на славянском и на греческом), что представляет интерес для исследователя, но не свидетельствует о каком-либо закреплении новой письменной нормы, далее с 2001 по 2008 гг. номера отсутствуют и с 2008 по 2012 гг. номера уже почти полностью печатаются по-гречески.

Все перечисленные издания (грамматики, словари, периодическое издание), а также некоторые другие материалы, которые также можно обнаружить на указанном сайте, напечатаны с применением трансформированной, в большей или меньшей степени адаптированной под славянский язык населения данных областей греческой графики. Надо сказать, что опыт применения греческой графики в публицистике есть и в собственно болгарской печати. После открытия болгаро-греческого пограничного пункта Златоград – Термес 15 января 2010 г. местный златоградский орган печати («Златоградски вестник», г. Златоград) печатает часть своих материалов (рубрику в газете) на болгарском литературном языке греческими буквам³ для распространения в Ксантийской области, где проживают помаки (этнические болгары), часто объединенные с болгарами Златоградской области узами родства. Для усвоения греческой графики, примененной к помакскому языку, в 1997 г. также издан детский букварь-пропись («α β τομάτσκου»)⁴.

Отдельно следует сказать о более поздней (нежели две первые) грамматике помакского языка Н. Коккаса «Úchem so Pomátsko» (с греческим подзаголовком «Уроки помакского языка. 25 уроков») 2004 г. Это практическая грамматика – учебник, изданный в латинской графике с применением особых символов. 12 из 25 уроков оформлены также как видеоуроки и размещены в свободном доступе в интернете⁵. В данных видеоуроках показываются страницы из грамматики, а за кадром диктор читает текст. От коротких диалогов на исключительно бытовые темы (в первых уроках) автор учебника (и видеоуроков) к 12 уроку доходят до обсуждения театра и произведений Шекспира и даже предлагает художественный перевод отрывков из «Гамлета».

³ См. об этом: <https://www.zlatograd.com/bg/news/archive/2011/12/07/1267/>

⁴ Доступен по ссылке: <http://zagalisa.gr/content/pomakiko-anagnostiko>

⁵ Pomak Language LESSONS, см., например, урок 12 по ссылке: https://www.youtube.com/results?search_query=pomak

Кроме этих письменных фиксаций в том же городе Ксанти на одном из телевизионных каналов примерно в тот же период (в конце 1990-х) какое-то время велась трансляция коротких новостных блоков на помакском языке, в которых освещались события данного региона.

Таким образом, за два десятилетия накоплен сравнительно большой материал для изучения очередной попытки литературной обработки и письменной фиксации одного из крайних юго-восточных славянских говоров, который в своей основе, несомненно, может быть причислен к группе болгарских родопских говоров. Существующие исследования данного языкового явления, а в связи с этим и самих говоров помаков Северной Греции (ксантийских и гюмюрджинских) имеют как публицистический, научно-популярный, так и собственно научный характер. В первых же грамматиках авторы-греки, разумеется, не называют новый язык вариантом болгарского, как хотелось бы болгарским филологам, а говорят лишь о том, что это один из южнославянских языков. В Болгарии такое употребление термина в отношении письменной фиксации одного из болгарских говоров вызвало протест, авторы статей усматривали в этом исключительно политическую акцию, подобную проводимой ранее на этой территории Греции отуречивания славянского населения. Изобретение нового (неболгарского), хоть и славянского языка, по их мнению, языка призвано отвлечь и оторвать болгарское население Греции от подлинных корней, разорвать родственные узы между жителями родопских помаков и помаков Греции. Для нашего исследования больший интерес, однако, представляют те собственно научные статьи и исследования, которые при сохранении общего «пафоса негодования» все же нацелены, в первую очередь, на изучение грамматических особенностей и графических норм указанных грамматик и словарей. Из наиболее подробных статей следует назвать статью Ив. Кочева [Кочев 1996], а также ряд статей Георги Митринова не только о ксантийских и гюмюрджинских говорах, но и о морфологических и графических особенностях учебников и словарей помакского языка [Митринов 2006; Митринов 2007]. Используя преимущественно две грамматики (Теохаридиса и Караходжи), а также изданные словари, автор статей анализирует варианты применения греческой графики с славянскому диалекту, критически разбирает применение тех или иных графических символов, выделяет некоторые непоследовательности в графической передаче звуков и находит им объяснение чаще всего в недостаточной подготовленности (как филологической, так и собственно в плохом владении фиксируемым языком) авторов изданий. Анализируя графическую систему, Г. Митринов описывает фонетические особенности говоров и приходит к выводу о почти полном совпадении или очень

значительной близости данных говоров и родопских (например, рефлекс *o* или *o*-широкого для четырёх праславянских гласных, частичное отражение особенной родопской редукции и пр.). Митринов также описывает отражение ярких диалектных особенностей в грамматике, которыми изобилует, например, система местоимений [Митринов 2006].

Учитывая опыт изучения данного языкового явления, интересно наблюдать за практическим применением как графической системы, разработанной в первых описательных грамматиках и словарях, так и за некоторыми грамматическими особенностями так называемого «помакского языка».

1. В газетных материалах (в основном 1990-х и начала 2000-х) используется греческий алфавит с обязательной постановкой ударения в слове, что соответствует греческой тридигии. Лишь в одной изданной на территории Северной Греции грамматике применяется латиница в соответствии с традицией турецкого письма⁶.

2. В соответствии с греческой традицией используются буквы и их сочетания для передачи некоторых согласных звуков, не встречающихся в исконных греческих словах. Речь о передаче следующих звуков:

μπ [б] *μπέσε, χομπλαφ*

γκ [г]-взрывной *γκου* [го], но встречается и *γ* вместо *γκ*

ντ [д]-взрывной *τσούντες σα*

3. Нехарактерный для греческой фонетической системы, но представленный в турецких словах гласный [ü] передается буквой *ü*: *τῦτῦνετ*, но может также записываться с помощью сочетания йоты и ипсилона. Интересен сам факт использования ипсилона для лабиального гласного (как известно, в современном греческом языке этот знак стал обозначать [и]), ср. *πιπιύνες, ριόκαμε*.

4. Гласный [у] после твердого обозначается, как и в греческом, диграфом *ου* ср. *χομπλαφ*.

5. Для передачи славянских шипящих звуков у Теохаридиса были предложены особые символы: зет с надстрочной дужкой для [ж], сигма с такой же дужкой для [ш], взрывной *т*- и сигма с дужкой для [ц] и [ч] (два последних звука на письме не отличались). У Караходжи на месте букв с дужками, неудобных для печати, использованы сдвоенные сигма *σσ*, *σς* и зет *ζζ* соответственно. Г. Митринов обращает внимание на несоответ-

⁶ После установления современной болгаро-греческой границы, помаки-мусульмане на территории Греции, не являясь этническими турками, начали обучаться в школах турецкому языку как языку национального меньшинства. Эта традиция продолжается и по сей день. Таким образом, все славянское население этих областей не только говорит по-турецки, но и владеет турецкой грамотой.

ствия звуковой передачи в некоторых случаях, иначе говоря на некоторую путаницу в средствах передачи шипящих и свистящих. В газетных статьях удалось выявить несколько вариантов передачи шипящих. Наиболее частый из них – удвоенные согласные. Кстати, удвоение графемы является распространенным приемом. Например, в заголовках встречается удвоение гласных, вероятно, как средство передачи ударного слога, ср. *ΤΥΤΨΥΝΕΤ*.

Нам удалось выделить следующие варианты передачи шипящих:

[ш]: σσ *σσε πράβιμε, νασσε*
 σ *μπέσε, ντουσμάνε*
 ξ *ντούξινε (душите)*

Звук [шт] передается либо как *σσт*, либо как *στ*.

[ж]: ζζ *μόζζιμε, μπόρζζου (диал. бърже)*
 ζ *ουνтарζάλι*
 ξ *κάξετε (кажете)*

[ч]: обычно τσσ *χίτσς (хич)*

Как видно, не всегда для передачи шипящего знак удваивается. Такое же нестрогое разграничение удвоенного и неудвоенного символа наблюдается и при обозначении свистящего [з]. Таким образом, шипящие и свистящие смешиваются на письме, ср.

[з]: ζ *ιζλέζατ*
 ζζ *γιεζζίκ*
 ξ *ξατφόρετ, γκάξετε (газете)*

4. Для обозначение гласного после мягкого согласного используется как написание гаммы γ, так и йоты перед соответствующей гласной (*ια, ιου* и пр.), или сочетания *γι* перед гласной (*για, γιου*). При помощи γ или реже *ι* передается йотация начального [е], присутствующая в говоре: *γιε, ïε* (глагол-связка *ε*).

5. Орфография газетных статей дает множество примеров передачи на письме редукции гласных, хотя и не последовательно и неоднозначно.

На письме может отражаться редукция

е/и: *μόζζιμε (можеме), πικάρατ, νι στίγκα*

о/у: сужающего типа: *οντ ράμπουτετ, γκουντίνα, ουντίναχα, γκου (го), ουστάβιχα;*

но и *о/а*, так называемое аканье, которое является крайне редким явлением в болгарских говорах, встречается только в родопских диалектах. Последнее совсем или почти совсем не отражается в газетах. Единственный пример, который мне удалось найти в подтверждение существования (хоть и локального) такого типа редукции, пример не совсем однозначный который я склонна трактовать как случай гиперкоррекции

χόμφοβι (хубави). Но если обратиться к практической грамматике Коккаса, то там можно легко обнаружить формы с аканьем:

At kadé si? (Откъде си?)

At Bratankovo. Ti at kade si? (От Братанково. Ти откъде си?)

Tebe bubáryo ti kakvó rábato práy? (Баща ти каква работа върши? Какво работи?)

Однако в тех же диалогах можно обнаружить примеры передачи сужающей редукции, ср. *aku* (ако), *gulatūyen* (големият), *kuga* (кога).

6. Довольно часты случаи передачи на письме оглушения на конце слова (*ντρούκ χϊκϊμετ*) и ассимиляции – как прогрессивной, так и регрессивной (*ναχ χούμπαβου, φσε; ντα ουτφάρετ (да отварят)*).

В некоторых менее нормированных текстах довольно часты неожиданные случаи использования капы *κ* вместо сочетания *γκ* для обозначения звука [г]-взрывного, ср. *νακλέντατ (нагледам), κουντίνι (години)*.

7. Как при записи греческими буквами в газетных статьях, так и при записи латиницей передается ярчайшая фонетическая черта родопских говоров – совпадение в одном звуке (*ο* или *ο*-широком) четырех праславянских гласных (*ь, ъ, е*-носового, *ο*-носового). Ср., следующие примеры: *γκλιόνταμε, προυμενϊότ, κόστета, ντα σα σβόρσατ, πόтет, рέкол*. Однако и этот признак выражен не до конца последовательно, ср. примеры, в которых представлен иной рефлекс *ο*-носового: *пάτισετα (пѣтищата), κάсте (кѣщи)*.

8. Рефлекс гласного «ять» – широкий, ср. *ριάτκι, τριάβα*. Встречаются формы *νѣμα* [нема], но этот глагол содержит узкий рефлекс во многих болгарских говорах, характеризующихся в общем широким рефлексом *я* или позиционным черодованием.

9. В исследуемых текстах удалось обнаружить случаи лабиализации [и]: *ζουβεμε (живеем)*.

Упомянем коротко некоторые яркие морфологические особенности, которые с большей или меньшей последовательностью можно наблюдать как в газетных материалах, так и в практическом учебнике с латинской графикой. Абсолютное их большинство сближает так называемый «помакский язык» с родопскими болгарскими говорами.

1. Самой яркой такой чертой является противопоставление определенного артикля с тремя элементами: *τιτίνετ – τιτίνεζ – (τιτίνεν), φαφ πράχον ι φαφ ραζζντόνα*.

2. Склонение форм существительных и местоимений. Сложная система указательных местоимений: *στσσκου, σα ουγκάντα νάσσισεμ ινσαν, μοζζε να στόρι νάσσεσ χϊκϊμετ ζα нам, ντα βα πράβѐт какнάνου ισστατ*.

3. Аналитические степени сравнения: *váï vaπpeσ. Náï μλόyκοyτοy κyρίáχ. Иногда встречаются, однако, и синтетические формы: ριάτσισ – от ριάτκoy.*

4. Возвратная частица *σá*: *Ράμπουvτίτε σá!*

5. Имперфект на *-σε*: *ράμπουvτισε (работеше)*

6. Будущее время аналитическое с частицей *σσε [ше]*.

7. 1 лицо множественного числа настоящего времени имеет окончание *-με [ме]*: *σσε πράβvμε, ζovβέμε.*

Описанные особенности графики и грамматики, несомненно, свидетельствуют о принадлежности фиксируемого говора к родопским говорам. Довольно значительна, однако, непоследовательность при передаче некоторых славянских звуков, например, шипящих и свистящих. В целом орфография газетных публикаций построена на фонетическом принципе, она отражает массу диалектных черт. Подобная попытка кодификации, хоть и не очень хорошо продуманная и проведенная в языковую практику, интересна не столько для исследователей становления норм правописания, грамматики новой обработанной формы языка на основе одного из говоров, сколько для диалектологов, поскольку в основном представляет собой довольно последовательную фонетическую фиксацию звучащего живого говора. Множество графических непоследовательностей и нарушений при должном истолковании исследователя может послужить дополнительным диалектным материалом. А исследователям, обеспокоенным появлением (созданием) подобного «несуществующего» языка, можно привести вполне оптимистичное возражение: предпринятая попытка создания литературной, обработанной формы на основе ксантийских и гюмюрджинских говоров в конечном итоге может послужить нуждам диалектологов, предоставив им готовый письменно зафиксированный диалектный материал, а следовательно, в целом делу сохранения народных говоров.

Литература / References

1. Дуличенко А.Д. Славянская микрофилология // Славянская микрофилология / Под ред. А. Д. Дуличенко, М. Номати. Тарту: Тартуский университет, 2018. С. 3–18.

2. Кочев Ив. За така наречения «помашки език» в Гърция // Македонски преглед. Година XIX. 1996. Кн. 4. С. 43–56.

3. Митринов Г. Форми на личните местоимения, запазени в южнородопските български говори // Български език. 2006. № 2–3. С. 77–82.

4. Митринов Г. За графичните особености на т. нар. «помашки език» в Гърция // Език и литература. 2007. № 1–2. С. 141–149.

**Отражение культа предков
в обычаях современной русской деревни**

И. А. Букринская, О. Е. Кармакова

**The ancestor cult as reflected in the customs
of the contemporary Russian village**

Irina A. Bukrinskaja, Olga E. Karmakova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/233-240I

ABSTRACT. The paper explores the almsgiving custom drawing on the materials of the recent dialect expedition into Central Russia undertaken by the Department of dialectology and linguistic geography of the Russian Academy of Sciences. The custom has been found to be stable across the modern countryside community due to its relation to the ancestors' cult.

Keywords: the cultural dialect; almsgiving custom; the cult of ancestors.

АННОТАЦИЯ. В работе рассматривается обычай подачи милостыни на материале последних экспедиций Отдела диалектологии и лингвогеографии ИРЯ РАН в говоры Центральной части России. Обычай устойчиво сохраняется в современном деревенском социуме, так как связан с почитанием предков.

Ключевые слова: культурный диалект, милостыня, культ предков.

Экспедиционные записи последних десятилетий (2000–2018 гг.), собранные сотрудниками Отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН в различных регионах Центральной России, дают репрезентативный материал, который позволяет говорить о наличии многих элементов архаического сознания и традиционной культуры в деревенском социуме. В современной деревне наиболее полно и последовательно сохраняется культ предков и связанное с ним неукоснительное соблюдение погребально-поминальной обрядности, сакральное отношение к праздникам, в том числе строгий запрет на работу в дни почитания христианских святых, вера в знахарей и колдунов, в магические действия.

В статье рассматривается обряд подаяния милостыни, один из важных составляющих народной культуры. Милостыня – обязательный атрибут основных моментов жизни: праздников, семейных и календарных обрядов. К ним относятся церковные, аграрные праздники, похороны, дни поминовения усопших (родительские субботы, годовщины со дня смерти и др.). Этнографы, исходя из источников XVIII–XIX вв., делают вывод, что милосердие и подача милостыни нищим были свойственны русскому

крестьянину повсеместно. По материалам экспедиций мы можем говорить о том, что наиболее полно эта традиция сохраняется в русских говорах Поветлужья (говоры, расположенные по течению р. Ветлуги в Нижегородской обл., на север от Нижнего, и в Костромской обл.), которые относятся к Северо-восточной диалектной зоне. Другие особенности обрядовой культуры Поветлужья описаны в [Букринская, Кармакова 2012]. В этих говорах до конца XX в. сохранялся обычай «первой встречи»: первому встреченному человеку следовало подать что-нибудь съестное (пирожок, хлеб, конфету). Вот как подобный случай, произошедший во время Великой Отечественной войны, описывает В. А. Владимиров (1916 г. рождения, пос. Варнавино Нижегородской обл., запись авторов 2002 г. Все диалектные тексты приводятся в орфографической записи или упрощенной транскрипции): *Иду по полю / идёт женщина / вот // мне/ как принято в народе/ первому человеку давать пирожок / сдобный дала // а в то время это было деликатес //* По сведениям М. М. Валенцовой, «в Полесье краюху хлеба давали первому встречному, когда шли крестить ребенка... то же делали словенцы: идя на крещение, они дарили хлеб первому встречному ...» [Валенцова 2002: 195–196]. В описанных обычаях первый встречный осознавался как знак судьбы, посланный свыше, а подношение ему являлось жертвой, т. е. само действие можно рассматривать как своего рода оберег.

Гораздо более широко известен ритуал одаривать первого встречного при похоронах. Такое одаривание, по этнографическим материалам, отмечалось во многих местах северной и восточной России: Архангельской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской обл. Однако не характерно для Вологодской обл., кроме Белозерья, исторически связанного с Новгородом [Кремлева 2001: 681]. Обычай подробно описан и в [Славянские древности Т. 1; Седакова 2004], где приведены названия: *встре'ча* (новг.), *встре'чник*, *пе'рва(я) встре'ча*, *подоро'жна* (владимир), *стре'шник* (костромск.). О. А. Седакова, определяет выражение *первая (перва) встреча* (владимирск., новгород.) как ‘жертву первому встречному во время погребального шествия’. В [СРНГ 5, 28] приводятся сущ. *встре'чник* ‘пшеничный пирог или кусок холста, который отдают первому встречному родственники покойного при выносе его из дома в церковь’, отмечено в Шуйск. Влад., 1850. и *подоро'жник* ‘кусочек холста, который подают на поминование первому встречному, когда несут покойника’, Галич. Костром., 1854.

По данным наших экспедиций, этот обряд сохраняется до сих пор во Владимирской, Нижегородской, Тверской областях. Так, в Поветлужье первому человеку, встреченному процессией, следовало подать узелок (*первая встреча, встречная милостынька*), в котором

была пища и обязательно иголка с ниткой, луковица. Приведем рассказ, записанный нами в 2002 г. (информант – библиотекарь Н. Ю. Козырева, 1948 г. рождения из пос. Варнавино):

Когда везут на кладбище / первая встреча // платок или белый материал собирают / туда хлеб / соль / спички / нитки / иголочка / луковица / сахарку // такой обед накрывают и с иконкой идут впереди всех / и кого первого встречают / тому отдают // он принять должен //

Иголка или луковица выступают как оберег, защищающий от воздействия смерти, а поскольку иголку во многих местах не принято давать *голую*, она подается с ниткой. Как считает О. А. Седакова, «в семантике хлеба угадывается его связь с загробным миром», и в обрядах, связанных с похоронами, хлеб выступает в сочетании с такими компонентами, как вода, огонь, полотно, соль [Седакова 2004: 117]. Как видим из приведенного описания, первому встречному как раз все это и подается. Получить такое подаяние считалось хорошим знаком, взявший должен помянуть покойного, чтобы тому простился самый страшный грех.

Похожий рассказ о *первой встрече* мы услышали в 2016 г. в д. Быкасово Гороховецкого района Владимирской области:

А вот / например / идёт процессия похоронная / и идёт навстречу человек / и ему дают это // это первая встреча / если / например / в первую встречу вот значит / лук / луковица / батон // и если мужчина / можно носовой платочек ещё положить // если женщина / можно / значит / такой платок / значит головной // в общем-то вот так //

– А почему это так важно?

Не могу сказать.

Надо заметить, что во Владимирской и Нижегородской обл. до настоящего времени принято одаривать всех, кто помогал на похоронах (обряжал покойного, нес гроб, икону перед ним и т.д.): мужчинам подавали носовые платки, а женщинам – головные. А Д. К. Зеленин отмечал, что «у севернорусских гости обычно получают после обеда деревянную ложку на память о покойном» [Зеленин 1991: 356]. До последнего времени этот обычай сохранялся в архангельских говорах, с этой целью специально покупали для поминок алюминиевые ложки, которые пришедшие использовали, а потом брали с собой.

В некоторых южных селах принято поминать покойного не только на 9 и 40 день, но и на 20 (полусорочины), так, например в с. Роговатое (Старооскольский р-н Белгородской обл.), в этот день родственники выбирали определенного человека и дарили ему длинный *рушник*, чтобы он его непременно использовал, общей трапезы не предусматривалось.

Известен до сих пор и особый обычай *тайной милостыни*: на 40 или другой поминальный день ночью родные выставляют еду на крыльце соседских домов, желательно, чтобы было 40 милостынь. Если в деревне нет 40 домов, то можно оставить поминание на перекрестке, у колодца, на кладбище или раздать в соседней дереве (записано в пос. Варнавино). С точки зрения носителей говора, перекресток и кладбище являются «опасными» местами, так как здесь смыкаются границы «того» и «этого» миров. Милостыня предназначена для поминания не только покойного, но и всех усопших, которым таким образом прощались тяжкие грехи. В ряде мест было принято класть лепешки, хлеб, пирожки на слуховое окошко. Все понимали, что это поминание, но не всегда знали, кого конкретно следует поминать, поэтому молились за всех усопших (записано в 2015 г. в д. Борисглеб Муромского р-на Владимирской обл.).

Кроме того, в ряде мест Нижегородской обл. было принято делать *потайной обед*:

Косыночку снимают / в нее «потайной обед» складывают / новая мисочка / все продукты для каши // Несут какой-нибудь старинной старушке / она варит / поминает // Лоскуточек может использовать // никто не отказывает //

Каша являлась важнейшем блюдом на поминках, начинающим или завершающим трапезу. Так, в Муромском районе Владимирской обл. было принято подавать не менее 3-х видов каш (запись 2015 г.). Известно, что каша как обрядовая еда, сопровождает многие ритуальные действия: крестины, свадьбу, помочи и др.

В Вышневолоцком районе Тверской обл. известен обычай, который называется *тайный гостинец* (по материалам экспедиции 2018 г.). На 40 или другой важный поминальный день родственники вечером тайно привязывают к ручке двери или калитке соседей что-то сладкое (конфеты, пряники, печенье). Сладкие блюда (кисель, мед, сладкая кутья) наряду с хлебом и кашей должны обязательно присутствовать на поминальном столе. На юге (с. Роговатое) в поминальные дни родственники приходят к соседям с конфетами и просят помянуть их усопшего.

В Поветлужье было принято выносить на свое крыльцо подавание для бедных: еду, одежду, иногда деньги. Это делалось в периоды, значимые для семьи, рода: отел скота, уборочная пора. Подавание выставляли не только на крыльце, но и на перекрестке дорог, на кладбище. До сих пор во Владимирской и Нижегородской обл. обязательно угощают или одаривают человека, пришедшего в дом.

В Муромском р-не Владимирской обл. записан рассказ о том, как нищие в 50-ые гг. ходили по деревням и палочкой стучали по окну, им выносили кусок хлеба или клали его на слуховое окно: *Ну вот еще до*

замужества / вон там сидишь – тук- тук // палочками стучит / нищенка пришла // ну вот / подаешь ей хлеба кусок / ну чё есть даёшь // там лучшие нет ничего // хлеба черного подашь // ходили всё время / просили милостыньки / у кого нет ничего / (А. И. Салтыкова, 1931 г. рождения).

Мы полагаем, что все названные виды подаяния можно расценивать как жертву, выполняющую защитную функцию. В этом обычае просматривается древний культ предков, которые, по мнению информантов, могут как *помогать*, так и *вредить* живым. «Символическими заместителями предков в поминальных ритуалах, как пишет С. М. Толстая, – являются лица, имеющие статус посредников между «этим» и «тем светом», – нищий, странник, богомолец, первый встречный, которым раздавались милостыня, поминальная еда или одежда, предназначенные для поминовения предков» [Славянские древности Т. 4: 250].

Церковное поминание и подача милостыни были обязательными, если родные видели покойного во сне или получали от него какой-либо знак. Ниже мы приводим рассказ, записанный в 2016 г. во Владимирской обл. от З. В. Ореховой (1930 г. рождения), о встрече во сне информантки с ее недавно умершей матерью. Причиной прихода матери становится отсутствие дочери на сороковинах, т. е. нарушение установленного традицией порядка.

Я уже здесь жила / мама умерла // Готовили снохи да сестрёнка <...> // Я уже приеж'ж'ала к готовому / да работала-то //

– Домой приезжали, в Вязники?

Да / в деревню // Доеж'ж'али э-э поездом <...>

А на сорок дней к маме не приехала // Вот / девчонки / какой случай был // Я работала и приехала с ночи / усталая // думаю // я немножко полежу // И со станции Горховец уходил поезд / это уже электропоезд уже... / в час дня // А я приехала в девять часов утра / думаю / я часика полтора полежу / и проспала // Проспала в час / а он в час и отправился // Я так переживала / тах-то меня там ждали / сорок дней маме / я не приехала // Легли спать // Муж с работы приехал и говорит / «Ты чего дома?» / Еще значит я должна еще там / я должна попоздней приехать-то // Я говорю / «Я ведь проспала / я не была в деревне»//

Ну ладно / легли спать // И мне снится сон / что этот сон / я проснулась от этого сна // Значит / слышу / открывается дверь / это мне снится // открывается дверь / входит мама и топает ногами / слышу / я уже вроде проснулась / это я чувствую / что я проснулась // А у меня был сундук (усмехается) / багажом отправляли вот сюда вот / когда замуж выходила // машинку конечно мы с собой взяли / а шобло' (здесь: одежду) / там осеннее / плац / зимнее / там пла'тишки / всё в сундуке утравили багажом // И этот сундук у меня стоял ну на кухне /

што ли в баракe-то // Вот она подошла туда / поставила сумку и говорит // «Фу, как я устала!» Я уже совсем проснулась, бужу его. Он: «Ты чего?» Я грю: «Мама пришла!» Он: «Да ты что?» Я говорю: «Да так!» Ну чего? Он уж боится, я уж его тут наполила (?), он уж боится вставить-то: мама пришла.

Это вот правильно поминки: покойник-то вот приходит А я не явилась, а она ко мне на сорок-то дней-то явилась, сюда к нам, в Галицы. Она, правда, приежжала ко мне в гости-то, но после сорока-то дней-то... Попраснодали, а меня не было. Вот какой случай был.

Утром встала / баушка глухая жила // теперь сама такая же глухая / пошла к ней // «Баушка / мне мама вот и вот как пришла»// «Иди быстрее в магазин / купи там батон // тогда и батон еще праздник был / не у всех и батоны-то были / девчонки / как жили-то // батон купила / еще чего-то / не помню / и подала кому-то // «И подавай милостинку!»

Вот / а проспала // Не пришла на сорок дней к маме / так она ко мне явилас // Это во мне бродит / это я вам сон рассказываю свой сон

– А почему нужно было батон кому-то подать?

Вроде чтобы помянули / шоб помянули //

– А всё равно кому?

Да / да / ну / старались пожилым людям / им отдавать-то // Скажешь там кому / они там переkre'стуются / помянут / или детям глупым / вот сейчас всё детям глупым [Букринская, Кармакова 2018].

Важный вывод усиливается повтором: *я проспала, а она ко мне явилас*. Чтобы загладить вину, необходимо совершить определенное действие, о котором следует узнать у опытных людей: *глухая баушка учит подать милостинку, купить батон*, чтобы помянуть умершего хлебом! Интересен ответ на вопрос: *Кому подают?* – Ну, *старались пожилым людям... или детям глупым*, т. е. самым слабым.

Подобные рассказы о том, как в случае нарушения установленного порядка во сне являются покойные или даже святые, нередко встречается в записях фольклористов, этнографов и диалектологов. В южнорусских говорах на Вознесение, а также на 40 день поминания было принято печь печенье в виде лесенки. Считалось, что по этой лесенке Иисус Христос или же покойный будут подниматься на небо. Этот обряд подробно описан в этнографической литературе начиная с В. И. Даля, Д. К. Зеленина до современных исследователей. По мнению этнографов, основным в этом обряде был аграрно-поминальный мотив, так, на Вознесение лесенки было принято носить к озимому полю и бросать там со словами: «Христос, иди на небеса, ржицу возьми за колоса!» Эти действия являются элементом поминального ритуала 40-го дня [Рязанский край, Т. 1, 2009: 541–543]. Современными говорами аграрный мотив

утрачен, но сама традиция выпекать лésенки и угощать ими друг друга и бедных сохраняется в южнорусских говорах до настоящего времени.

Необычный рассказ о несоблюдении традиции (одна из жительниц села не стала печь лésенку и ей приснился сон) был записан С. В. Дьяченко и И. И. Исаевым в 2012 г. в с. Роговатое от информантки Анастасии Андриановны Дементьевой (1926–2013).

Що он там бох сидить дѣльйе^а? Пришла Дѡнькя, у́варить:

– Тѣтка Нась, ты буи лésенки печь?

– Да Дѡнкя, да у мене вѣда и соль. И мука, ну как ей печь?

– Да падем я мѣльчкя дам.

– У мене ничеуо нѣту.

– Я мѣльчкя дам.

– Дѡнкя, да я лебо ня буду луччи печь. А мѣиа мать хрѣснѣя, пекла лésенку. Вот ѣна вышлѣ на рабѡту итить, и прилеула, и уснула. Виде^а: ѣна зѣлатицѣ, блястить, лésенка, и не хвѣтайа. Ъна: «Тѣтя, я не спекла!» Не хвѣтайе, а у ней мука ржѣная. У(в)стала, на муки нѣмясила, испекла и ѣддѣла [Дьяченко и др. Отчет 2013].

Поминальная обрядность проявляется и в раздаче нищим (и не только нищим) особого печенья (*жаворонки, сороки* и т.д.), которое пекут на день 40 мучеников Севастийских – «сороки», почитаемый еще и как день встречи весны (ст. ст. 9 марта / нов. ст. 14 марта).

Итак, ритуал подаяния милостыни, в том числе угощение, одаривание, сохраняется достаточно хорошо во многих областях России и, как видим, проявляется в различных обрядах, отражая архаический пласт культуры, связанный с культом предков. Такая устойчивость объясняется тем, что деревенский социум всегда ревностно следил за исполнением заведенного порядка каждым членом общества, оберегая свою систему ценностей, поскольку несоблюдение этических норм, по народным представлениям, могло нарушить согласие «этого» и «того» мира и обернуться неприятностями для всей деревни (засухой, неурожаем, градом и под.). Таким образом, многие элементы обряда по-прежнему актуальны, однако, надо заметить, что их первоначальное содержание и магическая функция, как правило, утрачены.

Литература /References

1. Букринская И. А., Кармакова О. Е. Традиционная народная культура и ее отражение в диалектном тексте // ЛАРНГ. Материалы и исследования 2012. СПб., Нестор-История, 2012. С. 265–281.

2. Букринская И. А., Кармакова О. Е. Экспедиция в Гороховецкий район Владимирской обл. // РЯНО. №2 (36). 2018. С. 313–324.

3. *Валенцова М. М.* Первый в славянской традиционной культуре // Признаковое пространство культуры. М., Индрик, 2002. С. 192–208.
4. *Дьяченко С. В., Букринская И. А., Исаев И. И., Кармакова О. Е., Тер-Аванесова А. В.* Экспедиция в село Роговатое Старооскольского района Белгородской области // РЯНО. № 2 (28). 2014. С. 263–281.
5. *Зеленин Д. К.* Восточнославянская этнография. М., 1991. 511 с.
6. *Кремлева И. А.* Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русский Север. Этническая история и народная культура XII–XX вв. М.: Наука, 2001. С. 661–705.
7. Русские Рязанского края / Отв. ред. *С. А. Иникова*. Т.1. М.: Индрик, 2009. 616 с.
8. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Под общей ред. *Н. И. Толстого*. Т. 1–5. М., Индрик, 1999–2012.
9. Словарь русских народных говоров. Вып. 5. Л., Наука, 1976. Вып. 28. СПб.: Наука, 1994.
10. *Седакова О.А.* Поэтика обряда. Погребальные обряды восточных и южных славян. М.: Индрик, 2004. 320 с.

Выражение повторяющегося действия в сербском языке

Б. М. Вельович

Expressing habituality in Serbian language

Bojana M. Veljovic

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/241-248

ABSTRACT. This paper examines the system of verb forms used to express habituality in Serbian language. The analysis uses the corpus material collected in the Zeta-Sjenica dialect, which abounds with verb forms used for expressing actions which repeated in the past according to a fixed order or a habit. The analysis has shown that habitual actions in this dialect can be expressed with: narrative potential, narrative imperative, the construction *bi* + imperative, narrative present and perfect tense forms. These mutually synonymous verb forms are equal within this system and are mostly equally frequent and the differences are present on their syntax-semantic and stylistic levels.

The conclusions obtained through this analysis of the material collected in the given idiom are compared with the circumstances in the standard language and the rest of the Stokavian language space in order to gain insights into the characteristics of the Stokavian terrain in general.

The analysis will show that the narrative potential has stabilized in the standard language in expressing habituality while there is a reverse process in the dialects – the potential has been gradually retreating in favour of the narrative imperative. On the other hand, in the Zeta-Sjenica dialect both forms are equally frequent and a new syntactic construction has been formed for expressing habituality (*bi* + imperative) exclusively. The aim of this paper is to determine language circumstances which enable the existence and parallel use of these synonymous forms.

Keywords: habitual actions; narrative potential; narrative imperative; *bi* + imperative; narrative present; perfect.

АННОТАЦИЯ. В докладе исследуется система глагольных форм, выражающих повторяющееся действие в сербском языке. Отправная точка анализа – полевой материал, собранный на территории зетско-сьеницкого диалекта, который характеризуется богатой системой единиц, выражающих действия, повторявшиеся в прошлом по установленному распорядку или привычке. Установлено, что данную функцию в диалекте могут иметь: нарративное условное наклонение, нарративный императив, конструкция *би* + императив, нарративный презент и перфект. Эти единицы равноправны в системе и, в основном, одинаково частотны, различия же между ними носят синтактико-семантический и стилистический характер.

Результаты анализа сопоставляются с ситуацией в литературном языке и других штокавских говорах с целью выявления особенностей данной системы форм во всем штокавском диалекте.

Установлено, что в литературном языке в функции выражения повторяющегося действия закрепилось нарративное условное наклонение, тогда как в диалектах имеет место обратный процесс: условное наклонение уступает место нарративному императиву. В зетско-сьеницком диалекте обе эти формы одинаково частотны, и кроме них возникает еще особая форма, предназначенная только для выражения повторяемости (*би* + императив). Целью работы является выяснение языковых причин, которые способствуют существованию и параллельному употреблению синонимичных форм.

Ключевые слова: повторяющиеся действия, нарративное условное наклонение, нарративный императив, *би* + императив, нарративный презент, перфект.

1. Радње хабитуалног карактера (дејства која су се у прошлости вршила по утврђеном редоследу, навици или обичају) у српском језику најчешће се обележавају нарративним потенцијалом [Стевановић 1986: 717; Грицкат 1998: 35–40; Танасић и др. 2005: 461]. Исту службу могу вршити и: а) приповедачки презент, који, за разлику од потенцијала, није специјализован искључиво за означавање хабитуалних радњи већ се њиме могу обележавати и прошла појединачна дејства [Танасић 1996; Танасић и др. 2005: 358]; б) нарративни императив, с тим да је он у стандардном српском језику данас сасвим необичан и спада у домен стилске резерве, јављајући се још једино у књижевноуметничком стилу као дијалекатски маркирана јединица у служби стилског средства [Танасић и др. 2005: 456, Пешикан 1956]; в) перфекат, као необележена синтаксичка јединица са најуниверзалнијом семантиком [Ивић 1958: 144]. У стандардном српском језику за обележавање хабитуалности усталио (специјализовао) се потенцијал, коме је, онда када је временски употребљен, то једина служба. Приказане прилике које важе за стандардни језик, међутим, нису уједначене на нивоу народних говора / дијалеката.

2. Предмет овога рада јесте анализа дијалекатске грађе прикупљене на терену зетско-сьеничког дијалекта¹, која за циљ има утврђивање ин-

¹ Грађа за рад прикупљена је у северозападном делу зетско-сьеничког дијалекта, који се простире на територији Републике Србије и обухвата подручје трију општина – Тутина, Новог Пазара и Сјенице. Овај говор, према класификацији П. Ивића, припада северноисточном поддијалекту [Ивић 2009: 49]. Грађа коришћена у анализи прикупљена је од изворних дијалекатских говорника, током спонтаних разговора. У раду се, услед ограничености обимом, прилаже само мали део материјала.

вентара јединица са хабитуалном службом, дефинисање синтаксичко-семантичких особина и домена примене, као и стилских карактеристика. Анализа је показала да зетско-сјенички дијалекат располаже богатим инвентаром јединица са хабитуалном службом.

2.1. Као и у стандардном језику, **наративни потенцијал** у испитиваном говору спада у ред високофреквентних јединица и бележен је у контекстима типа:

Мй *би* по цјо дѧн *рѧдѧли* око конѧплѧ, пѧ *би* нѧјприје конѧплѧ *сѧјѧли*, пѧ *би* је послѧ *брѧли*, па *трѧли*, пѧ послѧ вѧздѧн *ткѧли*.; На Ђурђевдѧн *би ишл'и* и на сѧбор те *би игрѧл'и*, *пѧвѧли*.; Дѧца *би се* код нѧс стѧлно *скѧпљѧла*, млѧго су ме волѧла, *јѧ би* им свѧкад понѧшто слѧтко *спрѧмила*.

Употребљен у временској служби, потенцијал има само једну функцију – обележавање прошлих понављаних радњи које су се у прошлости вршиле по утврђеном (навиком или обичајем дефинисаном) редоследу. О семантици поновљивости, као једној од фундаменталних одлика потенцијала било је доста речи у србистичкој литератури. Истиче се да је то глаголски облик који се у овој служби јавља искључиво у временском релативу [Стевановић 1986: 718], односно да се њиме казују нерференцијалне радње [Танасић и др. 2005: 461], које одликује обухватна поновљивост [Грицкат 1998: 38], те да у том смислу алтернира са перфектом [Ашић и Станојевић 2008: 181]. Основна разлика према перфекту, као стилски неутралној јединици, јесте у томе што приповедање у потенцијалу садржи изражену компоненту евокативности, сугестивности и емотивне ангажованости, насупротив ономе у перфекту, које је обично регистраторско, хладно и фактографско [Ивић 1995: 44]. Приповедање у потенцијалу, дакле, може се квалификовати као говорников носталгичан повратак у прошлост.

Структурни тип дискурса унутар којег је овај облик бележен у нашој грађи погодовао је употреби потенцијала, јер су посредни били разговори о обичајима у вези са годишњим или животним циклусом, сезонским радовима, или су се пак њиме обележавале устаљене радње схваћене као навике, склоности лица о којима се приповеда. Потенцијал углавном ретко може самостално обележити прошлост (већ увек захтева учешће ширег контекста). У нашој грађи најчешће се среће удружен са перфектом, који има службу темпоралног одређења радњи као прошлих, односно има припремну улогу експозиције, пружања темпоралног оквира унутар којег се смештају радње означене потенцијалом и осталим глаголским јединицама чија служба није примарно темпорална.

Потенцијал је у савременом српском језику основно језичко средство за обележавање прошлих понављаних радњи, док се у дијалектима нешто чешће у овој служби употребљава приповедачки императив.

2.2. Са подједнаком фреквентношћу на испитиваном терену у употреби је и **наративни императив**:

Конѡпља се сѣјала овакѡ: најпрѣ *подри*, пā *тѹри* сѣме ѱ земљу, пā оно *нѣкни*, *порáсти*. Мѣ послѣ *чупāј* онѹ конѡпљу, *одвāјāј* црнѡјку и белѡјку.; Л'ежāло се на слāмарице: *напѹни* слāмѣ и л'ѣжи, *окрѣни* хи стрāнѡм пā свā се дѣца *порѣди*, *покрѣ* хи по једнѡм прѣнѡм и дѡбро је.; Она онѹ дѣцу *уфāти* уочи Ђурђевдана и свѣ и *окупāј* лāднѡм водѡм и *испѣљāј* копрѣвāма да бѣдѹ здрāва.

Савремене граматике императив на синхронѡм плану одређују као облик којиме се при временском транспоновању обележавају прошле појединачне или понављане радње, и који се као такав најчешће користи у приповедању, те отуда и назив «приповедачки» и «историјски» императив [Стевановић 1986: 708; Станојчић и Поповић 2005: 395]. У временској служби императив може обележавати како прошле појединачне тако и понављане радње, за разлику од потенцијала којим се обележавају искључиво хабитуална дејства. Онда када обележава вишекратне радње, императив је синониман потенцијалу.

Наративни императив готово потпуно се изгубио из савременог српског језика, где се може срести још једино у књижевноуметничком регистру, као дијалекатски маркирано стилско средство високог степена експресивности. С друге стране, у народним говорима још увек је широко заступљен.

Као и потенцијал, и императив се ретко среће самостално употребљен у ширим контекстима – готово увек се јавља удружен са осталим изофункционалним формама. Најчешће се јавља у низовима предиката којима се обележавају оделите радње схваћене као сегменти ширег, комплекснијег поступка (углавном онда када информатори објашњавају како се обављао неки посао, било да је реч о сезонским или занатским радовима, пословима у домаћинству, обичајима или дечијим играма). Најзад, наративним императивом се на стилском плану остварују мањевише исти ефекти као и потенцијалом (ефекат носталгичности, евокативности и емотивне ангажованости).

2.3. Иако у систему већ поседује две јединице са службом обележавања хабитуалности, језички развој у овом дијалекту ишао је у смеру стварања посебног, специјализованог језичког средства које би вршило искључиво ту службу. Посреди је конструкција творена од елемената претходно наведених облика – **би + императив**:

Онѡ нѣкат: мѣ *би се покѹни*, па *би рāди* по цѣо дāн. Ўвечѣ *би* послѣ сѣдни на посѣдак па *би нѣвāј*, *ѣгрāј*.; Мѣ *би* кѡ дѣца *ѣгрāј* лѡптѣ, пā *би отѣди* на ливāду пā се јури.; Јā *би убѣри*, па хи лѣјепѡ *испѣри*, *тѹри* у вѡду.

Ова конструкција непозната је стандардном језику и остатку српских дијалеката и први пут је забележена у нашој грађи из северо-источног дела зетско-сјеничког дијалекта. У науци је досада помињана искључиво као особеност босанских говора херцеговачко-крајишког дијалекта, где се именује термином *хабитуал* [Брозовић 1958: 346; Халиловић 1985: 51–55; Окука 2008: 77, 290; Ивић 2001: 188].

2.4. Могућност обележавања прошлих понављаних радњи у овоме дијалекту има и **наративни презент**:

Ранјјѐ је долѝзила. *Дбђѐ* ма̀ло, *поседѝ* са на̀ма и *ддѐ*; Грѝшѝли би се. Јѐдан ка̀мѝн а пѝ[т] шѝс дѝле и сѝт *баѝѝиш* онѝ гѝре а онѝ *баѝѝиш* дѝле, љ рѝку ти је, и сѝт кат *фѝтаѝиш*, онѝ *баѝѝиш* гѝре а *уфѝтѝиш* дѝле, *покѝпѝиш* онѝ дѝле што си ба̀цила, ѐто такѝ. Ако *не покѝпѝиш*, излѝјѝечиш се.; Сѝшѝта су нѝкад ра̀дѝли. *Виѝдѝ* некѝг мѝмка, ни нѝ *знѝ* га, *пѝбѝгнѝ*, *удѝ се* за нѝга, ни *не ка̀жѝѝ* ро̀дѝтељѝма.

Наративни презент сасвим је обичан и у стандардном језику и у дијалектима. Његова употреба у наравији мотивисана је чињеницом да овај облик у својој основној служби обележава радње које се врше у тренутку говора, па се као такве могу чулно перципирати. Премештен у сферу прошлости, дакле употребљен у секундарној служби, презент у извесном смислу задржава елементе своје примарне семантике. То значи да се њиме обележене радње, иако у потпуности припадају прошлости, поново актуелизују, оживљавају, приказују као да се одвијају сада, што омогућава да се приповедач, а са њиме и рецепијент, интензивније уживе у прошле догађаје. У овоме, заправо, лежи основни експресивни потенцијал приповедачког презента, стога су разлози његове употребе у наративном режиму казивања у првом реду стилске природе [о овоме детаљније у: Танасић 1996].

Да би се употребио у приповедању, презент нужно захтева присуство перфекта или неког другог језичког маркера којим би се сигнализирало да је посреди прошлост, што се примећује и на основу изложених примера. Без тога, могао би се разумети као индикатив уместо као облик релатива.

2.5. Имајући у виду да у српском језику у целини функционише као облик са најширом семантиком, и да се њиме може обележити било која прошла радња, **перфекат** је бележен и у служби исказивања хабитуалности:

Обла̀чѝли смо се како смо бѝли у могућнос, са̀ми смо *пра̀вили* одећу и обућу, *сѝјали* смо конѝпљу пѝ од тога *тка̀ли* рѝхо; Ми смо ста̀лно *ѝшли* код нѝга, мѝго дѝбро *смо се дру̀жѝли*, *посећѝвали* *смо се*; *Узѝмѝли су се* само Ср̀би са Ср̀пкиња̀ма, ста̀рѝ *нѝјесу да̀вали* да се *узѝмајѝ* дру̀гѝ гѝ вѝрѝ.

У поређењу са свим осталим наведеним облицима, перфекат има најмањи стилски потенцијал. Њиме се, углавном, радње саопштавају само као чињенице из прошлости, без намере говорника да стилски уобличи исказ, делује на саговорника или пак омогући интензивнију рецепцију.

Перфекат у хабитуалној служби у широкој употреби је у стандарном језику и у дијалектима. Јавља се најчешће удружен са осталим облицима којима се обележавају прошле понављане радње и његова основна функција јесте темпорална детерминација, имајући у виду да ни потенцијал, ни императив ни наративни презент углавном не могу самостално, дакле без учешћа контекстуалних чинилаца, радње обележити као прошле.

3. Поређење прилика у анализираном дијалекту са стањем на остатку штокавског језичког простора указује на присуство значајне варијантности. У већем делу идиома долази, као и у стандарду, углавном до стабилизације једне форме, с тим да је језички развој ишао у супротном смеру од стандарднојезичког – ка елиминисању потенцијала на рачун императива [в. нпр. Вуковић 1940: 97; Милетић 1940: 562; Ивић и др. 1997: 388; Младеновић 2000: 500]. У појединим дијалектима, сходно њиховом специфичном развоју, дошло је до другачијег системског развоја, па ову функцију врши, на пример, футур први (тако је у једном делу говора призренско-тимочке зоне, која је део балканског језичког савеза. Особина је, сматра се, унета са стране, посредством македонског) [Ивић 1982: 259–261; Младеновић 2000: 363–371], док је потенцијал у хабитуалној служби непознат а императив редак.

У нашем говору футур први није бележен у служби обележавања понављане прошлости.

4. Анализа грађе показала је да је ситуација у североисточној зони зетско-сјеничког дијалекта сасвим особена – ни у једном другом српском дијалекту није забележено богатство облика са хабитуалном службом какво је овде фиксирано. Поред тога, на синхронном плану нема назнака да је овде такав процес упрошћавања система који би ишао ка стабилизацији једне јединице отпочет јер су сви облици мање-више витални и сасвим равноправни на употребном плану. Осим тога, већ постојећим јединицама придружује се и специфична конструкција за исказивање хабитуалности творена од елемената обају облика (*би* + императив). Ипак, показало се да свака од форми поседује и донекле особене синтаксичко-семантичке одлике, да нема потпуног преклапања функција међу формама, те да постоје и извесне разлике на стилском плану, што уједно оправдава разлоге њиховог опстанка и напоредног функционисања у систему.

Ако се има у виду да је временска сфера прошлости знатно комплекснија од остале две – од садашњости, где говоримо о радњама које су у току вршења; и будућности у коју смештамо радње које се још нису догодиле, па су као такве неизвесне. Дакле, план прошлости знатно је шири – претеритална временска оса протеже се практично дотле докле може сезати људско лично или колективно искуство. Тако комплексна област испуњена је мноштвом радњи које језички треба обликовати тако да се јасно укаже на њихове међуодносе у смислу редоследа вршења, трајања, напоредности и сл. У сврху таквог, прецизног језичког обликовања прошлих дејстава посматраних како појединачно тако и у међусобним прожимањима, језик обликује средства којима ће успети да укаже на најтананије семантичке па и стилске одлике. Ово друго, такође је од значаја, имајући у виду да и дијалекатски текст (дакле не само књижевноуметнички) будући да је обликован као прича информатора, нужно подлеже стилизацији, те и отуда, такође, потреба за разноврсношћу језичких средстава. Овоме у прилог иде и чињеница да су у нашој грађи ретки шири наративни одсеци у оквиру којих би приповедање било обликовано коришћењем само једног од наведених језичких средстава. Наиме, наведени облици најчешће се налазе здружено и међусобно се смењују, и то не само да би се постигло значењско обликовање него и ради остваривања стилског нијансирања израза.

Осим наведених разлога синтаксичко-семантичке и стилске природе плуралитет облика може бити и последица арахиčnosti овога дела српске етнојезичке територије који се налази на периферији, као и његовог контактног положаја, имајући у виду да се ова област налази у граничној зони и додирује се са говорима херцеговачко-крајишког и косовско-ресавског дијалекта, а показује се и значајна еволутивна сличност са говорима територијално блиске призренско-тимочке зоне. Све то омогућило је да систем с једне стране очува наслеђене форме, богаћећи се истовремено новим јединицама специјализован(и)је семантике.

Литература / References

1. Вуковић Ј. Говор Пиве и Дробњака // Јужнословенски филолог, 1940. № 17. С. 1–114.
2. Грицкат И. Потенцијал у служби исказивања хабитуалности // Јужнословенски филолог. 1998. № 54. С. 35–40.
3. Ивић П. Дијалектологија српскохрватског језика, увод и штокавско наречје / Под ред Д. Петровић. Сремски Карловци–Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001. 313 с.
4. Ивић П. Српски дијалекти и њихова класификација / Под ред С. Реметић. Сремски Карловци–Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009. 221 с.

5. *Ивић П.* Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Друга књига: морфологија, синтакса, закључци, текстови // Српски дијалектолошки зборник. 1997. Књ. XLIII. С. 1–571.
6. *Ивић М.* Систем личних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском језику // Годишњак филозофског факултета, 1958. №3. С. 139–152.
7. *Ивић М.* Македонски глаголски облици за овремењавање хабитуалне ситуације у поређењу са српскохрватским // Македонски јазик. 1982. Књ. XXXII–XXXIII. С. 259–261.
8. *Ивић М.* Лингвистички огледи / Београд: Библиотека XX век, 1995. 226 с.
9. *Милетић Б.* Црмнички говор // Српски дијалектолошки зборник. 1940. Књ. IX. С. 209–663.
10. *Младеновић Р.* Футур, потенцијал и императив за прошлост на југозападу Косова и Метохије // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2000. Књ. 43. С. 363–371.
11. *Пешикан М.* О неким специфичностима употребе приповедачког императива // Наш језик. 1956. Св. 7–10. С. 270–275.
12. *Станојчић Ж. Поповић Љ.* Граматика српског језика / Под ред *Б. Марковић.* Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. 411 с.
13. *Стевановић М.* Савремени српскохрватски језик II / Под ред *Н. Дончев.* Београд: Научна књига, 1986. 902 с.
14. *Танасић С.* Презент у савременом српском језику / Под ред *М. Ивић.* Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996. 192 с.
15. *Танасић С., Питер П., Антонић И., Ружић В., Поповић Љ., Тошовић Б.* Синтакса савременог српског језика: проста реченица. / Под ред *М. Ивић.* Београд: Институт за српски језик САНУ, 2005. 1164 с.
16. *Халиловић С.* Хабитуал у штокавском дијалекту // Књижевност и језик, 1985. № 1/2. С. 51–55.
17. *Брозовић Д.* Izvještaj o dijalektološkim istraživanjima u srednjoj Bosni. [Elektronski izvor.] URL: <http://dizbi.hazu.hr/index.php?search=2&paging=1&query=ljetopis+jugoslavenske+akademije+knjiga+65>. Datum pristupa: 15.11.2013.
18. *Станојевић В. Авић Т.* Семантика и прагматика глаголских времена у француском језику. / Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2008. 201 с.
19. *Окука М.* Српски дијалекти. / Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2008. 320 с.

Изба без углов не бывает¹

Е. А. Нefeldова

Hut without corners does not happen

Elena A. Nefedova

ABSTRACT. The article deals with the structure and lexical content of the microfield ‘corner’ on the material of the dialects of the Arkhangelsk region: the semantic structure of the base word *corner*, semantic structures of synonymous words and their derivatives, connotations of corner, which served as the basis for the development of derived meanings and phraseological units.

Keywords: Northern dialects; vocabulary; semantics; semantic microfield.

АННОТАЦИЯ. В статье на материале говоров архангельского региона рассматривается структура и лексическое наполнение микрополя ‘угол’: семантическая структура базового слова *угол*, семантические структуры синонимичных с ним слов и их дериватов, коннотации угла, послужившие основанием развития производных значений и фразеологических единиц.

Ключевые слова: северные говоры; лексика; семантика; семантическое микрополе.

Для традиционного сельского общения характерна взаимосвязь различных функционально-социальных, когнитивных и собственно речевых особенностей. В народной культуре «они образуют многочисленные совмещения, пересечения, которыми отмечены центральные для этой культуры коммуникативные узлы» [Гольдин 2002: 61]. Одним из ярких примеров такого узла могут служить традиционные семейные, религиозные, хозяйственные отношения, а также тесно связанные с ними традиционные обряды, поверья, народный этикет, локализацией которых является крестьянский дом. Значимость дома и связанных с ним отношений нашла отражение и в «Архангельском областном словаре», где слово *дом* и его однокоренные занимают сорок три страницы [Архангельский областной словарь. Вып. 11: 357–400]. Семантическая структура базового слова состоит из двенадцати значений, каждое из которых реализуется в условиях как свободной, так и полусвободной сочетаемости. Многозначность присуща также и его дериватам.

Важной единицей организации домашнего пространства является угол. Угол как часть крестьянской избы традиционно привлекает к себе внимание этнографов, фольклористов, этнолингвистов. Обстоятельная

¹ Работа осуществлена благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 18-012-00745.

словарная статья посвящена углам в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» [Славянские древности 2012]. Культурная и лингвистическая семантика переднего угла описана в [Нефедова 2015]. Разнообразные обычаи, поверья, ритуалы, относящиеся к разным областям жизни сельского жителя, – свидетельство значимости угла в народной культуре.

Для северно-среднерусского типа внутренней планировки жилого дома характерно расположение печи около входной двери с устьем, обращенным к противоположной от входа стене. При этом печь могла располагаться в левой или правой части избы, от этого зависело и расположение переднего угла. Одной из общих черт русского крестьянского жилища является расположение переднего угла по диагонали от печи. Диагональ «красный угол – печь» является своеобразной осью ориентации жилища. Передний угол всегда отождествлялся с востоком или югом, а угол, в котором располагалась печь, – с западом или севером.

Существует определенная иерархия углов. Главным считается угол, расположенный на стыке фасадной и боковой правой либо левой стен дома. Второй по значимости – угол напротив устья русской печи. Эти два угла имеют названия во всех говорах архангельского региона. Углы, образованные боковыми и задней стенами, могут различаться или иметь одно общее наименование. В соответствии с этим в говорах архангельского региона выделяются:

- а) четырехкомпонентная структура с названиями всех четырех углов;
- б) трехкомпонентная структура с названиями для углов, находящихся в передней левой (правой) и околочной частях избы, а также угла, образованного задней и правой (левой) боковыми стенами;
- в) трехкомпонентная структура с названиями углов, находящихся в передней левой (правой) и околочной частях избы, и общим названием углов, образованных задней и боковыми стенами.

В статье слово *у́гол* рассматривается в составе семантического микрополя, границы которого определяются амплитудой колебания семантики этого слова. В микрополе входят значения базового слова, слов с синонимичными им значениями, а также дериваты базового слова, в которых проявляются и развиваются его семантические потенции. Материалом исследования послужили данные 1–19 выпусков «Архангельского областного словаря» и его бумажной и электронной картотек.

У́гол (1) в своем первичном значении ‘одна из четырех частей избы, образованная стыком стен’ в составе атрибутивных сочетаний употребляется для обозначения внутренних и внешних углов крестьянской из-

бы. Атрибутивный компонент таких сочетаний содержит мотивировку названия. Остановимся на их рассмотрении.

Угол, образованный передней и левой (или правой) боковой стенами, в силу своей значимости в крестьянской культуре представлен наибольшим количеством номинаций.

1. Номинации, отражающие связь угла с верой в бога, с религией: *бо́жей, божéственной, бо́гов, свято́й, свéтлый, вéрной у́гол*. В номинации *бо́гов у́гол* связь с верой в бога выражена опосредовано, через цепочку *бог* 'икона', *божница* 'полочка для икон', *бо́гов у́гол* – в нем висят иконы. Номинация *свéтлый у́гол* отражает святость красного угла по метонимической связи представлений – религия, иконы несут свет, угол, где стоят иконы – *свéтлый (Свéтлый у́гол – где ико́ны)*. *Вéрной у́гол* – это угол, где находятся иконы с изображением того, в которого верили и кому поклонялись. (*Вéрный у́гол, это потому́ што ико́ны в нево́ фсе ста́вяца, тепе́рь ико́ны розрешо́ны. Нико́ла, ты́ чудотво́рец, сиди́ш в вéрном углу́, да́й ты до́ждичка*).

2. Номинации *большо́й у́гол, кра́сный у́гол* отражают значимость переднего угла в жизни крестьянина. Ср. *большо́й* 'имеющий большое значение, значительный' [Архангельский областной словарь. Вып. 2: 69]), *кра́сный* – 'красивый'. В этом углу вешались вышитые полотенца, подчеркивающие почитаемость угла.

3. Номинации, определяющие расположение в фасадной левой или в правой части избы – *передней (передной, перёдной), передово́й у́гол, право́й у́гол*.

4. Номинации, определяющие расположение угла на стыке стен – *су́тней, су́точный у́гол, су́тки, сути́цы (Су́тней у́гол, это́ с ико́ной. А ико́ны в су́точном углу́. Су́тки – перёдний у́гол, у нас и ща́с ико́на стои́т в су́тках)*. Основание номинации определяется с помощью этимологии. По данным словаря М. Фасмера, слово *сутки* – приставочное образование су- и *тъка, связанное с *тыкать*, то есть это стык дня и ночи [Фасмер. Т. 3: 811]. В значении 'угол; угол под иконами, в избе, передний, красный угол, перёд' *сутки, сутычки* представлены в словаре В. И. Даля. «Сутки в обл. знач. от с(у)тыкать, смыкать; там стык дня и ночи, тут угол» [Даль, т. 4: 364].

Угол, образованный передней и правой (или левой) боковой стенами, находится напротив устья русской печи. В большинстве номинаций закреплено это положение угла.

1. По связи с печью – *печно́й, проти́пéчной у́гол. (Печно́й у́гол – у пéчки веть стря́пают, а друго́й у́гол про́тиф дверí – большо́й. Проти́пéчной у́гол, ф проти́пéцах вы́мою, так прохо́дите)*.

2. По связи с околопечным пространством. Наименования *кутней*, *кутной угол*, *в куті угол* мотивированны словом *кут* в значении ‘пространство перед печью’ (*Там вот кутней угол, там бывало лафки были, так кутней угол. Передний угол, ф куті угол, потпорожный, ф шобльные угол*). Наименование *средной* (*серенной*) *угол* связано со словом *середá*. Семантика этого слова определяется тем, что раньше устье печи было обращено к левой боковой стене избы, то есть околопечным пространством была середина комнаты (*Битые пѣцки были, устья на середину избы смотрѣли, середина избы середá звалась*). После изменения расположения устья печи в сторону фасадной стены угол, примыкающий к печному пространству, сохранил название *средной*, а само это пространство – *середá*.

3. В наименовании *мáлой угол* подчеркивается меньшая значимость, почитаемость угла по сравнению с *большім* (*Што в мáлом-то углу сидім, ты веть поцѣтна гóстья, иди в большій угол*).

4. Наименование *бáбий угол* отражает связь с хозяйственными делами, выполняемыми женщиной. В высказывании *Вот крáсный угол – ф котóром икóны, а вот бáбий угол – кúхня* прочитывается более низкое иерархическое положение этого угла.

Угол, образованный задней и левой (или правой – в зависимости от положения переднего угла) боковой стенами, имеет следующие наименования.

1. Определяющие положения угла относительно двери или дверного порога: *дверной, подпорожной, порожной угол, подпорог, под порóгом угол* (*Туфли-те твои там, в дверном углу. Пѣцной угол, большій угол, порожной угол у дверей. У пѣчки – кут, это потпорок, то – передний угол*).

2. Определяющие положение не в фасадной части избы: *задний угол* (*Пот порóгом у дверей – задний угол*).

3. Мотивировка наименования угла *кут* выявляется с помощью этимологии: это общеславянское слово с значением ‘угол, тупик’, родственно греческому ‘угол глаза’. Обычно это угол за печью, используемый как хозяйственное помещение. (*Кут – вѣник лóжат, задний угол у избы. Тут мóемся, тут ы сóпли тѣкут, стафь ф кут*). Интересно, что слово *кут* как общее обозначение углов в говорах архангельского региона не представлено.

Отмечены говоры, в которых углы, примыкающие к задней стене, имеют общее наименование. Для их номинации используются те же атрибутивные сочетания, что и для угла, образованного задней и левой (или правой – в зависимости от положения переднего угла) боковой стенами: *подпорожный, порожный угол, задний угол*.

Номинации *большо́мугол*, *печно́мугол* – результат сращения компонентов атрибутивного сочетания. Можно предположить, что они сформировались при частотности употребления атрибутивного сочетания в локальном значении: *в большо́м углу́*, *в печно́м углу́*. Привычность такого употребления стала основой его лексикализации. Ср. комментарий информанта: *Большо́й угол называ́ли у нас или большо́мугол, два слова в одно обьедини́лись*.

При обобщении мотивов номинации углов выявляются семантические области, из которых поле ‘угол’ черпает свои смыслы.

1. Пространственная модель, она связана с фигурой номинатора, его ориентацией в пространстве избы относительно фасада дома – *передний, задний угол*, относительно печи – *ку́тной, ку́тней угол*, *в ку́ти угол*, *печно́й угол*, *печно́мугол*, *середно́й, серенно́й угол*, относительно двери – *подпоро́жной, поро́жной угол*, *по́дпорог*.

2. Аксиологическая модель, она также связана с фигурой номинатора, его оценкой угла – *большо́й угол*, *большо́мугол*, *мáлой, красно́й угол*.

3. Модель, связанная с сакрализацией домашнего пространства – номинации *божественной, бо́жжой, ве́рной, све́тлой угол*.

Таким образом, поле ‘угол’ активно взаимодействует с другими смысловыми областями. Это обусловлено необходимостью поименовать и оценить каждую из единиц организации домашнего пространства, важную в практической и духовной жизни. Состав признаков номинации углов дает ответ на вопросы: *где?какой?* Так выглядит поле в роли реципиента.

В роли донора, передающего свои смыслы другим семантическим областям, гипероним поля, слово *угол*, выступает в производных значениях, в большинстве своем развивающихся на базе коннотаций угла. Рассмотрим эти значения, объединив их в блоки с общим семантическим признаком. Случаи реализации значений в условиях ограниченной сочетаемости подаются с пометой В СОЧЕТ., синонимы при соответствующих словозначениях – с пометой СИНОН.

Первый блок значений имеет локальную семантику. С первичным значением *угол* (1.1) – ‘одна из четырех частей избы, образованная стыком стен’ метонимически связано *угол* (1.2) – ‘место для жилья, дом’. *Ис своево́-то угла неохо́та уходи́ть. А я фсю́ жьсь проробила и угла не заробила себе́*. СИНОН.: *гнездо́, жи́ра, жи́тельство, жьтьё*. *Ходь бы во своём гнезде́ но́чку поспала́. А жь́ра там, жьты́йó ф том ме́сте. Но их опомести́ли, да́ли жь́тельство*.

Второй блок сложился на основе представлений о том, что угол – периферийная, нецентральная часть избы.

Угол (2.1) – ‘потаенное, укромное, скрытое от глаз людских место’. *Я буду как мыша в углу. Старому сидеть в углу нельзя, надо опцияца. То по улице ходят, то затянуца в угол.* В СОЧЕТ. ЗА УГЛОМ ‘украдкой, тайком’. *Бокал шампанского, но не так, не укрáткой, не за углом.* СИНОН.: **закут, закуток, закуток.** *В закутке фсе замóжкли. Давáй к нам в закуток. Спрятались в закуту-то.*

Угол (2.2) ‘место в избе для старого, больного человека’. Значение реализуется в условиях ограниченной сочетаемости. В СОЧЕТ. В УГОЛ СЕСТЬ, ЛЕЖАТЬ, ЗАВАЛЯТЬСЯ В УГЛУ ‘быть (стать) больным, беспомощным’. *Без рук, без нок, в угол сели, ничего не мóгут. А йесли в углу-то лежáть да такой недвижымой – лучшэ бы бóх-то прибрал. Помирáла-то она хорошó, в углу не завáлялася.*

Третий блок значений сформирован в результате расширения локального значения: ‘место в избе’ – ‘место в пространстве’ с сохранением представления о периферийности, маргинальности угла.

Угол (3.1) ‘удаленное от жилья место’. *Мы фсе с Клавдийей ходили в угол-от.* СИНОН.: **закутóк, захолустье.** *В закутке там на Погóсьте горá, там цёркофь. На улице не дайт (строить дом, дают) в захолустье.*

Угол (3.2) ‘глухое, отдаленное от центра место, захолустье’. *Письмá не получиш ис тако́го угла. Хвáстаюца, што мóжэт связываца с любым углом (по телефону).* СИНОН.: **глухотá, глухомáрь, глушь, заглуха, заглушье, закоулок, затулье, заутулье, захолужье, кут.** *Глухотá, темнотá: ни рáдива, ни свету, а мы радёшэньки – жывём. Глухомáрь – кошка, и тá не пробежыт, глуш, ни целовéка, никóв. Пойёдем в эту заглуху, нáа с собой брáть фсе. Как мы это жывём, ф какóм заглушье. Госудáрсву-то послáнииэ пошлите, как в закоулках жывут. Нáшэ мéсто з городáми не сочтыш, затулье большó. Мы там жыли в заутулье, ф своим медвёжйем углу. Там тако́йе жэ захолужье, как у нáс. Далéко вы прийэхали, ф сáмой кут.* Богатая синонимия свидетельствует о том, что носители диалекта не только осознают, но и переживают заброшенность своего края.

Значения четвертого блока отражают пространственные отношения, лишённые оценочных смыслов.

Угол (4.1) ‘часть света’. *С угло́ф-то ветрá дуют: обéдник – югоф, стóк, шэлóньник – юго-зàпат, с того́ угла.* В СОЧЕТ. ГНИЛОЙ УГОЛ ‘западная часть света, ветер с которой приносит дождь’. *Суходóл гнилóй угол назывáют, как тучя оттуда идёт, так обязáтельно дóбить пой-дём.*

Угол (4.2) ‘какое-н. определенное место, местность’. *Сволоцёй-то в этом углу полно́.* В СОЧЕТ. ЗА КАЖДЫМ УГЛОМ, В КАЖДОМ УГЛУ ‘езде’. *За кажным углом стоял шпíон немéцкий. Да какую жэлэзину*

ута́цют да прóпили, а жэ́лэза полно́ ф ка́жном углу́. **ВО ВСЕ ВОСЕМЬ УГЛОВ** ‘во все стороны’. Медвѣть, он жывѣт во фсѣ восьми́ угло́ф, а придѣт фторо́й медвѣть, как сла́бжэ, так он йего́ наруша́т (убивает).

Угол (4.3) ‘сторона, край какого-н. ограниченного пространства’. А с угла́-то фсю́ хватилó (морозом картошку). Дожына́ют, где у́гол, дак го́нят фсѣ в одно́ мѣсто, в оди́н у́гол згоня́ют. СИНОН.: **бок, закуто́к**. Это́ я по лѣвому бо́ку ходила́. Кули́ги – закуто́к, там тра́фка росла́ мя́кая, тѣмнойе мѣсто, та́м коси́ли.

Пятый блок значений связан с формой угла.

Угол (5.1) ‘перекресток’. Фсѣ ба́бушки, пойежжса́йте в го́рот, фсѣ ба́бушки торго́ют на угла́х. СИНОН.: **крестовы́е доро́ги, ростан́ные доро́ги, рóстани, ростанье́**. Это́ надо́ иттí к кла́дбищу, та́м как рас крестовы́е доро́ги. Мужы́ки пошли́ на ростан́ные доро́ги. Шобы́ было́ три́ доро́ги – рóстань, усѣдем, загада́м. Поло́ли на рóстаны́и, фсѣ жэни-хо́в выга́дывали. Это словозначение соотносится с важным в народной культуре обычаем рождественских гаданий.

Угол (5.2) ‘поворот’. С угла́ заходи́, до́м угловóй. СИНОН.: **заги́б, кут**. Проскочи́ла на поворо́те, на заги́бе-то. Напра́во река́ иде́т спрэ́ми, а тут кут.

Угол (5.3) ‘косынка’. Молоды́ были́, одни́м у́глом одѣнемся и пойдѣ́м, на восьмо́го ма́рта, и пла́т одни́м концо́м. СИНОН.: **искосина**. Иско́сину тка́ную носи́ли.

Угол (5.4) ‘геометрический угол’. Шаньга́ кру́глая, а калитка́ – четы́ре угла́ у ней. В СОЧЕТ. С УГЛА́ НА́ УГОЛ ‘по диагонали’. А шаль она́ розрѣзала́ нам с угла́ на́ угол.

Фразеологические единицы с ключевым словом *у́гол* объединены в несколько семантических групп. Фраземы первой группы образно представляют отношения между людьми: **ГОНЯТЬ ИЗ УГЛА́ В У́ГОЛ**. Не давать житья кому-н. Дивья́ тебе́ с таки́м сы́ном жы́ть, не пью́т, не ку́рит, из угла́ в у́гол не гоня́ет. **ЗАГНА́ТЬ, ПРИЖА́ТЬ В У́ГОЛ**. Принудить к чему-н. Хоро́шая у тебя́, у́мная до́чь, заго́нила́ меня́ в у́гол. Те-пе́рь вот в у́гол прижму́т: ты мне да́й. **ПЯТЫ́Й У́ГОЛ ИСКА́ТЬ**. Быть вынужденным уйти из дома, искать другое место для жилья. Он как напы́оцца, ишио́ дак ищи́ пяты́й у́гол. Она́ не иска́ла пятой у́гол, она́ до́ма жы́ла хозяйкой. **НАЙТИ́ ПЯТЫ́Й У́ГОЛ**. Успокоиться, перестать переживать. Не могу́ пяты́й у́гол найти́ ф ха́те (после смерти жены).

Следующая группа фразем – с общим семантическим признаком ‘праздность’: **ИЗ УГЛА́ В У́ГОЛ**. Праздно, без дела. В дере́вне жы́вут из угла́ в у́гол, покуру́ть да попи́ть. **УГЛЫ́ (УГЛЫ́) ПОДПИРА́ТЬ**. Бездельничать. Неохо́та углы́ потпира́ть. Бе́гайте, потпира́йте углы́-ти.

Отмечены фраземы с общим семантическим признаком ‘неприветливость, необщительность’: КАК УГОЛ БАЁННОЙ. О хмуром, неприветливом человеке. *Ходит, как угол баённый – человек, жэница или мужык, неразговорчивый, внимания не обращят, што йему’ говоря. ИЗ-ЗА УГЛА ВЫГЛЯДЫВАТЬ (ПОСМАТРИВАТЬ). Быть необщительным, неприветливым. Колька, ты, скажэт, фсё из-за угла выглядываш. Не такойе, как Саша Петрович, фсё из-за угла посматриват.*

Фраземы, намекающие на неприглядность, глупость человека по ассоциативной связи с маргинальностью угла: НЕ В УГОЛ РОЖЕЙ. О ком-н., чьи достоинства подчеркивает говорящий. *Он на артиста походи, так уши не в угол рожэй. Мауринцы дак не в угол рожэй. ПЫЛЬНЫМ МЕШКОМ ИЗ-ЗА УГЛА УДАРЕН. О глупом человеке. Раньшэ было большэ таких – как из-за угла пыльным мешком ударены.*

Коннотации угла находят продолжение в значениях словообразовательных дериватов слова *угол*:

Угловой (1) ‘немошный, больной’. *А цяс вот виши, углова цяс точно уши углова, и не знают, куда определить йей бедну. Ну, теперь тожэ лежыт углова, ну, углова, лежачя.*

Угловой (2) ‘живущий в захолустье, темный, необразованный’. *Мы угловыйе-то люди. Да што вы, я целовек-то угловой, ницего не знаю. Угловой* (3) В СОЧЕТ. **УГЛОВОЙ ЖИЛЁЦ** ‘мужчина, после женитьбы перешедший в семью жены, как бы лишенный прав быть хозяином в доме’. *Приёмши. А у нас ф Северовинске – угловой жылёц.*

Углан ‘угрюмый, неприветливый человек’. *Как ты меня йещё обзывала, углан ли? Кто: здорова, тёта Ана, тёта Поля, а учительницы (дочь) никак не здороваца. Уш такой углан!*

Зауголок ‘внебрачный ребенок’. *Зауголок – за углом зыделан, незаконый дак. А нынь фсё за углом делают.*

Таким образом, очевидно, что угол – значимая единица внутреннего пространства избы. Важность угла находит отражение в его многочисленных номинациях. Культурная семантика связана в основном с передним и печным углами, с локализацией в них большого количества обрядов, обычаев, поверий. Она выражается в говорах и на акциональном, и на вербальном уровнях. Являясь достоянием прошлых поколений, культурная семантика угла транслируется во времени и до сих пор сохраняется в сознании современных носителей диалектов (см. об этом [Нефедова 2015]). Вместе с тем, угол в сознании носителей говоров ассоциируется с удаленностью, заброшенностью, маргинальностью, что проявляется как в метафорических значениях слова, основанных на коннотациях прямого значения, так и в фразеологии с ключевым словом *угол* и семантике его дериватов.

Литература / References

1. Архангельский областной словарь / Под ред. *О.Г. Гецовой, Е.А. Нефедовой*. Вып. 1–9. М: МГУ, 1980–1996. Вып. 10–19. М., Наука, 1999–2018.
2. *Нефедова Е.А.* КРАСНЫЙ УГОЛ: лингвистическая и культурная семантика // *Язык в пространстве речевых культур. К 80-летию В.Е. Гольдина* / Под ред. *О.Ю. Крючковой, Л.П. Крысина*. М.-Саратов: ИД «Наука образования», 2015. С. 78–87.
3. *Славянские древности. Этнолингвистический словарь* / Под ред. *Н.И. Толстого*. Т. 5. М.: Международные отношения, 2012. С. 341–345.

Грамматика современных славянских языков

Склоняемые причастия в новой «Большой академической грамматике чешского литературного языка»

M. Giger

Declinable participles in the new Comprehensive academic grammar of Standard Czech

Markus Giger

ABSTRACT. The notion of the participle as used traditionally in Czech bohemistics is different from the notion in other Slavic philological traditions, even such close as Slovak. «Participles» are traditionally called only two forms in Czech, the deverbal derivation with *l*-suffix used in the past and in the conditional such as *řekl* in *řekl jsem* and *řekl bych*, and the past passive participle in its short form (eg. *udělán, podporován*). All deverbal derivations with (long) adjectival endings such as *dělající, udělavší, příšlý, udělaný* are usually called «adjectives», eventually «adjectivized adverbial participles». The same holds for the first volume of the new «Comprehensive academic grammar of Standard Czech». The question is not only one of terminology, Czech bohemistics traditionally did not engage very intensively in investigating the syntactic functions of the derivations mentioned, because they are not considered to be paradigmatic verbal forms forming a dependent predication nucleus of their own. The problem has been known for decades. It seemed therefore desirable to present in the third volume of the «Comprehensive academic grammar of Standard Czech» devoted to syntax an alternative view which will analyze the forms mentioned above as parts of the verbal paradigm and (potential) predication node. Such a view will necessarily include a reference to theories of adjectivization of participles in other languages, as the difference between participle and adjective will be described more as semantic and functional than as just formal. The analysis will be provided on the basis of the Czech National Corpus.

Keywords: participle; Czech; academic grammar; notion.

АННОТАЦИЯ. Понятие причастия, как оно традиционно употребляется в чешской богемистике, отличается от данного понятия в других славянских филологических традициях. Причастиями традиционно называются только две формы в чешском языке: отглагольные дериваты

с суффиксом *-l*, употребляемые исключительно при образовании прошедшего времени и условного наклонения (например, *řekl* в формах *řekl jsem* и *řekl bych*), и краткие формы страдательных причастий прошедшего времени (например: *udělán, podporován*). Все полные формы отглагольных дериватов (например: *dělající, udělavší, příšlý, udělaný*) обычно называют прилагательными или адъективированными деепричастиями. Аналогичная ситуация наблюдается в первом томе новой «Большой академической грамматики чешского литературного языка». Вопрос касается не только терминологии. Чешская богемистика традиционно не занималась интенсивным исследованием синтаксических функций полных причастий, так как не рассматривала их парадигматическими глагольными формами, образующими зависимое ядро предикации. Проблема не нова и не раз поднималась в лингвистических работах. Поэтому весьма актуально представить в третьем томе «Большой академической грамматики чешского литературного языка», посвященном синтаксису, альтернативный подход, в рамках которого полные причастия будут анализироваться как часть глагольной парадигмы и (потенциальные) предикативные узлы. Такой подход обязательно должен включать ссылку на теории адъективации причастий в других языках, поскольку различие между причастием и прилагательным не будет чисто формальным на основе кратких и полных форм, но будет определяться исходя из семантических и функциональных параметров. Анализ будет проводиться на основе Чешского национального корпуса.

Ключевые слова: причастие; чешский язык; академическая грамматика; понятие.

1. Склоняемые причастия в чешской богемистике

Известно, что в чешской богемистической традиции исследователи подходят к термину причастие (*příčestí*) иначе, чем в других, даже славянских традициях, как, например, в словацкой или русской. Большинство авторов и грамматик не считает причастиями те отглагольные формы, которые обладают полными формами (ср. напр. [Mluvnice češtiny 1986: 321–326; Příruční mluvnice češtiny 1997: 172–173; Mluvnice současné češtiny 2010: 99; Akademická gramatika spisovné češtiny 2013: 84, 207–208, 378]).

Такое положение вещей привлекает внимание и вызывает критику прежде всего со стороны тех чешских лингвистов, которые занимаются чешским языком с сопоставительной точки зрения (ср. напр. [Korešný 1958, Damborský 1967]), или у иностранных богемистов и славистов [Giger 2003: 51–59]. Можно согласиться с А. И. Изотовым [Изотов 1993: 9–10], который констатирует:

«В чешской лингвистической литературе, как учебной, так и научной, термин *příčestí* <...> обладает немного иной функциональной нагрузкой, чем русский термин *причастие*. Чешская лингвистика пользуется понятиями *причастие прошедшего времени* (*příčestí minulé*) и *страдательное причастие* (*příčestí trpné*). Первым термином обозначаются глагольные формы на *-l* (именные эловые причастия) <...> *nesl jsem, nesl bych*. Термин же *страдательное причастие* используется для обозначения кратких глагольных форм на *-n/-t* <...>: *nesen, přinesen, kryt, pokryt*. Полные же формы <...> в чешской лингвистической литературе принято рассматривать в общей массе мотивируемых глаголами адъективалий <...>. Понятие полная причастная форма в чешской богемистике отсутствует, так как предполагается, что причастия *краткие* по определению».

Разные авторы в разное время уже вводили более четкую структуризацию в понятие отглагольного прилагательного. Например, академическая «*Mluvnice češtiny*» [Mluvnice... 1986, 1987] отличает «*deverbativní adjektiva*» и «*slovesná/verbální adjektiva*», или [Fried 2015] употребляет термин «причастное прилагательное» (*participiální adjektivum*).¹ Однако понятие причастия все же остается ограниченным, и разные типы «прилагательных» не всегда последовательно различаются, что констатирует и А. И. Изотов в отношении «*Mluvnice češtiny*» [Mluvnice... 1986].

Такая ситуация прямо влияет на грамматическое описание тех форм, которые в чешском языке можно назвать причастиями:

1) они чаще всего описываются не в рамках словоизменения, а в рамках словообразования;

2) не уделяется достаточного внимания этим формам в целом, прежде всего их синтаксическим функциям, что уже отмечалось ранее: «в то время как русскому причастию, его семантике, категориальному статусу и функционированию посвящена богатейшая литература, чешские причастные формы рассматривались до сих пор, как правило, в общих курсах грамматики чешского языка» [Изотов 1993: 4];

3) остается неясным вопрос частеречной принадлежности этих форм: являются ли они (все?) «прилагательными» в смысле новой, самостоятельной лексемы, или такое «отглагольное прилагательное» может быть членом вербальной парадигмы?

4) вследствие этого не развивается теория адъективации причастий (в отличие не только от русистики, ср. [Калакуцкая 1971], но, например, и от словакистики, ср. [Sejáková 1995]);

¹ Ф. Штиха [Štícha 2008: 176] предложил обозначить английским термином «participle» деепричастие (в чешской терминологии «*přechodník*»), оставляя при этом причастию термин «*adjektive*».

5) остается невыясненным вопрос лексикографической трактовки этих форм: нужно ли в словаре особо отмечать их (все?), что практически невозможно, или только какую-то их часть и если да, то какую? Эта проблема отмечается и в первом томе новой «Большой академической грамматики чешского языка» [Velká akademická gramatika... 1: 836–855].

2. «Большая академическая грамматика чешского литературного языка» (Velká akademická gramatika spisovné češtiny)

«Большая академическая грамматика чешского литературного языка» (Velká akademická gramatika spisovné češtiny) – актуальный проект отдела грамматики Института чешского языка АН ЧР. Главным редактором грамматики является Ф. Штиха. Запланировано издание грамматики в четырех томах: первый том – «Morfologie. Část 1. Druhy slov, tvoření slov» – вышел в 2018 г., второй – «Morfologie. Část 2. Morfologické kategorie / Flexe» – будет сдан в печать после завершения работы над ним в конце 2018 г., подготовку третьего – «Syntax. Část 1. Syntagma / Věta / Souvětí» – предполагается завершить к 2023 г., а четвертого – «Syntax. Část 2. Text / Modalita» – к 2025 г. Предполагается, что каждый том будет содержать около 1000 страниц (первый том, вышедший в двух книгах, насчитывает 1148 страниц).

Грамматика базируется на данных Национального корпуса чешского языка [Český národní korpus], ее преимуществом должно стать детальное описание правил грамматики чешских письменных литературных текстов, включая информацию о частотности в случаях вариантности.

3. Описание причастий в новой грамматике

Было принято решение, что третий том грамматики, посвященный синтаксису предложения, будет содержать отдельные главы о синтаксических функциях склоняемых причастий чешского языка. Само понятие причастия при этом будет излагаться как в соответствии с богемистической традицией, так и альтернативно: главы о синтаксических функциях причастий будут называться «Nominalizace pomocí participia přítomného činného», «Nominalizace pomocí participia minulého činného na *-(v)šl*», «Nominalizace pomocí participia minulého činného na *-ly*», «Nominalizace pomocí participia trpného». При этом будет использована не традиционная калька *příčestí*, а латинизм *participium*.

Ввиду того, что в первом томе (словообразование) и во втором томе (словоизменение) используется традиционное богемистическое понятие причастия (причастиями являются формы типа *(od)letěl* и *(při)nesen*),

было решено добавить во второй том главу о понятии причастия как такового, где будут излагаться соответствующие понятия. Эта глава уже написана и отредактирована; в ней обращается внимание на то, что:

1) под причастием обычно – в отличие от чешской богемистической традиции – понимается отглагольная форма, которая может стоять в синтаксической позиции определения (причастие в традиционном чешском смысле определением быть не может, потому что имеет только краткие формы);

2) в связи с этим отсутствуют принципиальные возражения против использования понятия прилагательное, однако следует помнить, что отглагольные формы, которые сохраняют семантическую и (хотя бы потенциально) синтаксическую связь с глаголом (глагольные дополнения и обстоятельства), являются морфологическими формами глагола, членами глагольной парадигмы, но терминологически их точнее называть причастиями (*participia*);

3) в связи с этим было бы необходимо и желательно в будущем разработать теорию адъективации причастия в чешском языке, потому что – как уже подчеркивали некоторые авторы, например А. И. Изотов [Изотов 1993: 11], – не все отглагольные дериваты с суффиксами *-cí*, *-(v)ší* и т. п. можно интерпретировать как причастия.

Далее в данной главе предлагается терминология для чешских причастий:

- *participium přítomné činné: dělající*
- *participium minulé činné na -(v)ší: udělavší*
- *participium minulé činné na -lý: přišlý, zežloutlý*
- *participium trpné: dělán, dělaný, udělán, udělaný*

Отдельные причастия представлены в самостоятельных разделах, для каждого приводятся основные (потенциальные) синтаксические характеристики (глагольное управление, пропуск возвратного местоимения, возможность субстантивации и отрицания), приводятся данные о частотности² (естественно, без учета адъективации, которую следует

² Так, например, в пятимиллиардном частичном корпусе SYN V6, входящем в состав Чешского национального корпуса [Český národní korpus], можно найти более 10 миллионов фиксаций (потенциальных) действительных причастий настоящего времени и почти 40 000 фиксаций действительных причастий прошедшего времени на *-(v)ší*. Эти формы имеют в Чешском национальном корпусе особую грамматическую помету. Количество остальных причастий, не обладающих специальной пометой (действительного причастия прошедшего времени на *-lý* и страдательного причастия), можно определить только приблизительно, на примере отдельных форм. Частотность действительных причастий прошедшего времени на *-lý* не слишком высока (но выше чем у действительного причастия прошедшего времени на *-(v)ší*), а у страдательного причастия она выше, чем у всех остальных причастий, включая действительное причастие настоящего времени.

изучать для каждой формы и каждого случая употребления специально – при этом важнейшим критерием является семантика, которую в корпусе нельзя определить автоматически), об основных стилистических свойствах, об употреблении в разных типах текстов³, об отдельных ограничениях⁴ (все это демонстрируется на основе материала корпуса *Český národní korpus*) и о некоторых других проблемах⁵.

В третьем томе планируется проведение детального синтаксического анализа всех этих форм, прежде всего их способность выражать второстепенные (зависимые) сказуемые.

4. Заключение

Вышеприведенный способ описания причастий чешского литературного языка позволяет:

1) обратить внимание (чешских) читателей на эти формы и их синтаксические функции;

2) предложить альтернативный – но в зарубежной лингвистике и славистике вполне обычный – взгляд на чешские причастия. Оба пункта, возможно, вызовут большой интерес и будут способствовать новым исследованиям данной проблематики;

3) одновременно оставить за читателем выбор интерпретации, так как традиционное богемистическое понимание причастия используется в других частях «Большой академической грамматики чешского литературного языка», что немаловажно для того, чтобы научная грамматика не расходилась со школьной традицией. Таким образом, никто не будет вынужден принять «новую» терминологию и, если специально не читать раздел, посвященный причастиям, можно даже не обратить внимания на дискуссионный характер проблематики.

³ Так можно, например, отметить, что действительное причастие настоящего времени можно найти в технических и научных, а также в публицистических текстах, однако действительное причастие прошедшего времени на *-(v)ší* употребляется чаще всего в публицистике, тогда как действительное причастие прошедшего времени на *-lý* – и в художественной литературе.

⁴ Например, действительное причастие настоящего времени модальных глаголов употребляется крайне редко, действительное причастие прошедшего времени на *-(v)ší* образуется главным образом от двух глагольных корней *-stoup-* и *-běh-* [ср. результаты, полученные на основе анализа менее объемного материала из Чешского национального корпуса [*Český národní korpus*] [Giger 2010].

⁵ Например, о проблеме действительного причастия настоящего времени глаголов совершенного вида [ср. Štícha 2008] или о конкуренции между обоими причастиями прошедшего времени, о некоторых случаях употребления страдательного причастия прошедшего времени на *-lý*, о специальных адъективированных страдательных причастиях типа *chlazený*, *pečený*, *pruhovaný* и т.п.

Литература/References

1. *Изотов А.И.* Чешские атрибутивные причастия на фоне русских М.: МГУ имени М. В. Ломоносова. Филологический факультет, 1993. 99 с.
2. *Калакуцкая Л.П.* Адъективация причастий в современном русском литературном языке / Под ред. *А. А. Реформатского*. М.: Наука, 1971. 227 с.
3. *Akademická gramatika spisovné češtiny* / Pod red. *F. Štíchy* et al. Praha: Academia, 2013. 974 s.
4. Český národní korpus. [Электронный ресурс.] URL: <http://www.korpus.cz/>. Дата последнего обращения: 25.10.2018.
5. *Damborský J.* Participium *l*-ové ve slovanštině. Warszawa: Państwowe wyd. naukowe, 1967. 171 s.
6. *Giger M.* Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen) / hrsg. Bern etc.: Lang, 2003. (Slavica Helvetica 69) 523 S.
7. *Giger M.* Přičestí minulé činné na *-(v)ší* v dnešních českých publicistických textech // *Korpus – Gramatika – Axiologie* 1. 2010. № 2. S. 3–23.
8. *Kopečný F.* Přišedší, zahynuvší – příšlý, zahynulý (příspěvek k problému slovanského přičestí *l*-ového) // *Славянская филология*. 2. М.: Издательство АН СССР. С. 138–163.
9. *Mluvnice češtiny 1. Fonetika, fonologie, morfolonomie a morfémika, tvoření slov* / Pod red. *M. Dokulila* et al. Praha: Academia, 1986. 568 s.
10. *Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví* / Pod red. *V. Cvrčka* et al. Praha: Karolinum, 2010. 353 s.
11. *Příruční mluvnice češtiny* / Pod red. *P. Karlíka* et al. Praha: Lidové noviny, 1997. 799 s.
12. *Sejáková J.* Adjektivizácia *n*-/*t*-ových přičastí v súčasnej slovenčine. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1995. 248 s.
13. *Štícha F.* Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti. K jednomu typu morfoloigické derivace (*udělajíc – udělající*) // *Slovo a slovesnost* 69. 2008. S. 176–191.
14. *Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie: druhy slov, tvoření slov* / Pod red. *F. Štíchy* et al. Praha: Academia, 2018. 1148 s.

Пунктуация при деепричастных оборотах в сербском языке в сопоставлении с русским

И. Е. Иванова

Punctuation in adverbial participle phrases in Serbian in comparison with Russian

Irina I. Ivanova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/265-272

ABSTRACT. The article focuses on the punctuation of verbal participle structures in the Serbian language in comparison with this phenomenon in the Russian language. The analysis of the Serbian texts, undertaken by the author, made it possible to identify certain criteria according to which punctuational separation of verbal participles and participial structures takes place. These criteria differ from the ones stipulated in the existing punctuation code of the Serbian language.

Keywords: Serbian punctuation; free punctuation; punctuation code; verbal participles; participial structures.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос выделения знаками препинания деепричастных оборотов в современном сербском языке в сопоставлении с русским. Предпринятый автором анализ сербских текстов позволил выявить некоторые критерии, в соответствии с которыми происходит обособление деепричастий и деепричастных оборотов, отличные от приведенных в действующем орфографическом кодексе сербского языка.

Ключевые слова: сербская пунктуация; свободная пунктуация; орфографический кодекс; деепричастия; деепричастные обороты.

В сербской пунктуации, как пунктуации свободной, важнейшую роль играет фактор автономности фрагмента предложения, который может быть выделен знаками препинания. В соответствии с правилами, изложенными в действующем орфографическом кодексе сербского языка [Пешикан 2010], деепричастия (деепричастные обороты) могут выделяться или не выделяться пунктуационно в зависимости от степени их смысловой близости со сказуемым, независимо от занимаемой позиции в предложении. Авторы орфографического кодекса приводят один и тот же пример, в котором деепричастный оборот может быть обособлен или не обособлен: *Мајка га понесе преко чистине(,) не обазирујући се на звиждук метака (Мать понесла его по целине(,) не обращая внимания на свист снарядов)*¹ [Пешикан 2010: 108]. Выбор употребления знака

¹ Здесь и далее перевод примеров на русский язык наш – И. И. В переводе сохраняется оригинальная сербская пунктуация.

препинания остается за пишущим. От него зависит, представляет он весь текст предложения как одно событие или как два отдельных. Однако в другом параграфе орфографического кодекса отдельно рассматривается позиция предшествования деепричастий (деепричастных оборотов) сказуемому. В этой позиции рекомендуется их выделение, что иллюстрируется следующими примерами: *Машући фењерима, коцијашу су утеривали једна по једна кола (Размахивая фонарями, извозчики заводили внутрь одну пролетку за другой)* [Пешикан 2010: 103]; *Тада је, побледевши сва одједном, рекла да неће доћи (Тогда, вдруг побледнев, она сказала что не придет)* [Пешикан 2010: 103].

Анализ сербских текстов показал, что пунктуационное выделение деепричастий, одиночных или распространенных, связано с выражаемым ими значением: причины основного действия; действия, предшествующего основному или следующего за ним; действия, одновременного с основным; характеристики основного действия.

Деепричастные обороты (деепричастия), обозначающие причину основного действия, регулярно обособляются, так как события, являющиеся причиной и следствием, воспринимаются как автономные явления. Позиция деепричастного оборота (деепричастия) относительно сказуемого не имеет значения: *Немајући друга посла, провели су ме кроз фабрику (Не имея других дел, они показали мне фабрику)* [Пешић 1984: 64]; *<...> i koje је, не очекујући је, verovatno bio nesvestan (<...> которую он, не ожидая ее, вероятно, не осознавал)* [Davičo 1971: 63]; *Ekonomске veze grada sa selom пре су користиле varošanima, обезбеђујући им услове материјалне egzistencije од prodaje artikala gradske привреде (Экономические связи города с деревней были выгодны в первую очередь горожанам, обеспечивая им условия для существования за счет продажи продукции городского производства)* [Stojančević 1973: 107]. Среди деепричастных оборотов, обозначающих действие, предшествующее основному или следующее за ним, события, выраженные сказуемым и деепричастием, разведены во времени. Таким образом, они в основном представляются пишущему как автономные. Потому и в этой группе примеров в большинстве случаев деепричастия и деепричастные обороты выделяются знаками препинания: *Изговоривши љутито последње речи, Хамди-бег застаде (Сердито выговорив последние слова, Хамди-бей остановился)* [Андрић 1963: 12]; *<...> на што је он захвално погледа и, утишавши се, превуче руком преко ознојеног чела (<...> в ответ на что он благодарно посмотрел на нее и, успокоившись, провел рукой по потному лбу)* [Петровић 1963: 115]; *У такав један «Grotta Palazzese», ушли смо са каменом поплочане улице, спуштајући се вијугавим стеништем као да силазимо у само море (В одну такую*

«Гротта Палаццезе», мы вошли с мощенной камнем улицы, сходя по причудливо извивавшейся лестнице будто спускаемся в море) [Московљевић 1972: 61].

Реже деепричастные обороты (деепричастия) этой группы не выделяются пунктуационно. Обособления деепричастного оборота не происходит, когда при его исключении предложение становится неполным либо утрачивает важную для этого предложения информацию: *Ovakav mešoviti sastav lesa B. Bukurov je utvrdio analizirajući veliku količinu fosilne faune koju je našao na različitim mestima bačke lesne terase* (Б. Букурров пришел к выводу о смешанном составе лесса анализируя большое количество палеофауны которую он обнаружил на различных участках лессовой террасы Бачки) [Carić 1984: 21]; *Vratio se na obalu ostavivši Леандра далеко од Хере у мраку да се утопи* (Он вернулся на берег бросив Леандра далеко от Геры в темноте чтобы тот утонул) [Павић 1961: 24].

Отсутствие обособления деепричастного оборота (деепричастия) может быть вызвано также восприятием двух следующих друг за другом событий как одного, протяженного во времени: *Заставши преда мною погледали су ме пажљиво (Остановившись передо мной они внимательно на меня посмотрели)* [Чолаковић 1968: 10]; *<...> те онда нареди Циганима коло и дохвативши Мицу око паса завитла сву чељад наспред дворишта (<...> и тогда он заказал цыганам коло и обняв Мицу за талию закружил всю прислугу в танце в центре двора)* [Петровић 1963: 52].

Что касается третьей и четвертой из названных семантических групп, не всегда можно провести четкую границу между деепричастиями, называющими действие, одновременное с основным, и деепричастиями, характеризующими действие, выраженное сказуемым. Понять, какими их видит пишущий, помогает расстановка знаков препинания. Наличие пунктуационного выделения деепричастного оборота (деепричастия) относит его к третьей группе (обозначение действия, одновременного с основным): *Не обазирјући се на смех присутних, господин Корелија је причао мирно (Не обращая внимания на смех присутствующих, господин Корелия спокойно рассказывал)* [Пешић 1984: 58]; *Седећи на својим местима, бегови тихо разговарају (Сидя на своих местах, бей тихо разговаривают)* [Андрић 1963: 10]; *Стајао је, назирајући се једва, наслоњен на врата (Он стоял, едва виднеясь, и опирался о дверь)* [Давићо 1971: 28].

Отсутствие знаков препинания показывает, что пример относится к четвертой группе, то есть что деепричастие и сказуемое называют одно событие, при этом деепричастие поясняет, уточняет основное действие: *Služeći se antičkom <...> terminologijom možemo u ovoj prvoj fazi govoriti*

o formiranju dviju kategorija autohtonih naselja (*Пользуясь античной терминологией* <...> мы можем на этом первом этапе говорить о двух категориях автохтонных поселений) [Suić 1973: 15]; *Мица је грцајући шапнула* (*Мица всхлипывая шептала*) [Петровић 1963: 40]; *Уз помоћ војске бегови су жестоко светили пораженим селяцима убијајући их јатомице* (*С помощью армии помещики жестоко мстили потерпевшим поражение крестьянам организуя их массовые убийства*) [Стојанчевић 1965: 16]. В этом примере деепричастие *убијајући* уточняет значение сказуемого *светили су*.

В романе О. Давичо «Песня» используются возможности сербской пунктуации для реализации разных оттенков значения в предложениях, следующих друг за другом в тексте и схожих по лексическому составу и грамматическому оформлению: *Otkako je pred podne otišla Ana, ponevši portret koji je visio u udubljenju između polica s knjigama* <...> *Ana je otišla ponevši svoj uljani portret i poslednju akten-tašnu njegovih rukopisa* (*С тех пор как утром ушла Анна, унося с собой портрет который висел в нише между книжными полками* <...> *Анна ушла унося с собой свой портрет маслом и последнюю папку с его рукописями*) [Davičo 1971: 16]. При переходе от описания двух отдельных действий в первом предложении (*Анна ушла, Анна взяла свой портрет*) к описанию действий, подчеркнуто связанных в одно событие во втором предложении (*Анна ушла и взяла свой портрет*) читатель чувствует психологическое напряжение, которое испытывает герой романа Андрия Векович. Он постепенно осознает, что уход Анны, возлюбленной Вековича, означал разрыв их отношений. Таким образом, сербская пунктуация может использоваться как изобразительное средство в художественной литературе, представляя события как автономные или как объединенные в одно целое.

Пропуск знаков препинания при деепричастиях и деепричастных оборотах орфографический кодекс связывает с возникновением смысловой неполноты при предполагаемом исключении деепричастного оборота (деепричастия). Наши примеры в большинстве случаев подтверждают это правило: *Тада човек који тако хоће да се осигура лежи под гољбеним столом претварајући се да је мртав* (*Тогда человек который хочет себя обеспечить [достойными похоронами] лежит под праздничным столом притворяясь умершим*) [Московљевић 1972: 19]. При изъятии деепричастного оборота возникает неясность, почему человек лежит под праздничным столом. Основную смысловую нагрузку несет деепричастие. В предложении *Таласи Дунава експлодирани су доле под тврђавом ударајући о камен* (*Волны Дуная взрывались внизу под крепостью разбиваясь о камни*) [Павић 1961: 48] содержится метафора, раскрываемая деепричастным оборотом.

В составе предложения могут быть слова, отсылающие читателя к содержанию деепричастного оборота, что представляет собой формальное выражение смысловой неполноты предложения и способствует отсутствию обособления оборота: *У звезданой ноћи одмотава се прича о младом Сицилијанцу који је из љуте невоље украо врећу брашна, а после бранећи се од жандарма убио у одбрани једног* (В звездной ночи разворачивается рассказ о юном сицилийце который из-за крайней нужды украл мешок зерна, а потом **обороняясь от жандармов** убил одного) [Московљевић 1972: 68]; *«Али шта ћу ја овде?»* узвикнула је **нашавши се у Батикалоу** («Что мне здесь делать?») воскликнула она **оказавшись в Баттикалоа**) [Пешић 1984: 54].

Количественные показатели случаев наличия и отсутствия обособления деепричастных оборотов (деепричастий), не имеющих объективных оснований для отсутствия при них знаков препинания, в произведениях разных авторов различаются. Наиболее последовательно пунктуационное выделение деепричастий и деепричастных оборотов происходит в текстах И. Андрича (на 1 случай отсутствия обособления приходится 13 обособлений), и М. Капора (1 : 11). О. Московлевич в наименьшей степени использует пунктуацию при оформлении деепричастий и деепричастных оборотов. В ее книге число случаев обособления приблизительно равно случаям его отсутствия. В остальных исследованных нами текстах соотношение составляет 1 : 3, 1 : 4.

Правилами русской пунктуации предписывается регулярное обособление деепричастных оборотов, независимо от их места в предложении. Исключением являются те ситуации, когда оборот составляет одно смысловое целое со сказуемым и образует смысловый центр высказывания: *Она сидела чуть откинув голову, задумчивая и грустная* [Розенталь 1984: 64]. Одиночное деепричастие не обособляется, если является обстоятельством образа действия и приближается по значению к наречию или сочетанию существительного с предлогом: *Она говорила об этом улыбаясь (= говорила с улыбкой)* [Розенталь 1984: 64]. В русском языке возможно отсутствие выделения деепричастных оборотов и в позиции перед сказуемым. Это происходит тогда, когда деепричастия утрачивают значение процесса или состояния и приближаются по значению к цельному наречному сочетанию. Ср.: *Не унижая себя говорю, а говорю с болью в сердце* [Шапиرو 1955: 266].

Можно отметить, что правила обособления деепричастий и деепричастных оборотов в сербских и русских орфографических справочниках включают сходные критерии, прежде всего такой критерий, как степень смысловой близости между глаголом-сказуемым и деепричастием. На практике в сербской письменной речи не выделенных пунктуационно

деепричастий и деепричастных оборотов значительно больше, чем в русских текстах. Это связано, с одной стороны, с той особенностью русской пунктуации, относительно которой Т. М. Николаева отмечает, что за русскими пунктуационными правилами стоит отношение к общесинтаксическому концепту событие: «Пунктуационные знаки стремятся отделить одно событие от другого и в разделенных событиях продемонстрировать, что каждый семантически автономный компонент события имеет право на вхождение в виде одного члена» [Николаева 2000: 91]. С другой стороны, решение о выделении оборота в сербском тексте в большинстве случаев остается за пишущим, так что склонность к обособлению деепричастных оборотов и деепричастий или к отказу от него является особенностью авторского стиля.

Обособление деепричастных оборотов в сербском языке, как и в русском, происходит с помощью парных запятых, однако изредка можно встретить парные тире: *Али Бетовен је ипак Бетовен, јер је – насловивши се на претходника и претходнике – створио велико дело (Но Бетховен это все же Бетховен, потому что – опираясь на предшественников – он создал великие произведения)* [НИН 1987: 33]; *Међутим, стручњаци – тумачећи доследно интенцију новокомпонованог 30 члана – сматрају <...> (Однако специјалисти – објасњај последователно значење нове 30 ставље – сматрају <...>)* [Политика 1990: 8]; *Срећом, имају пред собом примере издавача који су постали троти и неспособни па сада – умирући – личе на незајажљиве људе (К счастью, у них перед глазами пример издательств которые стали малоподвижны и бездеятельны и теперь – находясь при смерти – походят на ненасытных людей)* [НИН 1987: 38].

Русская пунктуационная система предполагает использование и запятых, и тире для выделения разного рода обособленных оборотов [Шапиро 1955: 46]. На практике при выделении деепричастий и деепричастных оборотов используются парные запятые.

Иногда в сербских текстах при выделении деепричастного оборота в позиции после союза происходит пропуск левого или правого знака. Возможно, пропуск знака после союза связан со слитным произношением союза и следующего за ним оборота: *Госпођа Даца сави сунџобран и вртећи га око главе, пође брже (Госпожа Даца сложила зонтик и помахиная им над головой, пошла быстрее)* [Петровић 1963: 122]; *Арсен је желео да се јави професору Кузену, али бојећи се да му не направе неприлике, одустао је и исцерао разгледницу (Арсен хотел послати открытку профессору Кузену, но опасаясь доставить ему неприятности, отказался от этой мысли и разорвал открытку)* [Карог 1990: 62]; *Јер бранећи га у часу опасности, ја хоћу да будем дружцији*

(Потому что защищая его в момент опасности, я хочу быть другим)
[Davičo 1971: 60].

Русской пунктуации не свойственно одностороннее обособление.

Обособление деепричастий и деепричастных оборотов присуще как сербской, так и русской пунктуационным системам. Различие заключается в следующем: обособление деепричастия или деепричастного оборота в русском языке происходит автоматически, за редким исключением, связанным со смысловым единством сказуемого и деепричастия. В сербском языке деепричастный оборот (деепричастие) пунктуационно не выделяется, если действие, называемое деепричастием, и действие, называемое сказуемым, воспринимаются пишущим как единое событие, то есть решение о выделении или невыделении оборота в большинстве случаев остается за автором и склонность к обособлению деепричастных оборотов и деепричастий характеризует авторский стиль.

Обособление деепричастий на письме происходит, как и в русском языке, преимущественно с помощью парных запятых. Возможно использование парных тире, в то время как в русских текстах деепричастия и деепричастные обороты не принято выделять с помощью тире. Иногда при обособлении сербского деепричастного оборота в позиции после союза происходит пропуск левого или правого знака, что для русской пунктуации недопустимо.

Литература / References

1. Андрић И. Сабрана дела / Уредник М. Перовић. Београд: Просвета, 1963. Књ. 2. 458 с.
2. Московљевић О. Светлости Медитерана / Нови Сад: Матица српска, 1972. 214 с.
3. Николаева Т. М. От звука к тексту. М.: Языки славянской культуры, 2000. 680 с.
4. НИИ. 20. 9. 1987.
5. Павић М. Унутрашња страна ветра / Уредник А. Јерков. Београд: Просвета, 1961. 116 с.
6. Петровић В. Молох. Београд: Просвета, 1963. 298 с.
7. Пешић С. Светло острво / Уредник Р. Попов. Нови Сад: Матица српска, 1984. 294 с.
8. Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. Правопис српскога језика / Уредник М. Пижурица. Нови Сад: Матица српска, 2010. 510 с.
9. Политика. 28. 10. 1990.
10. Стојанчевић В. Босна и Херцеговина од 1851. до 1874. године // Преглед историје југословенских народа. Део 2. Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке републике Србије, 1965. С. 15-18.
11. Розентал Д. Э. Справочник по пунктуации / Под ред. В. Ф. Лариной. М.: Книга, 1984. 272 с.
12. Чолаковић Р. Казивање о једном покољењу / Уредник М. Грабовац. Сарајево: Свјетлост. Књ 2. 351 с.

13. *Шаниро А. Б.* Основы русской пунктуации / под ред. В. В. Виноградова. М.: Академия наук СССР, 1955. 400 с.

14. *Carić N.* Opština Bečej: geografska monografija. Novi Sad: Institut za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, 1984. 233 s.

15. *Davičo O.* Pesma / Urednik B. Ćurčin. Beograd: Nolit, 1971. 504 s.

16. *Kapor M. Zoe* / Urednik D. Tasić. Beograd: BIGZ, 1990. 169 s.

17. *Stojančević V.* Socijalni i ekonomski položaj srpskog naroda u Srbiji i procesi društvenog raslojavanja u prvoj polovini XIX veka // Jugoslovenski istorijski časopis. 1973. № 3–4. S. 103–120.

18. *Suić M.* Odnos grad – selo u antici na istočnoj jadranskoj obali // Jugoslovenski istorijski časopis. 1973. № 3–4. S. 13–40.

Конклюдив в русско-болгарских и болгарско-русских переводах художественной литературы¹

А. Г. Мосинец

Conclusive in Russian-Bulgarian and Bulgarian-Russian translations

Anastasiya G. Mosinets

ABSTRACT. Bulgarian conclusive is a part of evidentiality as a linguistic category and has a regular expression in Bulgarian grammar. The article deals with some aspects of translation of Bulgarian sentences with conclusive forms into Russian as well as translation of Russian sentences into Bulgarian using conclusive forms.

Keywords: conclusive; evidentiality; translation; Bulgarian; Russian.

АННОТАЦИЯ. Конклюдив в болгарском языке является частью категории эвиденциальности и имеет регулярное грамматическое выражение. В статье рассмотрены особенности передачи болгарских предложений, содержащих конклюдивные формы, на русский язык, а также перевод русских предложений на болгарский язык с помощью предложений с конклюдивными формами.

Ключевые слова: конклюдив; эвиденциальность; перевод; болгарский язык; русский язык.

Конклюдив является частью четырехэлементной эвиденциальной системы болгарского языка наряду с индикативом, ренарративом и дубитативом. По определению Р. Ницоловой, значение конклюдива – «обозначение слабого, незасвидетельствованного знания, базирующегося на общем опыте данного общества или на собственном умозаключении на основе известных фактов» [Ницолова 2006: 28]. В болгарском языке конклюдив имеет грамматическое выражение в виде специальных глагольных форм, отсутствие которых в русском языке в некоторых случаях затрудняет точную передачу предложений, содержащих формы конклюдива, на русский язык.

В данной статье мы рассмотрим способы передачи болгарских предложений с конклюдивом на русский язык, а также условия, при которых конклюдивные формы используются при переводе с русского языка на болгарский. Материалом для исследования послужили болгарские и русские художественные тексты и их классические переводы, выполненные профессиональными переводчиками.

¹ Исследование выполнено в рамках международного проекта при финансовой поддержке РФФИ, Россия (№ 18-512-18003).

1. Конклюдив для выражения вывода говорящего

1.1. Перевод с болгарского языка на русский

В наших примерах мы можем наблюдать, что семантика конклюдива – умозаключение, совершаемое говорящим, – во многих случаях выражается не только грамматически, но и с помощью лексических маркеров. В основном, это вводно-модальные слова типа *значи*, *навярно*, *вероятно*, *може би*, *изглежда*, *май*, которые интенсифицируют значение умозаключения. Поэтому при переводе таких предложений на русский язык значение вывода сохраняется, но идентифицируется с помощью именно лексических средств, а не глагольной формы: *Тя сигурно е обърнала стаята си наопаки, а това е неприятно за гледане* (Д. Димов). – *Она, наверное, перевернула вверх дном свою комнату, а на это неприятно смотреть* (пер. И. Марченко, А. Собковича); *Беше абсурдно, разбира се, да излезне един влак. Вероятно се е случило нещо и повече не можеше да се чака* (Й. Радичков). – *Не мог же поезд просто исчезнуть, – вероятно, что-то случилось, и ждать больше нельзя* (пер. Н. Глен).

Значение умозаключения может быть усилено не только вводно-модальными словами, но и содержаться в ближайшем контексте. Например, в следующем предложении указание на вывод представлено в главной части: *Едва сега ми става ясно, че той е гледал на мене като на сигурен гробокопач на фабриката, въпреки че се е въздържал да ми го каже* (Д. Димов). – *Только теперь мне стало ясно, что во мне он видел могильщика его детища, хотя и не говорил мне об этом* (пер. И. Марченко, А. Собковича).

В случае отсутствия лексических маркеров умозаключения в болгарском тексте конклюдивная семантика при переводе на русский язык теряется. Например, в следующем предложении представлена нетипичная ситуация, когда говорящий в рассказе о произошедших с ним лично событиях использует конклюдивные формы, хотя они и передают незащищенное знание: *Не съм предател аз и не ми е трепнала ръката на мене, ами камъкът имал отвътре гнил дамар, та като ударих с длетото, съм улучил точно в дамара* (Й. Радичков). При использовании конклюдивных форм 1 лица (вместо обычных в таком случае индикативных) подчеркивается субъективность высказывания, говорящий заново оценивает ситуацию, которую в прошлом почему-либо не мог осознать или воспринял по-иному [Алексова 2016]. В русском переводе нюанс переосмысления ситуации теряется, а информация подается читателю как свидетельская: *Я не предатель, и рука у меня не дрогнула, а просто в камне гнилая жила была, и я как ударил долотом,*

в самую эту жилу и **попал** (пер. Н. Глен) (ср. возможный перевод с использованием лексического добавления: в эту самую жилу, **видать, и попал**).

См. также: *Вуйчо, то се знае, никоя смърт не е хубава, но нейната е била поне лека. Тя нищо не е усетила, просто е заспала завинаги* (П. Вежинов). – *Конечно, дядя, хорошей смерти не бывает. Но у нее она была по крайней мере легкой. Тетя ничего не почувствовала, просто уснула навсегда* (пер. Л. Лихачевой). Из русского перевода данного предложения не следует способ получения информации: был ли говорящий свидетелем событий или же это его вывод, или он пересказывает данные, полученные из другого источника. Ситуация умозаключения, однако, в данном случае понятна русскому читателю благодаря знанию более широкого контекста.

1.2. Перевод с русского языка на болгарский

При переводе с русского языка на болгарский наличие лексических маркеров умозаключения в русском оригинале, как правило, провоцирует появление в болгарском переводе конклюдивных форм, например: *Я рассказал об этом Рязанову, моему дяде, а он, по-видимому, Будягину* (А. Рыбаков). – *Споделих всичко това с Рязанов, мой вуйчо, а той очевидно е споделил с Будягин* (пер. З. Петровой). Здесь при переводе первой части предложения используется форма индикативного аориста (*споделих*), так как говорящий рассказывает о своих собственных действиях; во второй части предложения переводчик использует тот же глагол, но уже в форме конклюдивного аориста (*е споделил*), когда говорящий делает предположение о действиях третьего лица, свидетелем которых он не был, что подчеркивается вводно-модальным словом *по-видимому* (в болгарском переводе *очевидно*).

В следующем предложении при переводе на болгарский язык также употреблен конклюдивный аорист: *Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, – ответил кот, – шаха королю нет и быть не может* (М. Булгаков). – *Навярно не съм чул добре, учителю – отвърна котаракът, – не съм шах, шах няма и не може да има* (пер. Л. Минковой). Говорящий использует конклюдивную форму для рассказа о ситуации, свидетелем которой он только что был, чем в данном случае подчеркивается сомнение, неуверенность персонажа (пусть и притворное): он как бы передает не бесспорный факт, а лишь свое предположение о том, что произошло.

Однако перевод на болгарский язык предложений с вводно-модальными словами с помощью конклюдивных форм не является обязательным. Например, в следующем примере переводчик выбирает форму индикативного имперфекта, несмотря на наличие в ближайшем

контексте модального слова *вероятно*: *Когда, под мышкой неся щетку и рапиру, спутники проходили подворотню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и высоких сапогах, вероятно, кого-то поджидавшего* (М. Булгаков). – *Когда спътниците, понесли под мишница метлата и рапирата, минаха през безистена, Маргарита забеляза някакъв човек с каскет и високи ботуши, който явно висеше там от часове* (пер. Л. Минковой). В данном случае нет акцента на умозаключении персонажа, продолжается повествование от лица всеведующего автора.

2. Конклюдив для пересказа информации, полученной с чужих слов

Формы конклюдива в нашем корпусе используются и для передачи информации, полученной с чужих слов, например: *В него [сообщение] освен информацията за злополуката се споменаваше, че колата е била намерена изоставена някъде отвъд Местре и че се води следствие* (Б. Райнов). – *Кроме информации о несчастном случае в нем [сообщении] сказано, что где-то в окрестностях Местре обнаружена брошенная машина и что ведется следствие* (пер. А. Собковича).

Таким образом, конклюдив вторгается в сферу ренарратива – эвиденциальной граммемы, основное назначение которой – пересказ полученных с чужих слов сведений. Отметим, что конклюдив и ренарратив имеют сходство и в формальном выражении – их формы совпадают, за исключением форм 3 лица.

Разница в семантике форм конклюдива и ренарратива при передаче чужих сведений состоит в том, что информация, передаваемая конклюдивными формами, включается говорящим в общий фонд знаний и представляется как его субъективное утверждение [Алексова 2016], то есть употребление конклюдива вместо ренарратива указывает на меньшую дистанцированность говорящего от сообщаемой информации. Например, в следующем предложении форма конклюдива подчеркивает уверенность говорящего в истинности передаваемой информации (доверие дяди словам племянника): *Той [племянник] веднага е заявил на Криста, че е готов да приеме всяко нейно решение.* (П. Вежинов). – *Он [племянник] сразу же заявил Кристе, что готов принять любое ее решение.*

Упомянем, что существует и другая точка зрения. Например, в работе [Макарцев 2010: 115] формы, которые мы здесь рассматриваем как конклюдивные, считаются особыми формами ренарратива, которые используются, чтобы избежать дистанцирования от передаваемой информации.

В переводе на русский язык различие между конклюдивными и ренарративными формами, как правило, теряется, ср. перевод предложения с конклюдивом: *Нейният баща е избягал от къщи, когато тя е била двегодишна* (П. Вежинов). – *Отец у нее **сбежал** из дома, когда ей было всего два года* (пер. Л. Лихачевой) и ренарративом: *Жена му отначало само плачела, после се молила, накрая започнала да го бие и като нищо не помогнало, **избягала** при своите родители* (П. Вежинов). – *Жена сначала только плакала, потом умоляла его, под конец начала его колотить, и так как ничто не помогало, **сбежала** от него к родителям* (пер. Л. Лихачевой). Для читателя русского перевода сохраняется только общий для конклюдива и ренарратива факт передачи незасвидетельствованной говорящим информации, что становится ясно только благодаря контексту.

Конечно, разницу между конклюдивной и ренарративной семантикой возможно передать на русский с помощью различных лексических добавлений (например, *я уверен, я знаю*, с одной стороны, и *как говорят, по словам*, с другой). Однако является ли оппозиция конклюдив – ренарратив во всех случаях настолько явной и значимой в болгарском языке? Согласно Р. Ницоловой, такая оппозиция существует, скорее, формально. В языковом сознании носителей болгарского языка конклюдив и ренарратив при передаче информации с чужих слов «существенно не различаются с точки зрения дистанцированности» [Ницолова 2006: 34]. Поэтому перевод обеих форм одними и теми же языковыми средствами может быть вполне оправдан.

Параллельное употребление форм ренарратива и конклюдива мы наблюдаем и в болгарском переводе русских предложений. В следующем примере в репликах одного персонажа употреблена сначала форма ренарратива (*се скарала*), а затем конклюдива (*е продължила*): *Поссо-рилась, значит, с братцем? – мякко перебил студента Порфирий Петрович. – И одна **шла**? (Б. Акунин) – **Значи се скарала с брат си? – меко прекъсна студента Порфирий Петрович. – И е продължила сама?** (пер. С. Бранц).*

Таким образом, на русский язык значение конклюдивных форм передается с помощью лексических средств, в основном, вводно-модальных слов. При их отсутствии семантика умозаключения теряется или выводится только из знания предыдущего контекста. Наличие этих же лексических маркеров в русском оригинале провоцирует употребление конклюдивных форм в болгарском переводном тексте. Формы конклюдива в болгарском тексте могут служить и для передачи информации, полученной говорящим с чужих слов, наряду с формами ренарратива. В таком случае конклюдив маркирует большую по сравнению с

ренарративом уверенность говорящего в точности информации. В русском переводе, однако, как правило, не проводится различий между конклюдивом и ренарративом. С другой стороны, различия между употреблением ренарратива и конклюдива не всегда воспринимаются носителями болгарского языка.

Литература / References

1. *Алексова К.* Конклюдивът и неговите употреби в съвременния български език // Електронно списание LiterNet, 2016. № 10 (203). [Электронный ресурс.] URL: <https://litenet.bg/publish7/kaleksova/konkluzivyt.htm>. Дата последнего обращения: 25.09.2018.
2. *Макарецв М.М.* Эвиденциальность в болгарском языке: проблемы типологической классификации // Acta linguistica petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2010. Том VI (3). С. 112–119.
3. *Ницолова Р.* Взаимодействие эвиденциальности и адмиративности с категориями времени и лица глагола в болгарском языке // Вопросы языкознания. 2006. № 4. С. 27–45.

Типологические особенности словацкого консонантизма

М. А. Штудинер

Typological peculiarities of Slovakian consonantism

M. A. Shtudiner

ABSTRACT. Phonetic peculiarities of the Slovak language are analyzed in the article through the prism of an all-Slavic phenomenon – the reflection of long consonants, which appeared in Slavic consonant systems as the result of mutual adaptation of consonants in homorganic combinations, which came into being after the loss of ultrashort vowels in a weak position. As far as the fate of long consonants is concerned, the Slovak, Czech and Serbian languages on one hand, and the Polish, Russian, Belarusian and Ukrainian languages on the other hand, take two polar positions. The Bulgarian language takes an interim position.

Key words: long consonants; codification of pronouncing standard; Slovak orthoepy; typological classification of Slavic languages.

АННОТАЦИЯ. Фонетические особенности словацкого языка рассматриваются в статье сквозь призму одного из общеславянских явлений – рефлексацию долгих согласных звуков, возникших в славянских консонантных системах в результате взаимной адаптации согласных в гоморганных сочетаниях, появившихся после утраты сверхкратких гласных в слабой позиции. В отношении судьбы долгих согласных словацкой, чешской и сербской языки, с одной стороны, и польский, русский, белорусский и украинский, с другой, представляют два полюса. Болгарский язык занимает промежуточное положение.

Ключевые слова: долгие согласные; кодификация произносительной нормы; словацкая орфоэпия; типологическая классификация славянских языков.

Фонетические особенности словацкого языка рассматриваются в статье сквозь призму одного из общеславянских явлений – рефлексацию долгих согласных звуков, возникших в славянских консонантных системах в результате взаимной адаптации согласных в гоморганных сочетаниях, появившихся после утраты сверхкратких гласных в слабой позиции.

Долгие согласные в терминах артикуляторной фонетики могут быть определены как звуки, при произнесении которых дольше, чем обычно, не изменяется конфигурация артикуляционных органов, т.е. дольше, чем обычно, сохраняется затвор или щель.

Процесс возникновения долгих согласных имел место в различных славянских языках в разное время (в зависимости от хронологии утраты сверхкратких и ассимиляции согласных по глухости / звонкости). В каждом языке преобразование гоморганных сочетаний в долгие согласные осуществлялось в несколько этапов: раньше возникли долгие согласные из тех сочетаний, элементы которых были между собой наиболее близкими в артикуляционном отношении, т. е. прежде всего преобразованию подвергались сочетания идентичных согласных. Вероятно, длительное время после утраты сверхкратких гласных во всех славянских языках наблюдалась ситуация, подобная той, которая характерна для современного украинского языка: в большинстве украинских говоров и литературном языке на месте сочетаний исконно одинаковых согласных звуков выступают долгие согласные, сочетания же звонкого и глухого согласных сохраняются. После завершения процесса ассимиляции по глухости / звонкости число долгих согласных в славянских языках значительно увеличилось. Однако в дальнейшем судьба этих звуков была различной в отдельных славянских языках. Задача настоящей статьи – показать, как в рефлексации данного общеславянского явления отражаются фонетические особенности словацкого языка. В то же время сопоставление гомогенных звуковых элементов близкородственных языков является и типологической задачей, поскольку оно может позволить выявить некоторые типологические характеристики фонетических систем славянских языков и на этой основе осуществить их классификацию.

Существующая в настоящее время кодификация словацкой произносительной нормы предписывает произносить долгие согласные в интervoкальной позиции в следующих случаях:

а) на стыке приставки и корня – [d:] *preddavok*, [t:] *odtade*, [d':] *oddialit'*, [t':] *odtiahnut'*, [z:] *bezzásadový*, [s:] *rozsypat'*, [c:] *odcestovat'*, *odsúdit'*, [č:] *nadčas*, *podšívka*;

б) на стыке корня и суффикса – [n:] *kamenný*, [n':] *denne*, [k:] *mäkký*, [š:] *užší*, [c:] *sudca*, [č:] *dobyťí*, *sladší*, *váčší*;

в) в формах 2 л. мн. ч. повелительного наклонения глаголов, имеющих в исходе корня [d'] или [t'] – [t':] *súd'te*, *pod'te*, *vrát'te*;

г) в числительных типа [d':] *pät'desiat*, [c:] *dvadsat'*;

д) в формах превосходной степени прилагательных – [j:] *najjasnejší*, *najjednoduchší*;

е) в формах 1 л. мн. ч. повелительного наклонения глаголов, корни которых заканчиваются согласным [m] – [m:] *oznámme*, *nelámme*, *gozломme*;

ж) в сложных словах – *štvorrozmerný, štvorručne*, [l:] *pollitrový*, [j:] *dvojjazyčný*;

з) на стыке слов [Kráľ 2005].

Я. Станислав отмечает, что правило, предписывающее произносить аффрикаты с долгим затвором в словах *otca, otče, kratší, mladší* и т. п., «имеет очень слабую опору в реальном произношении, если вообще ее имеет»: обычно в этих словах произносятся аффрикаты нормальной длительности. Поэтому, по его мнению, не следовало бы ограничивать «свободу актеров в этом вопросе», хотя в «высшем стиле» было бы все же лучше произносить в этих словах долгие аффрикаты [Stanislav 1978: 206].

Произношение долгих согласных в словах *oddych, poddat' sa, štvorručný, kamenný, sad'te, vyšší* и т. п., а также на стыке слов Я. Станислав считает обязательным для актеров, во всяком случае – в пьесах классического репертуара и опере. В действительности же это требование не выполняется: сам Я. Станислав отмечает, что в опере «Евгений Онегин» певцы поют [su:t'e] вместо [su:t':e] и [rosu:d'ila] вместо [ros:u:d'ila] [Stanislav 1978: 212]. Подобные отступления от существующей кодификации в речи лиц, у которых имеется установка на кодифицированный стиль произношения, зафиксированы многими словацкими лингвистами. В транскрипциях текстов, записанных Й. Лишкой во время выступлений по телевидению известных словацких актеров, находим многочисленные примеры упрощения звуковых последовательностей: [c] *podstatne, predstava, dvadsat', štyridsiatka, predsa, pod svojou, ked' sa, ked' si, predstavte si*; [č] *radšej, predsvedčit', väčšia*; [d] *oddych*; [d'] *pät'desiatku*; [t'] *príd'te, chod'te, pod'te*; [n] *každodenný, povinnosť* [Liška 1967: 152–155].

Требование сохранять в литературном произношении долгие согласные нередко мотивируется коммуникативной целесообразностью: употребление долгих согласных облегчает восприятие речи, сохраняя прозрачность морфологического состава слова [Pauliny 1981: 239]. Однако невыраженность межморфемных границ не создает препятствий для коммуникации. Фонетическое упрощение может способствовать процессу сращения морфем, но оно является условием явно недостаточным для того, чтобы слово утратило морфологическую членимость. Неразложимость слова на морфемы связана в первую очередь с высокой степенью фразеологизации его значения. Морфологический состав, например, сербских слов *беживотан, бежичан* осознается носителями языка (*без + животан, без + жичан*), несмотря на фонетическую (и даже графическую) невыраженность стыка приставки и корня. В тех случаях, когда сокращение длительности согласного могло бы действи-

тельно привести к утрате целой морфемы, язык без помощи кодификаторов находит пути для сохранения всех морфологических компонентов слова, ср. слов. *zozadu* и русск. [z:] *езади*, польск. [z:] *zzadu*; слов. *so synot* и русск. [s:] *с сыном*.

Все приводимые ниже факты, касающиеся литературного словацкого языка, получены на основе аудиторского анализа речевого материала, собранного автором с помощью различных методик. На первом этапе исследования были использованы записи спектаклей, радиопередач, лекций и т. п. Затем была произведена запись специальных текстов, начитанных шестью дикторами – представителями различных регионов Словакии (двое из Братиславы, двое из Центральной и двое из Восточной Словакии). Информантам предлагалось прочитать текст два раза: первый раз так, «как читает диктор по радио», второй – в быстром темпе, так, «как обычно говорят дома, с друзьями». Существенный недостаток этого приема фонетического обследования очевиден: нельзя иметь полной уверенности в том, что некоторые особенности произношения в данном случае не обусловлены влиянием орфографии.

Поэтому нами широко был использован еще один прием фиксации речи, который, как нам кажется, лишен указанного недостатка. Были составлены экспериментальные тексты, в которых слова (или сочетания слов), произношение которых нас интересовало, встречались, по крайней мере, дважды: в одном случае – под фразовым ударением, во втором – в интонационных условиях наименьшей ударенности. Эти тексты были переведены на русский язык. Тем же шести информантам предлагалось выполнить устный перевод этих текстов на словацкий язык.

При проведении эксперимента был соблюден ряд условий:

а) нами были приглашены такие информанты, в русской речи которых наблюдаются как устойчивые, так и неустойчивые черты акцента; такой подбор участников эксперимента позволил исключить вероятность появления в произнесенных ими на родном языке фразах каких-либо особенностей, обусловленных влиянием русской фонетической системы;

б) известные биографические данные наших информантов позволяли считать их носителями литературной произносительной нормы;

в) предложенные фразы были очень легкими для перевода, поэтому замедления темпа речи для подбора нужного слова не возникало;

г) русские предложения были построены таким образом, что они провоцировали употребление интересующего нас слова; информантам не сообщалось, в чем заключалась цель эксперимента и почему в некоторых случаях предложенный ими перевод (где отсутствовало явление, составляющее предмет исследования) нас не устраивал;

д) фразы для перевода информанты воспринимали на слух, а не читали с листа; это давало возможность в какой-то степени задать им интересующий нас тип произнесения.

Полученный таким образом материал, конечно, не дает в полной мере представления о «естественном» произношении, так как условия, в которые были поставлены дикторы (перевод по заданию, перед микрофоном) отразились на некоторых особенностях их речи. Но преимущество этого приема массового фонетического обследования перед записью чтения вслух все же несомненно: поставив перед информантами задачу перевести текст, мы тем самым отвлекли их внимание от звуковой стороны высказывания, при чтении же их внимание сосредоточено на собственном произношении, что неизбежно ведет к его искусственности.

Наши наблюдения показали, что долгие согласные в литературном словацком языке внутри слова в большинстве случаев упростились: [d] *preddavok*, [t] *odtade*, [dʰ] *oddialit'*, [tʰ] *odtiahnut'*, *súd'te*, [z] *bezzásadový*, [s] *rozsypat'*, [c] *odcestovat'*, *odsúdit'*, *sudca*, *dvadsat'*, [ʒ] *podzemný*, [č] *nadžčas*, *dobyčĕi*, *podšívka*, *sladši*, *váčši*, [ʒ̣] *nadživotný*, [š] *užši*, [n] *kamenný*, [ṇ] *denník*, [k] *mäkký*, [j] *najjasnejši*.

Произношение в приведенных выше случаях, вопреки указаниям орфоэпических пособий, согласных нормальной длительности не может считаться ошибкой, так как оно не приводит к нарушению взаимопонимания между говорящими, широко распространено и, как мы увидим далее, фонетически не случайно.

Внутри слова представлены только долгие сонорные согласные в сложных словах и в глагольных формах 1 л. мн. ч. повелительного наклонения: [r:] *štvorrozmerný*, *štvorručne*, [l:] *pollitrovy*; [m:] *oznámme*, *nelámme*, *rozlomme*.

На стыке предлога и следующего слова в интервокальной позиции в кодифицированном стиле произношения выступают долгие согласные: [d:] *pred domom*, [t:] *nad tymto*, [z:] *cez zimu*, [s:] *bez seba*, [c:] *od cesty*, [č:] *pod čiapkou*, [ʒz] *pred zákonom*, [c^s] *pred sebou*, [žž] *od ženy*, [čš] *pod šatkou*.

В интервокальной позиции долгие согласные возможны и на стыке слова с энклитикой: [s:] *tras sa*, *teraz si čítaj*, [m:] *potom mu to dáš*, [c^s] *herec sa bál*.

На стыке самостоятельных слов представлены долгие согласные: [z:] *voz zastal*, [s:] *voz sena*, [dʰ:] *devät' detí*, [b:] *dráb budil*, [p:] *chlap padá*, [n:] *pán Novák*, [nʰ:] *továreň nepracovala*, [l:] *bol lahodný ve*.

čer, [m:] *mám moc*, [r:] *horár rad*, [v:] *bratov vól*, [x:] *po vrchoch chodit'*, [č:] *zvárač často*, [ž:] *nehadž džban* и т. д.

Наши наблюдения над разговорным словацким произношением подтверждают выводы, сделанные выше: в разговорном стиле словацкого литературного языка долгие согласные выступают факультативно только на стыке самостоятельных слов: [z:] *voz zastal*, [s:] *voz sena*, [d':] *devät' detí* и т. д., хотя здесь возможно и упрощенное произношение: [z] *voz zastal*, [s] *voz sena*, [d'] *devät' detí* и т. д. Внутри слова, на стыке предлога и следующего слова, а также на стыке слова с энклитикой в разговорном стиле произношения долгие согласные не представлены.

Об этом же свидетельствует и анализ работ словацких диалектологов: на большей части словацкой языковой территории долгие согласные внутри слова и на стыке слов, входящих в одну синтагму, подверглись сокращению.

Словацкие диалектологи отмечают сохранение долгих согласных на стыке самостоятельных слов лишь в медленной, «старательной» речи.

Упрощение долгих согласных как внутри слова, так и на стыке слов отражают и памятники словацкой письменности: *po tým horamý* «*pod tými horami*» (1480 г. – сер. XVI в.), *pretým prieslo(m) ich* «*pred tým...*» (1569), *buto Panom meštenom* «*bud'to...*» (1579), *geho milost oda* «*...oddá*» (1591), *czy su v tom vynu* «*...vinní*» (1611) [Stanislav 1967: 689].

Итак, в словацком языке долгие согласные внутри слова утратились во всех комбинаторных позициях, на стыке слов они сохраняются лишь в интервокальной позиции в кодифицированном стиле произношения литературного языка. Аналогичной была судьба долгих согласных в чешском и сербском языках.

В польском, русском, белорусском и украинском языках долгие согласные перед гласным (после гласного и в начале высказывания) последовательно сохраняются как внутри слова, так и на стыке слов. В болгарском языке действует тенденция к сокращению долгих согласных в пределах фонетического слова, которая ярко проявляется в разговорном стиле произношения литературного языка и в диалектной речи, причем в западных болгарских говорах эта тенденция выражена ярче, чем в восточных. На стыке самостоятельных слов долгие согласные в болгарском языке подвергаются упрощению в значительно меньшей степени [Studiener 1976: 729].

Таким образом, сербский, чешский и словацкий языки, с одной стороны, и польский, русский, белорусский и украинский, с другой, в отношении судьбы долгих согласных представляют два полюса. Болгарский язык занимает промежуточное положение.

Данная группировка славянских языков определенным образом соотносится с их классификацией, предложенной А. В. Исаченко [Исаченко 1963: 106–121]. В соответствии с типологическим критерием, учиты-

вающим численность консонантного и вокалического инвентарей, сербский, чешский и словацкий языки принадлежат к вокалическому типу, а польский, русский, белорусский и украинский – к консонантному. Болгарский язык тяготеет к последнему типу.

Развитие того или иного славянского языка как консонантного или вокалического было предопределено «вторичным» смягчением согласных, т. е. еще до утраты сверхкратких гласных.

Древнесербский язык не знал процесса смягчения полумягких согласных перед гласными переднего ряда. В древнечешском и древнесловацком языках этот процесс не был проведен последовательно. В восточных болгарских говорах содержатся многочисленные следы смягчения полумягких. Западные болгарские говоры в этом отношении ближе к сербскому языку. Переход полумягких согласных в мягкие последовательно осуществился в восточнославянской языковой области. В языках лехитской группы этот процесс был проведен еще более последовательно [Бернштейн 1961: 239–240].

После утраты сверхкратких гласных в результате обусловленного рядом фонетических процессов увеличения числа долгих гласных на всей славянской языковой территории в системах вокализма сформировалась категория количества. В тех славянских языках, в которых последовательно был проведен процесс смягчения полумягких согласных перед гласными переднего ряда и в связи с этим после возникновения непозиционной мягкости могла сформироваться категория твердости / мягкости с большим числом соотносительных пар, долгие гласные подверглись сокращению, т. е. категория количества оказалась избыточной. В языках же с ущербной категорией твердости / мягкости противопоставление долгих и кратких гласных сохранилось. Фонетические системы этих языков обладали достаточными дистинктивными возможностями для того, чтобы допустить утрату долгих согласных звуков, представлявших собой бифонемные сочетания.

Сохранение долгих согласных в некоторых словацких говорах носит аномальный характер. Это оказывается возможным, вероятно, потому, что в языке некоторое время могут сохраняться отдельные элементы, наличие которых является «нерациональным» с точки зрения системных отношений (примером такого явления может служить также сохранение долгих гласных в предударном слоге двусложных слов в позднем праславянском: **tra:’va*, **mo:’ka*, когда противопоставление гласных по количеству отсутствовало). На каком-то этапе развития языка по тем или иным причинам эти сохраняющиеся по традиции элементы могут «заиграть», т. е. приобрести функциональную значимость (так, долгие гласные, сохранявшиеся по традиции в предударном слоге дву-

сложных слов, приняли участие в формировании новой категории количества уже в отдельных славянских языках после появления большого числа долгих гласных в результате заместительного продления, стяжения гласных и ряда других процессов). Следует отметить, что ареал распространения отмечаемой словацкими диалектологами спорадической утраты долгих гласных совпадает с территорией распространения долгих согласных.

Литература / References

1. *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Т. I. М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. 350 с.
2. *Исаченко А. В.* Опыт типологического анализа славянских языков // Новое в лингвистике, вып. III. М.: Издательство иностранной литературы, 1963. С. 106–121.
3. *Král' A.* Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin: Matica slovenská, 2005. 423 s.
4. *Lišká J.* Kodifikácia spisovnej výslovnosti // Kultúra spisovnej slovenčiny / Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľ'stvo SAV, 1967. S. 149–160.
5. *Pauliny E.*, Slovenská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľ'stvo, 1981. 323 s.
6. *Stanislav J.* Dejiny slovenského jazyka. I. Bratislava: Vydavateľ'stvo SAV, 1967. 712 s.
7. *Stanislav J.* Hudba, spev, reč. Bratislava: Opus, 1978. 432 s.
8. *Studiener M. A.* Lange Konsonanten in der bulgarischen Sprache der Gegenwart // Zeitschrift für Slawistik, Bd. XXI, 1976, H. 6. S. 725–729.

Лингводидактика

Язык современной политики как компонент профессиональной подготовки дипломатов

Т. С. Мочалова

Modern Political Discourse as an Element of Training of Diplomats

Tatiana Mochalova

ABSTRACT. In the process of teaching specialists in the field of international relations at the Diplomatic academy the subject-oriented methodic are used including teaching Polish. Integration of learning a foreign language and special disciplines suggests special demands for a teacher: specifics, heterogeneous character and changeability of the political language, terminological character of the language of economics and law demand from him both linguistic and special knowledge in those fields and the ability to select carefully and compose actual and informative materials which motivate students.

Keywords: Polish language teaching at universities; language for special purposes; vocabulary and lexis; foreign languages for international relations.

АННОТАЦИЯ. В процессе подготовки специалистов в области международных отношений в Дипломатической академии успешно используется предметно-ориентированная методика обучения иностранным языкам, в том числе, польскому. Интеграция обучения языку и специальным предметам предполагает особые требования к преподавателю: специфика, неоднородность и подверженность постоянным изменениям языка политики, терминологичность языка экономики и юриспруденции требуют от него не только языковых, но и предметных знаний в этих областях, а также умения тщательно подбирать и составлять мотивирующие учащихся актуальные и информативные материалы.

Ключевые слова: преподавание польского языка в вузе; язык специальности; лексика; язык политики.

В высших учебных заведениях Польши в последние годы все большей популярностью пользуются специализированные курсы по изучению польского языка как иностранного, предназначенные для будущих экономистов, юристов, медиков, строителей, специалистов по логистике и пр., в то время как в вузах Москвы польский язык изучается преимущественно в «общегуманитарном» аспекте. Такие разные подходы вполне

объяснимы: обучаясь в стране, люди в основном представляют себе, чем они хотят и будут заниматься, в то время как при изучении языка вне языковой среды не всегда можно прогнозировать сферу его применения в будущем. В то же время, судя по обилию научных конференций и статей на эту тему, и в российской дидактике наметился поворот к изучению языка специальности, предполагающий особое внимание к специальной лексике и терминологии, выделение характерных для данной разновидности языка типов устных и письменных высказываний и языковых средств для их оформления, а также подбор соответствующих материалов. При таком подходе целью изучения становится не собственно иностранный язык, а сам предмет, который познается через этот язык-посредник. Такая интеграция получения языковых знаний и умений с овладением избранной специальностью предусматривается методикой CLIL (*Content and Language Integrated Learning* – предметно-языковое интегрированное обучение), хотя в большей или меньшей степени элементы этого метода использовались всегда и, наверное, всеми преподавателями.

Как и в МГУ имени М. В. Ломоносова, в Дипломатической академии МИД России славянские языки, в том числе польский, изучаются уже на протяжении 75 лет. Все это время менялся набор преподаваемых языков, количественный, национальный и возрастной состав учащихся в группе, менялись сроки обучения, обеспеченность учебного процесса необходимыми пособиями, прессой и техническими средствами. Неизменными оставались, пожалуй, только цели языковой подготовки учеников: здесь всегда готовили специалистов в области международных отношений, сотрудников МИД, посольств, консульств и торговых представительств СССР, а потом Российской Федерации. Задачей преподавателей, таким образом, было обучение языку конкретной специальности, позволяющему выпускникам эффективное и комфортное существование в рамках трудной и важной профессии. С этой целью была составлена и по сей день используется и совершенствуется так называемая профессиональная программа, описывающая возможные ситуации и моделирующая роль и поведение в них будущих дипломатов, и тем самым определяющая набор обязательных для изучения на уроках иностранного языка «лексических тем» и необходимых для этого языковых средств.

В настоящее время при подготовке бакалавров и магистров на двух факультетах ДА МИД России профилирующими являются такие направления, как международные отношения, право, экономика и менеджмент. Все они в целом отражают тот спектр задач, которые предстоит решать выпускникам ДА в зависимости от занимаемой должности в структурах МИД или подчиненных ему загранучреждений. Работая в посольстве в группе внешней или внутренней политики, в консульстве или в международных организациях, дипломат должен обладать широ-

кими знаниями, в том числе языковыми, в политике, экономике, в военной области, в области международного, дипломатического и консульского права и т. п. Он должен ориентироваться в текущих событиях в стране пребывания, знать ее историю и культуру, тонкости протокола и дипломатической переписки. Понятие «языка специальности» применительно к подготовке международных работников оказывается, таким образом, чрезвычайно широким, а на преподавателя «редких» языков ложится большая дополнительная нагрузка: кроме обучения студентов общегуманитарному и бытовому аспектам языка, он должен участвовать в их профессиональной подготовке, т.к. узкая специализация по Польше и другим славянским странам в силу малочисленности групп отсутствует, хотя дипломные работы практически всех изучающих польский язык оказываются связанными с польской проблематикой.

Для языка специальности существуют разные определения («научный стиль речи», «профессиональный язык», «стилистический вариант языка», «специальный язык», «стилистическая разновидность дискурса» и др.) и разные толкования сущности проблемы. Язык специальности – это своеобразный инструмент, позволяющий эффективно общаться в рамках профессионального сообщества, приобретать и совершенствовать профессиональные навыки, однако вряд ли стоит применительно к нему говорить о «варианте» или «разновидности» национального языка, ведь язык любой профессии, выполняя коммуникативно-познавательную функцию, опирается на общую для данного языка грамматическую систему, графику, фонетический строй. Он скорее дополняет, расширяет язык, демонстрируя специфику прежде всего за счет специальной лексики, более или менее частого употребления определенных грамматических и синтаксических структур.

А. Сэретны, рассматривая соотношение общей и специальной лексики в языке, предлагает следующую схему [Seretny 2017: 151]:



В соответствии с этой схемой, «скрытыми терминами» в языке дипломатии были бы, например, такие слова и выражения, как *dziekąn* (дуайен), *radca-minister* (советник-посланник), *lampka wina* («бокал вина» – вид приема), *papier notowy* (гербовая бумага), «явными» – *nuncjusz* (папский нунций), *listy uwierzytelniające* (верительные грамоты), заимствованные *attaché*, *agrément* (амташе, агреман) и др.

В целом, с таким подходом можно согласиться, но при этом, как кажется, следует учитывать разную степень «терминологизации» языка различных сфер человеческой деятельности. А. Сэретны пишет, что количество терминов в специальном тексте не превышает 10–20% лексики, хотя именно они представляют собой определяющую и наиболее характерную черту специального дискурса. Однако вряд ли одинаковым будет соотношение лексики общего аспекта и терминов, например, в языках биологии и филологии, математики и истории. Применительно к формированию языковых навыков будущих дипломатов данная схема выглядела бы по-разному в зависимости от коммуникативных задач в области экономики, права и собственно политики и дипломатии.

Специальных терминов в языке политики гораздо меньше, чем в экономике и правоведении, а доля лексики общегуманитарного аспекта значительно выше, ведь о политике в широком смысле сейчас можно говорить (и говорят!), пользуясь лексикой разных пластов, в том числе, просторечной.



В сравнении с ситуацией двадцатилетней давности в прессе и в устных высказываниях политиков и Польши, и России гораздо меньше штампов, клише и шаблонных оборотов, в языке царит свобода слова во всех смыслах этого выражения. Видимо, этим отчасти объясняется тот факт, что при наличии учебников, словарей и пособий по экономике и, частично, по правоведению, на польском рынке нет аналогичной учебной литературы по политике. Кроме того, дидактические материалы для этой области трудно приготовить «впрок», и дело не только в том, что быстро устаревают конкретные даты и фамилии. Политика – это то, что происходит «здесь и сейчас», а одно из условий успешного применения элементов педагогики CLIL – использование *актуальных* и *аутентичных* текстов по специальности, играющих серьезную, мотивирующую к обсуждению профессиональных проблем роль. Подбор интересных и актуальных материалов (на разных носителях), связанных с будущей специальностью, учитывающих современную международную ситуацию и положение дел в стране, позволяющих вести дискуссию, – задача преподавателя. Трудоемкая, но приносящая ощутимые результаты.

Язык специальности неоднороден. Научные статьи, монографии, академические учебники обычно содержат максимальное количество терминов, не всегда понятных неспециалисту. Несколько иначе выглядит язык общения представителей одной и той же профессии между собой, а в контактах с людьми «извне» терминологичность, «специальность» языка минимальна (ср., например, язык в учебнике анатомии, в разговорах врачей между собой и при общении врача с пациентом). Применительно к языку права польские лингвисты даже пользуются разными названиями: *język prawny* и *język prawniczy*, понимаемыми как язык правовых норм и документов и язык специалистов в области правоведения, юристов, соответственно [Rzeszutko-Iwan 2016: 100; Zeifert 2016: 3–5].

Опыт работы с общественно-политической лексикой показывает, что вполне справедливо и предлагаемое некоторыми исследователями разграничение *языка политики* и *языка политиков* [Bralczyk 2003; Ożóg 2007: 105; Skarżyńska 2001: 119–128]. В первом случае это язык учебников по политологии, международному и консульскому праву, документов (договоров, меморандумов, деклараций) и, в определенной степени, язык официальных информационных сообщений, обычно публикуемых на сайтах президента, правительства, министерства иностранных дел. Как правило, это письменная разновидность языка. Во втором – тексты выступлений, пресс-конференций, интервью, комментарии политологов и т. п. Для узко понимаемой дипломатии раздел между языком дипломатии и языком дипломатов предполагал бы язык дипломатических документов и дипломатической переписки, с одной стороны, и язык общения дипломатов, преимущественно разных стран, между собой (с соблюдением протокольных и этикетных норм) и, например, с населением страны пребывания во время приема в консульских учреждениях, с другой.

Такой подход к пониманию языка специальности позволяет проводить профессионально ориентированные занятия уже на ранних этапах обучения, хотя в методической литературе для этого обычно предусматривается уровень В-2 и выше. [Seretny 2017: 156]. Очередность рассмотрения регистров языка специальности на занятиях в ДА МИД России выглядит, как правило, следующим образом:

- язык дипломатов;
- язык политики;
- язык политиков;
- язык дипломатии¹.

¹ Язык дипломатических документов изучается специальным блоком на выпускном курсе бакалавриата.

И в польской, и в российской методической литературе о «языке политики» написано много. Сфера применения общественно-политической лексики, как уже отмечалось, чрезвычайно широка. Обычно выделяются группы слов, обозначающие наименования должностей, ведомств и организаций, органов различных ветвей власти, партий, административных территорий, лексика, связанная с организационной структурой и функционированием государства, с электоральной тематикой, с экономической географией и картой мира, с мировыми религиями и важнейшими политическими течениями, со всемирной историей и важнейшими текущими событиями на мировой арене и внутри страны и со многими другими областями. Практически все перечисленные аспекты с разной степенью обстоятельности обязательно рассматриваются на уроках польского языка

На каждом конкретном этапе студентам предлагаются разные задачи. Со спецификой языка *дипломатов* знакомство начинается уже при изучении вводного курса (это, например, протоколно-этикетные формулы приветствия, прощания, приглашений, поздравлений, пожеланий, сожаления, формы обращения к собеседнику, больший акцент на реплики «спрашивающего», детальное изучение темы «семья», необходимое для консульской работы в диалогах на общие темы и т. д).

Язык *политики* изучается на протяжении всего периода обучения. Уже в первом семестре, получая сведения о Польше на карте Европы, о членстве страны в международных организациях, ее органах власти и лидерах, учащиеся готовятся к работе с оригинальными текстами. Соответствующая подготовка проводится и в языковом плане. Важно, в частности, систематизировать спрягаемые формы глагола *być* во всех временах и рассмотреть однокоренные «событийные» глаголы *odbyć się/odbywać się, przybyć/przybywać, przebywać*, а также выучить (повторить) названия стран и столиц, предлоги места и направления, временные конструкции. Учащиеся должны научиться понимать, переводить и составлять простые фразы с использованием конструкций по схеме «кто, когда, где, куда». Такие подготовительные упражнения позволяют довольно рано (третий – четвертый месяц занятий) приступить к использованию оригинальных текстов, например, информационных сообщений о прошедших или предстоящих визитах и переговорах государственных и общественных деятелей. Материалы такого рода отличаются краткостью и лаконичностью, что очень важно на данном этапе. Актуальные тексты из средств массовой информации следует подбирать с таким расчетом, чтобы в них был минимум незнакомых слов, желательно также, чтобы содержащаяся в них информация была уже известна обучающимся из сообщений российских СМИ.

Учебники в этом виде работы не используются, но тексты обязательно сопровождаются подготовленным преподавателем комплексом разноплановых упражнений и заданий. Это может быть, например, выделение опорных слов и подбор заголовка для каждого абзаца, составление вопросов для гипотетического интервью по теме текста, составление аннотации, формулирование дефиниций к терминам (*rewizyta*, *agrément*), подбор синонимов, антонимов, задания на сочетаемость, на группировку глаголов со сходным значением (ср., напр., глаголы «речи»: *stwierdził*, *powiedział*, *zatrzymał się na*, *odnotował*, *podkreślił*; «причинно-следственной связи»: *jego wystąpienie spowodowało zamieszki*; *doprowadziło do zamieszek*; *wywołało zamieszki*; *pociągnęło za sobą zamieszki*), на заполнение словообразовательных «таблиц» (*zwycięzyc* – *zwycięstwo* – *zwycięzca* – *zwycięzczyni*) и т. д.

С накоплением лексики (к каждому тексту прилагается список 10–20 слов и выражений для активного усвоения) тексты усложняются, спектр упражнений расширяется, вводятся аудио и видеозаписи (удобно использовать, в частности, сайт *TVN-24.pl*, где можно найти видео и аудиозапись информационного сообщения и его текстовый вариант), задания на перевод, а итоговой работой с текстом становится дискуссия по затронутой в нем теме, предполагающая аргументацию, оценку и формулирование выводов.

Регулярность таких занятий (12–14 текстов в семестр) позволяет на уровне В-1/2 перейти к более трудному «жанру» – языку *politikow*. На этом этапе студенты обычно уже знакомы с расстановкой сил на политической арене внутри страны и при обсуждении проблем учитывают, что язык политиков в значительной степени обусловлен принадлежностью говорящих к тому или иному политическому направлению и подвержен изменениям вместе с переменами, происходящими в государстве, во властных и партийных структурах и, соответственно, в СМИ. В выступлениях политических деятелей, в интервью, в серьезных дискуссиях в последнее время используется лексика разных пластов, употребляется масса просторечных выражений, «модных» слов и элементов, свойственных разговорной речи: многочисленные заимствования, идиомы, фразеологизмы, всевозможные вводные конструкции, жаргонизмы и даже вульгаризмы.

Стремясь заработать голоса избирателей, выгодно «себя продать», политики сознательно нарушают принципы политической этики, используя агрессивные и зачастую оскорбительные характеристики своих оппонентов. Для языка «политической борьбы» важны, прежде всего, слова с эмоциональным и оценочным значением. Именно на них при анализе текстового материала преподавателю следует, пожалуй, обратить особое внимание. Это прилагательные, обозначающие черты ха-

рактера и оценку (*zarozumiały, żaloszny, pyszałkowaty, opieszaly, małostkowy, próżny, obłudny, zachłanny, perfidny* и др.), это просторечные существительные с негативной оценкой типа *lizus, cwaniak, drań, jędza, spryciarz, niedolega, łobuz, łajdak, nicpoń, lawirantka, lotr* и др., употребляемые политиками практически в каждой дискуссии. В языке СМИ, в блогах, в Твиттере, так любимом всеми политиками, существует своеобразная мода на подобные характеристики, на идиомы и фразеологизмы типа *pienić się ze złości, pluć sobie w brodę, trzymać nerwy na wodzy, dać w kość, przykrócić cugli, kłamać jak z nut*, поэтому такая лексика требует специальной работы в аудитории.

Речь политиков изобилует заимствованиями и так называемыми модными словами. Модно и современно говорить, например, не *przyjemne miejsce*, а *klimatyczne miejsce*, не *działania*, а *aktywności*, не *zamiast*, *sprawdzić*, *poświęcać*, *oczywiście*, *wiadomości*, а *opcjonalnie*, *zweryfikować*, *dedykować*, *dokładnie*, *newsy* [Karolczuk 2014: 206]. Работать с такой лексикой вне языковой среды особенно трудно, т. к. речь идет о неустоявшемся языковом явлении. Задача преподавателя, как представляется, сводится поэтому, в первую очередь, к облегчению *понимания* постоянно меняющегося языка, на котором повседневно говорят его носители, в том числе, политики. При обучении в отрыве от языковой среды незаменимыми в этом смысле являются видеозаписи фрагментов выступлений и дискуссий политиков (например, в Сейме, в теледебатах), демонстрирующие настойчивое проникновение разговорного языка в разные стилистические сферы, в том числе в язык СМИ, в язык официальных встреч и переговоров [Мочалова 2018: 144].

Язык политики – это не только своеобразие лексики и стиля. Существенным его элементом является также строение фразы, специфика синтаксических конструкций, частотность определенных грамматических форм. Весьма редко используется, например, первое лицо глагола и местоимение *ja*, и, наоборот, распространены безличные и пассивные модели (*zapytano go, został zapytany*), часто употребляются имена действия и аналитические конструкции с ними (*dokonał otwarcia wystawy, przeprowadzono badania*), модальные формы (*warto podkreślić, powinno się uwzględnić*), выражения типа *prawdą jest, że; jest oczywiście; nie brak (dowodów)*, имена собственные, аббревиатуры и др.

С другой стороны, важно, чтобы учащиеся осознавали разницу в письменном и устном оформлении высказывания и умели передавать содержание прочитанного и вести дискуссию, не используя оборотов, свойственных письменной речи. Полезны в этом смысле задания на «дробление» предложений, работа с синонимами, с заменами сложных предложений простыми, причастных оборотов придаточными предло-

жениями, аналитических конструкций предложениями с видо-временными формами соответствующих глаголов и т. п.

Все это необходимо иметь в виду при работе с языком политики и подготовке материалов к каждому конкретному занятию. В сочетании с актуальными информационными и аналитическими текстами, аудио- и видеозаписями, коммуникативные задания, лексико-грамматические материалы и упражнения, подготовленные преподавателем, позволят учащимся ориентироваться в политической жизни страны, вести дискуссию на профессиональном уровне, активно пополнять словарный запас, в том числе, идиомам и фразеологизмами, повторять изученные и осваивать новые синтаксические модели. Работа по подбору и составлению этих материалов требует от преподавателя много сил и времени, но в значительной степени именно от нее зависит качество профессиональной подготовки будущих специалистов-международников.

Литература / References

1. Мочалова Т.С., Сыркова И.А. О работе с профильными текстами на занятиях по славянским языкам // Язык как фактор культурной дипломатии. Материалы межвузовской научно-практической конференции. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2017. С. 141–148.

2. Мочалова Т.С. От ошибки к норме? О своеобразной экспансии разговорного языка // NEW WORLD. NEW LANGUAGE. NEW THINKING. Материалы межвузовской научно-практической конференции. М., 2018. С. 140–147.

3. Просвирина О.А. Семантический и дистрибутивный анализ лексики при подготовке материалов профессионального модуля // NEW WORLD. NEW LANGUAGE. NEW THINKING. Материалы межвузовской научно-практической конференции. М., 2018. С. 151–157.

4. Bralczyk J. O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa: TRIO 2003. 120 s.

5. Karolczuk A. Kłopot ze znaczeniem: naruszenie normy leksykalnej a działania lektora języka polskiego jako obcego // Acta Universitatis Lodzianis 21. 2014. S. 203–210.

6. Ożóg K. O języku współczesnej polityki // Polityka i społeczeństwo, Rzeszów. 2007. № 4. S. 103–110.

7. Rzeszutko-Iwan M. Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka – w kontekście pedagogiki CLIL // Acta Universitatis Lodzianis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 23. 2016. S. 98–111.

8. Seretny A. Leksyka w nauczaniu języka specjalistycznego – potrzeby akademickie a potrzeby zawodowe // Acta Universitatis Lodzianis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 24. 2017. S. 149–163.

9. Skarżyńska K. Jak porozumiewają się politycy // Zmiany w publicznych zwyczajach językowych / red. J. Bralczyk, K. Mosiolek-Kłosińska. Warszawa: Rada Języka Polskiego, PAN, 2001. S. 119–128.

10. Zeifert M. Kultura języka prawniczego. Cz. II // Slajdy z wykładu z dnia 11.12.2016. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski. S. 1–61.

**Народное искусство и лексический состав в учебниках
македонского языка для обучения в Республике Македония**

А. Штериоска-Митреска; Б. Петковска

**The Folk Works and the Word Composition in the Macedonian
Language Textbooks and Reading for Elementary Education
in the Republic of Macedonia**

Anita Sterjoska-Mitreska; Blagica Petkovska

**Народното творештво и зборовниот состав во учебниците
по Македонски јазик за одделенска настава
во Република Македонија**

Анита Штерјоска-Митреска; Благица Петковска

ABSTRACT. Enriching the vocabulary of students is an essential teaching task for which the teacher should implement appropriate method solutions. This is important for the development of students' language literacy. An academic research procedure was conducted on the textbooks and reader used in the elementary education in the Republic of Macedonia in order to determine the word-fund originating from the content of the folk works used in the instruction. In order for this, we conducted a quality analysis of the content in the textbooks and a poll on the students that will provide lexicological information.

Keywords: *folk literature; textbook; lexis; classification.*

АННОТАЦИЈА. Обогащение словарного запаса студентов является важной задачей преподавания, для которой преподаватель должен найти подходящие методы решения. Это важно для развития языковой грамотности учащихся. Было проведено научное исследование учебников для начальных классов начальной школы в Республике Македония с целью установить, какой словарный состав, содержащийся в произведениях народного творчества, должен учитываться в преподавательской работе. С этой целью был проведен анализ содержания учебников; одновременно проводился опрос учащихся, что позволило сделать выводы лексикологического характера.

Ключевые слова: народное творчество; учебник; словарный запас; классификация.

Речникот на говорителот на определен јазик е битна компонента на неговата говорна култура. Точности на изразот подразбира дека тој располага со богат речнички фонд и може да направи подбор на зборовите, односно да употреби вистински зборови, посебно синоними, фрази,

стилски ознаки. Исто така, богатиот речник му овозможува на говорителот да нема семантички шумови во комуникацијата.

Образовно-воспитната работа по предметот Македонски јазик, за да ги реализира програмските цели и образовни исходи што се поврзани со јазичната писменост, постојано развива свест за јазикот и култивираниот говор, зашто јазичната компетенција на поединецот му обезбедува предности во секое комуницирање.

Лексиката, пак, е најотворената, чувствителна и променлива структура на јазичниот систем. Зборовите се граѓата на јазикот, симболи на јазичниот код кој говорителот го користи според двете постојни форми на општење (усна и писмена) и според сферата на употреба. Во општењето тој употребува многу помалку зборови (активен речник) отколку што тој ги знае во неговата свест, но нив не ги употребува често (пасивен речник). Лексикологијата, пак, од различни аспекти ги проучува, групира и класифицира зборовите.

Истражувавме како македонското народното литературно творештво влијае врз речта на учениците во одделенската настава, имајќи ги предвид актуелните учебници и книгите за лектира кои се однесуваат на оваа литература¹.

Нормираната, стандарднојазична форма, со сите нејзини разновидности, се разбира, опфаќајќи ја нормираната лексика е многу значајна за наставната работа, што овде нас нè интересира. Имено, наспроти оваа лексика во училиштето, ученикот се запознава и со лексика која се однесува на народното творештво. За учениците чиј мајчин јазик е македонскиот, стандардниот, македонски јазик е наставна содржина, но и основно дидактичко средство по предметот Македонски јазик, но и по останатите предметни подрачја на образованието по вертикала во Р. Македонија.

Познато е дека читанката, како специјализиран учебник и прв учебник по Литература во одделенската настава, претставува антологија на литературно-уметнички содржини. Концепциски, содржински и функционално таа се разликува од сите други учебници за оваа настава. Во неа, кога станува збор за застапеноста на литературните текстови, се запазува односот на застапеност на народната литература и на авторските творби, како што се има предвид и соодносот помеѓу поезијата, прозата, драмските текстови, односно, авторските наспроти народните творби. Исто така, кога станува збор за наставната работа, покрај методско-дидактичките барања за наставна интерпретација на текстовите, се има предвид дека во дидактичката структура на читанката треба да

¹ <http://bro.gov.mk/http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/osnovno/3/1>

има рубрика за непознати зборови и зборовни состави. Секоја наставна интерпретација подразбира дека ученикот, пред да го толкува текстот, дознава за значењето на за него непознатите зборови. Тоа е природно, зашто треба да се отстранат семантичките шумови при анализата на творбата. Во иднина, новоусвоените зборови и фрази треба да заживеат во речникот на ученикот и тој да ги употребува во нов контекст.

Од спроведеното истражување произлезе констатацијата дека функционално, содржински и концептуално читанката, како прв учебник по Литература по предметот Македонски јазик во Р. Македонија, не ги застапува доволно и жанровски творбите од народното творештво [Штерјоска-Митреска 2018: 235–299]. Исто така, читанките немаат доследна методско-дидактичка апаратура за постојано и во целост да водат грижа за речникот во застапените текстови, а кога станува збор за книгите за лектира, укажуваме дека истите треба да се опремаат со речник.

По извршената ексцерпција на непознати зборови и фрази, кои задолжително треба да бидат наставно толкувани во рубриката Речник за конкретниот текст кој се однесува на народното творештво, добивме значајна лексичка граѓа (452 збора). Тој корпус, пак, не упати да размислуваме не само за тоа колку учениците од одделенска настава располагаат со зборови за кои тие првпат го градат поимот за конкретниот збор, туку и за тоа како еволуирале зборовите и за возрастните говорители. Пример, во свеста на возрастниот говорител за *погача* (МХП: 113) ‘пченичен леб од тесто без квасец’ (РМЈ) веќе не постои сфаќањето за вид бесквасен леб, како што е и за *кравајче* (5 с. 170) ‘мало лепче од некиснатото тесто’ што ритуално се употребува на Бадник, вечерта пред Божиќ. Имено, преосмислувањето на зборовите е еден од начините на богатењето на лексиката, и ваквиот пристап на анализа ќе го оставиме за понатамошни (понатамошни) истражувања. За денешниот македонски говорител зборот *погача* го содржи значењето првенствено за округол и, најчесто, украсен леб што е наменет за верски ритуал или за друг вид прослава, дури тој е често засладен.

Целта на наставата е таа континуирано да го збогатува зборовниот фонд кај учениците. Зборовите во наставната интерпретација се толкуваат во дадениот контекст и согласно со возраста на учениците. Полнежот за поимот на зборот ќе се надоградува од страна на ученикот и во училишната практика и во неговото секојдневие. Битно е тој да пројави интерес за значењето на зборовите, соодветно да ги употребува во нов говорен контекст, да почувствува колку е важен изборот на зборовите во градењето на прецизноста на исказот кога тој има можност да избира од создадената сопствена синонимна низа. Всушност, големата воспитна наставна задача е создавање на свесност кај ученикот за богатење на

речникот и негување, култивирање на сопствениот јазичен израз во усна и писмена форма.

Народното творештво што сега програмски е застапено во читанките и книгите за лектира тематски е разнообразно, и оттука природна е припадноста на зборовите кон различни семантички полиња. Исто така, временски сукцесивно создавано, ова творештво на лексички план е интересно и од аспект на процесот на обновување на лексиката. Така, имаме **архаизми** (сп.: *аскер, ан, ат, бајрак, бавча, битиса, вилает, давија, делми, драм, ѓак, карагрош, касап, левент, меана, меанџија, мину, нарече, наречници, наија, налбатин, одаја, ока, палата, поданик, претеча, пусија, руга, сардиса, сејмен, телал, чауш* и др.); **историцизми**: (сп.: *ага, алтан, анама, ајдук, витез, војвода, грош, дворец, дворјанин, делија, кајмакам, кнез, комита, паша* итн.).

Во лексиката, кога станува збор за потеклото на зборовите од странски јазици, во ексцерпираните текстови доминираат турцизмите. Одделна група од овие заемки претставува составен дел на македонската **неутрална лексика** (сп.: *амбар, ѓубре, долап, кафе, килим, кирија, кесе, маало, марама, маса, мезе, џеб* итн.). Во разговорната форма на современиот стандардизиран јазик како **стилски маркирана лексика**, со повисок степен на експресивно-емоционална содржина, турцизмите сè уште се присутни во речта на говорителите (сп.: *абер, ал, аман, арам, арамија, арен, арч, атер, бадијалџија, борч, вересија, куртули, лаф, мана, муштерија, перде, табиет, кеф, кердоса, коше, чаре* итн.). Некои лексеми се архаизирале.

Во текстовите од народната литература **зборовите** може да се изделат и според **формата на општење и сферата на употреба**. Укажуваме дека на учениците им се непознати и зборовите кои се однесуваат на **неутралната лексика** (сп.: *бдег, беља, вретено, грне, гои, испреде, куц, огниште, опинци, печалба, племна, скастри, стори, стомна, срма, самар, турпија, куп* итн.), **општонародната лексика** (пр.: *гнети / нагнети, јад, забави, окастрен, пишман, појде, првиче, пџоиса, стори*), **разговорната лексика** (сп.: *абер, измеќар, мушине, пишман, кеф, кердоса* и др.); **дијалектната лексика**, како на пр.: *кладе, лели, носееичем, тогај* и др.).

За учениците богатството на речникот (активен и пасивен) е битен елемент на говорната култура и за развојот на јазичната писменост. Тие не ги разбираат информациите од текстот доколку содржат непознат збор кој не се толкува. Со тоа се отежнува развојот на поимите и се предизвикуваат семантички шумови, прекинувачи во комуникацијата [Петковска 2008; Петковска, Штерјоска-М. 2014].

Фразеологизмите се, исто така, присутни во текстовите од народното творештво во учебниците. По потреба, тогаш во нив се разгледуваат

и одделни зборови што на учениците не им се познати (пр.: *сардисан* – опколен, но првенствено се дава значењето на фразеологизмот. Од епската песна: «Заплакало е Мариово за Ѓорѓи Сугаре» [Македонски јазик... 2014: 36], се земени следните примери за фразеологизам и за непознати зборовни состави, односно се толкуваат одделни стихови од песната): *Од сите страни Ѓорѓи сардисан* – тешка безизлезна ситуација^{2*}. *Згрмеа* пушки, пушки аскерски, *крвави* – Пушките пукале исто како да грми, и со нив биле убиени луѓето од дружината. *Клавајте гуњи пуши, леле пуши, / зашто се камен тешко најдува!* – *Ставете ги гуњите да бидат мета*, зашто немало камења за да ги заштитат.

Градењето на внатрешното значење, поимот за непознатиот збор во текот на наставата започнува од толкувањето на неговото значење во дадениот контекст, и истиот во иднина, во комуникациската практика, треба да се изгради како зрел поим за него. Поаѓајќи од тоа, спроведоа анкета со ученици од V одделение со цел да го разгледаме оформувањето, богатењето на ученичкиот речник во одделенската настава со лексеми што беа присутни во текстовите од народното творештво (именки и глаголи), во учебниците од трето, четврто и петто одделение). Притоа, предмет на интерес беше степенот на усвоеност на поимите, разгледуван од аспект на: **а.** целосно непознавање на зборот, видливо во бројот на испуштени одговори (омисија) или погрешно дефинирање; **б.** таволошко определување (ехолалија); **в.** афективно (литературно) дефинирање; **г.** дескриптивно дефинирање (псевдопоим, ниво на еднокрак комплекс); **д.** дескриптивно дефинирање (ниво на двокрак и повеќекрак комплекс) и **ѓ.** целосно категоријално дефинирање (зрел поим) [Puljak, 2008: 20–22].

Резултатите од анкетирањето покажаа дека многу ретко (1,9% или 25 од вкупно 1296 дадени одговори) учениците го дефинираат значењето на зборовите како зрел поим (сп.: *душман* = *многу голем непријател*; *родина* = *земјата во која си се родил, татковина*; *чедо* = *дете коешто ти е син, ќерка или внуче, а може и некое мило дете*; *обраќање на постар кон дете*: *сине (чедо)*), додека речиси половина од можните одговори, 48,4%, се во делот на избегнување на одговорот (омисија). Конкретно, за *омисија* овде ги приведуваме примерите: за зборот *душман* не дале одговор 32, од вкупно 81 анкетирани ученици; зборот *дрвно* е сосема непознат за 40 ученици, т.е. тие за него избегнале да дадат какво било толкување; 49 од учениците не одговориле што зна-

² Овој фразеологизам, всушност, е еден стих од популарната народна песна што е наставна содржина. Имено, песната и музички се интерпретира и е популарна, па оттука и произлезло фразеолошкото значење.

чи зборот *плеќи* и др. Истовремено, истражувањето покажа дека во 0,3% од дадените одговори учениците, при толкувањето на зборовите, користат ехолалија (сп.: *се стаписа = се стаписа; плеќи = плешки*), додека, пак, кај 13,5% од примерокот засведочивме погрешно толкување на зборовите (*душман = скржав; стаписа = замина; замка; некој што влегол во борба; древно = зачуден; секојдневно; убаво* и др. Добиените податоци говорат дека во 10,3% од понудените одговори, учениците вршат афективно дефинирање на зборовите (сп.: *стаписа = се здрви; се закочи* и др. 21,8% од одговорите се во категоријата толкување на зборовите со употреба на псевдопоими со еднокрак комплекс: *стаписа = остана без збор; се вчудовиде; се зачуди (здрви); се шокира; се укучи од страв; древно = многу старо; нешто старо; старо; плеќи = грб; дел од телото; рамена* и др., а само во 3,7% од одговорите учениците оперираат со двокрак или повеќекрак комплекс, како во примерите: *визита = посета на лекар или слава; војвода = водач на војска, главен на чета* и други примери.

Резултатите од спроведената анкета се незадоволителни и не кореспондираат со целта на наставата по Македонски јазик. Имено, цел и нејзина голема наставна задача е таа континуирано да го збогатува зборовниот фонд на учениците, со што, всушност, се создава свесност кај нив за богатење на речникот, како и за развивање на чувството за подобрување на сопствениот јазичен израз. Тие наставно се оспособуваат и за подлабоко и посложено навлегување во уметноста на зборот, литературата, а народното творештво е појдовната основа за разбирање на преносното значење на зборовите, за понатаму да се продолжи кон воочување на функциите на изразните средства. [Петковска; Штерјоска-М. 2018: 5].

Литература / References

1. *Јашар-Настева О.* Турските лексички елементи во македонскиот јазик, Скопје: Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», 2001
2. Македонски хумористични народни приказни / книга за лектира, избор: *Т. Саздов.* Скопје: Култура, 2004
3. Македонски јазик за петто одделение деветгодишно основно образование / *Љ. Севдинска, В. Настоска.* Скопје, 2014.
4. *Петковска Бл.* Методика на креативната настава по предметот Македонски јазик во нижите одделенија на основното училиште. Скопје: Магор, 2008
5. *Петковска Бл., Штерјоска-М. Ан.* Значењето на зборовите и наставната комуникација низ призмата на предметот Македонски јазик во одделенската настава во основното училиште. Скопје: Педагошки факултет «Св. Климент Охридски», 2014
6. Речник на македонската народна поезија I, II, III. Скопје, 1983–1993.

7. *Petkovska Bl., Sterjoska-Mitreska A.* Enriching the elementary school students' vocabulary with the help of folk literature, BES 2018 Edirne. Turkey, 2018

8. *Puljak L.* Razvoj dječjih pojmova (značenja riječi) i nastavna komunikacija // METODIKA 16. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2008.

9. Толковен речник на македонскиот јазик I–V / гл. ред. *К. Конески*. Скопје: Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», 2003–2012.

10. Учебници по предметот Македонски јазик од I до V одделение. [Електронный ресурс.] URL: www.e-ucebnici.mon.gov.mk. Дата последного обращения: 25.10.2018.

11. *Штерјоска-Митреска Ан.* Функционалната писменост како концепција и стратегија на основното образование во Р. Македонија (докторска дисертација). Скопје, 2018.

**К вопросу о программах по болгарскому языку
для исторического факультета**

И. В. Платонова

**On the issue of the training programs
on the Bulgarian language for the Faculty of History**

Irina V. Platonova

ABSTRACT. The report deals with the teaching of the Slavic languages and, in particular, the Bulgarian language in the Department of History of the Southern and Western Slavs of the Faculty of History of Lomonosov Moscow State University.

The transition of university education from the training of «specialists» to the training of bachelors and masters led to the restructuring of the entire educational process, including the teaching language to the students who study Slavic history. In the bachelor's program the number of hours of the course of the Slavic language, which is studied «from the ground up» and defined now as the second language, has been reduced by almost a third. Now it is about half of the teaching hours devoted to studying of the first language (one of the western languages). Despite the innovative approaches to the intensification of the educational process, Slavic languages programs have been held to an absolute minimum due to quantitative and qualitative reduction of the material being studied. Ultimately, this will inevitably lead to the decline in the language skills of the graduates.

Keywords: teaching of the Slavic languages; transition to the bachelor's degree program; changes in the training course «the Bulgarian language for specific purposes»; decline in the language skills.

АННОТАЦИЯ. В статье речь идет о преподавании славянских языков и, в частности, болгарского языка на кафедре «История южных и западных славян» исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Переход университетского образования от подготовки «специалистов» к подготовке бакалавров и магистров повлек за собой перестройку всего учебного процесса, в том числе преподавания языка будущей специальности историков-славистов. В бакалавриате сетка часов курса славянского языка, изучаемого «с нуля» и определяемого теперь как второй, сокращается почти на треть и составляет около половины учебных часов, отводимых на изучение продолжающего первого языка – одного из западных. Программы по славянским языкам, несмотря на новаторские подходы к интенсификации учебного процесса, сжаты до абсолютного минимума за счет количественного и качественного сокращения

изучаемого материала. В конечном итоге это неизбежно приведет к снижению уровня языковой подготовки выпускников.

Ключевые слова: преподавание славянских языков; переход к бакалавриату; изменения в учебном курсе «Болгарский язык для специальных целей»; снижение уровня языковой подготовки.

Тезис о том, что изучение и преподавание иностранных языков тесно связано с жизнью общества, находит ясное и четкое подтверждение в обучении славянским языкам студентов исторического факультета МГУ.

Преподавание славянских языков историкам имеет в Московском университете давнюю традицию. Вначале оно было выражением роста общественного и научного интереса к славянству и подчинено общему историко-филологическому образованию. Первые кафедры, созданные в 1835 г. в соответствии с уставом университетов в Московском, Петербургском, Харьковском и Казанском университетах, назывались кафедрами истории и литературы славянских наречий. Основное внимание уделялось не обучению живым славянским языкам, а подготовке специалистов в области древнеславянской письменности, старославянского языка, истории, диалектологии и сравнительной грамматики славянских языков. Курсы практических языков были непродолжительными и слабо обеспечены учебниками и учебными пособиями. Неудивительно, что первый учебник практического болгарского языка В. Н. Щепкина вышел в России лишь в 1909 г.

В 40-е годы XX века в связи с изменившимися общественно-политическими условиями жизни Европы появилась необходимость в специалистах, активно владеющих инославянскими языками. Уже в 1943 г. болгарский язык, наряду с другими языками, стал обязательным предметом не только для филологов, но и для историков-славистов.

Студентов 3-го курса, изучивших к этому времени основные общие дисциплины и желающих специализироваться по кафедре южных и западных славян, распределяли на группы по 5–8 человек с преподаванием одного из славянских языков – болгарского, польского, сербского и чешского. Язык изучался на дневном (3-ий – 4-ый курсы) и на вечернем (4-ый – 5-ый курсы) отделениях, в объеме соответственно 400 и 300 учебных часов. Аспиранты получали 140 часов. Преподавание вели специалисты славянского отделения филологического факультета (Из болгаристов следует отметить А. А. Никольскую, Р. П. Усикову, З. И. Карцеву).

Позднее славянские языки, в том числе и болгарский, начали преподавать и на экономическом факультете.

В 70–80 гг. XX века политические, экономические и культурные связи между социалистическими славянскими странами становились все более тесными, спрос на специалистов со знанием этих языков увеличился, и это способствовало дальнейшему расширению их преподавания.

В 1971 г., при активной поддержке исторического факультета, для языковой подготовки студентов и аспирантов, специализирующихся по проблемам славянских стран, в МГУ была создана межфакультетская кафедра славянских языков. Славянские языки, в том числе и болгарский, стали преподаваться на факультетах: историческом, экономическом, географическом, философском, юридическом и факультете журналистики. На кафедре были разработаны и частично опубликованы учебные программы, учебники, специализированные учебные пособия. Первой программой, оставшейся неопубликованной, стала «Программа по болгарскому языку для исторического факультета» Р. П. Усиковой. В 2004 г. И. В. Платоновой и Р. П. Усиковой Программа была переработана и опубликована (Соответствует современному уровню В2–С1 – См. [Григорова, Борисова, Фингарова 2003: 8–9]; [Платонова, Усикова 2004: 107–111]).

Для студентов-историков славянские языки были языками их будущей специальности, и уже на II курсе для написания курсовых работ они начинали привлекать литературу по специальности на соответствующем языке и обращаться к первоисточникам. Руководство исторического факультета и кафедра южных и западных славян были заинтересованы в более углубленном изучении славянских языков. И со второго семестра III курса (I год обучения) к 6 учебным часам в неделю были добавлены 2 часа на сдачу материалов домашнего чтения. Студенты формировали навык просмотрового чтения, расширяли свой лексический запас, учились различать дифференциальные признаки различных стилей речи. Кроме того, поскольку изучение языков заканчивалось на IV (или V у вечерников) курсах, еще 1 год можно было заниматься в дополнительных, так называемых реферативных группах, где основное внимание уделялось особенностям научного и публицистического стилей речи. В аспирантуре, как уже указывалось, изучение языков продолжалось.

Примечательно, что студентов обучали не только преподаватели Московского университета. Что касается болгарских групп, то на историческом факультете в каждой группе работал лектор – носитель языка.

Каждый студент, обучавшийся в студенческой группе, хотя бы один раз направлялся в Болгарию на летний языковой семинар.

О качестве языковой подготовки свидетельствует тот факт, что студенты-историки соперничали с филологами на ежегодном Всероссийском конкурсе студенческих переводов художественного текста с бол-

гарского языка на русский и бывали не только призерами, но и победителями конкурса.

Процесс глобализации в конце XX – начале XXI века снизил престиж национальных языков, число желающих их изучать уменьшилось. Значительно сократился и интерес российских студентов к славянской специализации. В настоящее время преподавание славянских языков для специальных целей осталось в МГУ лишь на историческом факультете, притом только на дневном отделении. Все меньше и меньше студентов изъявляют желание изучать болгарский язык, уже есть прецеденты, когда группы не набираются вовсе.

В довершение ко всему переход университетского образования от подготовки «специалистов» (5 лет обучения на дневном отделении и 6 – на вечернем) к подготовке бакалавров (соответственно 4 и 5 лет обучения) и магистров (2 года обучения) повлек за собой серьезную перестройку всего учебного процесса.

Резкому сокращению подверглась сетка часов, отводимых на изучение славянских языков – до 300 (более чем на треть).

Как ни странно, теперь в учебном плане **язык специальности** официально считается **вторым** языком.

Студенты-бакалавры профиля «История южных и западных славян», как и прежде, изучают славянские языки «с нуля», на III и IV курсах (дневное отделение) и на IV-V курсах (вечернее отделение). Но теперь вместо 6 ч./нед. в 5-ом семестре и 8 ч./нед. в остальных семестрах, занятия ведутся по 6 ч./нед. в 5-ом, 7-ом и 8-ом семестрах и 4 ч./нед. в 6-ом. При этом последний, 8-ой семестр, заканчивается в апреле.

Первым, базовым языком считается **один из западных** европейских языков (чаще всего это английский). На I и II курсах дневного обучения он изучается (продолжающее обучение) по 8 ч./нед. – 544 академических часа. На III и IV курсах на этот же язык отводится еще 300 академических часов. И называется он **профессиональным**. Получается, что «специальный» язык – совсем не базовый и не профессиональный. Сравните: **300** часов с «нуля» – на изучение языка будущей специальности и **844** часа продолжающего обучения – на изучение в общем-то общеобразовательного, но такого престижного предмета!

Естественно, что такое сокращение привело к необходимости сжатия курса до абсолютного минимума за счет количественного и качественного сокращения изучаемого материала. В результате программа бакалавриата соответствует программе 1 (начального) уровня (уровня A2–B1 Европейской шкалы уровней).

Можно было бы ожидать, что два года магистратуры компенсируют урезанный курс бакалавриата, дадут возможность не только сосредото-

читься на особенностях грамматики и лексики научного стиля, трудностях перевода на русский и болгарский языки, расширить словарный запас по исторической и общественно-политической тематике, но и довести изучение языка до уровня В1–В2. Однако, с одной стороны, не все бакалавры продолжают обучение в магистратуре. С другой стороны, не все магистранты продолжают обучение по кафедре южных и западных славян, и вообще в Московском университете.

И самое парадоксальное – в **магистратуре** на продолжение изучения славянского языка дается всего **104** часа – по 2 учебных часа в неделю в рамках спецкурса, и даже не 4, а лишь 3 семестра.

Историки по-прежнему стремятся давать выпускникам достойное образование. А это значит, что студенты, как и прежде, должны читать литературу по специальности на языке и адекватно понимать прочитанное, а приводя цитаты, уметь их переводить, не допуская смысловых ошибок. О выработке былых навыков и умений сейчас можно только мечтать – если мы обратимся только к глаголу, то обнаружим, что программа 1 уровня не предусматривает даже знакомства с его знаменитой девятичленной временной системой, не говоря уже о других специфических особенностях грамматических категорий.

Поэтому, создавая новую рабочую программу, мы постарались дать возможность студенту при желании самому расширить свои знания и сознательно отказались от принципа «примитивизации» грамматических средств. Учитывая сложность исторических текстов не только по узкой, но и по широкой специальности, с которыми придется работать студентам уже после 1 года обучения в бакалавриате, мы посчитали целесообразным представить, особенно грамматический материал, наиболее полно – не только для активного, но и для пассивного усвоения. Даже если на занятиях с преподавателем из-за недостатка времени грамматика или лексика будет разработана не полностью и закреплена в упражнениях недостаточно, студент при необходимости сможет идентифицировать незнакомую форму. Во всяком случае, он всегда может обратиться к необходимой ему теме как к справочному материалу. Так, например, мы решили ввести в программу общее представление о системе времен болгарского глагола, представить формы и дать примеры с переводом на русский язык и объяснением значений. Подобным же образом мы представили несвидетельские формы.

Конечно, преподаватели пытаются компенсировать ущерб от потери аудиторных часов интенсификацией учебного процесса, проверкой домашнего чтения по специальности и другой «самостоятельной» работы студентов за сеткой часов. Стоит отметить, что студенту время домашних занятий регламентируется. Преподавателю же время на проверку

всех домашних заданий, в том числе и проверку переводов, не учитывается, он делает это в свое нерабочее время. Но даже эта подвижническая работа преподавателей не сможет спасти от неизбежного снижения уровня языковой подготовки выпускников кафедры «История южных и западных славян», если учебный план сохранится в настоящем его виде. Это подтверждают и результаты Всероссийского конкурса художественных переводов.

Что реально можно предпринять, чтобы удержать планку подготовки историков-славистов хотя бы на среднем уровне, не изменяя радикально учебный план?

Во-первых, в бакалавриате вернуть 2 учебных часа в 6-ом семестре. Это целых 32 часа!

Во-вторых, в магистратуре предоставить для языка будущей специальности не 2, а 4 часа в неделю, т. е. 2 спецкурса.

Это позволит выделить время для активного освоения тех форм, которые по существующей программе осваиваются лишь пассивно.

Литература / References

1. Григорова М., Борисова Ас., Фингарова Д. Български език за чужденци. Тестове за ниво. Книга за самостоятелни упражнения. София: Издателство «Д-р Иван Богоров», 2003. 120 с.

2. Платонова И.В., Усикова Р.П. Программа по болгарскому языку для исторического факультета // Программы по иностранным языкам для неязыковых факультетов МГУ имени М. В. Ломоносова. М., 2004. С. 107–111.

Синтаксис в университетском преподавании чешского языка как иностранного: сопоставительный подход

С. А. Рылов

Syntax in university teaching of Czech as a foreign language: a comparative approach

Stanislav A. Rylov

ABSTRACT. The important constructive role of syntax in speech communication and university teaching of the Czech language is considered. The comparative aspect with reliance on the native language is of particular importance for philologists–Russianists. The practical application of the comparative approach in teaching Czech as a foreign language is the confrontational analysis of Russian and Czech syntactic constructions equivalent to them. Such an analysis contributes to the better development of structural, semantic and mental differences by students, the peculiarities of both their native and Czech languages. The typical Russian-Czech syntactic confrontments are given.

Keywords: Czech as a foreign language; comparative approach; syntax; confrontational analysis; Russian-Czech syntactic confrontments.

АННОТАЦИЯ. Рассматривается важная конструктивная роль синтаксиса в речевой коммуникации и университетском преподавании чешского языка. Для филологов–русистов особое значение имеет сопоставительный аспект изучения с опорой на родной язык. Практическим применением сопоставительного подхода в преподавании чешского языка как иностранного является конфронтальный анализ русских и эквивалентных им чешских синтаксических конструкций. Такой анализ способствует лучшему освоению студентами структурно-семантических и ментальных различий, своеобразия как родного, так и чешского языка. Приводятся типичные русско-чешские синтаксические конфронтемы.

Ключевые слова: чешский язык как иностранный; сопоставительный подход; синтаксис; конфронтальный анализ; русско-чешские синтаксические конфронтемы.

В течение нескольких десятилетий в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского ведется подготовка бакалавров по направлению Филология (профиль «Отечественная филология») с углубленным знанием чешского языка, изучение которого осуществляется на базе Чешского центра образования и культуры в 3–8 семестрах (начальный курс чешского языка как иностранного – 104 час.; углубленная подготовка – 216 час. ауд. занятий).

Разумеется, при обучении чешскому языку как иностранному (ЧКИ) ставится практическая цель: формирование и развитие у студентов языковой и коммуникативной компетенций. Исследователями неоднократно отмечалось, что большое значение в преподавании иностранного языка имеет **сопоставительный** подход, так как «без знания сходств и различий между языками нельзя построить эффективную методику преподавания языка как неродного» [Широкова 1998: 11]. Сопоставительный аспект изучения с опорой на родной (русский) язык имеет особое значение в университетском преподавании синтаксиса чешского языка. Именно сопоставление и понимание различий в структуре и семантике синтаксических явлений двух близкородственных языков (на фоне генетического сходства) способствуют более глубокому осознанию студентами особенностей как родного, так и иностранного языка. Опора на родной язык делает возможной такую подачу чешского синтаксиса, которая акцентирует внимание на многих специфических грамматических явлениях чешского языка. Кроме того, такая подача синтаксиса одновременно и более экономна, так как обнажает пересекающиеся грамматические системы двух языков.

Бесспорно, синтаксис занимает важное место в университетском преподавании ЧКИ. Мы основываемся при этом на отечественной лингвистической традиции, которая идет от работ акад. Л.В. Щербы. Он был сторонником практической, активной грамматики. Грамматика, в его понимании, является «объективной языковой действительностью, управляющей нашей речью (“parole”») [Щерба 1974: 48], это «сборник правил речевого поведения, <...> они должны руководить говорящими при составлении фраз в соответствии с теми мыслями, которые эти говорящие хотят выразить» [Щерба 1974: 47–48]. Синтаксис в преподавании ЧКИ – не самоцель, не какой-то набор формальных правил. Это **активный механизм** понимания, правильного построения речи, усвоения речевых навыков. Синтаксису принадлежит ведущая конструктивная роль в речевой коммуникации, так как именно синтаксис организует и скрепляет связную речь – в соответствии с синтаксическими правилами и моделями данного языка. Не случайно «собственно чешский термин синтаксиса – **skladba** (от глагола skládat, т. е. ‘складывать’, ‘укладывать’, ‘упаковывать’) – указывает на основную функцию синтаксиса – анализировать, как ‘складываются’ слова, воспроизводящие мысль. <...> Знание синтаксических правил помогает правильному построению предложения – целостной грамматической единицы, выполняющей функцию <...> оформления и сообщения мысли, функцию ‘оречевления’» [Васильева 2017: 360]. Отсюда следует, что синтаксис – приоритетная составная часть обучения ЧКИ.

Умения и навыки правильного построения чешских предложений необходимы с самого начала изучения чешского языка. Наш опыт преподавания ЧКИ в русскоязычной среде свидетельствует, что именно на начальном этапе приходится чаще всего сталкиваться с межъязыковой синтаксической интерференцией, негативно влияющей на освоение синтаксической компетенции. Так, типичный вид синтаксической интерференции у русскоговорящих – частое опущение в простом предложении глагола–связки *být*: *Tady naše univerzita. Má rodina nevelká*. При этом, как правило, наблюдается излишнее употребление личного местоимения–подлежащего: *Kde ty? Ona Češka. My už na fakultě*. Другим примером морфолого-синтаксической интерференции является произвольная замена чешских сложных форм прошедшего времени простыми без вспомогательного глагола *být*: *Já studovala dobře* (вместо: *Studovala jsem dobře*). Русские студенты часто стремятся неверно поставить энклитические формы вспомогательного глагола на первое место в структуре предложения: *Jsem narodila se v Moskvě*. Поэтому уже при первой встрече с обучающимися, когда закладываются основы чешской фонетики, мы даем элементарные синтаксические структуры простого предложения: *Jak se máte? Co to je? Kdo to je?* и др. Закрепляем их в речи, используя лингвистическую игру. Подача синтаксиса на этом уровне упрощенная, следует из ситуации, контекста. Преподавание синтаксиса здесь слабо грамматикализовано, направлено прежде всего на выработку умений «складывать слова» в предложения в речевой практике. Важно, чтобы студент постепенно осваивал чешские высокочастотные синтаксические конструкции, которые своеобразны и необходимы для успешной коммуникации, напр.: *Jsem rád(a). Mám + Ak.. Mám rád(a) + Ak.. Rád(a) čtu* (в отличие от чешского в русском языке – конструкция с инфинитивом: *Я люблю читать*). *Libí se mi + Nom.. Mám zájem O + Ak.* и др. В процессе дальнейшего обучения ЧКИ необходима «спиральная» подача материала синтаксиса, т. е. циклическое повторение специфичных синтаксических моделей на новом лексическом и морфологическом материале.

Практическим применением сопоставительного подхода в преподавании синтаксиса ЧКИ является **конфронтальный анализ** синтаксических явлений чешского и русского языков [Рылов 2012: 302–303]. Этот анализ направлен на выявление чешско-русских синтаксических конфликтов и установление **различий** в употреблении синтаксических конструкций (СК) двух языков, построении моделей предложения, порядка слов в чешском и русском языке.

Ключевое понятие фронтального синтаксического анализа – чешско-русская синтаксическая конфронтация. Это две синтаксические

конструкции – чешская и русская, имеющие *закономерное соответствие*: на фоне сходства этих СК по какому-либо признаку (прежде всего логико-семантическому – в плане общности пропозиции) между ними обнаруживается различие (структурно-семантическое, ментальное). В процессе изучения ЧКИ студенты-филологи осваивают чешско-русские синтаксические конфронтемы практически – при работе с текстами. Эти конфронтемы разнообразны и могут касаться различий в построении СК, характере синтаксических моделей, а также различий структурных типов простого предложения, порядка слов, членения предложений и т.д. Особенно важно, что конфронтемный синтаксический анализ состоит не только в констатации различий сопоставляемых СК, но и в объяснении этих различий. Интересно, что конфронтемные различия между эквивалентными чешской и русской конструкциями могут быть во многих случаях интерпретированы с учетом типологических особенностей двух языков. Так, типичные для простого предложения русско-чешские конфронтемы репрезентируют:

а) СК со значением *'обладания чем-либо'*: *У меня есть новый компьютер.* ~ *Mám nový počítač.*; *У вас хорошее настроение.* ~ *Máte dobrou náladu.* Такие конструкции подробно описал в научном плане Р. Мразек [Мразек 1990: 30–31], который показал существенные типологические различия между чешским (*habere-jazyk*) и русским (*esse-jazyk*);

б) Субъектно-объектные СК с первичным значением принадлежности: *Дорога в университет занимает у меня полчаса.* ~ *Cesta na univerzitu mi trvá půl hodiny*; *У сестры родилась девочка.* ~ *Sestře se narodila holčička.* Типичные для чешского языка СК с субъектным / объектным **дательным** падежом всегда вызывают у русских студентов трудности, так как в соответствии с русской ментальностью субъект / объект выражается чаще всего иначе, а именно с помощью конструкции **«у+род.падеж»**.

Большой дидактический интерес представляют СК, выражающие *личностный принцип*. Дело в том, что личностный принцип воспринимается и отражается в русском и чешском языках по-разному. В русском языке, в отличие от чешского, в таком случае доминирующее положение занимают односоставные безличные / инфинитивные предложения с субъектом в косвенном падеже. Развитая система структурно-семантических видов безличного предложения создает ярко выраженное национальное своеобразие русского языка и обуславливает значительные конфронтемные различия между двумя языками. Данная дифференциация находит проявление в разнообразных русско-чешских конфронтемах. Так, весьма частотны синтаксические конфронтемы: русск. **«односоставное безличное / инфинитивное предложение»** ~ чеш. **«синтаксическая**

структура dvojčlenná (подлежащая)», эквивалентные между собой в плане выражаемой пропозиции. Приведем примеры указанных конфронтем с учетом характера эквивалентных пропозиций:

А: пропозиция ‘носитель психического/физического состояния’: *Матери сегодня не спалось. ~ Matka dnes nemohla spát; Дочке ещё комнату убирать. ~ Dcerka musí ještě uklízet pokoj; Мне хочется сказать Вам добрые слова. ~ Rád bych Vám řekl laskavá slova;*

В: пропозиция ‘орудие, с помощью которого осуществляется стихийное действие’: *Ветром сорвало крышу. ~ Vítr strhl střechu; Дорогу занесло снегом. ~ Sníh zavál cestu.*

С: пропозиция ‘чувственное восприятие’: *В саду пахнет розами. ~ V zahradě voní růže; Подуло свежим ветром. ~ Zavál svěží vítr;*

Д: с пропозицией ‘объект действия/ субъект состояния’: *Берлиоза выбросило на рельсы. ~ Berlioz dopadl na koleje; Солдата убило. ~ Vojáka to zabilo.*

Наш опыт преподавания ЧКИ филологам-русистам свидетельствует, что синтаксис является неотъемлемой составной частью развития коммуникативной компетенции обучающегося. Конфронтемный анализ синтаксических конструкций русского и чешского языка с акцентом на их структурно-семантических и ментальных различиях – это важное направление в овладении чешским языком. Такой анализ побуждает к углублению и совершенствованию профессионального образования студентов, способствует как лучшему освоению ими различий и своеобразия неродного языка (чешского), так и более глубокому пониманию структуры и специфики родного языка. Знание типичных чешско-русских синтаксических конфронтем, приобретение навыков применения специфичных чешских СК в речевом общении необходимы, чтобы студенты достигали совершенства в изучении чешского языка.

Литература / References

1. Васильева В.Ф. Чешский язык. М.: Русский язык. Курсы, 2017. 480 с.
2. Мразек Р. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков. Исходные структуры простого предложения. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1990. 150 с.
3. Рылов С.А. Конфронтационный языковой анализ в преподавании чешского языка филологам-русистам // Славянские языки и культуры в современном мире: II Международный научный симпозиум: Труды и материалы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. С. 302–303.
4. Широкова А.Г. Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков // Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков / Под. ред. А.Г. Широковой. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 10–99.
5. Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 39–59.

**Преподавание болгарского языка
в вузах России в XXI в. как база подготовки
нового поколения переводчиков-болгаристов**

Е. В. Тимонина

**Teaching Bulgarian in Russian universities in the XXIst century.
as a base for the preparation of a new generation of translators**

Elena V. Timonina

ABSTRACT. The artistic translation of modern Bulgarian literature into Russian is an important tool of bringing together Bulgarian and Russian cultural worlds in today's difficult geopolitical situation. The effectiveness of this resource depends on the professionalism, preparedness and enthusiasm of the translators, who are and will graduate from Russian universities and mainly from the Slavic department at the Philological faculty of the M. Lomonosov Moscow State University.

Keywords: artistic translation; teaching; Bulgarian; student translation competition.

АННОТАЦИЯ. Художественный перевод произведений современной болгарской литературы на русский язык – важное средство сближения болгарского и русского культурных миров в сегодняшней сложной геополитической ситуации. Действенность этого средства зависит от профессионализма, подготовленности и энтузиазма переводчиков-болгаристов, которых готовят российские вузы и прежде всего славянское отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ключевые слова: художественный перевод; преподавание; болгарский; студенческий конкурс перевода.

Выдающийся богемист и организатор науки, многолетний заведующий кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук профессор А. Г. Широкова прекрасно осознавала, что одной из важнейших составляющих филологического образования и существенным аспектом изучения иностранных языков является освоение навыков профессионального перевода, в том числе и художественного перевода, она инициировала и поддерживала реализацию как учебных, так и внеучебных мероприятий в этом направлении. Художественный перевод, как известно, сложная многоплановая деятельность, которая, несомненно, носит творческий характер. Совершенно очевидно, что обучение этому виду деятельности требует особого подхода и не может сводиться к формированию только тех навыков, которые предусматриваются «обычными» языковыми занятиями.

ми. Обучение художественному переводу в значительной степени должно быть направлено на развитие творческой интуиции, поскольку только глубокое проникновение в идеи автора, реализованные через определенную совокупность языковых средств, позволяет переводчику передать эквивалентно и адекватно содержание переводимого произведения, показать его особенности с помощью средств другого языка.

По инициативе проф. А. Г. Широковой на филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова студентам славянского отделения, в том числе и студентам-болгаристам, в течение многих лет читается лекционный курс «Теория перевода» (5 курс специалитета или 1 курс магистратуры, 36 часов). Слушая данный курс, студенты получают теоретические знания, позволяющие им обобщить переводческие навыки, приобретенные на практических занятиях по славянским языкам (в нашем случае болгарскому).

Интенсивность политических, экономических, культурных контактов между Россией и Болгарией в XXI в. непостоянна [Межгосударственные... 2018]. Отношения между государствами должны выстраиваться обдуманно и профессионально [Страны ... 2016]. И для этого нужны болгаристы, владеющие языком, хорошо знающие Болгарию, ее историю, культуру.

Специалисты со знанием болгарского языка в России всегда относились к категории редких. Но если в СССР их готовили на специализированных отделениях славянской филологии филологических факультетов крупнейших вузов страны (а в МГУ имени М. В. Ломоносова также на экономическом факультете, факультете журналистики и др.), то после распада СССР полный цикл всесторонней подготовки болгаристов сохранился лишь на филологических факультетах МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ, а преподавание болгарского языка в практическом аспекте – в немногих вузах, например, МГИМО.

Не во всех вузах России, где преподается болгарский язык, есть специальные занятия по теории и практике перевода для дальнейшей работы на материале болгарского языка. Это связано с продолжительностью и целью изучения болгарского языка. Такие занятия, как правило, связаны с основной специальностью: например, специфика дипломатического перевода в МГИМО. И только подготовка филолога-болгариста дает возможность познакомить студентов, как это и происходит на славянском отделении филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, с разными направлениями переводческой деятельности.

Первый этап обучения художественному переводу предполагает «выход» студента за рамки учебного перевода, понимание необходимости максимально привлекать знание истории, культуры, литературы

Болгарии, болгарской диалектологии и стилистики, использовать личный страноведческий опыт. Следующий этап – осознание студентом своей роли не только как переводчика (кем-то предложенного текста), но и как человека, способного выбрать произведения, достойно представляющие болгарскую литературу на мировом уровне и интересные российскому читателю, т. е. как человека, сближающего два культурных мира – болгарский и русский.

Для начинающего переводчика очень важен взгляд «со стороны» – аргументированное мнение опытного специалиста. Поэтому преподаватели-болгаристы двух факультетов МГУ имени М. В. Ломоносова – филологического факультета и факультета иностранных языков и регионоведения – с 2001 г. проводят студенческий конкурс художественного перевода с болгарского языка на русский. В нем участвуют студенты и аспиранты разных факультетов МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, Академии славянской культуры, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Брянского государственного университета, Юго-западного федерального университета (г. Курск), Саранского научно-исследовательского университета. Для обязательного перевода предлагаются 1 или 2 рассказа болгарских авторов, чье творчество заслужило признание и болгарских читателей, и литературоведов и критиков (Йордана Радичкова, Станислава Стратиева, Стефана Цанева, Благи Димитровой, Георги Господинова, Деяна Энева, Кристин Димитровой и др.).

Посольство Республики Болгария в РФ и Министерство науки и образования Болгарии награждает победителя конкурса поездкой на летнюю языковую школу в Софийский университет имени Св. Климента Охридского. В 2018 г. организаторы конкурса разрешили участвовать в нем тем, кто изучает болгарский язык самостоятельно или на языковых курсах.

В 2013 и 2018 гг. Литературный институт имени М. Горького (Москва) при участии Российского союза писателей, Союза писателей Болгарии и Союза переводчиков Болгарии и при поддержке Посольства Республики Болгария в РФ и филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова провели конкурсы молодых русских и болгарских литераторов и переводчиков, посвященные 135-летию и 140-летию Освобождения Болгарии от турецкого рабства. Из пяти разных по объему и жанру, но общих по тематике рассказов молодых писателей-победителей каждый молодой переводчик сам выбирал для перевода одно произведение. Для победителей конкурса болгарская сторона организовала недельный семинар в Камчии (Болгария).

Проведение подобных конкурсов важно для формирования нового поколения российских переводчиков болгарской художественной литературы. Поколения, которое формируется после более чем 20-летнего практически полного отсутствия профессиональных переводов болгарской литературы на русский язык, о чем говорилось в 2016 г. на Первом российско-болгарском семинаре Школы молодого переводчика «Россия-Болгария» [Мельникова, 2016], организованном Институтом перевода (Россия) и Российской библиотекой иностранной литературы при поддержке Посольства Республики Болгария и филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В нем участвовали представители Софийского университета имени Св. Климента Охридского, Велико-Тырновского университета имени Св. Св. Кирилла и Мефодия и Пловдивского университета имени Паисия Хилендарского, а также студенты, аспиранты и преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска.

Выбирая конкретное литературное произведение как конкурсное задание, организаторы конкурса, проводимого кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, руководствуются не только художественно-эстетическими, но и профессиональными переводческими соображениями. Произведение, избранное как объект конкурсного художественного перевода, непременно должно заключать в себе определенную переводческую задачу. Это может быть, например, задача передачи реалий, упомянутых или описанных в тексте, или присутствующей в нем фоновой информации; это может быть проблема, связанная с представленной в тексте разговорной, диалектной или детской речью, окказиональной лексикой.

Для студентов-участников конкурс – отличная возможность реализовать на практике свои умения и навыки и проверить уровень этих умений и навыков в ситуации, имитирующей условия реальной переводческой деятельности. Для преподавателей-болгаристов конкурс и представленные на него работы – источник чрезвычайно важного материала, на основе которого можно уточнять направления подготовки будущих специалистов, корректировать и совершенствовать учебный процесс в его различных аспектах.

Конкурс уже обозначил ряд проблем, требующих серьезного осмысления, принес конкретные результаты, позволяющие сделать некоторые выводы, обобщить и проанализировать типичные студенческие ошибки, наметить пути устранения таких ошибок.

Обобщению и анализу результатов конкурса посвящен ряд работ преподавателей-болгаристов филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, опубликованных в России, Болгарии, других странах [Ржанникова О., Тимонина Е. 2004; Ржанникова О., Тимонина Е. 2008а; Ржанникова О., Тимонина Е. 2008б; Ржанникова О., Тимонина Е. 2009].

Говоря о проблемах перевода, необходимо отметить, что довольно часто специалисты по теории и практике художественного перевода, анализируя переводческие трудности, имеют в виду прежде всего лексические и стилистические трудности, а также проблемы, проистекающие из сущности перевода как вида межкультурной коммуникации. Не являются исключением и упомянутые выше публикации, в которых рассматриваются преимущественно выявленные в конкурсных текстах проблемы лексического, стилистического, культурологического характера и соответственно связанные с этими проблемами студенческие ошибки.

Проблемы эти, разумеется, чрезвычайно важны и заслуживают самого серьезного внимания, однако переводческая проблематика в целом имеет и другой аспект – грамматический, который также должен стать объектом профессионального теоретического и практического анализа.

Существует ряд переводческих проблем, связанных с так называемой межъязыковой грамматической асимметрией, которая выражается в том, что в принимающем языке отсутствуют некоторые грамматические категории, представленные в языке оригинала.

При переводе с болгарского языка на русский могут проявиться, с одной стороны, сравнительно легко прогнозируемые грамматические проблемы (проистекающие прежде всего из различий в глагольных системах двух языков), а с другой стороны – трудности, которые в определенной степени оказываются неожиданными для, например, преподавателей, работающих со студенческими переводами.

Среди прогнозируемых трудностей прежде всего, разумеется, следует указать трудности, проистекающие из наличия в болгарском языке грамматической категории эвиденциальности, которая своим сложным устройством и многообразием форм создает сложные проблемы при переводе на язык, в котором подобная грамматическая категория не представлена.

Некоторые конкретные переводческие решения, связанные с употреблением несвидетельских форм в оригинальном болгарском тексте, рассмотрены в публикациях преподавателей-болгаристов кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова [Ржанникова О., Тимонина Е., 2012]. В названной статье на базе анализа весьма обширного материала, почерпнутого из представленных на конкурс текстов, делается вывод, что при переводе с болгарского языка на русский переводчик должен иметь абсолютно ясное представление о семантико-прагматических характеристиках присутствующих в болгарском тексте несвидетельских форм, стремиться с помощью компенсирующих трансформаций передать эти характеристи-

ки, используя подходящие средства русского языка (прежде всего лексические), и в каждом конкретном случае точно оценивать со стилистической точки зрения использованные русские лексемы.

О глагольных временах как переводческой проблеме говорят довольно редко. Однако опыт работы с конкурсными студенческими переводами показывает, что и здесь переводчик может столкнуться со сложными случаями (связанными прежде всего с относительными временами) и неправильное переводческое решение может привести к смысловым (логическим) ошибкам.

Рассмотрим пример:

Казах им, че даскалът е умрял. Баба – също. Бяха отсекли крушата, ябълката и вековния орех [Енев Д., 2007].

Студенческий перевод:

Я сказал им, что старый учитель умер. Бабушка – тоже. Они срубили грушу, яблоню и вековой грецкий орех.

В данном студенческом переводе налицо явная смысловая ошибка. При чтении русского текста возникает неправильное впечатление прямой последовательности действий, тогда как в болгарском авторском тексте речь идет совсем о другом: сообщив о смерти деда и бабушки, герой оглядывается и видит, что их старый сад теперь совсем не такой, каким был раньше (именно этот смысл вкладывает автор в свое предложение, употребляя в нем прошедшее предварительное время).

Как неожиданные для преподавателей можно оценить трудности и ошибки, связанные с грамматической категорией определенности. Необходимо отметить, что данная категория, глубоко и всесторонне изученная теоретически, довольно редко анализируется как категория, порождающая проблемы при переводе. Однако в студенческих работах обнаруживаются примеры переводческих просчетов, требующие специального анализа.

Например, довольно значительная группа ошибок связана с так называемыми предложениями тождества – предложениями, в которых в болгарском языке именная часть сказуемого употребляется с определенным артиклем. В таких предложениях сказуемое, именная часть которого употреблена с определенным артиклем, не дает новую характеристику подлежащего, а называет заранее определенное множество, в которое входит и подлежащее. В русском языке такие отношения между подлежащим и сказуемым, как правило, передаются с помощью частиц или интонационно (в устной речи).

Анализ конкурсных переводов показал, что студенты не всегда осознают разницу между предложениями, в которых именная часть сказуемого представлена с нулевым артиклем, с одной стороны, и такими

предложениями, в которых именная часть сказуемого имеет определенный артикль, – с другой. Как результат – в студенческих работах далеко не всегда представлен эквивалентный (и адекватный) перевод предложений, в которых именная часть сказуемого имеет определенный артикль.

Рассмотрим пример:

Ние зубрехме с машинално упорство и тайно се надяхме подир две години, в единайсетия клас, някой от нас да бъде забелязаният, удостоеният [Томов Б., 2008, 113].

Студенческий перевод:

Мы зубрили с машинальным упорством и втайне надеялись, что через два года, в одиннадцатом классе, кто-то из нас будет замечен, удостоен.

Данный перевод нельзя признать эквивалентным (и адекватным), поскольку в нем сказуемое дает новую характеристику подлежащего и в данном русском высказывании соответственно реализуется коммуникативное намерение говорящего сообщить, что кого-то заметят. Фактически представлен перевод совершенно другого болгарского предложения, с иной коммуникативной перспективой и соответственно другим логическим ударением:

Ние зубрехме с машинално упорство и тайно се надяхме подир две години, в единайсетия клас, някой от нас да бъде забелязан, удостоен.

Как представляется, коммуникативную направленность болгарского предложения из текста Б. Томова более точно передал бы следующий перевод (с предпринятыми серьезными грамматическими трансформациями):

Мы зубрили с машинальным упорством и втайне надеялись, что через два года, в одиннадцатом классе, один из нас окажется тем, кого заметили, удостоили.

Работа кафедры славянской филологии (как учебная, так и по проведению переводческих конкурсов для студентов), направленная на формирование нового поколения молодых переводчиков-болгаристов, реализующих себя в сфере художественного перевода, приносит плоды.

Много переводов делается «в стол», но есть и серьезные успехи: переведенный на многие языки роман Георги Господинова (одной из ключевых фигур литературного процесса современной Болгарии, по мнению российского журнала «Иностранная литература», первым издавшего перевод этого произведения) «Естественный роман» («Естествен роман») вышел на русском языке в переводе выпускницы филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Марии Ширяевой,

повесть Виктора Паскова «Незрелые убийства» («Неврѣстни убийства») в сборнике «Детские истории взрослого человека» представлена российскому читателю в серии «Новый болгарский роман» (совместный проект Российской библиотеки иностранной литературы и Болгарского культурного института при поддержке Министерства культуры Болгарии) в переводе выпускницы филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Антонины Тверицкой. Высокий уровень этих переводов оценен уважаемыми издательствами и читателями.

Литература / References

1. *Енев Д.* Събуди ме, когато август свърши. [Электронный ресурс.] URL: http://liternet.bg/publish13/d_enev/sybudi.htm. Дата последнего обращения: 19.02.2019.
2. Межгосударственные отношения России и Болгарии 04:1922.05.2018 (обновлено: 16:59 28.05.2018 РИА НОВОСТИ) [Электронный ресурс.] URL: <https://ria.ru/spravka/20180522/1520751487.html>. Дата последнего обращения: 19.02.2019.
3. *Мельникова И.Ю.* Русско-болгарские переводы. История и перспективы. // Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященных памяти Надежды Васильевны Котовой и Ольги Александровны Ржанниковой / Отв. ред. *В.В. Красных, А.И. Изотов.* М.: МАКС Пресс, 2016. Вып. 54. 136 с.
4. *Ржанникова О., Тимонина Е.* Некоторые размышления в связи со студенческим конкурсом художественного перевода // Славянский вестник. Вып. 2. М., 2004. С. 292–299.
5. *Ржанникова О., Тимонина Е.* Към въпроса за фоновата информация при художествен превод // Българистични проучвания. Том 12. Велико Търново, 2008 (а). С. 97–109.
6. *Ржанникова О., Тимонина Е.* О некоторых стилистических трудностях при переводе художественного текста (на материале переводов с болгарского языка на русский) // *Studia slavica savariensia.* 1–2. Szombathely, 2008 (б). С. 325–333.
7. *Ржанникова О., Тимонина Е.* Перевод художественного текста на русский язык: некоторые проблемы обучения студентов-болгаристов // Язык. Сознание. Коммуникация. Вып. 38. М., 2009. С. 183–192.
8. *Ржанникова О. Тимонина Е.* Болгарские несвидетельские формы как переводческая проблема (на материале работ, представленных на студенческий конкурс художественного перевода с болгарского языка на русский) // Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная научная конференция. София, 23–25 ноября 2011 г. Доклады. София, 2012. С. 363–368.
9. Страны Центрально-Восточной Европы: влияние новых геополитических факторов на экономическое развитие и отношения с Россией: Коллективная монография / Отв. ред. *И.И. Орлик, Н.В. Куликова.* М.: Институт экономики РАН, 2016. 340 с. [Электронный ресурс.] URL: https://inecon.org/docs/2017/CEE_Orlik_2016.pdf Дата последнего обращения: 19.02.2019.
10. *Томов Б.* Нос Павликени. София, 2008. С. 113.

**Взаимосвязь мотивации и языковой компетенции
у хорватских учащихся, овладевающих славянскими
языками как иностранными**

М. В. Яйич Новоградец

**The relationship of motivation and language competence
in Croatian students acquiring Slavic as foreign languages**

Marina V. Jajić Novogradec

**Odnos motivacije i jezične kompetencije hrvatskih studenata
u ovladavanju slavenskim kao stranim jezicima**

Marina V. Jajić Novogradec

ABSTRACT. The paper deals with examining the relationship of motivation and language competence of Croatian students acquiring Russian and Ukrainian as studying groups at the faculty. Psychological literature distinguishes several types of motivation – intrinsic and extrinsic, integrative and instrumental. The aim of glottodidactic studies has been the relation of motivation and the acquired success in foreign language teaching. The results of many studies confirm the fact that – the stronger the students' motives, the higher the language competence. Our study reveals significant correlation between instrumental motives and language competence. It means that students' need to learn the foreign language in order to find a job or continue education results in high level of language competence.

Keywords: Croatian students; language competence; motivation; Russian and Ukrainian as foreign languages.

АННОТАЦИЯ. Данная статья занимается установлением взаимосвязи мотивации и языковой компетенции у хорватских учащихся, овладевающих русским и украинским языками как иностранными в составе учебных групп на факультете. В психологической литературе различаем несколько видов мотивации – внутреннюю и внешнюю, интегративную и инструментальную. Целью лингводидактических исследований является отношение мотивации и достигнутого успеха в обучении иностранному языку. Результаты многих исследований подтверждают, что чем сильнее мотивы учащихся, тем выше уровень их языковой компетенции. Наше исследование указывает на значительные корреляции между инструментальными мотивами и языковой компетенцией учащихся. Это значит, что потребность изучать иностранный язык из-за работы или учёбы определяет высокий уровень языковой компетенции.

Ключевые слова: мотивација; руски и украјински језици као ино-страни; хрватски ученици; језичка компетенција.

Uvod

U suvremenoj psihologiji pojmom motivacija označuju se dvije psihološke pojave: ukupnost poticaja koji izazivaju aktivnost čovjeka (sustav čimbenika koji određuju ponašanje) i proces oblikovanja motiva (karakteristika procesa koji potiče i podržava aktivnost ponašanja na određenoj razini), dok se motiv opisuje kao poticaj za izvršenje ljudskog ponašanja (može se očitovati svjesno i nesvjesno). Prema Medved Krajnović [Medved Krajnović 2010: 77] motivacija je skup motiva, odnosno psiholoških stanja koji pokreću i usmjeravaju ljudsko ponašanje te određuju intenzitet toga ponašanja. 1960-ih godina kanadski psiholozi Gardner i Lambert razlikuju poticaj za učenje zbog izvršenja samog zadatka i/ili zbog toga jer je učenje učeniku korisno u postizanju cilja (instrumentalna motivacija) i poticaj za učenje kako bi se učenik integrirao u kulturu drugog naroda (integrativna motivacija). U literaturi se također ističu unutarnja i vanjska motivacija. Unutarnja motivacija podrazumijeva proces oblikovanja motiva potaknutih unutarnjim razlozima i željom za učenjem jezika, za razliku od vanjske motivacije koja se odnosi na oblikovanje motiva pod utjecajem vanjskih čimbenika, poput utjecaja roditelja, učitelja i okoline na učenje jezika [Aristova 2003]. U nastavi stranoga jezika možemo izdvojiti sljedeće motivacijske značajke: 1. opće mišljenje (kultura, povijest, politika zemlje jezika koji se uči; odnos prema narodu jezika koji se uči; odnos prema imigrantima u vlastitoj zemlji; jezična politika vlastite zemlje); 2. osobni opći pogled na učenje stranoga jezika (interes prema stranom jeziku; potreba za komuniciranjem na stranom jeziku); 3. osobna želja za učenjem određenog jezika (određeni strani jezik je sredstvo za postizanje nekog cilja; preseljenje u zemlju jezika koji se uči; upoznavanje s kulturom jezika koji se uči); 4. odnos prema nastavi (odnos prema određenom stranom jeziku kao predmetu u školi; poučavanju određenog stranog jezika; nastavniku; kolegama u razredu; nastavnim materijalima).

Utjecaj motivacije na nastavni proces usko je povezan i s ostalim individualnim čimbenicima – afektivnim i kognitivnim. Jedan od ključnih čimbenika je jezična kompetencija, koja se smatra čimbenikom usmjerenim na samog učenika. Prvi koji uvodi pojam jezične kompetencije je Noam Chomsky. 60-ih godina 20. stoljeća autor određuje pojam jezične kompetencije kao znanje o jeziku, pritom podrazumijevajući gramatička znanja jezika. Nešto kasnije, 70-ih godina 20. stoljeća, pojam *jezična kompetencija* Dell Hymes zamjenjuje pojmom *komunikacijska kompetencija*. Komunikacijska kompetencija ne odnosi se samo na jezična znanja, tj. znanja

o jeziku, već i znanja o upotrebi jezika. Stoga je u međuvremenu porasla potreba za izradom nekoliko modela komunikacijske kompetencije, koji između ostalih sastavnica uključuju i jezičnu kompetenciju. Osim jezične kompetencije, ostale sastavnice komunikacijske kompetencije uključuju sociolingvističku, sociokulturnu, pragmatičnu, diskursnu i strategijsku kompetenciju.

Odnos motivacije i jezične kompetencije

U području glotodidaktike provedeno je mnogo svjetskih istraživanja kako bi se ispitao odnos motivacije i jezične kompetencije [Gardner, Tremblay i Masgoret 1997; Dörnyei i Ushioda 2011; Karlak 2013].

Vrlo često pitanje koje se nameće u postojećim istraživanjima jest – je li motivacija rezultat ili posljedica učenja. Radi se zapravo o dvostranom procesu. Između motivacije i učenja je ciklička veza: visoki stupanj motivacije dovodi do visokog postignuća u ovladavanju jezikom i obrnuto, a niski stupanj motivacije dovodi do slabog uspjeha, kao i slabi uspjeh do niske motivacije. U kontekstu istraživanja motivacijskih aspekata i jezične kompetencije zanimljivo je istaknuti istraživanje Dementas [2008]. Rezultati istraživanja ukazuju na prisutnost istih motiva kod studenata s različitom jezičnom kompetencijom. Na osnovi analize motivacijskih tvrdnji, većina učenika pri završetku škole (gimnazije, liceja) iskazuje motiv samoodređenja i samosavršenstva. Učenici jednako tako pokušavaju poboljšati svoja jezična znanja i raditi u profesiji. Motivacija učenika općeobrazovnih škola nešto je veća od učenika drugih škola. U našem istraživanju radi se o hrvatskim studentima koji ovladavaju ruskim i ukrajinskim jezikom kao stranim na trećoj i četvrtoj godini učenja jezika kao studijskih grupa na fakultetu. Kod studenata s različitim motivacijskim aspektima utvrđuje se i različiti stupanj njihova jezičnoga znanja. Nadalje, bez obzira na visoki stupanj afektivnih motiva kod studenata, jezična kompetencija u većoj mjeri je korelirala s instrumentalnim motivima.

Metodologija istraživanja

Cilj istraživanja bio je odrediti odnos motivacije hrvatskih studenata Filozofskog fakulteta zagrebačkog sveučilišta i njihove jezične kompetencije u ovladavanju ruskim i ukrajinskim jezikom. Naša je prva pretpostavka bila da će osnovni motivi hrvatskih studenata biti afektivni i nastavni motivi, tj. motivi povezani s nastavnim procesom. Razlog tome može biti taj, što većina hrvatskih studenata upisuje studij ruskog ili ukrajinskog jezika zbog vlastite želje za učenjem novih jezika, neovisno o njihovom budućem zanimanju. Druga je pretpostavka bila ta, da čim su jači motivi studenata (afektivni, instrumentalni, nastavni), tim je veća njihova jezična kompetencija.

U istraživanju je sudjelovalo 52 studenta (29 studenata ruskog jezika i 23 studenta ukrajinskog jezika) treće i četvrte godine studija, koji ovladavaju slavenskim jezicima kao stranim. Za studente ruskog jezika prosječna godina učenja jezika je 5 godina, a za studente ukrajinskog jezika – 4 godine.

Kako bismo ispitali odnos motivacije i jezične kompetencije sastavili smo anketni upitnik s tri osnovne komponente motivacijskih aspekata (afektivni, koji se odnosi na emocionalne motive učenja jezika; instrumentalni, koji se odnosi na učenje jezika zbog posla, obrazovanja itd.; nastavni, koji se odnosi na zadovoljstvo uvjetima učenja jezika). Na Likertovoj ljestvici studenti su iskazivali stupanj slaganja s motivacijskim tvrdnjama od 1 (u potpunosti se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem). Jezična kompetencija provjeravala se samoprocjenom jezičnog znanja studenata iz ruskog i ukrajinskog jezika i ocjenama iz kolegija *Jezične vježbe*. Korelacija između dviju varijabli, jezične kompetencije i motivacije, utvrđivala se putem statističkog programa IBM SPSS verzija 21. Kvantitativna analiza uključila je deskriptivnu statistiku (srednju vrijednost – M, standardnu devijaciju – SD) i inferencijalnu statistiku (Pearsonov koeficijent korelacije).

Rezultati

Prema rezultatima samoprocjene i ocjena studenata na jezičnim kolegijima, jezična kompetencija studenata pokazala je niži stupanj u ruskom jeziku, nego u ukrajinskom. Prema tome, jezično znanje studenata ruskog jezika je dobro ($M=3,35$; $SD=0,71$), a studenata ukrajinskog jezika vrlo dobro ($M=4,01$; $SD=0,65$). Analiza deskriptivne statistike pokazala je veću prisutnost afektivnih motiva za obje grupe studenata, tj. za većinu studenata ruski/ukrajinski jezik dobro zvuči ($M=4,75$; $SD=0,64$); studenti imaju veliku želju naučiti sve u ruskom/ukrajinskom jeziku ($M=4,21$; $SD=0,92$); ruski/ukrajinski jezik im je zanimljiv ($M=4,72$; $SD=0,66$); vole izgovarati ruske/ukrajinske riječi ($M=4,41$; $SD=0,77$); uvijek se trude razumjeti sve što vide i čuju na ruskom/ukrajinskom jeziku ($M=4,36$; $SD=0,88$); vole učiti ruski/ukrajinski jezik ($M=4,38$; $SD=0,76$); žele tako dobro naučiti ruski/ukrajinski da im jezik postane prirodan ($M=4,68$; $SD=0,47$). Nastavni i instrumentalni motivi pokazali su se slabijima od afektivnih motiva, s time da su nastavni motivi nešto značajniji od instrumentalnih motiva. Što se tiče motiva povezanih s uvjetima nastavnog procesa, studenti su navodili da, lektor na jezičnim kolegijima potiče njihovo učenje jezika ($M=4,5$; $SD=0,67$); na nastavi ruskih/ukrajinskih jezičnih kolegija pozitivna je atmosfera koja ih potiče na rad i učenje ($M=4,3$; $SD=0,81$); lektor vrlo zanimljivo predaje ($M=4,63$; $SD=0,63$); na nastavi ruskog/ukrajinskog jezika lektor govori samo na ruskom/ukrajinskom i to im se sviđa ($M=4,69$;

SD=0,77); na nastavi atmosfera je dinamična i motivirajuća (M=4,06; SD=0,85). Instrumentalni motivi studenata bili su značajni za sljedeće kategorije: znanje ruskog/ukrajinskog može olakšati njihova putovanja (M=4,34; SD=0,78); zahvaljujući znanju ruskog/ukrajinskog mogu čitati književna djela u originalu (M=4,12; SD=0,90); znanje ruskog/ukrajinskog jezika može proširiti njihove kulturne horizonte (M=4,61; SD=0,62).

Obrađeni podaci inferencijalne statistike (tj. Pearsonov koeficijent korelacije) ukazuju na to da je jezična kompetencija studenata ruskog jezika korelirala s nekoliko kategorija, odnosno jezična kompetencija značajno je povezana s četiri instrumentalna motiva (*Koristit ću se ruskim jezikom u budućem zanimanju; Znanje ruskog jezika pomoći će mi u nastavku obrazovanja ili da nađem posao u inozemstvu; Ruski jezik mi pomaže u svakodnevnom životu (glazba, filmovi, internet); Ruski jezik će mi pomoći u budućem zanimanju*), s dva afektivna motiva (*Volim učiti ruski jezik; Želim tako dobro naučiti ruski da mi jezik postane prirodan*) i dva nastavna motiva (*Nastavni materijali potiču moje učenje; Ruski jezik nije tako težak jezik i zato dobivam dobre ocjene*). Kod studenata ukrajinskog jezika jezična kompetencija pokazala se značajnijom, tj. korelirala je s četiri instrumentalna motiva (*Zahvaljujući znanju ukrajinskog jezika mogu komunicirati s ukrajinskim prijateljima; Ukrajinski jezik mi pomaže u svakodnevnom životu (glazba, filmovi, internet); Zahvaljujući znanju ukrajinskog jezika mogu čitati književna djela u originalu; Znanje ukrajinskog jezika pomoći će mi proširiti kulturne horizonte*), s tri nastavna motiva (*Trudim se naučiti sve što radimo na satima ukrajinskog jezika; Na satima ukrajinskih jezičnih kolegija atmosfera je pozitivna i potiče moje učenje; Naš lektor na satu govori samo ukrajinski i to mi se sviđa*) i s tri afektivna motiva (*Ukrajinski jezik dobro zvuči; Da se mene pita učio/la bih ukrajinski svaki dan; Volim učiti ukrajinski jezik*).

Rezultati našeg istraživanja pokazali su različite odnose motiva s jezičnom kompetencijom hrvatskih studenata. Naše pretpostavke nisu se sasvim potvrdile. Prva pretpostavka, prema kojoj se smatralo da će osnovni motivi studenata biti afektivni i nastavni, djelomično se potvrdila. Afektivni motivi bili su ipak značajniji od nastavnih motiva. Isto tako, srednja vrijednost (M) nije bila značajna za instrumentalne motive. S druge pak strane, naša druga pretpostavka da čim su jači motivi studenata (afektivni, instrumentalni, nastavni) tim je viša njihova jezična kompetencija nije se potvrdila. Odnos motivacije i jezične kompetencije bio je jači za instrumentalne motive, nego za afektivne i nastavne. Iako su studenti navodili više emocionalni aspekt svojih motiva u učenju ruskog i ukrajinskog jezika, njihovi instrumentalni motivi, kao što je potreba za učenjem jezika zbog budućeg zanimanja ili kako bi se koristili jezikom u druge svrhe, poput

putovanja ili čitanja originalnih književnih djela, pokazali su jaču korelaciju s jezičnom kompetencijom. U našem slučaju potvrdili su se i rezultati Dementas [2008], prema kojima učenici s različitom jezičnom kompetencijom posjeduju jednake motive. Posljedica takvih rezultata može biti učenje jezika na višem stupnju obrazovanja, kao što je to fakultet i stoga, studenti se trude usavršiti svoja jezična znanja kako bi mogli upotrebljavati jezik u svim kontekstima životne djelatnosti.

Zaključak

Dobiveni podaci u ispitivanju hrvatskih studenata u ovladavanju slavenskim kao stranim jezicima potvrđuju veću prisutnost afektivnih motiva. Emocionalni aspekt prema kojima studenti izrazito navode da uče jezik zbog osobne želje i interesa za učenjem jezika, kao i zbog melodije jezika, pokazao se vrlo značajnim. Niži stupanj ostalih motiva u deskriptivnoj statistici, instrumentalnih i nastavnih, može biti rezultat nekih drugih individualnih čimbenika studenata, a koji utječu na proces učenja jezika, poput strategija učenja, stilova učenja, odnos studenata prema jeziku, njihove atribucije, strah od stranog jezika i jezična nadarenost. Prilikom ispitivanja jezične kompetencije studenata koju smo mjerili na osnovi samoprocjene znanja i ocjena na jezičnim kolegijima, vidljivo je da jezična kompetencija studenata ruskog jezika nije na tako visokom stupnju, kao što je to slučaj s jezičnom kompetencijom studenata ukrajinskog jezika. Sve u svemu, jezične kompetencije za oba jezika nisu se pokazale značajnima. Jedan od problema koji se pojavljuje u ispitivanju navedenih jezika jest problem utjecaja medija, koji nije toliko izražen za ruski ili ukrajinski jezik, za razliku od drugih, popularnijih jezika u hrvatskom obrazovnom sustavu (engleski, njemački). Glavni izvor jezičnog znanja u učenju ruskog ili ukrajinskog jezika za hrvatske studente je formalni kontekst (rad s nastavnikom i nastavnim ili drugim jezičnim materijalima). Zanimljiva je činjenica ta, da je inferencijalna statistika pokazala jaču vezu instrumentalnih motiva s jezičnom kompetencijom. Rezultati jasno pokazuju da se povećanjem instrumentalnih motiva povećava jezična kompetencija studenata. U budućim istraživanjima potrebno je obratiti pažnju i na ostale individualne čimbenike, kako afektivne, tako i kognitivne i ispitati njihov odnos s motivacijom, čime se mogu dobiti detaljniji podaci, osobito ako je u ispitivanje uključena interakcija više varijabli. Također je bitno istražiti motive studenata na početnim stupnjevima učenja jezika i one na naprednijim stupnjevima, te promatrati njihovu dinamiku. Naše rezultate nije moguće generalizirati zbog određene skupine studenata koji ovladavaju slavenskim jezicima u sklopu studijskih grupa na fakultetu. U ovome bi kontekstu bilo korisno ispitati odnos motivacije i jezične kompetencije studenata s različitim skupinom

jezika, uključujući tada slavensku, germansku i romansku podskupinu jezika. Na taj način mogu se proširiti daljnje perspektive o motivaciji i utjecaju ostalih afektivnih i kognitivnih čimbenika na poučavanje stranih jezika.

Литература / References

1. *Аристова И.Л.* Общая психология. Мотивация, эмоции, воля. Владивосток: ТИД ОТ ДВГУ. 2003. 105 с.
2. *Дементас М.А.* Соотношение языковой компетентности и учебной мотивации студентов. [Электронный ресурс.] URL: <https://refdb.ru/look/1002163-pall.html>. Дата последнего обращения: 29.01.2019.
3. *Dörnyei Z. & Ushioda E.* Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters, 2009. 364 p.
4. *Gardner R.C., Tremblay P. F. & Masgoret A.* Towards a full model of second language learning: An empirical investigation // *Modern Language Journal*, 1997. № 81 (3). Pp. 344–362.
5. *Karлак M.* Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku. Neobjavljena doktorska disertacija. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2013. 376 s.
6. *Medved Krajnović M.* Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o., 2010. 193 s.

Славянские литературы

Польско-еврейское прошлое и его репрезентация в прозе П. Пазиньского, С. Хутник, И. Остаховича¹

И. Е. Адельгейм

The Polish-Jewish past and its representation in the young Polish prose of the 2010s. (P. Paziński, S. Chutnik, I. Ostachowicz)

Irina E. Adelgeym

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/329-336

ABSTRACT. The article concerns the problem of Polish-Jewish past memory in Poland and its representation in young prose of the third generation after the Holocaust – the texts of authors related to their origin both from the Jewish (P. Paziński) and Polish (S. Chutnik, I. Ostachowicz) part of this past.

Keywords: Polish-Jewish past; Holocaust; post-memory; space; vector.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме памяти о польско-еврейском прошлом Польши и ее репрезентации в прозе третьего поколения после Холокоста – текстах молодых авторов, связанных своим происхождением как с еврейской (П. Пазиньский), так и с польской (С. Хутник, И. Остахович) частью этого прошлого.

Ключевые слова: польско-еврейское прошлое; Холокост; постпамять; пространство; вектор.

Применительно к проблеме польско-еврейского прошлого в восприятии писателей, родившихся в 1970–80-е гг., можно говорить прежде всего о постпамяти – специфической форме памяти, опирающейся не на реальные воспоминания, а на воображение, эмпатию, чувство долга, отделенной от непосредственной памяти свидетелей и участников поколенческой дистанцией, обусловленной и опосредованной рядом психологических и этических проблем и потребностей.

Внукам Выживших во время Холокоста, в отличие от предыдущего поколения, уже не пришлось открывать собственное происхождение, преодолевать родительское молчание и собственную немоту. Они не

¹ Работа над статьей проводилась в рамках проекта ИСЛ РАН «Язык и культура в полиэтничных и поликонфессиональных сообществах Юго-Восточной Европы: междисциплинарное исследование», включенного в программу фундаментальных исследований 2018–2020 президиума РАН «Культурно-сложные общества: понимание и управление».

наследуют травму Холокоста столь непосредственно, как их родители, которые столкнулись не только с опытом смерти, но и с вторичной травмой – невозможностью символически «обменять» трагический военный опыт на признание в обществе, необходимостью по-прежнему жить в укрытии, ощущая собственную инакость, переживая массовую травму как индивидуальную, будучи обреченным на внутреннюю цензуру и т.д. Вместе с тем это поколение также – так или иначе – вынуждено подвергнуть переоценке собственную идентичность и саму проблему еврейства в современной Польше [Reszke 2013].

П. Пазиньский в повести «Пансионат» (2009), которую критики назвали «первым литературным голосом поколения внуков Холокоста» [Sobolewska 2009: 40], вводит топос **пансионата** – пространства не столько замкнутого, сколько, во-первых, «выделенного», «огороженного», во-вторых – временного как для повествователя, ровесника автора, так и для того поколения, к которому он приезжает «в гости». Что это за поколение? В послевоенные годы сюда ездили уцелевшие и не эмигрировавшие польские евреи, чтобы в меланхолической атмосфере пансионата ненадолго ощутить иллюзию существования собственного мира, отсылающего к довоенному, воскресить чувство принадлежности. Это вырванное из повседневности пространство отсылает, таким образом, одновременно к **санаторию** (буквально и метафорически) и **убежищу**. Пансионат, каким его видит взрослый повествователь, подобен, с одной стороны, опустевшему **дому**, с другой стороны – **склепу**, царству мертвых. Неслучайно предметы сравниваются с мумиями, а обитатели подобны «восковым куклам» и теням, сливающимся с призраками прошлого, которые, в свою очередь – в том числе через цитируемые ими на иврите фрагменты Ветхого Завета – сливаются с библейскими персонажами. Призраки прошлого, воскрешающие и собственные воспоминания повествователя, и его воспоминания об услышанных когда-то обрывках воспоминаний взрослых, сохраненные ими обветшавшие предметы, фотографии, газетные вырезки превращают это пространство в своеобразный **заповедник** прошлого – послевоенного, военного, довоенного, библейского.

Нашу эпоху П. Нора называет временем ухода памяти [Нора 1999: 17]. Повествователь Пазиньского физически ощущает ее исчезновение. Своим присутствием он соединяет воедино память об услышанном и пережитом, открывает, словно спрятанные одна в другой китайские шкатулки, собственные и чужие воспоминания. Чужое повествование накладывается и дополняется своим, в котором воображение заполняет «белые пятна», в результате сам текст становится «местом памяти», «предназначенным для трансмиссии забытого прошлого» [Rybicka 2008: 29].

Призраки прошлого обладают, как им и пристало, магической силой. Важен однако своеобразный **вектор**, движение повествователя по направлению к духам прошлого: «– Я иду к вам! – крикнул я» [Paziński 2009: 134]. Этот вектор передает ностальгию по времени, где еще существовал хотя бы такой временный, словно бы выгороженный в пространстве послевоенной Польши дом, теперь же этим домом могут служить лишь память и текст.

Во второй книге Пазиньского «Птичьи улицы» (2013) появляется также топоним **подземелья**, фундамента Варшавы – города, где существует уникальный район, выстроенный на руинах гетто и **из** руин, но при этом представляющий собой воплощенное забвение, где пласт сегодняшнего повседневного и чудовищного прошлого соприкасаются буквально, причем здесь возникает тот же вектор – вглубь, к предкам. Это некая параллельная современной, польской, реальность, доступная посвященным. В циркуляцию посттравматической памяти включены и те, кто не связан с исторической травмой непосредственно, «генетически» [Szczepan 2011: 243]. По утверждению Д. Лакапы, травма «заразна» – она распространяется не только через непосредственное общение со свидетелями, но и посредством научных исследований, художественной рефлексии, СМИ, включается в процесс самоидентификации как проекция [La Capra 2009: 108]. Это опыт младшего поколения польских писателей нееврейского происхождения, живущих в обстановке конфликта десятилетиями вытеснявшейся польской травмы соприкосновения с Холокостом в качестве свидетеля и участника – с травмой, ставшей фундаментом национального этоса [La Capra 2009: 78; La Capra 2015: 103], т.е. трагической и героической польской мартирологии, являющейся культурным капиталом, основой национальной идентичности и играющей в сегодняшней Польше тенденциозную идеологическую роль. Собственные страдания занимают в коллективной памяти слишком много места, не оставляя его для страданий, перенесенных другими и, особенно, **причиненных** другим. Кроме того, опыт стыда «с трудом включается в багаж памяти, поскольку не создает позитивного образа себя или социума» [Assman 2013: 51]: любое национальное государство «тщательно конструирует общее историческое наследие и делает все возможное, чтобы дискредитировать или подавить память о событиях, нарушающих декларируемую общность национальной традиции» [Bauman 1995: 94]. Поэтому такого рода опыт долго не находит символического выражения, не становится частью коллективной или культурной памяти, а «в случае отсутствия адекватных форм памяти психический шрам травмы может неосознанно переноситься на следующие поколения» [Assman 2013: 52]. Общественная дискуссия, связанная с

ролью поляков применительно к Холокосту – включающая в себя элементы публицистического, документального, собственно художественного дискурса – будучи «отложена» в свое время, идет с середины 1980-х гг. и не только далеко не закончена, но переживает очередное обострение. Проблема Холокоста оказывается неотделима от причудливого сплетения «мании собственной невинности» [Tokarska-Bakir 2004: 14] с подсознательным чувством вины, страхом запятнать романтическую роль жертвы приятием роли со-виновного, мегаломанией и эгоцентризмом мартирологии, а в конечном счете – с необходимостью переосмыслить дискурс польского патриотизма, польской идентичности. Перед литературой же встает задача выражения нового для польского большого нарратива опыта – страха и стыда. И здесь – в обновлении коллективной памяти, особенно когда речь идет о проработке постыдных воспоминаний [Асман 2014: 16], – также важнейшую роль играет смена поколений. По словам И. Токарской-Бакир, вспоминать будут «польские дети и внуки – вместо молчащих отцов и дедов» [Tokarska-Bakir 2004: 14]. В самом деле, чувство стыда и страха, потребность прервать «культуру молчания» [Tokarska-Bakir 2004: 98], сознательно проработать прошлое ощущается в текстах младшей генерации. «Пазиньский на самом деле призывает задуматься также и нас – третье поколение не-евреев. Что мы сделали и что мы делаем с памятью наших дедов?» [Kazimierowska 2009] – восклицает К. Казимеровская. Показательно, что эта проза также использует топос **подземелья** и мотив **призраков**, однако в иной перспективе.

В прозе авторов младших поколений 2000-х гг. звучит ощущение как личной травмы «запятнанности» Польши сотворенным на ее территории и на глазах у поляков Злом. Неслучайно само название романа Игоря Остаховича «Ночь живых евреев» (2012) отсылает к фильму Дж. Ромеро «Ночь живых мертвецов» (1968), снятому в стиле в стиле *gogno*, который предполагает не появление зла извне, но нахождение его источника **внутри** изображаемого мира. Для них «мучительна прогулка по Варшаве» [Chutnik 2009: 134], чувство личного стыда вызывает осознание стирания еврейского слоя варшавского «палимпсеста», освоения территории как чистого листа. Варшава описывается как город, стоящий в буквальном смысле **на трупах, на крови, на костях**. Чувство стыда сублимируется в мотивы страха и возмездия – умершие напоминают о себе. Происходит буквализация восприятия еврейского прошлого как непосредственно соприкасающегося с мирной жизнью подполья. Проза исследует топос уже конкретного, «одомашненного», включенного в повседневную польскую жизнь подземелья – **подвала** – как пространства, связанного с inferнальной областью, пространства смерти, спуск в которое ассоциируется с погребением заживо, а выход откуда призра-

ков – с посмертным блужданием неуспокоенной души (в романе Остаховича жертвы Холокоста выходят из подвалов и заполняют Варшаву, в рассказе Хутник «Муранооо» в подвал спускаются и на какое-то время оказываются там заперты польские дети). Одновременно подвал предстает метафорой глубин памяти и замалчиваемой травмы (из дыры в подвале доносится «шум, как из раковины, если ее приложить к уху» [Ostachowicz 2012: 54]: в раковине, как известно, шумит не море, а наша собственная кровь – так и здесь шумят не мертвые, а память живых). Эта проза активно эксплуатирует мотив **духов, призраков**. Район Муранов, по сути, воплощает топос «проклятого дома», населенного привидениями. Одновременно он осмысливается и как своего рода огромный «подвал», вытесняемое в подсознание прошлое Варшавы и, шире, Польши. «Возвращение» души-призрака всегда аномально и свидетельствует о факте насильственной смерти и нарушении границы между миром мертвых и миром живых, несоблюдении ритуалов. История о призраке – это, как правило, история о некоей неразрешенной в положенное время проблеме. В данном случае это вытеснение памяти о жертвах Холокоста, не совершённая работа траура (отсюда противопоставление еврейских жертв Холокоста польским жертвам, многократно оплаканным и увековеченным [Chutnik 2014: 136; Ostachowicz 2012: 87] – чужие страдания вытесняются в пользу отечественной мартирологии).

Рассказ Хутник «Муранооо» (сб. «В стране чудес», 2014) – повесть сказки в духе братьев Гримм и детской «страшилки» с ее абсурдом, черным юмором, переплетением элементов комического и ужасного. В рассказе о брате с сестрой, которые, подстрекаемые бабушкой-людоедкой, спускаются в подвал, где якобы лежат зарытые еврейские сокровища, причудливо сочетаются «гриммовская» простота и жестокость логики и доведенные до абсурда узнаваемые национальные стереотипы. Связь с земной жизнью прерывается, из груд щебня появляется пресловутый еврейский призрак – маленький мальчик, вместо сокровищ же брат с сестрой находят игрушечную машинку – как символ отнятого, не прожитого детства [Chutnik 2014: 138]. Стыд маскируется гротеском, страх – черным юмором, однако все возвращается на круги своя – проблема присутствующего в коллективном подсознании чувства вины не решена: «Все варшавские призраки закопались еще глубже – сидят, ждут-пождут» [Chutnik 2014: 140]. Воплощает страх перед вытесненным, неоплаканным еврейским прошлым и неожиданное появление **призраков** – жертв Холокоста на пороге квартиры современного поляка в горькой комедии Остаховича «Ночь живых евреев» (2012). Произведение представляет собой фантазмагорическое воплощение слов Я. Блоньского из эссе «Бедные поляки смотрят на гет-

то» (1987), в которые не верит поначалу главный герой. Роман основан на игре с поп-культурой, отсылает к эстетике комикса, компьютерных игр, различных киножанров, представляет собой гротескное смешение кодов, жанров, цитат. Это карнавальное освоение болезненной для коллективного сознания темы. В романе все подчеркнуто реально и наглядно – и зло (дьявол), и вытесненное из коллективной памяти, неоплаканное прошлое (еврейские трупы-призраки, обитающие в **подвале** польского дома), и страх перед этим прошлым (борьба варшавян с трупами, отсылающая к реалиям Большой операции 1943 года). Глубинный смысл миссии превращающегося из эвримена в супермена героя, – спасение еврейских трупов в Ночь живых евреев («Если в эту ночь труп будет убит, он исчезнет из мира в прошлом, будущем и настоящем» [Ostachowicz 2012: 228–229]) – это сохранение памяти, солидарность с теми, кого некому оплакать, сопротивление вытеснению постыдных фрагментов отечественного прошлого. Именно такой, гротескный, отсылающий к масс-культуре сюжет, позволяющий жертвам Холокоста буквально и зримо постучаться в польскую дверь, заставляет молодого героя-повествователя пройти своего рода «ускоренный курс» эмпатии и сострадания. Это словно бы иллюстрация к словам Лакапры о том, что реакция на травматические события даже у свидетеля второй степени связана с эмпатическим беспокойством, которое оказывается «необходимым, аффективным измерением» исследования прошлого и «играет важную роль в попытках понять травматические события и жертв травмы» [La Capra 2015: 100]. Д. Уолкер [Walker 2003: 107] также говорит о том, что травмированная память является действенным инструментом исследования прошлого. Вне зависимости от того, в какой степени она позволяет получить достоверное изображение прошлого, механизм ее произведен от самой раны, а потому повествование раскрывает правду травмы, несмотря на возможные ошибки в воспроизведении фактов. Эту мысль почти буквально иллюстрируют сцены, связанные с «пребыванием» героя в Освенциме и беседой с Дьяволом. Ад Освенцима и Холокоста невообразим и невыразим, попытаться осознать его можно, лишь придумав ад по мере своего воображения.

«Запутанная польская память о евреях [...] по-прежнему нуждается в потрясении, – утверждает польская исследовательница Б. Пшимушала. – Нуждается порой даже и в триллере, чтобы увидеть собственную чудовищность» [Przymuszała 2016: 182]. В текстах Остаховича и Хутник можно также увидеть параллель с иронично-парадоксальной провокационной психотерапией Фрэнка Фарелли, стремящейся к формированию – при помощи юмора, гротеска, доведения до абсурда – у пациента комического сознания (подробнее об этом см: [Адельгейм 2018]). Ко-

мическое тесно связано с защитно-приспособительными возможностями человека и социума, может становиться «механизмом безопасности, придающим человеку равновесие, перспективу и оптимальную психологическую дистанцию» [Фарелли 1996]. Ирония и сарказм, являясь эмоциональной трансформацией, жестким высмеиванием события, поиском в нем абсурдного, служат вербальной разрядке эмоций (неслучайно черный юмор В. И. Жельвис называет «прививкой от подлинной агрессивности» [Жельвис 1997]). Предметом осмеяния черного юмора, соединяющего смех и жестокость, становятся сферы, в той или иной степени в этом смысле табуированные. Кроме того, по словам Н. А. Масленковой, терапевтический эффект черного юмора порождается тем, что «маркируя границу между смертью (или угрозой смерти, жестокостью, страшным и пр.) и жизнью, подобный смех отделяет пространство смеющегося от изображаемого» [Масленкова 2011: 147]. Если говорить о психологическом измерении художественного и художественном измерении психологического в этих текстах, представляется, что визуализация ужаса памяти и беспамятства, национальных стереотипов необходима для диссоциации его и дальнейшего осмысления. Перспектива же гротеска, абсурда, комического и пр., деконструкция клише массовой культуры призваны действовать в качестве своего рода обезболивающего, «кавычек». Черный юмор в случае Хутник и карнавальное обыгрывание кодов масс-культуры у Остаховича способствуют, помимо эмоциональной разрядки в ситуации вытесненного чувства вины и порожденного вытеснением страха, психологической интеграции – содействуют «трансформации ранее отчужденных аспектов “я” в полноправные аспекты целостной личности, “избегая при этом откровенной идентификации с ними”» [Jakab 1998].

Постпамять о польско-еврейском прошлом, таким образом, касается не только истории, но, прежде всего, неразрывно связана с настоящим и будущим. Это своего рода стратегия идентичности (как в смысле индивидуально-психологическом, так и в перспективе формирования коллективной памяти), поколенческая стратегия преемственности, будь то меланхолическая археология памяти или гротескная охота за привидениями.

Литература / References

1. *Ассман А.* Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛЮ, 2014.

2. *Адельгейм И.Е.* Психология поэтики. Аутопсихотерапевтические функции художественного текста (на материале польской прозы 1990–2010-х гг.). М., 2018.

3. *Жельвис В.И.* Черный юмор: анатомия человеческой деструктивности // Ярославский педагогический вестник. 1997. № 4. [Электронный ресурс.] URL: <http://www.majalis-vrn.ru/psixologiya/chernyj-umor-anatomiya-chelovecheskoj.html>. Дата последнего обращения: 19.01.2019.
4. *Масленкова Н.А.* (Не)культурный формат «черного юмора» // *Studia Culturae*. 2011. № 12.
5. *Нора П.* Проблематика мест памяти // *Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж.* Франция-память. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.
6. *Фарелли Ф.* Провокационная терапия. Екатеринбург: Издательский дом «Екатеринбург», 1996. [Электронный ресурс.] URL: http://royallib.com/book/farrelli_frenk/provokatsionnaya_terapiya.html. Дата последнего обращения: 19.01.2019.
7. *Assmann A.* Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
8. *Bauman Z.* Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: PWN, 1995.
9. *Chutnik S.* Kieszonkowy atlas kobiet. Kraków: Korporacja Ha!Art, 2009.
10. *Chutnik S.* Alicja w krainie czarów. Kraków: Znak Literanova, 2014.
11. *Jakab I.* Humor and psychoanalysis // *L'Humor. Histoire, culture et psychologie*. Paris: SIPE, 1998. P. 17–18. Цит. по: *Копытин А.И.* Юмор в искусстве и арт-терапии: феноменология, диагностика, защитно-адаптивные возможности // *Медицинская психология в России*, 2012. № 4 (15) [Электронный ресурс.] URL: http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer02.php. Дата последнего обращения 19.01.2019.
12. *Kazimierowska K.* Gdy nie ma już kogo zapuścić, czyli Żydzi tacy jak my. [Электронный ресурс.] URL: <http://kulturaliberalna.pl/2009/08/03/kazimierowska-gdy-nie-ma-juz-kogo-zapuscic-czyli-zydzi-tacy-jak-my/>. Дата последнего обращения: 29.12.2018.
13. *La Capra D.* Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Kraków: Universitas, 2009.
14. *LaCapra D.*Trauma, nieobecność, utrata // *Antologia studiów nad traumą*. Kraków: Universitas, 2015.
15. *Ostachowicz I.* Noc żywych Żydów. Warszawa: W.A.B., 2012.
16. *Paziński P.* Pensjonat. Warszawa: Nisza, 2009.
17. *Przymuszala B.* Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2016.
18. *Reszke K.* Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście. Kraków-Budapest: Austeria, 2013.
19. *Rybicka E.* Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geo-poetyki) // *Teksty Drugie*, 2008. № 1–2.
20. *Sobolewska J.* Taniec z cieniami. Powiastka filozoficzna o żydowskim losie // *Polityka*, 2009. № 1.
21. *Szczepan A.* Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu i tożsamości żydowskiej // *Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze*. Kraków: Universitas, 2011.
22. *Tokarska-Bakir J.* Rzeczy mgliste. Sejny: Pogranicze, 2004.
23. *Walker J.* The traumatic paradox: autobiographical documentary and the psychology of memory. *Contested Pasts: The Politics of Memory*. By K. Hodgkin, S. Radstone. London: Routledge, 2003. Цит. по: *Legg St.* Memory and Nostalgia // *Cultural Geographies*. 2004. № 11. S. 104.

**Украинская постколониальная проза:
проблемы национальной и гендерной идентичности
в романах О. Забужко**

Е. В. Байдалова

**Ukrainian Postcolonial Literature: The Problems of National
and Gender Identity in the Novels by O. Zabuzhko**

Ekaterina V. Baydalova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/337-344

ABSTRACT. The issue discusses the problem of national and gender identity in the novels by O. Zabuzhko «Field Work in Ukrainian Sex» (1996) and «The Museum of Abandoned Secrets» (2009) in the postcolonial studies' context. The heroes of these novels survive the crisis of national and gender identity. This crisis corresponds with colonial trauma and the attempts of going through it.

Keywords: postcolonial studies; national identity; gender identity; Zabuzhko.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема национальной и гендерной идентичности в романах украинской писательницы О. Забужко «Полевые исследования украинского секса» (1996) и «Музей заброшенных секретов» (2009) в контексте постколониальных исследований. Кризис национальной и гендерной идентичности, переживаемый героями данных романов, напрямую связывается Забужко с колониальной травмой и попытками ее пережить в постколониальной действительности.

Ключевые слова: постколониальные исследования; национальная идентичность; гендерная идентичность; Забужко.

Оксана Забужко (род. 1960, Луцк) – современная украинская писательница, поэтесса, общественный деятель. К настоящему моменту издано несколько сборников ее рассказов и повестей, поэтические книги, эссеистика, философско-культурологические монографии, в центре которых украинская философская мысль XIX–XX вв., а также философия украинской культуры. Первый роман писательницы – «Полевые исследования украинского секса» (1996) – принес ей известность не только на родине, но и за рубежом, а второй – «Музей заброшенных секретов» (2009) – был в 2013 г. удостоен престижной польской международной литературной премии Angelus. Забужко является одним из немногих украинских авторов, последовательно придерживающихся методологии и терминологии постколониальных исследований как в своей эссеистике и научных текстах, так и в художественных произведениях. Колони-

альное прошлое, а также постколониальное, посттоталитарное, посткоммунистическое состояние Украины является стержневой темой ее творчества.

Попытки осмыслить национальную историю и современность в рамках постколониальной теории в среде украинских философов, культурологов, историков, литературоведов предпринимаются с 1990-х гг. В категориях данной теории обсуждаются такие сложные понятия, как национальная идентичность, совместное советское прошлое, русификация, неоднозначный характер взаимодействия России и Запада, России и Украины, постколониальное состояние современного украинского общества и др. Интересно отметить, что феминистские, а позднее гендерные штудии, довольно популярные в украинском литературоведении с начала 1990-х гг., осуществлялись чаще всего в контексте постколониальных исследований. Таким образом предполагалось по-новому осмыслить украинскую культуру: «разрушить, расконсервировать патриархальную структуру мышления и народнические идеалы, избавившись от колониальных комплексов и запрограммированного этими комплексами отставания культур» [Байдалова 2013: 225]. В украинском литературоведении ядро постколониальных исследований было сформировано такими учеными, как М. Павлышин, Т. Гундорова, Н. Зборовская, Н. Рябчук, М. Шкандрий и др. Для современной украинской постколониальной критики, зачастую сохраняющей черты антиколониальной, характерно включение новых дисциплинарных направлений, таких как, например, исследование травмы или изучение тоталитаризма и его последствий.

В центре внимания Забужко как исследователя украинской философской мысли и философии культуры – критика имперской России в противопоставлении с либеральной Европой, а также стремление включить украинскую историю и культуру в общеевропейское пространство. Таким образом, монография «Философия украинской идеи и европейский контекст. Период Франко» (1992) оказывается рефлексией над европейской идентичностью Украины, а монография «*Notre Dame d'Ukraine: Украинка в конфликте мифологий*» (2007) – попыткой сквозь призму жизни и творчества, особый «код» Леси Украинки доказать, что украинцы – это не «сельская нация», а нация, забывшая свою многовековую рыцарскую, то есть европейскую культуру. Большое значение для понимания концептуального подхода писательницы имеет ее статья 1996 г. «Женщина-автор в колониальной культуре, или Заметки к украинской гендерной мифологии» (сборник избранной эссеистики «Хроники Фортинбраса», 2001), созданная на стыке постколониальных исследований, психоанализа и феминистской критики. В ней Забужко

рассматривает проблему «двойной маргинализации»¹ [Забужко 2001: 152]: ситуацию, в которой находятся украинские писательницы не только как авторы колониальной культуры, но и как женщины, подверженные дискриминации из-за своей гендерной принадлежности. Анализируя травму украинской «колониальной истории в гендерном аспекте» [Забужко 2001: 155], писательница приходит к неутешительному выводу: несмотря на то, что украинская культура определяет себя как постколониальную, «внутри себя, в своей гендерной структуре она и дальше остается – колониальной» [Забужко 2001: 193].

Поиск национальной и гендерной идентичности – центральная тема дебютного романа Забужко «Полевые исследования украинского секса», ставшего в свое время одним из самых заметных и скандальных литературных явлений 1990-х гг. в пространстве украинской культуры. Этот роман, безусловно, вписывается в контекст постсоветской украинской литературы, которая начинает длительный процесс формирования новой иерархии ценностей, творения новой индивидуальности, которая «стремится познать себя как личность, найти свои корни, открыть запрещенный до этого момента мир и определить свое место в нем» [Пухонська 2018: 145]: «Господи, как я хочу, чтобы мы что-то увидели, чтобы нас наконец услышали» [Забужко 2007: 103]. По верному замечанию исследователя современной украинской литературы Я. Голобородько, прозаические тексты Забужко семантически и ритмостилистически связаны, однако именно в первом романе сконденсировано все наиболее значимое, он является квинтэссенцией всех прозаических «импульсов-поисков» писательницы [Голобородько 2009: 29–30]. Одним из таких импульсов предстает поиск национальной идентичности, который оказывается остро болезненным для героини романа, способной находить в истории собственного народа лишь утраты и унижения: «...украинцы способны про себя рассказывать только то, как, сколько и каким образом их били: информация, что и говорить, малоинтересная для посторонних, однако, когда больше ничего ни в семейной, ни в национальной истории не наскрести, то мало-помалу привыкаешь гордиться именно этим – вот как нас били, а мы еще живы» [Забужко 2007: 123]. Открывать собственную страну приходится не только себе, но и всему остальному миру, когда, оказавшись за границей, отвечаешь на вопрос: «“Вы откуда?” – “Из Украины”. – “А где это?” – ты устала не быть в этом мире...» [Забужко 2007: 162]. Попытки обнаружить свою Отчизну для Другого у героини сопровождаются переживанием комплекса неполноценности и вместе с тем попытками его изжить, она «апеллирует к ги-

¹ Перевод с украинского здесь и далее автора статьи.

потетической американской аудитории, которой рассказывает историю своего народа» [Пухоньска 2018: 148], аудитории, не имеющий представления о трагической жизни в тоталитарном обществе, когда нужно делать выбор «между жертвой и палачом: между небытием и бытием-которое-убивает» [Забужко 2007: 152].

Одной из важнейших в романе является проблема родного языка, который понимается героиней не как инструмент коммуникации, а, в первую очередь, как детерминант национального самосознания и идентичности: «язык, даром что непонятный, на глазах у публики собирался вокруг тебя в прозрачный, мерцающий, будто из редкого стекла выплавленный шар, внутри которого, это они видели, происходила какая-то ворожба: что-то жило, пульсировало, отделялось, разверзалось провалами, набегало огнями <...> вот тогда-то и стало понятно, что твой дом – язык» [Забужко 2007: 15]. Пребывание героини в ином языковом пространстве (действие романа происходит в США) акцентирует колониальный статус ее родного языка и еще больше подчеркивает национальную травму.

В центре романа – история несчастливой любви поэтессы Оксаны и художника Мыколы. Оба они украинцы (это особо подчеркнуто в романе), причем для героини избранник оказывается первым «готовым» [Забужко 2007: 96] украинским мужчиной, которого не надо украинизировать, даже внешне он воплощает настоящую национальную «породу», в отличие от рожденных в рабстве «всех этих сутулых, с помятыми лицами мужиков на жокейски вывернутых ногах» [Забужко 2007: 96]. Таким образом, определяющим фактором для развития любовных отношений является национальная идентичность партнера. Частная жизнь лирической героини коррелируется с национальным социокультурным контекстом, взаимоотношения между мужчиной и женщиной анализируются на фоне национальной исторической колониальной зависимости. Оба героя оказываются неспособны любить, поскольку они травмированы опытом жизни в тоталитарном обществе, зависимостью от чужой воли. Сломленный репрессиями отец героини, принявший в семье феминную роль (ведение домашнего хозяйства, воспитание дочери), не имевшая возможности реализовать себя ни как женщина, ни как профессионал мать, атмосфера молчания и страха, тотального контроля и в личной, и в общественной жизни, в которой в детстве живет Оксана, приводят к психологической травме, определяющей дальнейшую жизнь героини. Отец Мыколы, проведший свою молодость в немецких и советских лагерях, отсутствовал рядом с сыном на важнейшем этапе взросления ребенка. Фактически воспитанный матерью, без мужского участия, Мыкола, мужественный внешне, внутренне оказывается слабее

своей избранницы, которая, осознавая причины своей травмы, готова с ней бороться, он же – нет. Для талантливого художника, имевшего возможность изживать свою травму творчеством, единственным возможным путем оказывается принятие себя как жертвы, обреченность на рабство: «рабы не должны рожать детей!.. Потому что это наследуется! Желание вырваться – еще не свобода» [Забужко 2007: 87]. Писательница «показывает отдельную любовную драму как глубокую колониальную травму, которая поразила целый народ и разрушила интимное пространство рода» [Гундорова 2005: 123].

Травма Оксаны не исчерпывается подчиненным положением ее нации, героиня уязвима еще и как женщина, рожденная и воспитанная в патриархальном обществе: «Нет, ну хоть бы кто-нибудь уже объяснил: какого черта нужно было родиться на свет женщиной (да еще и на Украине!) – с этой б...ской *зависимостью*, заложенной в тебе, как бомба замедленного действия, с несамостоятельностью этой, с необходимостью превращаться во влажную, хлопающую глину, втопанную в поверхность земли...» [Забужко 2007: 29]. Женское тело традиционно для постколониальной литературы трактуется в «Полевых исследованиях» как объект насилия, лишается своего сакрального содержания.

«Полевые исследования» стали причиной появления в украинском литературоведении многочисленных дискуссий о «женском письме и женской исповедальности, об основаниях табуированности женского телесного, сексуального опыта в патриархальной культуре» [Агеева 2008: 271], а также оказали мощное влияние на развитие украинской женской прозы, «запрограммировав» во многом ее язык [Агеева 2008: 275]. Однако, несмотря на приверженность феминистской критике и продвижение феминистских идей, Забужко в своих романах демонстрирует стратегии письма, принципиально отличные от нарратива женского автобиографического письма, для которого характерно «сознательное и бессознательное содержательное противопоставление своего внутреннего приватного мира миру официальной истории: в женском автобиографическом тексте зачастую невозможно определить в принципе, к какой исторической эпохе он принадлежит» [Жеребкина 2001]. Амбивалентность творчества Забужко, утверждение ею одних идейно-философских позиций и реализация в художественных текстах противоположных отмечались такими исследователями, как Н. Зборовська, которая увидела в сочинениях писательницы «имитацию патриотизма» [Зборовська 2006: 497], и Р. Харчук, следующим образом характеризующей письмо Забужко: «Доверяя подсознательному в творчестве, она вместе с тем культивирует рациональное отношение к жизни, затрагивая феминистскую проблематику, продолжает оберегать традицию,

настаивая на культурном контексте, не может отказаться от идеи сопротивления. Образно: О. Забужко находится на границе. И этим интересна» [Харчук 2008: 196].

Появление «Полевых исследований», с одной стороны, разрушает национальное табу на изображение субъективного (в первую очередь, сексуально-телесного) женского опыта в украинской культуре, с другой стороны, продуцирует деструктивный подход к изображению интимных отношений: оба героя остаются в плену у своего несвободного прошлого, которое разрушает их настоящее и будущее. Память о прошлом для героини становится непосильным бременем: в минувшем ей видятся лишь унижения, лишения, предательства и подчиненное положение как нации, так и индивидуальности.

Действие второго романа О. Забужко «Музей заброшенных секретов» (2009) охватывает 60 лет украинской истории от 1944-го до 2004-го гг. Композиционно роман построен как экскурсия по музею, по которому посетители перемещаются в строго заданном порядке от зала к залу (от главы к главе), постепенно раскрывая спрятанные в них секреты. Действие в каждом зале происходит в разных временных отрезках и показано глазами разных персонажей. История страны и каждого отдельного рода представляется в романе музеем заброшенных секретов, затерянных в пространстве и во времени обрывков человеческих историй, не явленных миру, но связанных с ним невидимыми нитями, историй, спрятанных и забытых, которые необходимо найти для того, чтобы, наконец, самоидентифицироваться, соединить воедино национальную историю, расколотую, разделенную на множество отдельных индивидуальных деяний. Главная героиня романа – журналистка Дарья Гоцинская – снимает фильм об одной из забытых участниц Украинской повстанческой армии² Олене Довган. Дарья и Олена представлены в романе как идеализированные национальные героини: красивые, элегантные, образованные, смелые, независимые, борющиеся за свободу своей страны. Несмотря на неоднократно выражаемую автором приверженность феминистской теории, обе они изображены в ситуации личного кризиса либо из-за неправильного выбора избранника (Олена), либо из-за его отсутствия (Дарина). После многочисленных интимных связей, разрушающих ее как личность, журналистка в итоге встречает Адриана, который становится ее истинным избранником. Его нацио-

² Украинская повстанческая армия (УПА) была создана в 1942-м г. по решению руководства Организации украинских националистов, официально действовала до 1949-го г., но отдельные мелкие группы продолжали существовать до 1956-го г. Целью УПА была провозглашена борьба за независимость Украины, поэтому военные действия велись как против немецкой армии, так и против поляков и советских войск.

нальная идентичность крайне важна героине для развития отношений: в романе всячески подчеркивается, что Адриан из галицкой интеллигентной семьи с «правильной» историей. Семьи обоих партнеров причастны к неудачному сопротивлению «империи»: член УПА у Адриана (двуродная бабушка Олена Довган, о которой как раз Дарина снимает фильм), отец-диссидент, ставший инвалидом после психиатрической лечебницы, у Дарины. События прошлого, о которых не знают герои, буквально начинают влиять на их жизни, воздействуя на сознание не только снами и голосами, но и мистическими телефонными звонками с того света, неожиданными встречами, архивными находками и переплетениями судеб. Несостоявшаяся любовь, нерожденные дети, неизобличенное предательство – все те секреты, которые были похоронены под глубоким слоем культурно-исторической почвы, частично или полностью открываются и меняют жизнь потомков тех, кому было что скрывать. Так начинает оживать историческая родовая (или генетическая) память. Без оживания родовой памяти, по мысли писательницы, невозможно становление национальной идентичности, возвращение к корням вызвано «желанием четко обозначить связь между индивидуальной и коллективной идентичностью» [Мрозик 2013: 40].

Женщина в этом романе является обладательницей некоего тайного знания, недоступного мужчине, знания, связанного с продолжением рода и сохранением национальной общности, родовой памяти, из которой складывается человеческая история: «Однажды приняв мужчину, женщина неизбежно переходит в иную зону притяжения – сама напрямую впадает во время как в вязкий поток, всей тяжестью своего земного тела, с маткой и придатками, этим живым хронометром, включительно, и время начинает течь сквозь нее уже не в чистом виде <...>, а воплощенным в род, в семью, в бесконечную хромосомную цепочку умирающего и воскресающего, пульсирующего смертной плотью генотипа – в то, что в конечном итоге принято называть, за неимением более точного термина, человеческой историей» [Забужко 2013: 12]. В данном романе женщины изображены как буквальные «воспроизводительницы» нации, поскольку они способны к деторождению. Осознание своей гендерной идентичности к героиням приходит через осознание своей функции продолжательниц рода. Положительный тест на беременность Дарина воспринимает как повестку в армию, которая «молча и упрямо ведет свою войну через века и поколения, – и не знает поражения <...> Армия, да. Второй фронт. Нет, д р у г о й фронт – куда сильнее первого...» [Забужко 2013: 676]. Героиня ощущает себя не только продолжательницей рода, но и преемницей бойцов УПА в борьбе за свою нацию, свободу, право самоопределения, национальную идентичность: «война про-

должається, війна ніколи не припиняється, – тепер це наша війна, і ми її ще не програли» [Забужко 2013: 676]. Переживання колоніальної травми із сфери деструктивних особистих взаємодій (як в «Полевих дослідженнях», в яких автор називає себе «націонал-мазохісткою»), переходить в сферу деструктивних відносин з зовнішнім світом, який сприймається як ворожий, загрожуючий національній ідентичності.

Перевладнання травматичного досвіду життя при тоталітарному режимі в ситуації колоніальної залежності через усвідомлення і прийняття свого минулого – такий шлях конструювання національної і гендерної ідентичності в романах письменниці. В цілому, для представників української постколоніальної літератури характерно введення в художественну практику антиколоніального і посттоталітарного дискурсів, що наочно демонструють романи Оксани Забужко.

Література / References

1. *Агеева В.* Женское пространство. Феминистический дискурс украинского модернизма. М.: Идея-Пресс, 2008. 304 с.
2. *Байдалова Е.В.* Гендерные исследования в современном украинском литературоведении. Комментарии к библиографии // Гендер и литература в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Серия «Современные литературы стран ЦЮВЕ». М., 2013. С. 225–244.
3. *Голобородько Я.* Елізіум. Інкorporація стратега. Харків: Фоліо, 2009. 187 с.
4. *Гундорова Т.* Український літературний постмодерн. Київ: Критика, 2005. 258 с.
5. *Забужко О.* Жінка-автор у колоніальній культурі, або Знадоба до української гендерної міфології // Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х. Київ, 2001. С. 152–193.
6. *Забужко О.С.* Музей заброшенных секретов / Пер. с укр. Е. Мариничевой. М: АСТ, 2013. 697 с.
7. *Забужко О.* Польові дослідження з українського сексу. Київ: Факт, 2007. 176 с.
8. *Зборовська Н.* Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. Київ: Академвидав, 2006. 504 с.
9. *Жеребкіна І.* Феминистская критика // Введение в гендерные исследования. Учебное пособие. Харьков: Харьковский центр гендерных исследований, 2001. [Электронный ресурс.] URL: <http://www.owl.ru/library/004t.htm>. Дата последнего обращения: 12.01.2018.
10. *Мрозик А.* Женские архивы – кладовые памяти. Политика идентичности в (авто)биографиях женщин после 1989 года // Гендер и литература в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Серия «Современные литературы стран ЦЮВЕ». М., 2013. С. 39–55.
11. *Пухонська О.* Літературний вимір пам'яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.
12. *Харчук Р.Б.* Сучасна українська проза. Постмодерний період. Навчальний посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2008. 248 с.

«Книга Грабала» венгерского писателя Эстерхази

Ю. П. Гусев

«The book of Hrabal» of Hungarian writer Esterházy

Yury P. Gusev

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/345-352

ABSTRACT. From the whole of the world literature, the Hungarian writer Péter Esterházy (1950–2016) set out only one name – that of the Czech writer Bohumil Hrabal (1914–1997), because he saw in his work something close to himself.

Keywords: Esterházy; Hrabal; the intertextuality; the socialist camp; the creative freedom.

АННОТАЦИЯ. Из всей мировой литературы венгерский писатель Петер Эстерхази (1950–2016) выделил одно имя, чешского прозаика Богумила Грабала (1914–1997), увидев в его творчестве нечто близкое себе.

Ключевые слова: Эстерхази; Грабал; интертекстуальность; соцлагерь; творческая свобода.

Относительное единство региона Центральной и Юго-Восточной Европы, при всей его этнической неоднородности (славянские народы плюс венгры плюс румыны и др.), обусловлено, по всей видимости, прежде всего его геополитическим положением – между двумя мощными, как жернова, ступками силы, германским и русским, силами, чрезвычайно склонными к экспансии и враждующими между собой (а в XV–XVIII вв. к ним добавилась с юга еще и третья агрессивная сила – турки-оттоманы). Эта историческая обусловленность не могла, очевидно, не породить у народов, здесь живущих, некоторого ощущения общности, могущей стать в той или иной степени предпосылкой и для духовного родства.

Глядя на вопрос с венгерской (венгерская литература – моя узкая специальность) «кочки» зрения, скажу следующее. На протяжении долгих столетий живя в этнически чуждой среде и, вероятно, чувствуя в какой-то степени свое (по крайней мере, языковое) одиночество, венгры и в древности, и в Новое время проявляли живой интерес к соседям, к их культуре. В первую очередь, конечно, к культуре немецкой, с которой их связывали непростые, подчас исполненные жестокости, трагизма, отчаяния, перипетии исторического бытия. Однако достаточно тесными – хотя весьма разными по характеру, по степени доброжелательства – были их взаимоотношения и со славянскими народами: хорваты, словаки, русины входили в состав исторической Венгрии, а с по-

ляками у венгров сложились, уже с XVI века и по XX, то затухая, то оживляясь, отношения межгосударственного, да и человеческого сотрудничества, соратничества, окрашенного взаимной симпатией («Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki»).

В недавнем прошлом, во второй половине XX века, общность славянских народов – а с ними и венгров и румын – стала, пускай не по их воле, особенно тесной. Во всяком случае, никогда еще, до обозначенного периода, народы этого региона, который едва ли не на полвека превратился в «социалистический лагерь», в своей исторической судьбе не были так близки; фактор этот оказал огромное влияние, в числе прочего, и на их культуру. (Подозреваю, что в какой-то мере даже и на язык, – интересно, исследовал кто-нибудь отпечаток «реального социализма» на эволюции языка?).

В свете сказанного вполне логичным выглядит тот факт, что духовная, ментальная близость народов региона (при том, что противоречий, взаимных претензий и обид – как это обычно и бывает между соседями – тут огромное множество) находит отражение и в литературе¹.

В данном случае речь пойдет об одном феномене, который кажется мне очень интересным, – о романе Петера Эстерхази «Книга Грабала».

Прежде чем говорить о романе, надо сказать несколько слов о его авторе, Петере Эстерхази (1950–2016). Если из классической венгерской литературы наиболее известно, за пределами Венгрии, имя Петефи, то из современной литературы, наверное, особенно на слуху именно имя Эстерхази (правда, многие путают его с Мештерхази). В большой мере потому, что семья (род, клан) Эстерхази – одна из самых значительных аристократических семей не только в Венгрии, не только в Австро-Венгрии, но и в Европе в целом, и Петер Эстерхази – прямой отпрыск этой знаменитой семьи.

Связан ли с этим фактом искрометный талант Петера Эстерхази, утвердительно сказать едва ли можно. С несколько меньшей неуверенностью есть основания предположить, что с аристократическим происхождением может быть связана его феноменальная внутренняя свобода (свободомыслие, самостоятельность суждений и т.п.). Родители Петера после войны по какой-то причине (у меня не было возможности выяснить это) не перебрались на Запад – в Австрию, которая для этой семьи была родиной не в меньшей степени, чем Венгрия, – а потому в полной мере испытали все те притеснения, которым социализм, особенно в его первый, сталинский период, подвергал «классово чуждую» часть обще-

¹ Этой теме посвящаются, например, мои статьи [Гусев 1990: 85–111; 2013: 145–150].

ства. В 1951 г. семья была депортирована в глухую деревню на севере Венгрии; но и после возвращения в столицу условия жизни были отнюдь не графскими.

Однако Петер (здесь-то и хочется думать о генах!) вырос свободным человеком. И – не могу удержаться и не сказать: постмодернизм в литературе словно бы выдуман был специально для него! Свободная, веселая, самозабвенная игра, даже жонглирование словами, смыслами, образами, точками зрения, пародирование, самопародирование, явное и скрытое цитирование, ничем не ограниченная интертекстуальность – это и есть проза Эстерхази. Изобретательность его, постоянная, ни на минуту не слабеющая готовность озадачить, повеселить, удивить, ошарашить читателя, – просто феноменальны. На мой взгляд, в этом плане его можно поставить рядом с Сальвадором Дали (тоже, кстати, из аристократов: маркиз).

При всем том – и здесь, наверное, можно видеть то, что отличает восточноевропейский постмодернизм от западноевропейского, – игра, которой увлечен Эстерхази, никогда (ну, или, спокойнее сказать, почти никогда) не становится самоцельной: писатель, как правило, имеет в виду и так или иначе: через парадокс, гротеск, абсурд, – отражает историческую судьбу Венгрии в частности и восточноевропейского региона в целом. Быть озабоченными общественными, экзистенциальными проблемами своего народа (во всяком случае, никогда не забывать о них) – на это, к счастью или несчастью (мне все-таки кажется, к счастью), в той или иной степени обречены писатели, художники, деятели культуры, мыслители всех славянских и неславянских стран, которые составляют этот многострадальный регион.

Однако пора обратиться непосредственно к «Книге Грабала». Она вышла в 1990 г., в момент для Венгрии – как и для всего «соцлагеря» – крайне знаменательный. Конечно, считать этот роман каким-то «подведением исторических итогов» никак не получается; да и это совсем не в духе Эстерхази – подводить итоги: он бы первый расхохотался, скажи ему кто-нибудь об этом. Однако мне все-таки видится нечто неслучайное в том, что именно в этот момент у него вышел роман, в котором – нет, не прямо, а через многие преломления – можно усмотреть размышления о судьбе региона. И тут уместно повторить утверждение о том, что в Восточной Европе, где все общественное и личное бытие густо замешано на политике, на идеологии, постмодернизм в литературе (в отличие от постмодернизма в Западной Европе) ориентирован – подчас, может быть, даже независимо от творческих интенций и настроений конкретных авторов – на социальные процессы и проблемы.

Но – почему именно Грабал?

Если не считать некоторых сугубо специфических случаев², Эстерхази не удостоивал специальным вниманием писателей других стран региона; хотя среди тех, кого он явно или скрыто цитирует, этих писателей очень много: в той же «Книге Грабала» прослеживаются более или менее прозрачные реминисценции из Кафки, Пауля Целана; много переключек и с русскими писателями: например, с Булгаковым.

Почему же именно Грабалу он, Эстерхази, уделил столько – на целую книгу – внимания?

В 1960–70-х гг. Богумил Грабал (1914–1997) был в своей стране одним из самых известных и популярных писателей; во многом он продолжал традиции сатиры Чапека и Гашека, а потому, мягко говоря, не пользовался безусловной поддержкой коммунистического руководства культурной политикой. Венгры стали активно переводить Грабала с середины 1960-х; затем, после некоторого ослабления внимания к нему, чешский прозаик снова вошел в венгерский культурный кругооборот в 1980-х гг.

Уместно, наверное, привести здесь относящееся к Грабалу высказывание Милана Кундеры (само имя заставляет отнестись к его мнению с уважением): «Одна-единственная книга Грабала делает для людей и свободы их мышления больше, чем мы с нашими действиями, поступками, нашими шумными протестами».

По-видимому, ключевое слово здесь – свобода. Свобода мысли, свобода мнений, внутренняя, духовная свобода – это как раз то, что Петер Эстерхази ценил выше всего. Так что совсем неудивительно, что он обратил на чешского писателя, своего современника, но далеко не ровесника, особое, исключительное внимание.

Надо думать, Эстерхази познакомился с творчеством Грабала не по венгерским, или не только по венгерским, изданиям. Но произошло это достаточно рано: ведь если «Книга Грабала» вышла в 1990 г., то несколько лет перед этим нужно отвести на время, когда писатель, что называется, «вынашивал» ее, потом переносил на бумагу. И действительно, Эстерхази сам сообщает об этом – в свойственном ему парадоксально-шутливо-серьезном тоне – в различных интервью и

² Вот один из них: Эстерхази опубликовал – и не однажды – *под своим именем* переведенную на венгерский язык новеллу Данило Киша «Как славно умереть за родину!». Поскольку Киш был в курсе дела и не возражал против такого «плагиата» (и поскольку – на это особенно упирал Петер Эстерхази – героем новеллы был один из представителей семьи Эстерхази), случай этот можно считать примером эксцентричности, литературного озорства; ну, или, если угодно, крайним проявлением интертекстуальности (цитаты ведь бывают разные; почему же не быть цитате величиной с новеллу?).

статьях. Например, в сборнике эссе «Из башни слоновой кости» (“Az elefántcsonttoronyból”, 1991): «...верьте или не верьте, целых полтора года смотрел на меня, с фотографии на моем письменном столе, старик, проживающий в Праге, 1914 года рождения, смотрел не скажу чтоб как-то иронически или пускай скептически, и не скажу чтоб высмеивая или подтрунивая, но и не так чтобы с готовностью мне помочь, ободряюще подмигнуть, вообще дать повод хоть на минуту предположить, что он мне так уж доверяет, – просто смотрел, то есть когда я поднимал на него глаза, то встречал его взгляд, мол, вот он я, – да я и не просил у него помощи, а он мне ничего не предлагал...» [Эстерхази 1991, эл. ресурс].

Эти несколько строк не только демонстрируют стиль Эстерхази – стиль легкого, светского, как бы ни к чему не обязывающего bavardage, – но и выдают некоторое смущение автора, желание отвлечь внимание от его писательской влюбленности в свой объект. Влюбленности, которая все же пробивается в дальнейших рассуждениях: «... в общем, как обычно, я выдумал себе некоего Грабала, старого, как миф, чудака, знатока всех восточноевропейских недугов, мудреца, любовника, который покажет дорогу в закоулках силы и сердца и, более того, который стал для меня своего рода Vater-Figur ...» [Ibid].

Как это свойственно Эстерхази, в легковесном, на первый взгляд, потоке речи у него спрятаны очень даже полновесные словосочетания. В последней цитате таковым мне видится выражение «восточноевропейские недуги». В «Книге Грабала» свое преклонение перед чешским писателем Петер Эстерхази (он говорит здесь о себе в третьем лице – «писатель», – что мотивировано, по всей очевидности, все тем же подспудным желанием несколько затушевать личностный момент, – а также тем, что он в этой книге, хотя и имеет в виду, конечно же, себя, однако одновременно рисует довольно забавную карикатуру на самого себя) связывает именно с этим моментом, то есть с особенностями жизни и самочувствия человека в данном регионе. «Короче говоря, писатель считал Богумила Грабала гигантом. Как утверждается в общеизвестной шутке, родиться венгром – или каким-нибудь там восточноевропейцем, восточноюжноевропейцем – большая невезуха. Так вот, этот Грабал говорит, подумал писатель, что невезуха – не то слово, потому что тем словом будет – трагедия, то есть родиться здесь – трагедия; да что трагедия: хуже – комедия. В общем – драма» [Эстерхази 1990: 18–19].

Собственно, о самом Богумиле Грабале в этой книге говорится мало. Здесь разворачивается некая ситуация, связанная с жизнью героя Эстерхази, «писателя». Две главы (из трех) написаны от имени жены «писателя», Анны: она обнаруживает, что, кажется, оказалась в «интересном» положении, и – при уже имеющихся в наличии двоих детях –

впадает в (глубоко спрятанную в душе) панику, мучаясь вопросом, решиться на подвиг: ведь третий ребенок – это еще один груз, который ляжет на ее плечи, – или вовремя избавиться от такой перспективы. В своих метаниях она и обращается мыслями к Богумилу Грабалу, который играет тут роль некоей трансцендентной сущности и способен помочь хотя бы мудрым советом. (Не к мужу же ей обращаться, «писателю», который целыми днями сидит в своей комнатке, грызя перо, **работает**, а вечером выходит к семье, совершенно изможденный, не от мира сего!) Анна до такой степени прикипает душой к далекому Грабалу, ее последней, хотя и призрачной надежде, что ощущает своего рода влюбленность в него, – вторая глава книги многозначительно называется «Глава неверности».

Ситуация осложняется тем, что в романе (точнее, в том виртуальном мире, субъектом которого является Анна) фигурирует еще одна трансцендентная сущность – это ни много ни мало как сам Господь. Если вспомнить, что род Эстерхази – испокон веков привержен католицизму, то вполне логично, что Господь (в этом произведении Петера Эстерхази) решительно против абортс вообще и аборта Анны в частности. И – тут уже Эстерхази дает разыгаться своей, склонной к абсурду, фантазии – Всевышний отправляет на Землю двух ангелов, которые, следя за Анной, постоянно дежурят, сидя в машине «победа» с государственными номерами, у дома «писателя». Оперативное общение со своими агентами Господь осуществляет с помощью воки-токи (кажется, это что-то вроде пейджера). Самое тут, пожалуй, интересное – то, что никто ни из соседей, ни из прохожих наличию подозрительной машины не удивляется: ведь в нашей восточноевропейской реальности, если на улице возле чьего-то дома постоянно стоит машина с госномерами, а в ней сидят двое, значит, так надо. В наших краях подобное – в порядке вещей.

Реалии социализма проникают в семейную, личную жизнь, причудливо переплетаются с ней. Реалии эти типичны, узнаваемы, но отнюдь не всегда конкретны, как это в общем и целом и присуще вещам Эстерхази. Однако есть исключения; вот одно из них, очень бросающееся в глаза.

«Богумил, милый, – обращается (опять же мысленно) жена «писателя» к Грабалу, – а знаете ли вы: когда армия моей страны вступила в вашу страну, моя тетя сошла с ума» [Эстерхази 1990: 18–19]. Понятно, что речь идет об августе 1968 г., когда армии стран Варшавского договора (в том числе и армия ВНР) подавили попытку Чехословакии отказаться от советской модели социализма. Это еще одна особенность повествовательной манеры Эстерхази – он не дает себе труда остано-

ливаться на самом событии, детализировать или анализировать его. Он углубляется в перипетии жизни той самой, как бы вскользь упомянутой, тронувшей умом тети, – но этот «уход» от темы каким-то таинственным образом запечатлевает ужас 1968-го года в сознании читателя прочнее и ярче, чем если бы писатель долго и подробно описывал само событие.

Рамки статьи не позволяют привести другие подобные примеры и показать, чем они замечательны. Как не позволяют рассказать о многих других великолепных ситуациях и линиях романа, о бесчисленных блистательных мелочах, которые, наверное, отнюдь не все удалось бы передать даже в очень тщательном переводе (о переводе «Книги Грабала» на русский нам остается только мечтать). С огромным трудом могу представить, например, как выглядел бы в таком переводе невероятный по остроумию эпизод, в котором Господь беседует с Грабалом... на чешском языке. И дело вовсе не в том, что Бог знает чешский: если Он всеведущ, то почему бы ему и не знать чешского (хотя Эстерхази – вот что такое истинное свободомыслие! – допускает, например, что Господь, который знает и умеет всё, не умеет... играть на саксофоне, и писатель посвящает несколько страниц, описывая, как Вседержитель учится этому – правда, без особого успеха). Самое уморительное здесь – винегрет из чешского и венгерского (в нашем переводе это был бы русский) языков: ведь должен же читатель понимать, о чем беседуют два небожителя.

Когда я выступал (на конференции, по материалам которой подготовлен этот сборник) с докладом на обозначенную в заголовке тему, мне был задан, вполне закономерно, вопрос: о какой же все-таки книге Грабала у Эстерхази идет речь? Да, конечно, я должен был бы предусмотреть это и соответственно начать выступление. Но дело в том, что Эстерхази совсем не имеет в виду какую-либо книгу, какое-либо конкретное произведение Грабала; да это было бы и не в его духе – писать что-то вроде рецензии. Более того, роман не следует воспринимать и как *книгу о Грабале*. Коннотации направляют нас совсем по другому адресу.

По какому? В сторону Ветхого Завета.

То есть на «Книгу Грабала» нужно смотреть примерно так же, как смотрим мы на, скажем, Книгу Неемии, Книгу Есфирь, Книгу Иова и т.д. Фигура Грабала – как его видит Петер Эстерхази (включая и тот его аспект, который он назвал: «Vater-Figur») – вполне вписывается в тот образ, который сложился в сознании широкого читателя; например, критик Эрика Бенце пишет, что «читатели в равной мере величают его старой развалиной и святым» [Бенце, эл. ресурс]. Упомянутый выше

диалог, где Господь и Грабал беседуют (по-чешски) практически на равных, – еще одно подтверждение этому. (В венгерской критике, посвященной роману – возможно, потому, что исчерпывающе изучить ее у меня не было возможности, – такой же или похожей мысли я не обнаружил.)

Как-то, к сожалению, лишь задним числом приходит и понимание (хотя оно должно было бы предшествовать чтению книги), что предпосланный тексту книги эпиграф также должен подготовить читателя к восприятию Богумила Грабала как... скажем, мудреца и пророка. Эпиграф этот Эстерхази позаимствовал у венгерского писателя Милана Фюшта (1888–1967), который тоже поставил его в качестве эпиграфа к роману «История моей жены» (“A feleségem története”, 1942). Эпиграф этот – текст некой «средневековой молитвы», обращенной к Всевышнему, который «сотворил человека как есмь, и ко человеку взываем, ибо он такоже в ответе за себя самого... отнесись и к сему, как к дьявольскому наущению в сердце нашем, Господи! <...> удали же раскаленную сковороду, на коей горит плоть наша, поелику зверь во мне, и плоть моя столь падка до соблазнов» [Фюшт 2010: 3] (текст продублирован на той же странице и на латыни).

Таким образом, Богумил Грабал для Эстерхази воплощает в себе и в своем творчестве то высшее и лучшее – в данном, далеко не лучшем месте и времени, – что можно надеяться увидеть в человеке, в органическом единстве с тем, что роднит его, человека, с животным.

Литература / References

1. *Гусев Ю.П.* Восприятие венгерской литературы в странах социализма // Взаимобогащение литератур (социалистические страны Европы). М.: Наука, 1990. С. 85–111.
2. *Гусев Ю.П.* Традиции культурных взаимосвязей между Польшей и Венгрией в XVI–XXI вв. // *Amicus Poloniae*. Памяти Виктора Хорева. М.: Индрик, 2013. С. 145–150.
3. *Парул Сехгал*. Невидимые замыслы. «The New York Times». 16.II.2016. [Электронный ресурс.] URL: <https://www.livelib.ru/translations/post/17960-nevidimye-zamyisly>. Дата последнего обращения: 25.11.2018.
4. *Фюшт М.* История моей жены. М.: Водолей, 2010.
5. *Bencze Erika*. Dear Bohumil. [Электронный ресурс.] URL: http://adattar.vmmi.org/cikkek/15361/hid_1992_11-12_29_bencze.pdf. Дата последнего обращения: 25.11.2018.
6. *Esterházy Péter*. Az elefántcsonttoronyból. Вр.: Magvető Kiadó, 1991. [Электронный ресурс.] URL: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/ESTERHAZY/esterhazy00171/esterhazy00171_o/esterhazy00171_o.html. Дата последнего обращения: 28.12.2018. [Электронный ресурс.] URL: http://adattar.vmmi.org/cikkek/15361/hid_1992_11-12_29_bencze.pdf. Дата последнего посещения: 11.10.2018.
7. *Esterházy Péter*. Hrabal könyve. Вр.: Magvető Kiadó, 1990.

**Крах Австро-Венгрии в рефлексии постмодернизма:
«картонная» Вена И. Крадохвила
(роман «Бессмертная история»)**

Е. Н. Ковтун

**Collapse of Austria-Hungary in post-modernism's self-reflection:
«cardboard» Vienna by I. Kratochvil
(novel «Immortal Story»)**

Elena N. Kovtun

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/353-361

ABSTRACT. The article coincided with the hundred year anniversary of important and memorable for Slavic peoples events of 1918 draws attention at not well known aspects of content and poetics of the novel «Immortal Story or Life of Sonja Trotsky-Sammler» by I.Kratochvil, one of most famous czech writers – post-modernists of the end of XX century. In the novel the author producing a large-scale canvas of historical events of 20th century in Chechia and Europe reveals, inter alia, the theme of Austria-Hungary with which (especially with the visit to Vienna on the eve of the First World War) key elements of heroine's biography are related. Grotesque image, on the brink of phantasmagoria and absurdity, of Austrian capital allows to show the greatness and, in the same time, the tinsel of becoming history days of great empires.

Keywords: czech literature of the end of XX century, post-modernism, grotesque, science fiction and fantasy, phantasmagoria.

АННОТАЦИЯ. Статья, приуроченная к столетней годовщине важных и памятных для славянских народов событий 1918 г., обращает внимание на не вполне изученные аспекты содержания и поэтики романа «Бессмертная история, или Жизнь Сони Троцкой-Заммлер», принадлежащего перу И. Крадохвила, одного из наиболее известных чешских писателей-постмодернистов конца XX в. В данном романе, создавая масштабное полотно исторических событий двадцатого столетия в Чехии и Европе, автор раскрывает, в частности, тему Австро-Венгрии, с которой, – в особенности с посещением Вены накануне Первой мировой войны, – связаны ключевые моменты биографии главной героини. Гротескное, на грани фантазмагории и абсурда, изображение австрийской столицы позволяет показать величие и одновременно мишурность уходящей в прошлое эпохи великих империй.

Ключевые слова: чешская литература конца XX в., постмодернизм, гротеск, фантастика, фантазмагория.

О творчестве чешского писателя-постмодерниста И. Кратохвила и его романе «Бессмертная история, или Жизнь Сони Трощкой-Заммлер» (1997) написано немало (см., например: [Chvatík 2009], [Kostřicová 2008], [Fořt 2007], [Hoffmann 2001]). Как правило, исследователей привлекает прежде всего жанровая природа изучаемого текста. Писатель дал своей книге подзаголовок «роман-карнавал», и действительно, поэтику произведения определяет стихия гротеска, безудержная фантазмагория, вымысел на грани абсурда. В момент появления книги все это было мало привычным для соотечественников Кратохвила, еще хорошо помнивших предшествующую эпоху господства однотипной соцреалистической прозы. Подчеркивая, что фантазмагория в романе – не элемент формы, но основа авторского замысла, Кратохвил предположил тексту слова Ф. М. Достоевского: «То, что большинство людей называет фантастическим и из ряда вон выходящим, для меня составляет самую суть действительности» [Кратохвил 2003: 6].

Основные фантастические мотивы в романе связаны с главной героиней, уроженкой Брно Соней Трощкой-Заммлер, чей образ несет несколько важных для автора смыслов. Во-первых, Соня представляет собой «живое послание» XIX века XXI столетию. Героиня рождается в ночь на 1 января 1900 г., а пять лет спустя прямо на льду реки Свратки Соню подбирает огромный дирижабль «Жан-Жак Руссо», внутри которого, как по проспекту, гуляют нарядные дамы и кавалеры. «Нам стало известно, – заявляет Соне величественный старец-капитан, – что из живущих ныне на земле именно вы скорее всего достигнете весьма преклонных лет, таких, что сумеете передать наше послание третьему тысячелетию. Мы выбрали вас для того, чтобы вы стали нашим вытянутым вперед перстом, коим мы однажды коснемся двадцать первого века [...] лучшие и мудрейшие представители девятнадцатого века, ученые, философы, романисты, поэты и изобретатели составили текст послания, с которым век девятнадцатый, век веры в человеческий дух, обращается к таким далеким и вместе с тем таким близким людям начала третьего тысячелетия, людям, которые будут уже свободно и счастливо перелетать на крыльях, словно мотыльки, с одной планеты на другую, от одной солнечной системы к другой, от галактики к галактике, людям, которые войдут в великое братство космических цивилизаций» [Кратохвил 2003: 24]. По словам Сони, не помнящей содержания послания, «оно само выйдет на свет Божий, когда настанет время [...] чтобы [...] воплотить наконец в жизнь все [...] что было столь трагическим образом испорчено в нашем веке» [Кратохвил 2003: 27, 215].

Вторая «ипостась» образа героини связана с символическим мотивом многонациональной Европы, вступающей в эпоху глобализации. Мать чешской гражданки Сони – немка, отец – сын русского право-

славного священника, эмигрировавшего в США. Присутствующая при рождении героини повивальная бабка «выкрикивала что-то по-венгерски и по-словацки» [Кратохвил 2003: 9]. Рядом стояли приехавшие в Брно к отцу Сони американские гости-индейцы. В одном из эпизодов романа Кратохвил рисует не менее пеструю в этническом отношении галерею и своих собственных предков.

Наконец, третий аспект центрального образа «Бессмертной истории» – воплощение темы рока. Характер и судьба героини столь своеобразны, потому что она призвана стать «новой Джульеттой» XX столетия. «В тот миг, когда я рождалась на свет, – говорит Соня, – я [...] услышала чей-то голос, голос кого-то, кто с нетерпением поджидал меня [...] Наша встреча, встреча бессмертных влюбленных наступающего века (Петрарки и Лауры атомного века, Тристана и Изольды эпохи кухонных комбайнов, спутников, компьютеров и Холокоста), была подготовлена на славу [...] С самого начала мы знали о существовании друг друга, и мощное взаимное влечение, сравнимое разве что с могучим потоком Гольфстрима, призвано было обеспечить нашу своевременную встречу» [Кратохвил 2003: 10–11].

Однако избранник героини, двенадцатилетний Бруно Млок, гибнет в проруби, когда Соне насчитывается всего три дня от роду. А затем возвращается к возлюбленной в обличье разных животных: «После смерти Бруно, после того как (четвертого января 1900 года) он утонул в Дунае, для нас осталась только одна возможность встречаться здесь, на земле. И это была долгая дорога обратно, к человеческому облику. Однако когда именно он вновь станет человеком, когда закончится эта цепь реинкарнаций, об этом мы, к сожалению, не имели ни малейшего представления» [Кратохвил 2003: 39]. О важности не только для Сони, но и для замысла романа этих свиданий-возвращений говорит тот факт, что именно они определяют композицию произведения: четыре из пяти «книг», из которых оно состоит, названы по звериным воплощениям Бруно – «Шимпанзе», «Олень», «Слон», «Барс».

Три этих связанных с героиней мотива определяют причудливый калейдоскоп составляющих роман философских идей и поэтических образов. Здесь и бессмертие в цепи перерождений, и гимн прогрессу (реальные успехи науки сочетаются в романе с фантастическими допущениями: так, во время Второй мировой войны героиня водит дружбу с волками, оказывающимися превращенными в зверей красноармейцами, подготовленными для покушения на фашистских вождей), и стилизация под модный в научной фантастике «стимпанк» (техника XIX века в эпизоде с дирижаблем), и многие иные восхитительно необъяснимые фантастические послышки. Чего стоит только превращение одной из второ-

степенных героинь, Савы, в ее собственную ранее погибшую дочь Альжбетку, говорящий карп Барух Спиноза, которого Соня берет в учителя собственному сыну, или ее многолетний сон на чердаке одного из домов в Брно ради того, чтобы поскорее пережить скучную эпоху заката социалистической Чехословакии!

В некотором пренебрежении с точки зрения исследовательского внимания из-за перечисленных выше наиболее ярких мотивов романа остается звучащая в нем – и как часть европейской темы, и как самостоятельный лейтмотив – тема Австро-Венгрии, ее славного прошлого, кажущегося благополучным настоящего и приближающегося уже различного внимательным взглядом краха. Между тем анализ связанных с данной темой эпизодов позволяет установить, что австро-венгерская нота влетена в симфонию судьбы героини романа отнюдь не случайно – и не просто как дань авторского уважения к главным историческим вехам XX столетия.

Об этом, в частности, свидетельствуют имеющиеся отношение к данной теме детали, рассыпанные по разным главам «Бессмертной истории». Неоднократно в романе, прямо или косвенно, упоминаются входящие в состав австро-венгерской монархии исторические области и этнические территории: например, в эпизоде рождения Сони, в рассказе об одиссее ее деда Трощкого – или в описании путешествия героини в трехлетнем возрасте с родителями в Триест по пути на Крит. После сцены свидания Сони с Бруно в образе оленя упоминается, что ее батюшка – член охотничьей корпорации Цислейтании, «объединявшей охотничьи общества Чехии, Моравии, Силезии, Верхней и Нижней Австрии, Зальцбургского края, Штирии, Каринтии, Крайны, Тироля, Горицы, Бургенланда, Истрии и Триеста, Галиции, Буковины и Далмации» [Кратохвил 2003: 60], далее в тексте появляется Мадыарско-Карпатская железная дорога, по которой ездит приятель отца Сони Дюрка.

В 1908 г. родитель героини фотографируется в Вене с группой машинистов на фоне паровоза «Аякс» 1841 г. выпуска в честь 70-летия Северной дороги императора Фердинанда. Наконец, австрийская столица (а именно собор св. Стефана) упоминается в романе как место свадьбы Сони и вернувшего себе человеческий облик Бруно, планируемой в XXI столетии.

Все перечисленное создает своеобразный «австрийский» в широком смысле фон для ранней части чешской биографии героини. Однако подлинным средоточием австро-венгерской тематики становится эпизод посещения Сони с родителями Вены летом 1914 г.

Важность эпизода подчеркивает его композиционная роль и тщательная выверенность описаний. Сцены путешествия занимают шесть главков (под номерами 12–17) из общих для всего романа шестидесяти

шести (скорее всего, «магия чисел» не случайна). Тематически к ним примыкают своеобразный пролог в главке 11 «Выстрелы в Сараево», в котором домашние животные – то ли дрессированные, то ли разумные – в поместье родственников Сони 28 июня 1914 г. разыгрывают импровизированный спектакль, воспроизводящий обстоятельства покушения на наследника австрийского престола, а также импровизированный эпилог в главке 18, где рассказывается о завершении Соней работ над макетом Вены и буквально вскользь упоминается оставшийся (то есть, по сути дела, весь!) период Первой мировой войны, которому по сравнению с двухдневной поездкой героев в Вену уделено подчеркнуто скромное место.

Изображению путешествия предшествует ряд деталей, создающих особый эмоциональный настрой. Вену, где так недолго жил и где погиб Бруно, Соня неоднократно называет «городом своих мечтаний». Столица Австро-Венгрии – «соседка» родного для автора и Сони Брно: «Вена расположена так близко, что из окон окраинных домов южной части Брно можно докричаться до жителей Вены, обитающих на ее северной окраине» [Кратохвил 2003: 40]. Кроме того, Вена – знаковый город для отца Сони: «Я всегда с величайшим вниманием слушала рассказы батюшки о Вене. А он столько о ней всего рассказывал! Северная дорога императора Фердинанда, связывавшая Вену с Галицией, стала первой, по которой он начал ездить как машинист [...] именно из Вены он впервые выехал на паровозе в качестве машиниста, тогда как прежде он сновал по разным дорогам, служа кочегаром и механиком. Поэтому Вена была городом его праздников [...] но в то же время городом его будней, ведь здесь часто начинались и заканчивались его смены» [Кратохвил 2003: 41]. Бесспорно, значима и дата визита Сони и ее родителей в имперскую столицу, 27–28 июля 1914 г. Это последний день мира и день начала Первой мировой войны.

Но наиболее интересен, пожалуй, тот факт, что венский эпизод – наряду с другими важнейшими моментами сюжета – являет читателю максимально высокую степень гротеска. Вместо «реального» (в художественном пространстве романа) города персонажи чудесным образом оказываются внутри картонного макета, склеенного Соней и бережно хранимого ею дома под собственной кроватью.

Объяснение, почему Соня приступила к работе над макетом весной 1913 г., дается в двенадцатой главке. Героиня рвется в «город Бруно», но долгожданная поездка откладывается. «И в конце концов я поняла, что мне следует принимать решение самостоятельно, и зашла в большой магазин со всякой всячиной, где были и аптекарские товары, на тогдашней улице Шмерлинга (позднее – проспект Легионеров), и приволокла оттуда целый мешок пустых упаковок, картонок и коробочек из-под

разных слабительных, притирок, мазей и настоек, а потом взялась за дело. Я решила выстроить город своей мечты из подручных средств» [Кратохвил 2003: 41].

Знания о Вене Соня черпает из рассказов отца. «Таким образом я без труда сложила из аптечных упаковок, коробков и коробочек здания Придворного театра и Венской государственной оперы [...] ратушу в неоготическом стиле, университет, Музей естествознания, Дворец правосудия, а также дворцы Кинских и Эстерхази, не забыв при этом о целом ряде храмов [...] много радости доставила мне постройка замка Хофбург и дворца Шенбрун» [Кратохвил 2003: 41–42]. Во время работы над макетом Соня отлично изучила и Вену, и тот строительный материал, из которого она изготовила город. А потому не слишком удивилась зрелищу, представившемуся ей на пути в столицу: «На задней стене одного из этих окраинных домов, что стояли, повернувшись своими неприглядными тылами к железнодорожным путям, я заметила нечто странное и, можно даже сказать, зловещее. Из стены дома торчала огромная картонка – одна из тех, из которых явно был сложен весь дом, – и на ней виднелась четкая надпись: “Слабительное Петерки – мир вашим внутренностям!” Я испугалась прямо-таки до ужаса, потому что тут же поняла, что это означает. Мы приехали вовсе не в настоящую Вену, а в мою, сделанную из коробочек, и картонок, и аптечных упаковок и засунутую дома под кровать» [Кратохвил 2003: 44].

В дальнейших эпизодах Соне пришлось проявить немало ума и изобретательности, чтобы ее родные ни о чем не догадались. «Ведь моя Вена еще не закончена и в ней есть целые кварталы, целые улицы и целые дома, которых пока нет. Трансцендентные провалы, из которых тянет космическим сквозняком» [Кратохвил 2003: 44]. Соня изо всех сил старается, чтобы семейная экскурсия ненароком не вышла за пределы злополучного макета: «Я постоянно тщательно следила за тем, чтобы мы ни разу не пересекли границ существующего мира, не вышли за пределы торса Вены и не очутились в клубах пыли под моей кроватью, где, кроме всего прочего, нас бы подстерегала мышеловка размером – учитывая наши теперешние пропорции – с мост через Дунай» [Кратохвил 2003: 51–52].

Писатель, таким образом, открыто дает понять, что речь в его романе идет не о подлинной Вене, но о представлениях и впечатлениях героев – а тем самым и его собственных – о блестящей австрийской столице. Представления при этом вполне «карнавальных», постмодернистских. К венским реалиям в «Бессмертной истории» ни в коем случае не стоит относиться как к фактам, они являют собой бесспорные авторские мифологемы.

Заглянем за фасад этого красочного макета. Прежде всего привлекает внимание отбор достопримечательностей, которых являет нам Кратохвил глазами своей героини. Перед нами Вена праздничная, подчеркнута «парадный» экскурсионный маршрут интеллигентного европейского туриста. Семья Трочких-Заммлер обзвывает Придворный театр и Венскую оперу, гостиницу «Кломзер», где застрелился знаменитый в те годы полковник Редль, Мариахильфер-штрассе, Ринг и Шенбрун, пробует десерты в знаменитой Захеровской кондитерской, слушает песню «В Пратере расцветают деревья» и австрийский гимн, вдохновенно исполняемый школьниками в присутствии императора. Позже упомянут даже Ульянов-Ленин над шахматной доской в «Кафе Централь» [Кратохвил 2003: 52–53].

Дополняет экскурсионную программу дом актрисы Катарины Шратт и гостиница «Ориент», место ее вечерних свиданий с монархом, а затем – церковь капуцинов на Новом рынке, служащая семейной усыпальницей Габсбургов. Заранее приготовленное в ней «ложе» для пока еще здравствующего императора Франца Иосифа I вводит в венский эпизод мотив смерти, города-памятника уходящей в прошлое исторической эпохе.

Этот мотив усиливает навязчивый рефрен: Вена – «испытательная станция конца света» (на протяжении всего двух страниц он звучит трижды [Кратохвил 2003: 51–52]). Так постепенно читателю становится ясен символический смысл венского эпизода: он предвещает гибель столицы, страны, империи. «На фасаде одного из домов вспыхнул ненавистью выведенный известкой лозунг *Austria delenda est*, ночная работа каких-нибудь анархистов или иных врагов Австро-Венгрии» [Кратохвил 2003: 50].

Гротескность атмосферы, окутывающей венские сцены, подчеркивает и еще один связанный с ними лейтмотив – сна, видений, галлюцинаций. В завершение путешествия Соня оказывается на берегу Дуная (месте гибели Бруно) и просит родных, а с ними и читателей: «Позвольте мне постоять там какое-то время в одиночестве, не отрывая глаз от реки, что омывает берега наших сновидений, оставляя по себе розоватую слизь нашей боли (в Вене, этой испытательной станции конца света)» [Кратохвил 2003: 52]. Та же тема: Вена – сон, галлюцинация, бред – звучит и в следующей главке. Вернувшись домой, отец Сони удивлен, что в Вене – той Вене, где он только что с женой и дочерью был, – никто не знал о начавшейся войне. «А когда мы вышли из поезда на вокзале в Брно, город уже был весь обклеен объявлениями, у которых толпились люди. Батюшка подошел к одной такой группке и бросил свой зоркий, как у стрижа, взгляд машиниста на текст. Император объявил

войну, сообщил он нам потом в недоумении. Он пребывал в растерянности. Как это: началась война, а в Вене еще ничего не было известно? Почему они там ни о чем не знали? Разве Брно – рупор Вены?» [Кратохвил 2003: 52].

И Соня, как никто осознающая призрачность увиденного ею города, вспоминает: в день возвращения «перед сном я извлекла из-под кровати макет Вены и долго в задумчивости смотрела на него. Теперь я его уже никогда не закончу. Потому что Вена, которую я начала строить, с сегодняшнего дня перестала существовать [...] Когда я поеду туда в следующий раз, то есть на самом деле поеду, это будут уже другая Австрия и другая Вена» [Кратохвил 2003: 53]. Дальним отзвуком того же мотива сна звучит фраза, завершающая первую часть «Бессмертной истории» – Книгу 1: «В конце войны «батюшка приехал с фронта в Галиции на разбитом паровозе, с дурными сновидениями и навсегда изверившимся в любых добрых монархах» [Кратохвил 2003: 53].

Итак, в романе Кратохвила глазам читателя представлена подчеркнута величественная, но на пристальный взгляд обманная «карнавальная» Вена в трагическом ореоле Первой мировой войны. Основной художественный прием, используемый в венских сценах, – театрализация и одновременное ироническое снижение. Авторскую ностальгию по ушедшему в небытие красивому благополучному миру оттеняет осознание ветхости и мишурности этого мира. Гордые венцы оказываются попросту тараканами, населяющими картонный макет. «Блестящие витрины вокруг нас отражали толпы гуляющей публики, большинство людей точно сошли с картинок в модных парижских журналах [...] Но [...] стоило мне обернуться, как я с ужасом увидела, что вся нарядная публика, едва миновав нас, бросается наземь и принимается копошиться, ползать, извиваться [...] А чего еще я могла ожидать? Ведь под кроватью, где хранилась моя маленькая Вена, было полно весьма проворных насекомых» [Кратохвил 2003: 47].

Соответственно, неоднозначно и отношение героини к австрийской столице, олицетворяемой ею империи и уважаемому девятнадцатому столетию. В нем сочетается любование и презрение, ностальгия и разочарование. Главенствует же ощущение отрезвления, постижения, при вступлении в двадцатый век, горькой истины, скрытой за масками карнавала. Не случайно рассказ о красочной Вене прерывается репликой Сони: «Мы приближаемся к сути вещей, я бы даже сказала – к их дьявольской сути» [Кратохвил 2003: 47]. А в следующей за поездкой главе начинается новая, взрослая жизнь героини.

Вопреки не столь большому «удельному весу» венской цепи эпизодов в художественной структуре романа И. Кратохвила, их проработан-

ность и яркость позволяют, на наш взгляд, включить «Бессмертную историю» – как достойную постмодернистскую составляющую – в интернациональный «австрийский» ностальгический метатекст, к созданию которого причастны и «Марш Радецкого» И. Рота, и «Вчерашний мир» С. Цвейга, и «Герцогиня и кухарка» Л. Фукса.

Литература / References

1. *Кратохвил И.* Бессмертная история, или Жизнь Сони Троцкой-Заммлер (роман-карнавал). М.: Издательство «МИК», 2003.
2. *Chvatik K.* Pán příběhů. Jiří Kratochvil. Praha: Nakladatelství ARSCI, 2009.
3. *Fořt B.* Jiří Kratochvil's Postloved Postmodern // Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V 9, Řada literárněvědná bohemistická. Brno, 2007. S. 87–101.
4. *Hoffmann B.* Má láska, Postmoderno: prozaik Jiří Kratochvil // Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, 2001. S. 140–149.
5. *Kostřicová B.* Románový cyklus Jiřího Kratochvila. Olomouc: Periplum, 2008.

Современная славистика и перспективы изучения русско-польской проблематики

А. В. Липатов

Modern Slavistics and the perspectives of studying Russian-Polish problems

Aleksandr V. Lipatov

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/362-369

ABSTRACT. The internal differentiation of Slavic studies (history, linguistics, literary criticism, cultural studies) loses the perspective of system integrity. The development of the humanities led to the emergence of trends aimed at a complex comprehension of Slavdom in the light of the general patterns of European civilization and the characteristics of their local refraction. In the development of such a set of problems, thinking in the categories of holism, methods of interdisciplinarity and comparative studies are especially promising.

Keywords: integral slavistics, general patterns, national specifics, interdisciplinarity, holism.

АННОТАЦИЯ. Внутренняя дифференциация славистики (история, языкознание, литературоведение, культурология) утрачивает перспективу системной целостности. Развитие гуманитарных наук обусловило появление направлений, нацеленных на комплексное постижение славянства в свете общих закономерностей европейской цивилизации и особенностей их локального преломления. В разработке такого комплекса проблем особенно перспективным представляется мышление в категориях холизма, методы интердисциплинарности и компаративистики.

Ключевые слова: интегральная славистика; общие закономерности; национальная специфика; интердисциплинарность; холизм.

Славистика как особая исследовательская дисциплина начинает входить в сферу гуманитарных наук с конца XVIII в. Формирующаяся в очерченном И. Г. Гердером кругу представлений, характерных для эпохи зрелого Просвещения, она – пользуясь современной терминологией – являла собой интегрированную целостность истории, языкознания, культурологии и литературоведения. Характерный для XIX–XX вв. процесс специализации обусловил внутреннюю дезинтеграцию наук, в том числе – славистики. Составляющие исследуемого объекта как системной целостности стали рассматриваться отдельно – с точки зрения присущей им имманентной специфики. Тем самым славистика как изначально интегрированная научная целостность обрела дифференци-

цию в виде отдельных научных дисциплин – истории, языкознания, культурологии, литературоведения, а в наши дни и политологии.

Каждая из этих дисциплин дезинтегрированной славистики естественно обладает именно ей свойственной методологией и каждая из них, используя научное наследие предшествующих времён, одновременно его переосмысливает, корректирует и развивает в свете представлений своей – очередной – современности и свойственному именно этой современности типу научного мышления.

Славистика накопила огромный материал. Однако эта его огромность со свойственными ей традиционными методами систематизации и стереотипами интерпретации нередко вступает в противоречие с научными представлениями Новейшего времени (Постмодерна). Суть в том, что специализация способствовала (и способствует) углублению познания отдельных составляющих исследуемого объекта – то есть тех, которые находятся в сфере компетенции данной конкретной славистической дисциплины. Тем самым эти специализированные составляющие дезинтегрированной славистики утрачивают перспективу системной взаимосвязи отдельно исследуемых объектов. А именно эта взаимосвязь составляет целое феномена славянства и обуславливает специфику его функционирования и связей с другими этноисторическими феноменами в аксиологически общем кругу европейской цивилизации [Липатов 2007: 14–20; Липатов 2005].

Развитие современной науки обусловила всё возрастающий удельный вес интердисциплинарности. Это отражение общей эволюции исследовательского мышления, стремящегося к адекватному восприятию внутренне дифференцированного мира, вошедшего в эпоху глобализации. Такого рода очередной этап истории цивилизации вновь – и наглядно – ставит перед гуманитаристикой (а тем самым – славистикой как её составляющей) проблему целостного осознания прошлых и нынешних судеб отдельных наций и национальных культур, образующих феномен Европы. Как показывает некоторый уже накопленный славистикой опыт, это может решаться по мере раскрытия тех общих закономерностей, которые изначально обуславливали само возникновение и всю дальнейшую историю европейской цивилизации и свойственных именно ей универсальных ценностей, обретающих специфически местное (этническое // национальное) преломление.

В таком контексте сложилось в славистике исследовательское направление, которое объективно сформировалось благодаря возникшим независимо друг от друга работам учёных, стремящихся к постижению общих закономерностей истории славянских литератур в контексте общеевропейских процессов в культуре и литературе. Итак,

Д. С. Лихачёв разрабатывает концепцию средневековых литератур православного славянства¹, Н. И. Толстой раскрывает литературно-эстетическую историю этой целостности в свете проблем литературного языка [Толстой 1988], Р. Пиккио решает ряд узловых вопросов истории литератур Slavica Orthodoxa и предлагает свой опыт региональной классификации всех древнеславянских литератур [Пиккио 2003; Липатов 1990], автор этих строк выявляет общие закономерности истории славянских литератур в контексте европейского литературного процесса от Средневековья до 70-х гг. XIX в. и разрабатывает свою концепцию литературных макрорегионов и регионов как исторически изменяющихся контактно-типологических общностей [Липатов 1987: 5–84]. К этому направлению в славистике объективно примыкают и предложения Д. Дюришина². Авторы – при определённых различиях разработок и терминологии – сближает общая позиция: не национально ограниченное (и отграниченное) рассмотрение отдельных литератур, а их исследование в свете системности, в аспекте исторической поэтики и культуры, в сфере их связей, воздействий и взаимодействий, а в конечном счёте – видение объекта сквозь призму культурно-исторически изменяющегося взаимодействия универсального и локального (этнического, национального), что даёт возможность объективно уяснить факторы истории как национальных литератур, так и европейского литературного процесса, органичными слагаемыми которого они являются.

В решении такого рода комплекса проблем особенно перспективным представляется исследовательское мышление в категориях холизма, который открывает перспективы целостного познания каждого реального феномена в свете системной взаимосвязи его составляющих. Исходящая из такой теоретической предпосылки исследовательская практика интердисциплинарности и компаративистики обладает той разработанной методикой и таким испытанным инструментарием, которые способствуют практическому овладению научной оптикой, позволяющей увидеть и осознать составные феномена в их системном единстве.

Продолжающееся саморазвитие отдельных составляющих славистику дисциплин в то же время естественно порождает идеи их системного обобщения, а тем самым – синтеза обрётённых знаний. Такие идеи означают стремление к **преодолению реинтеграции** узкодисциплинарных специализаций на междисциплинарной исследовательской основе, что являет собой своего рода обращение к первоначальной – символи-

¹ См. [Лихачев 1968]; о концепции Д. С. Лихачёва и его оппонентов см. [Липатов 1982].

² См. [Đurišin 1987], [Дюришин 1994]: здесь же помещён и мой анализ концепции Д. Дюришина.

зируемой именем Гердера – **интегрированной славистики** на уже современном научном уровне. В нашей академической науке это обрело практическое воплощение в создании Института славяноведения РАН. Его многолетний опыт заслуживает пристального внимания, а нынешнее сотрудничество историков, языковедов, литературоведов и культурологов обрело воплощение в целом ряде научных трудов, снискавших признание как внутри России, так и за её пределами. Итоги в той или иной степени координируемой и инспирируемой Институтом научной деятельности российских славистов в минувшем столетии и их планы на будущее отражены в институтской публикации «Межрегиональная конференция славистов. Российское славяноведение в начале XXI в.: задачи и перспективы» (2005).

Рассматриваемые у нас славистические проблемы имеют пункты соприкосновения с дискуссиями о состоянии славистики в польской научной среде. Это, в частности, выявила конференция, организованная Кафедрой славистики Института польской филологии и Институтом восточнославянской филологии Опольского университета при участии Комитета славяноведения Польской академии наук. Неудовлетворённость состоянием традиционной славистики и констатация её ограниченности отражены в докладах и материалах дискуссий, которые были изданы под общим названием «Закат Гердера. Филологические основы славистики» [Zmierzch Herdera 2010: 7–161]. Полагаю, что это критично-пессимистичное «закат» может относиться лишь к традиционной славистике и притом не только с точки зрения изложенных мною выше теоретических предложений и конкретных изысканий, но и высказываний как ряда участников конференции, так и разработок некоторых польских и российских исследований.

Так, например, новые подходы в той части нынешней славистики, которую я предлагаю называть интегрированной, объективно объединяют усилия российских и польских славистов. Речь идёт о тех из них, кто независимо друг от друга переосмысливает устоявшиеся и живучие по сей день стереотипы, отбрасывая идеологию как внеположную научному мышлению. Может быть, в первую очередь это относится к широко распространённому мифу славянского единства.

В прошлом и нынешнем славистики наряду с *sensu stricto* **научными** исследованиями истории, культуры, языков и словесности славянских народов параллельно – в общественно-политическом мышлении и порождаемой им пропаганде – формируется **идеологическая** концепция славянского единства, которая в ряде своих разновидностей в той или иной степени вегетирует по сей день в качестве мифа. Порождённый мышлением эпохи романтизма – этого философского, общественно-

политического и художественного отражения закономерностей века формирования наций и национальных идентичностей – он в конкретно-исторических условиях части славянства, лишённого национально-государственной независимости, был призван служить идее единения и возрождения собственного самосознания. Использовался этот миф и в геополитических планах европейских держав (русская и австрийская концепции панславизма, дипломатическая стратегия и идеологическая практика времён двух мировых войн, замысел и построение «лагеря народной демократии»). В создаваемой им идеальной картине особого – славянского – мира, в духоподъёмном утверждении изначально свойственного ему единства, которое всецело и навсегда предопределила этно-генетическая общность, не было соотнесённости с конкретной реальностью прошлой и современной истории. В этом мифе (как, впрочем, в каждом мифе) исключалось всё, что нарушало его внутреннюю гармоничную целостность. Не было в нём изначальных межплеменных, а в перспективе времени большой длительности – национальных конфликтов, межгосударственных войн, столкновений националистических идеологий, межконфессиональных распрей и по сей день актуальных внутриславянских антагонизмов и фобий. Всё это обрело глобальный масштаб во времена двух мировых войн, монтирования лагеря «реального социализма» и его распада, последующего разделения Чехословакии и кровавого самоуничтожения Югославии, наконец, раскола восточного славянства, трактуемого как некое этно-историческое единство. Несостоятельность мифа отразилась и в тщетности усилий самих его сторонников (например, фиаско введения русского языка в качестве общеславянского на втором славистическом съезде в Москве в 1867 г., острота разногласий в вопросе отношения России к Польше, провал послевоенного конгресса в Праге, который планировалось провести в честь 100-летия первого славянского конгресса, равно как и намеченного на 1948 г. съезда в Москве). И здесь представляется уместным отметить, что в противовес этому – своего рода *signum temporis* – являет собой научная славистика и успешно проводимые очередные международные съезды славистов.

По своей внутренней сути миф славянского единства вычленяет само славянство из круга общеевропейской цивилизации, ограничивая её до романо-германского мира. Тем самым такого рода «славянская идея» вела к изоляционизму и как следствие – культурному провинциализму вопреки собственной высокой культуре славянства, которую, например, в России и Польше символизировали имена крупнейших писателей, считавших себя европейцами и снискавшими общеевропейскую известность. Призванная служить идее самоидентификации славян, эта мифо-

логическая идея на практике создавала искусственные и ложные идеологии, оторванные от конкретно-исторической реальности, противоречащие ей и её искажающие [Липатов 2014: 153–163; Липатов 1995; Марьина 2014; Bobrownicka 1995; Bobrownicka 2003; Bobrownicka 2006; Fertacz 1993; Kořalková 1969; Wielkie mity 1999].

Первостоики «славянской идеи» кроются в первоначале самой славистики – в гердеровской концепции славянского мира, идеализации – в духе снижавших общеевропейскую популярность «пейзанских» утверждений Руссо и его увлечений этнической экзотикой. Отсюда и создаваемая в свете преромантического мировосприятия тех времён картина душевной гармонии, психо-физического здоровья и своеобразия «неиспорченных цивилизацией» славян=пейзан, которые в силу этих своих особенностей обновят и омолодят старую Европу.

Вегетация таких идиллических идей действительно даёт основания для польской констатации «Заката Гердера». Другим рудиментом традиционной славистики – помимо уже отмеченной дезинтеграции составляющих её научных дисциплин – является (именно в их рамках) узкая специализация по отдельным славянским народам. Тем самым традиционное славистическое мышление, обуславливая в прямой перспективе изоляцию Славии от «чуждого Запада», одновременно в перспективе обратной взаимоизолирует этнические составляющие самого мира славянства, первоначально дифференцированного в границах *Rax Orthodoxa* и *Rax Latina* (которые отнюдь не были взаимонепроницаемыми).

Для преодолевающей свою традиционность (если не сказать, провинциализм или архаичность, либо патриархальность) славистики в силу самой её научной специфики характерен (помимо интердисциплинарности, о которой говорилось выше), **компаративизм**. Именно ему свойственное научное мышление, методика и инструментарий способствуют осознанию отдельных составляющих исследуемого феномена как системно единого целого. В таком понимании славистики, славистической теории и дидактической практики российская наука, представленная в первую очередь Институтом славяноведения РАН и трудами его сотрудников, совпадает с уже обозначившейся тенденцией в польской славистике. Она обретает развитие начиная с Конгресса полонистов в Кракове (2005 г.). На уже упоминавшейся конференции польских славистов в Ополе (2010 г.) её, в частности, представлял Б. Бакула, который ещё в 1998 г. создаёт в Институте польской филологии университета им. Адама Мицкевича в Познани Научный центр литературной компаративности, а затем в 2004 г. основывает научный журнал «*Rogównania*», с которым сотрудничают учёные разных стран (в том числе – России) [Lipatow 2008: 5–21]. Обоснованная Б. Бакулой концеп-

ция интегральной, или интердисциплинарной компаративистики [Вакула 2000] по сути своей соотносится с теоретическими воззрениями и практикой ряда литературоведов Института славяноведения РАН.

В отношении подобного понимания интердисциплинарности в нашей и польской славистике особого внимания заслуживают работы профессоров Ягеллонского университета – Л. Суханека (создателя россиеведения как научной дисциплины) и В. Мокрого (создателя украиноведения). Россиеведение в качестве профессиональной специализации преподаётся и разрабатывается в Институте России и Восточной Европы, которым в настоящее время успешно руководит И. Диэц, а украиноведение – на кафедре украинистики того же факультета Международных и политических знаний Ягеллонского университета в Кракове. Обширные межславянские связи этих центров и регулярно проводимые здесь международные конференции, равно как и научные издания, снискали признание и широкую известность.

Нынешнее стремление к интеграции на основе общих для разных народов ценностей исторически своей – европейской – цивилизации ставит как перед элитами власти, так и учёными проблему осмысления, а тем самым – преодоления национальных предубеждений. Это осуществляется путём познания, а вследствие этого – демаскирования и разрушения исторически сложившихся стереотипов восприятия инонационального, что связано с разработкой новых исследовательских подходов и обновлением самой оптики научного восприятия.

Рассмотренные здесь концепции и практика уже определившегося научного течения в современной славистике являют собой своего рода редефиницию славистики, а тем самым обновление её идентичности. Изменения в славистике отражают изменения теперь уже глобализированного мира и сопутствующую этому эволюцию научного мышления. Именно оно способствует адекватному пониманию сложной реальности и тем самым – неоднозначного мира славянства, а в нём – многотрудно-русско-польского соседства.

Литература / References

1. Дюришин Д. Методология изучения межлитературной общности славянских литератур // Специфика литературных отношений. Проблемы изучения общности славянских литератур / Под ред. Ю. Богданова, Л. Будаговой, Д. Дюришина, С. Лесняков, В. Хорева. М.: Наука, 1994. С. 5–21.

2. Липатов А.В. Европейская цивилизация как дифференцированная целостность (Запад и славяне) // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 6. С. 14–20.

3. Липатов А.В. Теоретические проблемы общей истории славянских литератур (Цивилизационная общность как диалектическое единство универсального и национального) // Межрегиональная конференция славистов. Российское славяноведение в начале XXI в.: задачи и перспективы. М., 2005.

4. *Липатов А.В.* Славянство как составная часть европейской цивилизации. (К давней идее славянского единения и извечной проблеме славянского разъединения // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Т. I. М.: Наука, 2014. С. 153–163.
5. *Липатов А.В.* Древнеславянские письменности и общеевропейский литературный процесс // Барокко в славянских культурах / Под ред. *А.В. Липатова, А.И. Рогова, Л.А. Софроновой.* М.: Наука, 1982. С. 14–37.
6. *Липатов А.В.* Проблемы общей истории славянских литератур от Средневековья до середины XIX в. // Славянские литературы в процессе становления и развития / Под ред. *А.В. Липатова.* М.: Наука, 1987. С. 5–84.
7. *Липатов А.В.* Общие закономерности истории славянских литератур и концепция Р. Пиккио // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 49. М., 1990. С. 318–327.
8. *Липатов А.В.* Славянская общность: историческая реальность и идеологический миф // Павел Йозеф Шафарик (К 200-летию со дня рождения). М., 1995. С. 86–101.
9. *Лихачев Д.С.* Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы: VI Международный съезд славистов. М.: Наука, 1968. С. 5–48.
10. *Марьина В.В.* Славянская идея в СССР накануне, во время и после Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. // Социальные последствия войн и конфликтов XX в.: историческая память. М.-СПб, 2014. С. 180–195.
11. *Пиккио Р.* *Slavia Orthodoxa.* Литература и язык. М.: Наука, 2003.
12. *Толстой Н.И.* История и структура славянских литературных языков. М.: Наука, 1988. 237 с.
13. *Bakula B.* Historia i komparatystryka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Poznań: Wydawn. IFP UAM 2000. 188 s.
14. *Bobrownicka M.* Narkotyki mitu. Kraków: Universitas, 1995. 138 p.
15. *Bobrownicka M.* Pogranicza w centrum Europy. Kraków: Universitas, 2003. 184 p.
16. *Bobrownicka M.* Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Kraków: Universitas, 2006. 275 p.
17. *Đurišin D.* Osobitné medziliterárne spoločensvá // *D. Ďurišin* a kol. Osobitné medziliterárne spoločensvá. I. Bratislava, 1987.
18. *Fertacz J.* Stalinizm a idea słowiańska // Przegląd Humanistyczny, 1993. №5. S. 83–90.
19. *Kořalková K.* Slovanská ideologie po druhé světové válce // Slovanský přehled. 1969. Č. 3.
20. *Lipatow A.W.* Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznych // Porównania. 2008. № 1. S. 5–21.
21. Wielkie mity narodowe Słowian / red. *A. Jawarecka, A. Naumow i B. Zieliński.* Poznań, 1999.
22. Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki / Red. nauk. *J. Baluch i A. Pajqk.* Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 2010. S. 7–161.

**Словенский писатель из Триеста Борис Пахор
(к 105-летию со дня рождения)¹**

Н. Н. Старикова

**Slovenian writer from Trieste Boris Pahor
(on the 105 th anniversary of birth)**

Nadezhda N. Starikova

DOI 10.29003/m.slavcol-2018/370-377

ABSTRACT. The article is devoted to the life and work of an outstanding Slovenian writer and public figure, a representative of the Slovene national minority in Italy Boris Pahor.

Keywords: Slovenian literature; national minority; autobiographism.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося словенского писателя и общественного деятеля, представителя словенского национального меньшинства в Италии Бориса Пахора.

Ключевые слова: словенская литература; национальное меньшинство; автобиографизм.

Специфика геополитического положения словенских земель, оказавшихся объектом притязаний более могущественных соседей, стала одной из причин многовековой экспансии со стороны ряда европейских государств. Исторические катаклизмы, передел территорий, перенос границ привели к тому, что к середине XX в. этнические земли словенцев уменьшились почти на две трети. В 1954 г. согласно Лондонскому меморандуму Италии отошел город Триест, словенское национальное меньшинство которого обладало бесспорным общественным и культурным потенциалом. Как отмечает в своей статье «Словенцы в провинции Триест: социолингвистическая и этнокультурная ситуация» Г. П. Пилипенко, в 1980-гг. в Триесте проживало около 50 тысяч словенцев [Пилипенко 2015: 384]. Важным фактором сопротивления словенского населения ассимиляции стала литература на родном языке, в результате в настоящее время в северной Италии живут и работают литераторы, успешно пишущие по-словенски: Б. Пахор, М. Кошута, М. Кравос и др. Их творчество известно не только читателям диаспоры, но и востребовано на родине. Особое место в ряду словенских писателей Триеста занимает прозаик Борис Пахор, живая легенда национальной литературы.

¹ Работа над статьей проводилась в рамках проекта ИСл РАН «Язык и культура в полиэтничных и поликонфессиональных сообществах Юго-Восточной Европы: междисциплинарное исследование», включенного в программу фундаментальных исследований 2018–2020 президиума РАН «Культурно-сложные общества: понимание и управление».

Борис Пахор родился 28 августа 1913 г. в словенской семье в городе Триест, в 2018 г. в этом же городе он отпраздновал свой 105 день рождения. На данный момент это старейший писатель планеты, обогнавший, если так можно выразиться, двух самых известных литературных долгожителей XX в.: американку Бел Кауфман и немца Эрнста Юнгера, которые ушли из жизни в возрасте 102-х лет. Судьба Пахора уникальна, он много раз рисковал жизнью и мог погибнуть: от рук итальянских фашистов, преследовавших национальные меньшинства в Триесте, во время мобилизации и участия в одной из кампаний фашистского режима, в печи одного из крематориев нацистских концлагерей. Но он выжил, написал полтора десятка романов, дождался признания и на родине (в 1992 г. получил высшую государственную награду Словении в области культуры – премию Ф. Прешерна, несколько раз номинировался от Словении на Нобелевскую премию по литературе), и в Италии, где прошла вся его жизнь. В 2008-м г. итальянские издатели, до этого не интересовавшиеся каким-то словенцем, обратили внимание на его творчество. Спустя полвека после создания роман «Некрополь» был назван в Италии книгой года. Чтобы понять, что стоит за этим признанием, нужен экскурс в историю.

Словенцы, проживавшие в Австро-Венгрии, после ее распада оказались разбросаны по разным странам, сотни тысяч очутились на территориях, которые по итогам Первой мировой войны достались Италии. Речь идет о провинции Венеция-Джулия, где, по оценкам переписи 1921 г. 47,6 % населения составляли славянские народы, главным образом, словенцы и хорваты [Кацин-Вохинц 2005: 513]. Там с приходом к власти Муссолини в 1922 г. начала проводиться политика насильственной итальянизации: были запрещены все языки, кроме итальянского, гонениям подвергалась местная культура. Уроки сербо-хорватского и словенского языка в школах были запрещены, в 1923/1924 учебном году итальянский стал официальным языком обучения в начальных классах хорватских и словенских школ, а в 1925 г. на него было переведено делопроизводство и судопроизводство. Славянское население стало посылать детей учиться в Королевство сербов, хорватов и словенцев, но эти попытки были пресечены властями, которые указом от 3 декабря 1928 г. запретили подобное обучение за границей. Итальянизация коснулась даже фамилий местного населения. За отказ от изменения фамилии полагался ощутимый штраф – от 500 до 3000 лир. В апреле – сентябре 1928 г. местный префект своим декретом изменил более 2300 словенских и хорватских фамилий. При Муссолини на полуостров было перевезено около 50 000 итальянских «колонистов», до 100 000 жителей провинции славянского происхождения эмигрировало за эти годы в

Югославию. Весной 1945 г. Венеция-Джулия была занята силами Югославской армии, 2 мая г. 1945 Триест освободили ее подразделения, неделю спустя, 9 июня 1945 г., в город вошли англо-американские войска с намерением не допустить занятия Югославией окружающих Триест областей. Далее в течение девяти лет статус региона оставался предметом международных консультаций, в международных документах его название теперь писалось на югославский манер – Юлийская Крайна. В 1954 г. вся Юлийская Крайна за исключением Триеста официально была передана Федеративной Народной Республике Югославии. Триест получил статус Свободной территории (Свободное государство Триест), подмандатной ООН, тем самым Совет безопасности ООН пытался сохранить равновесие в этом многонациональном регионе, снизить риск территориальных конфликтов между Италией и Югославией. Территория была разделена так называемой «линией Моргана» (по имени британского генерала Уильяма Моргана) на англо-американскую зону А (Триест и прилегающие прибрежные районы) и югославскую зону В (часть истрийского побережья). 5 октября 1954 г. в Лондоне был подписан договор, по которому зона А была присоединена к Италии, а зона В – к Югославии. При этом словенцы дважды – в 1918 и 1945 г. претендовали на город-порт, всерьез рассматривая возможность перенесения столицы Словении в Триест, где в эти периоды численность национального населения была больше, чем в Любляне.

На момент рождения Пахора Триест еще принадлежал Австро-Венгрии. Первая мировая война драматически изменила жизнь города и его обитателей. В 1918 г. по результатам Раппальского договора итальянцы, со времен Венецианской республики считавшие Триест своим, получили его и почти всё бывшее побережье Австрийского Приморья вместе со словенским и хорватским национальными меньшинствами. В одном из интервью Пахор заметил: «Я родился австрийским гражданином; словенский язык был одним из трех, используемых в нашем городе на равных условиях. Наша история как “меньшинства” началась только в 1918 году, и ее нам навязали». [Цит по: Бальдассо, эл. ресурс]. В 1920 г. 8-летний Борис стал свидетелем сожжения чернорубашечниками одного из очагов родной культуры – словенского Народного дома в Триесте, как инородец на своей шкуре испытал притеснения со стороны фашистских властей Италии («Были упразднены уроки на словенском языке, запрещена деятельность всех словенских обществ и прессы, словенские фамилии официально заменялись итальянскими <...>. Использование словенского языка запретили даже на улице, о чем оповещали надписи в общественных местах» [Пахор 2011:3–4]. С ранних лет проявился бунтарский характер Пахора. Узнав, что теперь ему придётся

учиться на итальянском языке, мальчик решил бросить гимназию, и родители отдали сына в духовную семинарию города Копер – подальше от неприятностей. Там он тайком изучал словенский язык, начал на нем писать, оттуда отправил свой первый рассказ в журнал «Младика», выходивший в Словении в городе Целье. Сильнейшее впечатление произвела на юношу расправа фашистских властей над хормейстером Лойзе Братужем, вся вина которого перед режимом состояла в том, что его детский хор продолжал исполнять произведения на словенском языке, это окончательно определило антифашистские настроения будущего писателя.

В 1940 г. достигшего призывного возраста Пахора мобилизовали, он воевал в Ливии, работал военным переводчиком в Ломбардии, затем учился в Падуанском университете, где изучал итальянскую литературу. В это время, в самом начале творческого пути, начинается его общение с выдающимся поэтом и крупным общественным деятелем Словении Эдвардом Коцбеком (1904–1981), в то время главным редактором журнала «Деянье», ставшим впоследствии его другом.

После капитуляции Италии осенью 1943 г. Пахор вернулся в оккупированный немцами Триест, участвовал в подпольном антифашистском движении, в январе 1944 г. был арестован, попал в руки гестапо и был отправлен сначала в Дахау, потом в концлагерь Нацвейлер-Штрутгоф в Эльзасе, потом в Дора-Миттельбау, где собирали Фау-2. Знание языков, дружелюбие, коммуникабельность помогли ему выжить, после освобождения он долго лечился от полученного в лагерях туберкулёза лёгких. Несмотря на недуг, в 1947 г. Пахор получает университетский диплом, темой его дипломной работы становится поэзия Коцбека. Влияние этого неординарного человека на этическое и эстетическое становление Пахора было огромным. Коцбек – знаковая фигура словенской литературы и культуры XX в., литератор, политик, мыслитель, активный участник народно-освободительного движения, видный государственный деятель. В 1942–1946 гг. он был вице-председателем Исполкома АВНОЮ, министром по делам Словении в югославском правительстве, вице-председателем Президиума скупщины Народной Республики Словении. В своих художественных и документальных произведениях именно Коцбек первым в словенской литературе сделал попытку показать военную действительность глазами христианина и гуманиста. Книга его партизанских дневников «Товарищество» (события мая 1942 – декабря 1943 гг.), вышедшая в 1949 г., – одно из самых достоверных свидетельств о словенской национально-освободительной борьбе и ее руководителях. Соединив документальный материал с личными впечатлениями, философские рассуждения с лирическими от-

ступлениями, автор показал всю трагическую для словенцев противоречивость военного противостояния, поднял вопрос о роли и месте национальной интеллигенции во Второй мировой войне. Проблема моральной ответственности человека за свои поступки, по какую бы сторону фронта он ни сражался, интерпретируется в его рассказах из сборника «Страх и мужество» (1951) с позиций христианского экзистенциализма. Страх, так же как и мужество, может быть одинаково присущ и героям-антифашистам, и врагам. Вера в Бога и абсолютный гуманизм – такова, по мысли Коцбека, нравственная основа поведения и выбора человека. Когда в 1951 г. за публикацию этого сборника автора сняли со всех постов и начали травить, Пахор вступился за опального литератора, выступал со статьями в его защиту в итальянских периодических изданиях, даже порвал с триестскими левыми кругами, симпатизировавшими Тито. Этот смелый поступок надолго закрыл ему дорогу к читателям Словении. Выручила итальянская литература – более двадцати лет с 1953 по 1975 г. писатель преподавал ее в словенской гимназии в Триесте.

В 1966 г. вместе с другим триестским писателем словенского происхождения Алойзом Ребулой (1924–2018) Пахор учредил журнал «Залив» (1966–1990), который стал самым крупным оппозиционным периодическим изданием словенской диаспоры в Италии, «трибуной для открытого плюралистического диалога» [Евникар 2013: 39]. В 1975 г. также совместно с Ребулой писатель выпустил в Италии сборник «Эдвард Коцбек – свидетель нашего времени». Содержащееся в книге интервью, в котором Коцбек предал гласности одну из «запретных» для социалистической системы тем – массового истребления коммунистами ополченцев-домобранцев в 1945 г., – получило в Словении широкий политический резонанс, и въезд в СФРЮ гражданину капиталистической Италии Пахору был запрещен. Запрет был снят лишь в 1981 г., и писатель смог приехать в Любляну на похороны Коцбека*. Публикация писем поэта «Песочные часы, письма Эдварда Коцбека Борису Пахору 1940–1980» («Peščena ura, pisma Edvarda Kocbeka Borisu Pahorju 1940–1980»), вышедших в 1984 г. отдельной книгой в издательстве «Словенска матица», – дань памяти «поэту эпохи» от его младшего друга. К этому моменту литературный стаж Пахора приближался к четырем десятилетиям: его первый сборник рассказов «Мой триестский адрес» вышел в 1948 г. Все произведения Пахора автобиографичны; романы «Вилла у озера» (1955) и «Город у залива» (1955) повествуют о судьбах словенцев в фашистском Триесте, «Кочевники без оазиса» (1956) –

*Теперь памятник Пахору, открытый в 2017 г. в люблянском парке Тиволи, соседствует со скульптурным портретом Э. Коцбека.

о ливийской кампании Муссолини, триестская трилогия «Затмение» (1975), «Схватка с весной» (1978) и «В Лабиринте» (1984) – о жизни словенского национального меньшинства в послевоенной Италии. Ныне Пахор обладатель нескольких престижных наград, в том числе премии Европарламента «Гражданин Европы» (2013), его произведения переведены на десяток европейских языков, их ставят на сцене, об авторе снимают фильмы.

Лагерный опыт лег в основу самого известного произведения Пахора – автобиографического романа «Некрополь» (1967). Его ставят в один ряд с текстами Александра Солженицына, Примо Леви, Хорхе Семпруна и Имре Кертеса. Роман посвящен «душам всех тех, кто не вернулся» [Пахор 2011: 12], это одно из самых ярких литературных свидетельств о нацистской фабрике смерти времен Второй мировой войны в словенской прозе. Сюжетная канва произведения ослаблена: на первом плане – события внутренней жизни героя, его воспоминания и саморефлексия. Текст не разделен на главы, а представляет своего рода континуум размышлений повествователя о пережитом в годы войны, ассоциативно связанных друг с другом. Эпиграфом к роману служат строки словенского поэта С. Косовела (1904–1926) «Хладный пепел лежит над телами» и французского писателя и художника Веркора (настоящее имя Жан Марсель Брюллер, 1902–1991) «Когда народы узнают, кем Вы были, // Будут грызть землю от скорби и мук совести...», которые задают основной настроенческий вектор повествования. Название роману дало национальное кладбище в Штрутгофе (Necropole nationale du Struthof), расположенное неподалеку от лагеря, где писатель был в заключении в 1944 г. В тексте приводится описание этого кладбища: над рядами белых крестов возвышается сорокапятиметровый монумент – «символ любви великого народа к своим дочерям и сыновьям <...>. Внутри этого величественного символа прерванной жизни скульптор высек фигуру изможденного тела в плену белого камня, словно в безжалостных тисках каменоломни» [Пахор 2011: 206].

Книга, написанная от первого лица, создана на стыке двух жанровых форм: романа-воспоминания и романа-исповеди. Спустя десятилетия человек, выживший в аду, приезжает на него посмотреть и начинает вспоминать. Воспоминания эти ужасающи, «Некрополь», как пишет литературовед Б. Патерну, «пронизан атмосферой напряжения, постоянным ощущением конца света». [Патерну, 2014: 38]. Лагерь Нацвейлер-Штрутгоф находился в Вогезах, на высоте почти 800 метров над уровнем моря. Теперь в Штрутгофе музей, ходят туристы, гиды, подгоняя их, рассказывают о жизни заключенных. Герой перебирает в памяти эпизоды прошлого, трагические судьбы погибших в застенках людей,

страшные подробности лагерной жизни, где каждая мелочь имела значение. Как не упасть во время работы в каменоломне, как избежать газовой камеры, где отработывалась технология уничтожения и опробовались новые удушающие газы, как не стать материалом для медицинских опытов. Память в подробностях восстанавливает эпизоды лагерной жизни, эти реминисценции перемежаются с размышлениями о природе нацизма, о философии смерти, о психологии страха. Это рассуждения эрудита, знающего труды Ф. Ницше, расовую теорию Х. Чемберлена, «Стихи о смерти» Ш. Бодлера. В ткани романа сосуществуют несколько нарративных уровней, сменяющих друг друга в зависимости от описываемой ситуации. Субъективизированное повествование, ведущееся в настоящем времени от первого лица единственного числа «я», в определенные моменты заменяется местоимением «мы»: «Мы ощущали глухое дыхание пустоты» [Пахор 2011: 52], «нас поместили на высоту, чтобы <...> показать наше полное отторжение от мира людей» [Пахор 2011:60], с помощью которого воссоздается собирательный тип сознания заключенных.

Существование бок о бок со смертью притупляет чувства. Но выживший в аду герой не может избавиться от чувства вины. Кульминацией покаяния становится сцена его «встречи» (то ли во сне, то ли в воображении) с обитателями тюремного барака. Под их неодобрительными взглядами он ищет оправдания в некогда содеянном – в том, что питался пайкой умерших: ухаживая за еще живыми, знал, кто будет следующим и ждал его смерти; в том, что выменял у доходяги хлеб на сигареты, а мог ведь просто подарить, и тогда тот умер бы счастливым; в том, что не спрашивал, чем бывала нагрета вода для душа, когда дым из труб крематория был особенно густ.

Одним из ведущих мотивов романа является мотив смерти. Как отмечает литературовед Ф. Задрavec, автор «Некрополя» «воссоздает масковую смерть» [Задрavec 2011:138]: это вездесущая «ревнивая мегера», «мстительная дама, которую нельзя дразнить видениями жизни» [Пахор 2011: 70, 140]. Герой, каждый день наблюдающий этот поединок жизни со смертью, сам оказывается его участником: узнаёт, что болен туберкулезом, чувствует страх перед надвигающимся концом, лишь упорное желание выжить и сила воли заставляют его работать и «вести себя так, будто ничто не подточило глухой и слепой веры в самосохранение» [Пахор 2011: 124].

Рассказ Пахора о пережитом трогает не только искренностью интонации, но и тем, что не дает читателю забыть, сколь уязвима личность перед зверством истории. Автобиографическое произведение Пахора – это исповедь целого поколения, испытавшего на себе ужасы войны, не

будучи при этом непосредственным участником сражений. Роман является новаторским в освещении военной темы: одним из первых в словенской литературе автор прибегает к приему реминисценций, обращаясь к личному опыту военного прошлого из перспективы современности, чтобы философски осмыслить исторические события, придать им этическое и философское звучание.

В контексте словенской литературной парадигмы творческая индивидуальность Пахора особенно уникальна, ибо его поэтика не связана с национальной художественной традицией, ориентирами для него служили итальянские неореалисты, прежде всего В. Пратолини, а также такие представители литературы «потерянного поколения», как Э. Хемингуэй и Дж. Дос Пассос.

Трагический опыт прошлого остается для писателя-долгожителя, представляющего словенское национальное меньшинство в Италии, главным нравственным ориентиром. Об этом красноречиво свидетельствует следующий эпизод: в декабре 2009 г. мэр города Триеста Роберто Дипьяцца выдвинул кандидатуру Пахора на присвоение звания «Почетный гражданин города Триеста», отметив, что аргументами в пользу такого решения являются роль литератора в культурной жизни мегаполиса, пережитое им во время нацистской оккупации и его последовательное сопротивление титовскому режиму. Кандидат вежливо отклонил лестное предложение, потому что среди перечня заслуг не было названо главной – борьбы с итальянским фашизмом.

Литература / References

1. *Пахор Б.* Некрополь. Любляна: УМсо; Москва: ГЛАСНОСТЬ, 2011. 256 с.
2. *Пилипенко Г.П.* Словенцы в провинции Триест: социолингвистическая и этнокультурная ситуация // Славянский альманах 2015. Вып. 3–4. М.: Индрик, 2015. С. 383–401.
3. *Baldasso F.* An Interview with Boris Pahor. [Электронный ресурс.] URL: <https://www.dalkeyarchive.com/an-interview-with-boris-pahor/> Дата последнего обращения 22.01.2019.
4. *Jevnikar M.* Slovenski avtorji v Italiji. Trst: Ciljno začasno združenje Jezik–Lingua, 2013. 524 str.
5. *Kacin Wohinz M.* Slovenci v Italiji // Slovenska novejša zgodovina. 1848–1992. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 780 str.
6. *Pahorjev zbornik: spomini, pogledi, gradivo / uredili Marija Pirjevec in Vera Ban-Tuta.* Trst: Narodna in študijska knjižnica, 1993. 246 str.
7. *Paternu B.* Pahorjeva Nekropola // Jezik in slovstvo. Št. 2–3. Ljubljana, 2014. S. 29–41.
8. *Rojc T.* Tako sem živel: stoletje Borisa Pahorja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 446 str.
9. *Zdravec F.* Slovenski narodnoobrambni in protivojni roman. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. 246 str.
10. *Zen A.* Boris Pahor. Biografija v slikah / Biografia per immagini. Trst: Mladika, 2006. 252 str.

Иво Андрич в России, Россия в Андриче

Бранко Тошович

Ivo Andric in Russia, Russia in Andric

Branko Toshovich

ABSTRACT. The essay discusses the following issues: Andric's attitude toward Russia, his stay in the Soviet Union, the influence of Yugoslav-Soviet political relations on the interaction between Andric and the USSR, Andric's texts on Russia, Russian themes in his works, his protagonists associated with Russia, Russian places in his texts, Andric on Russian writers and Russian literature, Russian writers on Andric, Russian reviews of him (in monographs, collections, articles, forewords, afterwords, overviews, reviews, reports, letters, etc.), translations of his work into Russian language (novels, history, short stories, and essays), Andric's correspondence with Russian writers, translators of his works and publishing houses, staging of his texts, as well as the nature and complexity of the study of this topics, and similar.

Keywords: Ivo Andrich; Russia; USSR; writer; Russian; Serbian; Yugoslav; literature.

АННОТАЦИЯ. В тексте рассматриваются следующие вопросы: отношение Иво Андрича (лауреата Нобелевской премии за 1961 г.) к России, его пребывание в Советском Союзе, влияние югославо-советских политических отношений на взаимодействие Андрич ↔ СССР, тексты Андрича о России, русские мотивы в его произведениях, его персонажи, связанные с Россией, русские просторы в это текстах, Андрич о русских писателях и о русской литературе, русские писатели о Андриче, русская критика о нем (в монографиях, сборниках, статьях, предисловиях, послесловиях, обзорах, рецензиях, отзывах, письмах...), перевод его произведений (романов, повестей, рассказов и очерков) на русский язык, переписка Андрича с русскими писателями, переводчиками и издательствами, характер и уровень исследований данной темы¹.

Ключевые слова: Иво Андрич; Россия; СССР; писатель; русский; сербский; югославский; литература.

0. Отношение Андрича к России вначале было нейтральным, потом, после Октябрьской революции, сдержанным, а после 1941 г. положительным. Андрич обладал определенным знанием русского языка (по-

¹ Из-за ограничений в объеме статьи в анализе и в списке литературы даны лишь элементарные библиографические источники.

мимо других шести языков, которыми он владел). Согласно собственным высказываниям, он читал тексты на русском языке.

1. Андрич был заместителем председателя Правления Обществ дружбы между Югославией и СССР (основанных в 1945 г.) и председателем Общества культурного сотрудничества Босния и Герцеговина – СССР. В зиму 1945 или весной 1946 г. он в Обществе писателей Сербии прочитал доклад о русской (советской) литературе, в котором говорил о необходимости чтения и исследования русской литературы. Он тогда сказал, что через русскую литературу говорит совесть человечества. В 1945 г. Андрич выступил в Белграде на тему «Из культурной жизни СССР».

2. Первый раз Андрич был в СССР в 1946 г. в качестве председателя Союза писателей Югославии. Тогда он посетил Москву, Ленинград и Сталинград. По возвращении 30 ноября 1946 г. Андрич в новисадском Центральном доме культуры выступил с впечатлениями о Сталинграде. Это легло в основу текста, опубликованного более тридцати лет спустя в журнале «Иностранная литература» (1975) под заголовком «Впечатления о Сталинграде» [Utisci o Staljingradu].

3. Второй раз Андрич побывал в СССР в 1947, где в Баку участвовал в торжествах, посвященных 800-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами. Андрич тогда произнес приветственную речь, которую написал своей рукой на русском языке. Намного позднее (в 1975 г.) журнал «Иностранная литература» опубликовал текст Иво Андрича «Поездка в Азербайджан» [Sa puta po Azerbejdžanu] [Андрич 1975^a]. По возвращении в Югославию Андрич выступил в Обществе писателей Сербии, а в Сараеве 2 января 1948 г. прочитал доклад «Из культурной жизни Советского Союза» (Архив Иво Андрича в Белграде, IA 929 L. 226 52).

4. Третий раз Андрич был в СССР в 1955, когда ездил в Китай и по пути остановился в Москве (Андрич 1975^b). Андрич встретился с рядом писателей – И. Г. Эренбургом, Н. С. Тихоновым, Л. М. Леоновым, А. А. Сурковым, В. П. Катаевым, Ф. В. Гладковым, Б. Л. Горбатовым, актером Н. К. Черкасовым, который спонтанно читал басни И. А. Крылова во время обеда в Ленинграде [Peковић/Kljakić 2012: 70]. Из Москвы в Пекин делегация уехала 28 сентября (по маршруту: Казань – Свердловск – Свердловск [под снегом] – Омск – Новосибирск – Красноярск).

В первом номере газеты «Молодой боец» за 1948 г. Андрич опубликовал текст (репортаж) «Первое мая в Москве» о параде, на котором он присутствовал два года назад [Peковић/Kljakić 2012: 172].

5. В 1948 г. советские писатели направили по радио поздравление югославским народам ко Дню Республики 29 ноября, не упоминая

Коммунистическую партию Югославии, что вызвало реакцию югославских писателей [Peковић/Kljakić 2012: 138]. Ответ югославских писателей советским писателям Ф. Гладкову, Н. Тихонову и другим подписали 69 литераторов во главе с Иво Андричем. С советской стороны последовало эмбарго, затронувшее и произведения Иво Андрича.

6. В Москве 5 октября 1962 г. в Доме дружбы с народами иностранных государств был устроен торжественный вечер, приуроченный к 70-летию И. Андрича.

7. Творчество Иво Андрича можно разделить на художественные тексты (романы, рассказы, стихотворения), философскую прозу, публицистику (очерки, эссе, рецензии, путевые заметки и зарисовки), научные работы (докторская диссертация), интервью и переписку. Значительная часть его текстов переведена на русский язык. Собранный нами материал свидетельствует о том, что переводы на этот язык занимают первое место по отношению ко всем другим языкам.

8. Из шести романов Иво Андрича на русском языке опубликованы четыре (66,67%): «Мост на Дрине» (1956) [Na Drini ćuprija], «Травницкая хроника» (1957) [Travnička hronika], «Проклятый двор» (1957) [Prokleta avlija], «Барышня» (1962) [Gospođica]². В 1956 г. вышел русский перевод «Мост на Дрине. Вишеградская хроника» [Na Drini ćuprija], через 11 лет после появления подлинника на сербском языке (на такую паузу повлияло ухудшение югославо-советских отношений после принятия советской Резолюции Информбюро в 1948 г.). Последовали различные (в том числе повторные) издания: 1) «Барышня» (1962) [Gospođica], 2) «Избранные рассказы» (1967), 3) «Травницкая хроника. Консульские времена» (1957) [Travnička hronika], 4) «Мост на Дрине» (1967) [Na Drini ćuprija], 5) «Проклятый двор» (1957) [Prokleta avlija], 6) «Проклятый двор: повести и рассказы» (1967), 7) «Избранные произведения» (1974), 8) «Избранное» (1976), 9) «Знаки вдоль дороги» (1985, 1991) [Znakovi pored puta], 10) «Травницкая хроника. Консульские времена» (сборник; 1996), 11) «Избранные произведения: Рассказы. Эссе. Очерки» (1977), 12) «Повести и рассказы» (1983), 13) «Человеку и человечеству (литературное-критическое наследие, размышления, заметки о литературе и др.» (1983), 14) «Собрание сочинений в трех томах» (1984–1985), 15) «Мост на Дрине» (1985) [Na Drini ćuprija]. 16) «Повести и рассказы» (1985), 17) «Заяц» (1989) [Zeko], 18) «Пытка: Избранная проза» (2000).

² Не переведены два незаконченных романа: «Омер-паша Латас» [Omeraša Latas, 1977] и «На солнечной стороне» [Na sunčanoj strani, 1994], а также единственная пьеса Андрича: «Конас комедије» [Конец комедии], написанная в период с 1914 по 1918 гг.

В переводческой деятельности приняло участие более тридцати переводчиков: А. Базилевский, В. Благонадеждин, Н. Вагапова, Т. Вирта, М. Волконский, Г. Галкина, И. Голенищев-Кутузов, Р. Грецкая, И. Дорба, О. Иванова, Дервиш Имамович, М. Карасева, Т. Карпова, П. Кошель, Н. Кравченко, О. Кутасова, И. Лемаш, И. Макаровская, Г. Маркович, Е. Михайлов, Т. Попова, А. Романенко, Е. Рубина, Е. Рябова, Н. Сершич, А. Сломинская, Н. Соколов, Й. Станишич, Г. Тваранович, И. Фесенко, В. Штулифкер, Г. Языковая, Т. Языковая; некоторые из них по происхождению из бывшей Югославии (Дервиш Имамович, Йоле Станишич).

На русский язык переведено значительное число рассказов (больше половины) – 73 из 134 (54,48%)³. Одна часть рассказов (28) вышла сначала в периодике (журналах и газетах), а потом в сборниках.

Когда в журнале «Огонек» (1947) появился первый перевод – «Велетовцы», Андрич уже опубликовал 52 рассказа (до 1946) на сербском языке. Это значит, что русского читателя начали с большим опозданием знакомить с произведениями будущего лауреата Нобелевской премии. В процессе перевода возникали проблемы с некоторыми заглавиями, и поэтому появился ряд вариантов. Их больше всего по отношению к новелле «Priča o vezigovom slonu» (1947) – три: «Рассказ о слоне визиря» (1957), «Предание о слоне визиря» (1957), «Притча о слоне визиря» (1973). К шести остальным относятся: 1) «Čorkan i Švabica» (1921) – «Чоркан и *швабица*» (1957), «Чоркан и *швабочка*» (1967), 2) «Anikina vremena» (1931) – «Аникины времена» (1957), «Времена Аники» (1976), 3) «Nemirna godina» (1953) – «Тревожный год» (1957), «Тревожные годы» (1983), 4) «Proba» (1954) – «Испытания» (1983), «Испытанье» (1984), 5) «Šala u Samsarinovom hanu» (1946) – «Шутка в Самсарином заездем дворе» (1967), «Шутка на Самсарином заездем дворе» (1973), 6) «Rzavski bregovi» (1924) – «Рзавские берега» (1957), «Рзавские холмы» (1983).

Переводы художественных произведений Иво Андрича печатались как отдельные тексты, так и в сборниках. Этот последний тип изданий можно разделить на гомоненные и гетерогенные. К гомогенным относятся произведения одного и того же жанра: романа, повести или рассказа. Гомогенных изданий романов восемь: «Мост на Дрине» (1956, 1976, 1988), «Травницкая хроника» (1958, 1975, 1987, 1996), «Барышня» (1962). К гетерогенным относятся случаи, когда печатались одновременно два романа (1974, 1985): «Мост на Дрине» и «Травницкая хроника». Сюда мы включаем и издания, в которых объединяются рассказы и

³ Столько рассказов представлено в: [Andrić 2011].

повести (8): «Избранное» (1957, 1976), «Повести и рассказы» (1959, 1974, 1983, 1986), «Рассказы и повести» (1984), «Пытка: избранная проза» (2000). В отличие от большинства сербских и хорватских исследователей, считающих «Проклятый двор» романом, русские издатели и критики относят его к повести. Хотя «Проклятый двор», если не лучшее художественное произведение Андрича, то одно из лучших, этот текст все-таки не опубликован как самостоятельное издание, а лишь как один из нескольких в сборниках прозы (9): «Травницкая хроника»; «Проклятый двор»; «Барышня»; «Заяц» (1979), «Проклятый двор: повести и рассказы» (1967), «Повести и рассказы» (1974), «Избранное» (1976), «Повести и рассказы югославских писателей» (1978), «Повести и рассказы» (1983), «Рассказы и повести» (1984), «Повести и рассказы» (1986), «Пытка: избранная проза» (2000).

В гетерогенных изданиях (6) объединяются романы, повести и/или рассказы. Это могут быть (а) сборники, состоящие из романов, повестей и рассказов (3): «Барышня»; «Заяц» (1976, 1989); «Травницкая хроника»; «Проклятый двор»; «Барышня»; «Заяц» (1979); «Мост на Дрине, повести и рассказы» (1985); (б) сборники, состоящие из романов, повестей, рассказов и публицистических текстов (1984): повести, рассказы, эссе и «Барышня»; (в) сборники, состоящие из рассказов и публицистических текстов (1977): «Рассказы. Эссе. Очерки».

9. На русский язык переведено довольно много стихотворений – 67 из 101 (66,34%) [Andrić 2011]. Они опубликованы в «Антологии сербской поэзии» [Базилевский 2008: 571–605]⁴.

10. На русском языке печатались несколько раз (1957, 1972, 1979, 1991, 1992, 1995) фрагменты «Знаков вдоль дороги» (Znakovi pored puta, 1976). Первые из них вышли в журналах «Вопросы литературы» (1957) и «Иностранная литература» (1972).

11. Андрич написал 139 очерков, эссе, рецензий и путевых записок и зарисовок [Andrić 2011], преобладающая часть которых (76 или 54,68%) переведена на русский. Самая большая часть (65 текстов) объединена в книге «Человеку и человечеству» (1983). Помимо этой книги опубликовано 35 текстов в периодике.

Андрич написал пять очерков о России, и все они переведены на русский: «Впечатления о Сталинграде» (1975, 1977) [Utisci o Staljingradu], «Двадцатое октября в Белграде» (1976) [Dvadeseti oktobar u Beogradu], «Первая встреча» (1968) [Moj prvi susret s Maksimom Gorkim],

⁴ Два произведения в стихах «Eх Ponto» (1918) и «Nemiri od vijeka» [Тревоги от века] (1920), объединенных в одной книге, не переведены на русский язык.

«На Невском проспекте» (1967) [Na Nevskom prospektu], «Поездка в Азербайджан» (1975) [Sa puta po Azerbejdžanu]⁵.

12. На русском языке отсутствует перевод докторской диссертации, написанной на немецком языке в Граце: «Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der Einwirkung der türkischen Herrschaft» (1924) [Развитие духовной жизни в Боснии в условиях турецкого владычества].

13. Среди русских мотивов в произведениях Иво Андрича выделяются: Россия как страна и пространство, русский фронт, (мало)русская граница/линия, русская равнина, русская сабля, русская политика, русско-австрийская оккупация, русский бюллетень, русский холод (снег), (мало)русские песни, русские метания, женский монастырь, русский штык, русский корабль, русско-французский конфликт. Эти мотивы Андрич подробно не раскрывает, а, как правило, упоминает в повествовании о минувших событиях в Боснии.

14. Персонажей Андрича, связанных так или иначе с Россией, можно разделить на (а) коллективные (русские как народ, русские войска, русская армия, русские отряды, русские офицеры, русские заключенные, русские чиновники) и (б) индивидуальные: женщины («Ночь в Альхамбре» [Noć u Alhambri], русская в «Существо» [Stvorenje]), русский консул в Которе (эссе о Негоше) и Травнике («Травницкая хроника» [Травничка хронika]), Федор – русский из восточной Галиции («Мост на Дрине» [Na Drini ćurđija]) и др. Андрич выделял несколько персонажей из русской литературы: Обломова, Хлестакова, Раскольникова. В его произведениях упоминаются некоторые русские территории и населенные пункты: Сибирь, Москва, Петербург, Кавказ.

15. Андрич неоднократно высказывался о русской литературе и ее писателях: Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, М. А. Шолохове, А. П. Платонове, И. Э. Бабеле, И. Э. Эренбурге, А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе и др. На его творчество оказали влияние, в первую очередь, Ф. М. Достоевский (особенно что касается пейзажа), Л. Н. Толстой (в исторической прозе), И. С. Тургенев (манерой повествования), И. Э. Бабель (стилем) и др. Андрич делал выписки из произведений Н. В. Гоголя (больше всего), М. Горького, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, О. Э. Мандельштама и др. Он высказал свое мнение о некоторых переводах русских произведений.

Андрич очень положительно отозвался о присуждении Нобелевской премии М. А. Шолохovu, о чем свидетельствует и его заявление по этому поводу на Радио Белград 9 декабря 1965 г.

⁵ Не переведен текст «Maksim Gorki: Jedna godina revolucije» [Максим Горький: Один год революции].

Андрич критически относился к политическим мотивам, лежавшим в основе ряда решений Нобелевского комитета и отрицательно отзывшимся на присуждении премии русским писателям.

16. Андрич вел переписку с рядом русских писателей (И. Г. Эренбург, Л. М. Леоновым, К. М. Симоновым, Б. Н. Полевым, С. С. Смирновым, В. В. Ивановым), кафедрами, издательствами, редакциями газет и журналов и частными лицами. Из нее видно, насколько все они положительно воспринимали Андрича как художника. У Андрича была широкая переписка с переводчиками его произведений. Здесь особенно следует выделить Т. П. Попову (1924–2018), многолетнего сотрудника кафедры славянской филологии МГУ.

17. Русскую критику об Андриче (в монографиях, сборниках, статьях, предисловиях, послесловиях, обзорах, отзывах, информациях) можно разделить на два периода: до и после получения Нобелевской премии. Оценка произведений Андрича представлена в различных жанрах – в форме кандидатских диссертаций⁶, дипломных и курсовых работ, монографий, сборников, статьей, предисловий, послесловий, рецензий, обзоров, отзывов, хроникальных информации и др. Общее впечатление таково: уровень изученности в СССР и России творчества и жизни Иво Андрича не соответствует количеству переводов русский язык. Нам известно около 130 библиографических единиц, посвященных жизни и творчеству Иво Андрича. Их значительная часть (30) представляет собой результат международного проекта в Граце «Andrić-Initiative: Иво Андрич в европейском контексте» (2007–)⁷. Авторами статей являются исследователи из России (8): И. Иванова (8 текстов), Г. Тяпко (3), П. Зеновская (1), Л. Кузьмичева (1), А. Маслова (1), А. Наумова (1), Т. Попадаева (1), А. Яблочкина (1), Украины (1): О. Леонтьева (3), Белоруссии (1): Т. Свищук (1), Сербии (1): Н. Айджанович (2). Сюда относятся и четыре статьи на русском языке руководителя проекта (Б. Тошович). Среди русских критиков выделяются работы О. Кирилловой (кандидатская диссертация, книга, сборник и восемь статей) и Н. Яковлева (5). Следуют О. Батаева (3), А. Романенко (3), Р. Доронина (2), М. Карасева (2), Е. Крипович (2), О. Кусатова (2), Л. Лихачёва (2). Авторы одной статьи: П. Зеновская, А. Алиева, В. Бережков, Г. Брайович, П. Дмитриев, Л. Левицкий, Н. Раздволина, В. Позднев. К югославским исследователям относятся: Б. Чович (5), В. Бойович (2), С. Вуйнович (1), М. Вукичевич (1),

⁶ Нам известны три кандидатские диссертации: О. Л. Кирилловой (1989), М. Л. Карасевой (1994) и О. В. Батаевой (1996).

⁷ См.: Gralis-www. [Электронный ресурс]

В. Вулетич (1), М. Джурчинов (2), В. Калезич (2), Д. Неделькович (2), Д. Копривица (1), С. Пенчич (1), В. Петров (1), Н. Петрович (1), Д. Симич (1), М. Стойнич (1).

Литература / References

1. *Андрич Иво*. Поездка в Азербайджан [Sa puta ro Azerbajdzanu]. Перевод Александра Романенко // Иностранная литература. 1975а. № 11 (ноябрь). С. 256–257.
2. *Андрич Иво*. Человеку и человечеству. [Статьи, рецензии, эссе и очерки – Переводы]. Сост. и послесловие Александра Романенко. Пер. Г. Галкиной, Р. Грецькой, Е. Михайлова, А. Романенко. Комм. Г. Галкиной, А. Романенко. М.: Радуга, 1983. 506 с.
3. Антология сербской поэзии / под ред. А.Б. *Базилевского*. М.: Вахазар, 2008. 1088 с.
4. *Батаева О.В.* Концепция человека в творчестве Иво Андрича: диссертация... канд. филол. наук. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т. 1999. 265 с.
5. *Карасева М.Л.* Малая проза Иво Андрича: диссертация... канд. Филол. наук. М.: Ин-т мировой лит-ры им. А.М. Горького. 1994. 203 с.
6. *Кириллова О.Л.* Между мифом и игрой: о поэтике Андрича. М.: Институт славяноведения и балканистики, 1992. 122 с.
7. Творчество Иво Андрича: миф, фольклор, история, литература. Симпозиум к 100-летию со дня рождения писателя. Тезисы и материалы / под ред. *О.Л. Кирилловой*. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1992. 112 с.
8. *Кириллова О.Л.* Специфика преобразования действительности в художественном мире Иво Андрича: Некоторые аспекты поэтики: диссертация... канд. Филол. наук. М.: Ин-т славяноведения и балканистики. 1989. 165 с.
9. *Лихачёва Л.П.* (сост.). Иво Андрич: Биобиблиографический указатель Автор вступит. ст. Р.Ф. Доронина; отв. ред. М. Богданов. М.: Книга, 1974. 127 с. [Серия «Писатели зарубежных стран» ВГИБЛ].
10. *Andrić Ivo*. Sabrana dela u 20 tomova. Beograd–Podgorica: Nova knjiga–Štampar Makarije, 2011.
11. Gralis-www: Andrić-Initiative – Publikationen. [Электронный ресурс.] URL: <http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/publikationen.html>. Дата последнего обращения: 15.1.2019.
14. *Kirilova O.* Stvaralaštvo Ive Andrića u SSSR // Sveske Zadužbine Ive Andrića. Beograd: 1986. God. 5. Br. 4. S. 287–291.
15. *Peković R. Kljakić Sl.* Angažovani Andrić 1944–1954: Društveni rad, govori, predavanja, članci, putopisi, reportaže... Beograd: Glasnik, 2012. 300 s.

Научное издание
СЛАВЯНСКИЙ СБОРНИК:
язык, литература, культура

Подготовка оригинал-макета:
Издательство «МАКС Пресс»
Главный редактор *Е. М. Бугачева*
Верстка: *Е. М. Бугачева*

Подписано в печать 21.05. 2019 г.
Формат 60x 90 1/16. Усл.печ.л. 24,25.
Тираж 100 экз. Изд. № 079

Издательство ООО «МАКС Пресс».
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы,
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 527 к.
Тел. 8(495) 939-3890/91, Тел./Факс 8(495) 939-3891.

